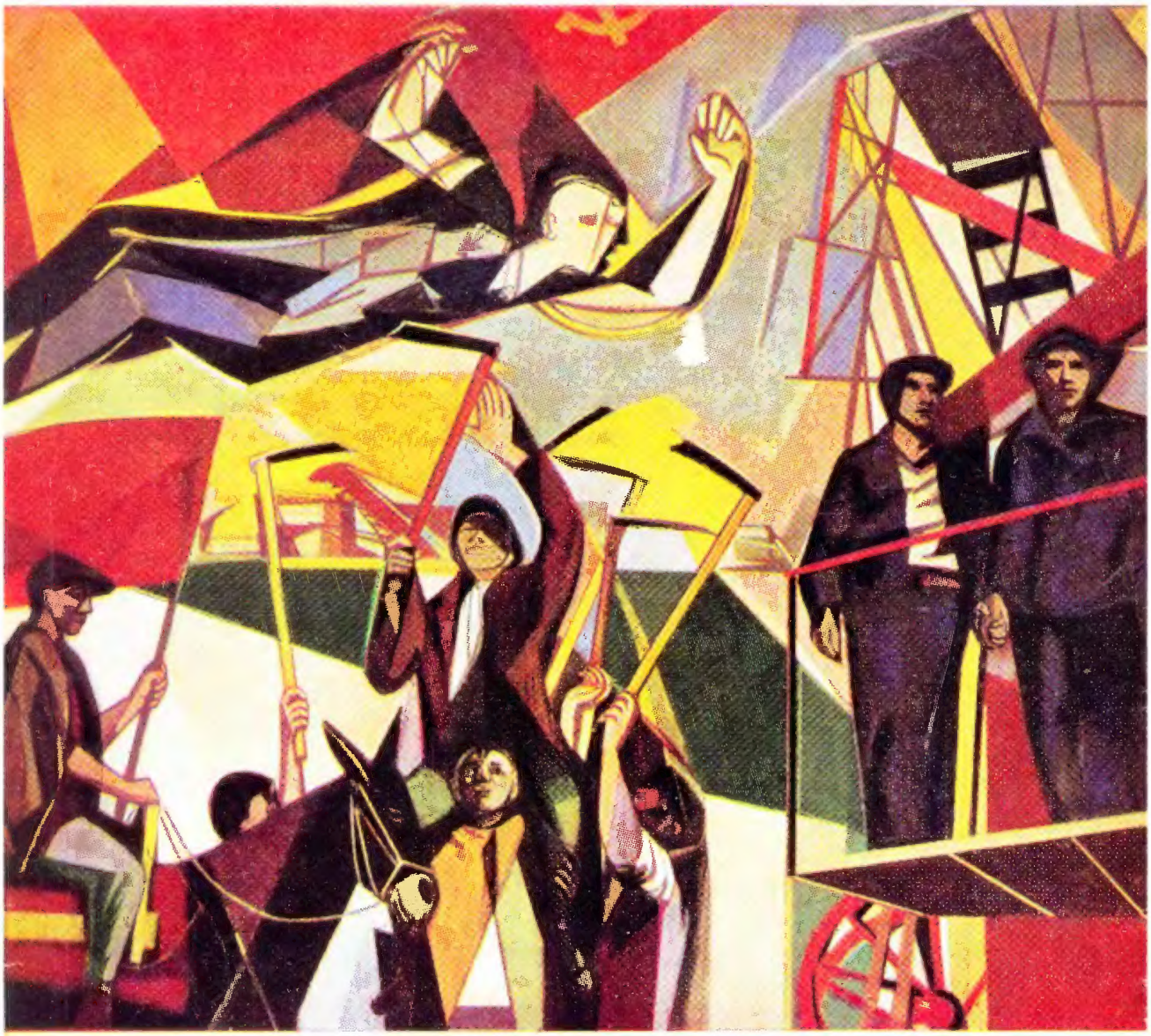


Иностранная литература

10

1967

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ХОСЕ СОЛЕР ПУИГ — Крушенне 8

ПОВЕСТИ

КРИСТИАН ГЕЙСЛЕР — Холодные времена 124

РАССКАЗЫ

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР — Листки календаря 182

СТИХИ

САНКИТИ ТОГЭ — Моя Хиросима! 3

КАРЛ СЭНДБЕРГ — Стихи разных лет (Памяти великого американского поэта) . 116

МИРА АЛЕЧКОВИЧ — Октябрьская сказка 180

ВЕСНА ПАРУИ — Нева 181

АРАГОН — Элегия Пабло Неруде (Вступительная статья Б. Песиса) 207

10

ОКТЯБРЬ

1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

КРИТИКА

РАБОЧИЙ КЛАСС, ОБЩЕСТВО, ЛИТЕРАТУРА (Творческая встреча в редакции журнала «Иностранная литература»)
Е. АМБАРЦУМОВ, В. СКОРОДЕНКО, Н. НОВИКОВ, Ю. ЗАМОШКИН, А. ЗВЕРЕВ, ДЖОВАННИ АРПИНО, Т. БАЛАШОВА, МАКС ФОН ДЕР ГРЮН, И. МЛЕЧИНА, ЛУИС ЭНРИКЕ ДЭЛАНО, СЕМБЕН УСМАН, КРИШАН ЧАНДАР, М. САЛГАНИК, АЛЕКСАНДР БАУМГАРДТЕН, И. БЕРНШТЕЙН, О. РОССИЯНОВ, Т. МОТЫЛЕВА 211

И. ТЕРТЕРЯН — Особые приметы испанского интеллигента 257

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

АЛАРИК ДЖЕЙКОБ И ПОЛЬ ХОГАРТ — Сиова в России. От Суздаля до Самаркаида 265

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 275

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: картина итальянского художника АРМАНДО ПИЦИНАТО «Призрак бродит по Европе».

САНКИТИ ТОГЭ

МОЯ ХИРОСИМА!

Перевод с японского и предисловие
АНАТОЛИЯ МАМОНОВА

Два поэта трагической судьбы прославили Хиросиму — Тамики Хара, покончивший с собой в 1951 году в знак протеста против американской агрессии в Корее, и Санкити Тогэ, умерший от туберкулеза в 1953 году. Оба они — жертвы атомной бомбы, оба родились в 1917 году и вошли в историю японской литературы как выдающиеся поэты Хиросимы, отразившие в своем творчестве ее ужасы и страдания, скорбь и надежды...

В данной подборке переводов представлены произведения одного из них — Санкити Тогэ.

Тогэ родился в семье, активно боровшейся против японского милитаризма. Один из его братьев, участник подпольного профсоюзного и антивоенного движения, погиб в полицейском застенке. Санкити Тогэ был признанным «властителем дум» молодежи, вожаком молодых литераторов Хиросимы. В 1946 году его избрали председателем прогрессивной организации «Сэйнэн бунка рэммэй» («Объединение сторонников молодой культуры»), в которую входили художники и поэты — свидетели атомной катастрофы. Тогэ руководил подготовкой и изданием книги стихов о трагедии Хиросимы, написанных молодежью, пережившей атомный взрыв. Она была посвящена Международной конференции за мир и разоружение, проходившей в Японии в 1951 году. Тогда же экземпляр этой книги — как свидетельство искреннего стремления японских юношей и девушек к миру — был послан участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине.

Санкити Тогэ — автор знаменитой «Песни гнева», созданной в честь сталелитейщиков, прославившихся героической стачкой. Плакаты с текстом этой песни раскленвались на заборах и стенах домов. Его перу принадлежит замечательный сборник — «Стихи об атомной бомбе». В книге «Лучи из пепла» видный австрийский публицист Роберт Юнг пишет: «Тогэ пытался выразить в своих стихах то непостижимое, что ему пришлось пережить. Для молодых дарований он стал мудрым и терпеливым другом. Он учил их изображать в стихах не только возвышенные, высокоторжественные мгновения, как этого требовала традиционная японская поэтика, но и учил искать «своеобразную красоту» в обыденной жизни со всеми ее трудностями и во всем ее многообразии».

Публикуемые стихотворения взяты из сборника «Стихи об атомной бомбе». Некоторые из них положены на музыку, а также входят в пьесу «Река» Киёси Цугии, посвященную жизни поэта (нынешней весной ее поставили в Москве на русском языке японские студенты Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы).

Верните человека

Верните отца, верните мать
и стариков верните!
Верните детей!

Верните меня
и веру в людей
верните!

Мир возвратите людям,
мир, что не будет жестоко
никем никогда расколот!

Шестое августа

Шестое августа...
Разве можно забыть ту вспышку?
В долю секунды
тридцать тысяч прохожих исчезло...
В кромешной тьме под обломками зданий
пятьдесят тысяч воплей смолкло...
И бешеным вихрем
рванулись вверх
клубы желтого дыма...

Потом рассеялась пелена:
сметенные здания, рухнувшие мосты,
исковерканные трамваи,
переполненные телами,
обломки оплавленных кирпичей,
груды обугленных головешек —
моя Хиросима!

Потом
вереницы кричащих, бегущих тел,
вереницы бесчисленных голых тел,
прижимающих руки к груди,
с которой свисает лохмотьями кожа,
укрывающих бедра
обрывками недогоревших тряпок...

Трупы, разбросанные на плацу,
словно каменные изваянья
всесильного божества Дзидзо́,
оберегающего от несчастий,
и толпы, толпы, забившие берег,
словно связанных друг с другом живых,
ползущих кровавой массой
к плотам,
не тронутым пламенем,
и кричащих: «Спасите! Спасите!!» —
и становящихся постепенно
под обжигающим раны солнцем
багрово-черными кучами трупов...

До вечера небо глодал пожар,
переходя от руин к руинам,
пока не достиг развалин,
где под обломками дома,
погребенные заживо,
уходили в ничто
моя мать и младший братишка...

...Загаженный кровью и нечистотами
пол арсенала,
откуда выскакивали и выползали
студентки —
обезумевшие девчонки из трудового отряда,
то со вздувшимся, как барабан, животом,
то с вытекшим глазом,
то с выжженной грудью,
то без волос —
как бритоголовый бонза...

И когда
утренний свет озарил
работниц из арсенала,
никто не смог бы узнать,
кто из них кто...
В тлетворном воздухе
над посудой для стирки
единственные живые в этом мертвом мире —
жужжали мухи...

Разве можно забыть тишину,
окутавшую, как ватой,
триста тысяч погибших?
Разве можно забыть
запавшие в душу
и разбившие душу
белки умоляющих глаз
наших жен и детей,
не вернувшихся в той тишине?!

Рассвет

Они мечтают:
мечтает рабочий, застывший с кайлом в руках,
он в каплях пота, что в долю секунды
вскипели и стали рубцами;
мечтает старуха, припав щекою к швейной
машине, —
удушлив дурманящий запах
кожи паленой;
и девушка из театральной кассы
тоже мечтает, вцепившись пальцами
в скрюченные, словно клешни у краба,
ноги свои;
и мальчишка, предлагавший прохожим спички,
мальчишка с тонкой ребячьей шеей,
в которую тысячью ос впились
осколки сметенных окон...

Они мечтают:
что элемент чудодейственный,
из уранинита и карнотита,
Землю преобразит —
превратит пустыни в плодородные пашни,
и подошвы горных вершин
смоет водой каналов,
и в безлюдных просторах Арктики
рукотворные солнца зажжет,
и создаст города и поселки
из чистого золота.
Они мечтают:
что в тени, под шумящей листвою,
где присядут рабочие отдохнуть,
будут флаги праздничные колыхаться
и шептать им губами нежными
легенды о Хиросиме.
Они мечтают:
что злобные, человекоподобные вепри,
жаждущие истребить все живое на свете,
останутся жить лишь в книжках-картинках для
самых маленьких;
что энергия, в тысячу раз мощнее взорванной
бомбы,
станет служить человеку — покорителю атома;
что наступит рассвет,
когда весь урожай науки
будет роздан людям, живущим в мире,
роздан, как виноградные гроздья,
мокрые от росы.

Призыв

И сейчас не поздно.
Не поздно выступить против,
проявить свою силу,
если у вас до сих пор
сердце болит
и слезы текут из глаз,
которые выжгла вспышка
в тот страшный день;
если вы
свое тело вынесли из пожарища,
тело, пахнущее Хиросимой,
тело, залитое кровью
и проклинающее войну;
если, спасаясь, в ужасе
бросили вы сестренку,
бившуюся в агонии
и простиравшую руки
из-под обломков дома,
объятого пламенем;

если вам, бежавшим от смерти
дорогой отчаянья
и безутешного горя,
даже в голову не приходило
прикрыть свою наготу
хоть обрывком сгоревшей одежды;
если вы, прижимая к груди
свисавшую кожу
сожженных рук,
брели по пустынным руинам,
по раскаленным углям,
в тусклом свете заката
и огонь чернил ступни ваших голых ног...

И сейчас не поздно —
поднять свои руки, красные от ожогов,
вместе с такими же, красными от ожогов,
бесчисленными руками,
поднять высоко,
чтобы солнце проклятья — вспышка взрыва —
не запылало опять,
не рухнуло наземь
на наши глаза и плечи,
на улыбающихся детей...

Не поздно, не поздно —
укрыть глаза
будущих жертв
стеной изувеченных спин
в багровых рубцах,
спасти
ни в чем не повинных добрых людей,
ощутить
в крепком рукопожатье
их трепетные ладони
своими — красными от ожогов.
Не поздно.
Нет, никогда не поздно!

■

ХОСЕ СОЛЕР ПУИГ

КРУШЕНИЕ

РОМАН

Перевод с испанского и вступление ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

«Крушение» — роман о крушении старой жизни и о становлении новой. Это роман о банкротстве буржуазной Кубы и о становлении Кубы социалистической. Автор, кубинский писатель Хосе Солер Пуиг, мог бы привести эпиграфом к своей книге строку из «Интернационала» «Весь мир насилья мы разрушим», ибо «мир насилья», мир прошлого, показан в романе с такой беспощадной, осязаемой убедительностью, что роман о крушении буржуазии превращается в роман о революции и одновременно в роман о неизбежности социальных преобразований.

Шаг за шагом мы следуем за потоком воспоминаний и размышлений главного героя, Лоренсо Рейеса де ла Торре, капиталиста, не покинувшего в противоположность другим, подобным ему, революционную Кубу и мучительно пытающегося отстоять хоть что-либо из той системы взглядов, на какой зиждилась его жизнь. Если бы автор описал нам подряд все события революции, мы не сумели бы так проникнуться ее духом, как проникаемся, читая жизнь капиталиста Лоренсо Рейеса де ла Торре, рассказанную — хотя и в третьем лице, хотя и отстраненно — им самим.

Но роман Пуига — это не роман-воспоминание, не рассказанная подряд, с проекцией в прошлое, жизнь героя. Роман современен по своей манере и технике, местами даже почти кинематографичен. Нервный, сбивчивый, полный сомнений и недомолвок психологический ритм повествования, в котором переплетаются не только прошлое и настоящее, а и разные пласты прошлого, наплывом теснящие друг друга, как нельзя лучше передает душевное смятение не только одного человека, но целого класса перед надвигающейся, совершающейся, свершившейся революцией. Это крушение не одной жизни, а целого мира, отступившего в небытие перед бурно строящейся новой жизнью.

Резко раскручивается перед нами тугая спираль жизни Лоренсо Рейеса де ла Торре. Его детство, годы молодости, пора зрелости, открытая для больших свершений,— все определяет один страшный кумир: деньги. Один колосс, фетиш, молох, все убивающий, поглощающий, давящий. Заменивший все святое: уважение к родителям — когда заставляет отца героя считать деньги своей покойной матери раньше, чем тело ее будет предано земле; таинство брака — когда вынуждает героя жениться на богатой наследнице, зная, что она сумасшедшая; чистоту любви — когда побуждает капиталиста воспитать нищую девочку, чтоб сделать ее своей наложницей. Лоренсо Рейес де ла Торре не может противостоять этому колоссу: вся система его воспитания, заквашенная на темных суевериях, на изуверской морали, на целом строе диких понятий, переходящих из поколения в поколение, препятствует верному пониманию главных ценностей жизни. Лоренсо Рейес де ла Торре — не только представитель старого мира, он и его жертва. Ибо побуждения его по большей части искренни, он не делает зла сознательно, он просто не знает, что это зло, потому что никогда его не учили добру, потому что в том мире, где он сформировался, зло — основная движущая сила. И он искренне уверен, что так и надо жить, ведь он не имеет никакого представления о том, что можно жить иначе.

Все дальше разворачивается спираль искалеченной, страшной жизни, и все мошенничества, все обманы, темные дела, стоившие стольких усилий, оборачиваются пустотой. Пустота растет и расползается вокруг Лоренсо Рейеса де ла Торре, страшная пустота и страшное одиночество, из которых только один выход. Выход этот все чаще начинает мелькать перед Лоренсо Рейесом де ла Торре, и, хотя он вначале боится

этого выхода больше, чем смерти, все чаще судьба приводит его к неизбежному решению...

Роман Хосе Солера Пуига коичается многоточнем, за которым, быть может, скрываются иовые размышлеиия героя, поиски нового идеала взамен разрушеииого. Каким будет этот идеал, автор подсказывает нам последними словами ромаиа — герой начинает думать по-иному. Он еще ие принял, ие понял глубоко революцию, но он уже сделал первый робкий шаг на пути к ее поинманию...

Заслуга писателя состонт в том, что ои показал нам ие абстрактного капнталистического спрута, а живого человека, который является всего лишь марионеткой, дергающейся на нитке, которой управляет нечто вне его, может быть, другая, более крупная марионетка, и при этом дергающейся с болью и сознанием собственного бессилия.

Крушение старого мира показаио писателем как бы с разиых сторон на примерах разных персонажей романа. Необычайио характерен изнеженный, извращеиный сеньорито, сын героя, слабовольный, бездариый, не иашедший себя, истерически боящийся «черни». Написанный нарочито приглушенно, мягкими красками, образ Лоренсито — страшен. Лоренсито — потенциальный фашист, вот из таких абстрактно-туманных поэтишек, невышедших художников-сюрреалистов, из людей с атрофированиой волей, пустым сердцем и уродливым самомиением и формировались роботы в военных муидирах, заливавшие кровью республиканскую Испаиию в 1936—1939 годах, сжигавшие наши деревни во время Великой Отечественной войны и сыплющие сейчас бомбы на головы жеищии и детей Вьетнама.

Чистый, гордый образ Иоланды, нищей девочки, ушедшей в революцию, как бы противопоставлеи в романе упомянутому выше персонажу. Обе их судьбы прослежены автором с детства, оба они сформировались одиовременно, обоих их воспитал один и тот же человек. Образ Иоланды — это тоже доказательство нензбежности революции, но даиное прямее, чем на примере других героев: старая жизиь сформировала ее, ио в один страшный миг так резко и беспощадно показала ей свое подлинное лицо, что поворот произошел внезапно, без сомнеиий и колебаний: перед Иоландой открылась, сверкнув, единственная ее дорога — в Сьерру, в революцию.

Но есть в романе один образ, стоящий особняком от других, образ, глубоко символический при всей своей иатуралистической реальиости, несущий огромную смысловую, социальную, эмоциональную и психологическую нагрузку. Это образ сумасшедшей жены героя — Марии-Элеиы. Помешаиная, юродивая, одержимая, мятущаяся и мятежиая Мария-Элена переживает в своем безумиом бреде чуть ли не все эпохи, какие прошла на протяжении своей многовековой истории ее родина — Куба. Талантливое безумие Марии-Элены, завораживающее всех и все вокруг, вмещает как бы жизнь многих поколений со всеми ее неповторимыми особенностями.

И рядом со всеми этими образами, впереди них и над ними, проходит, стремительно пролетает в романе мощный, обобщенный образ кубиискоя революции, кубинского народа, строящего социализм. И то, что революционные события, их поступательный ход показаны сквозь призму восприятия классового врага, делает еще убедительиее и ярче рассказ о становлении социализма на Кубе, о кубиискоя революции, которая в своих свершениях вдохновлялась и вдохновляется великим примером Октябрьской революции в нашей страие. «Сегодня у нас, на Кубе, социалистическая революция,— говорил Фидель Кастро.— Это стало возможным, потому что виачале была революция 1917 года».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Лоренсо Рейес де ла Торре... Пять слов — пустые, полые... Раньше они не были такие пустые, хотя нет, раньше тоже, всегда, всегда, с гех пор, как он себя помнит... Но все-таки не настолько... В колледже, например...

— *Идите к доске, Лоренсо Рейес де ла Торре...*

— *Да, да, именно вы, Лоренсо Рейес де ла Торре...*

Лоренсо Рейес де ла Торре... Его имя, кажущееся порой чем-то чуждым, какой-то излишней тяжестью внутри его «я», которую надо носить, терпеливо носить повсюду с собою, а ведь часто хочется сбросить, отшвырнуть куда-нибудь в угол, освободиться... освободиться. Но нельзя — ведь эти пять слов и есть он сам, и все прочее в нем толь-

ко насажено на них, продолжает их, существует за счет чего-то неосязаемо неуловимого, живущего в нем, высасывая из него все соки, иссушая его тело, иногда даже незаметно для него самого, не вызывая никаких чувств, кроме дурноты, кроме пустоты... Словно он — бурдюк, наполненный небытием вместо вина... Пять слов — бессмысленные, нелепые, по-глупому любимые... Буквы и слова, вызывающие дурноту в сознании... Его имя...

— Я.

Теперь — только здесь, внутри себя самого, в тишине... Раньше — на страницах газет, в «Диарио» и в «Ориенте», в объявлениях, на устах у людей, в громком голосе радио, в мелькании телевизионных новостей... нет, по телевидению объявления о земельных участках не передавались...

«Лоренсо Рейес де ла Торре, крупный негоциант, в руках которого сосредоточены большие капиталы»...

«По мнению Лоренсо Рейеса де ла Торре»...

«Положение дел на предприятиях Лоренсо Рейеса де ла Торре»...

Часто эти пять слов произносились с гневом, с ненавистью, но для него они звучали тогда еще приятнее, гораздо приятнее — неуловимое обретало плоть и кровь...

— *Лоренсо Рейес де ла Торре, сволочь эдакая!*

— *Ах, этот бандит Лоренсо Рейес де ла Торре?!*

Словно он — нож, блестящий, наточенный, вонзающийся в их дряблую плоть, разящий их прямо в сердце, полное ядом зависти. И они не могут выдернуть этот нож, они так и живут с остро ранящей помехой внутри, так что ж им еще остается, кроме ненависти?.. Бессильный гнев омрачает их существование, заставляя лить по каплям яд бессильного бешенства... Бессилие... А он в ответ чувствует себя ярким, блестящим, почти всесильным...

И все-таки что-то глубоко внутри его «я» возмущалось против этого радостного всесилия, что-то заставляло его чувствовать отвращение к своей собственной гордости, бессмысленной гордости самим собой... Идиот, такой же идиот, как они, точно такой же, точно такой же...

— *Когда-нибудь ты за все заплатишь, Лоренсо Рейес де ла Торре!*

— *Перед богом ответишь, перед богом!*

Бог... Бог не вмешивается в дела людей, а жаль, что не вмешивается... Вообще-то, может, и вмешивается, как знать? Нет, не вмешивается... Его уже давно вмешали... Когда было землетрясение, сестра Энграсии так и сказала:

— Бог каблуком в землю ударил.

Божий каблук, быть может, не бездействует и в этой тишине его дома, что сейчас, кажется, треснет от тишины, от глубокой тишины, ничем не рушимой, сколько бы там ни болтала Мария-Элена, словно эта тишина исходит из него самого, из него самого, погасившего все шумы... Он сам — эта тишина... Но тогда почему же эта тишина так давит его, так душит... Змея, что душит самое себя. Огромная тишина, цепкая, подстерегающая... Пальцы тишины вливаются в сердце... Лоренсо Рейес де ла Торре... Хватают за горло... Эти звуки его имени сейчас — уже только отзвуки, погребенные в тишине, только хрипы...

— Лоренсо Рейес де ла Торре... Лоренсо Рейес де ла Торре...

Пять слов, прошептанные в страхе... Они не растаяли только потому, что все стучат у него в мозгу, посреди этой тишины...

— Лоренсо Рейес де ла Торре, Лоренсо Рейес де ла Торре...

Шепот, который не прекращается никогда... Упорное желание считать, что еще не все потеряно, тогда как уже и не жаль, если потеряно все...

— Лоренсо Рейес де ла Торре...

— Завтрак подан, сеньор.

Мария-Элена. В чепце и переднике... Он уже час сидит за столом, а жена только что вышла. Завтрак должна бы подать Хуана, но хозяйка не разрешила...

— *Нет, товарищ. Не беспокойтесь. Вы и так слишком много работаете.*

Бедная Мария-Элена! Чашка кофе с молоком, два ломтика хлеба, жесткие, как камни. Она никогда не будет походить на настоящую служанку... Хлеб без масла, ни сыру, ни ветчины... Апельсиновый сок, стакан воды... Больше ничего — так, верно, завтракают на том свете...

— Не хотите ли чего-нибудь еще, сеньор?

Сегодня она не та, что вчера, голос, интонации — все иное. Она все время меняется...

— Я говорю с вами, сеньор...

— А?

— Я спрашиваю, не хотите ли вы чего-нибудь еще.

— Нет, спасибо.

Как тяжко смотреть в эти бедные безумные глаза... В них — счастье! Да, они светятся счастьем, словно всегда смотрели на счастливый семейный очаг, а ведь они ничего на свете не видели, кроме бреда безумия — с тринадцати лет, с тринадцати лет, исполнившихся когда-то девочке Марии-Элене... Невозможно смотреть в эти глаза, лучше опустить голову, взять кусочек хлеба, положить себе в рот... Масла покупают на весь месяц, а хватает только на день — по восьмушке на человека. Куда девалось все масло?.. А ведь как много было — бери сколько хочешь, фунтами, килограммами в лавках, в магазине «Феррейро», где угодно... Сыром, ветчиной были завалены все прилавки, а теперь вот пойди поищи. Всего можно было купить сколько влезет... У него даже слюнки потекли от этих мыслей... Да нет, так лучше, так, по крайней мере, можно растянуть свою чашку кофе на весь завтрак, а то, бывает, допьешь с самого начала и глотай потом сухой хлеб, давись. Хлеб и апельсиновый сок — разве это завтрак?.. Давишься черствым хлебом...

— *Я хочу умереть! Умереть!*

Педро Фуэнтес сказал, что лучше умереть на работе, на людях... Умереть можно повсюду, так ли, сяк ли, но умереть не трудно... Умереть — это лучше всего. Отдохнешь, перестанешь все время добиваться чего-то... Но что-то заставляет человека бороться за жизнь... Бороться за то, чего ты не хочешь, бороться... Зачем?.. Стараться, отчаиваться, пытаться достичь того, чего у тебя нет, что ты навек потерял, чего у тебя никогда и не было... Зачем? Почему?.. Потому что... Надо, надо — и все, словно так записано в твоем гороскопе, вернее в проклятии, которым отмечено твое рождение... Так выпало нам на долю. Тяжко. Все равно что давишься сухим хлебом... Тяжко, но не всем. Вот хотя бы крестьяне-гуахиро, что не хотят продавать молоко по понедельникам... Висенте всегда их защищает...

— Надо же им отдохнуть, сеньор Рейес...

— Но пусть тогда продают больше по субботам, чтоб хватило на воскресенье и понедельник...

— Не могут, сеньор Рейес... Столько покупателей...

Висенте, добрый малый, скромный, услужливый, никогда не позволяет себе лишнего...

— *Сеньор Рейес...*

— *Хорошо, сеньор Рейес...*

Ни одного лишнего слова, ни одного жеста...

— *Хорошо, сеньор Рейес.*

Это может быть приятно и может быть неприятно, зависит от момента и настроения... Если ты чувствуешь себя уверенно, не сомне-

ваешься в своей правде, то скромность и услужливость Висенте доставляют удовольствие...

— *Хорошо, сеньор Рейес.*

И ты думаешь, что так и нужно, что так и должны вести себя люди, которые тебе служат и которым ты платишь...

— Не гони машину, Висенте.

— Хорошо, сеньор Рейес.

Висенте, наверно, любит ездить быстро, но повинуется сразу...

— *Хорошо, сеньор Рейес.*

И с тех пор он ведет машину всегда на одинаковой скорости — пятьдесят в час...

— *Хорошо, сеньор Рейес.*

Кротость, рабская кротость... Однако когда чувствуешь себя сломанным, разбитым, бурдюком с пустотой вместо вина, когда чувствуешь себя паскудно, тогда эта кротость противна, тогда она раздражает...

— Хорошо, сеньор Рейес.

— Довольно уже, Висенте!

— Что довольно, сеньор Рейес?..

— Ничего.

— Но вы сказали...

— Оставим это.

Бывает, что человеку вдруг покажется, что истина открыта без него, а он — только деревянная кукла, марионетка... и тогда хочется схватить ружье и стрелять, стрелять... стать убийцей...

— Хорошо, сеньор Рейес.

Но Висенте — только бедный малый, он даже не способен ни над кем издеваться; не стоит обращать на него внимания, как и на тех гуахиро, что не хотят продавать молоко по понедельникам ни за какие деньги... А может, это Висенте не желает ездить за молоком в понедельник, в свой выходной? Вполне возможно... Надо бы узнать, как в действительности обстоит дело, но у кого узнать?.. Что-то стали противны решительно все, хорошо бы ни с кем не разговаривать, ни с кем... Ничего страшного, по понедельникам можно пить шоколад на воде, хотя тогда и сок придется отменить, а то от сока в сочетании с шоколадом желудок может взбунтоваться. Правда, американцы, как говорят, пьют сок с шоколадом, но американцы вообще скоты... Мария-Элена заперлась в своей комнате...— он словно видел ее: она лежит в постели, уже без чепца и передника, жует сухой хлеб и смотрит на потолок... Жаль ее! Это ужасно... И зачем только он просверлил дырочку в двери... Не видел — и будто ничего не было... А теперь перед глазами все та же картина: вот она подходит к столу с чашками на подносе и сама подает завтрак — старый обычай, который она сохранила, обернувшийся теперь такой жестокой пародией... Служанка прислуживает госпоже; в чепце и переднике — служанка, без чепца и передника — госпожа. Бред сумасшедшей... Госпожа и служанка в одном лице... Бедная Мария-Элена! Госпожа вкушает, лежа в постели, свой завтрак — сухой хлеб и кофе с молоком, сок она не пьет... А на служанке всегда чистый крахмальный чепец...

— Белый чепец придает комнате нарядный вид.

Она говорила это прежде и повторяет это теперь, хотя все время бранит «буржуазные» нравы, как теперь принято выражаться, и старается завоевать доверие «этих людей»...

— Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь! У нас революция или нет? Ну отвечай же! Есть она или нет ее?

— Есть, Мария-Элена.

Бедная голова, все в ней перепуталось... И надо терпеть, сам хотел — теперь настала пора расплаты. Такова твоя судьба, Лоренсо Рейес де ла Торре... Тоска и страдание, прежде и теперь, всю жизнь, с самого детства, потому что не хватало силы воли, смелости души — всегда кому-то и чему-то подчинялся, даже «эти люди» противны... Всегда на поводу у чужих мыслей, марионетка на ниточке... Вот негр Хамелеон — он уже вызывал отвращение, когда они почти не были знакомы, и однако...

— Мы вдвоем можем обделать выгодное дельце, куманек.

Микаэла тоже виновата — обманула его! Но Хамелеон оказался добрым парнем, так что можно, пожалуй, поблагодарить маленькую негритянку за то, что она его обманула... А с Марией-Эленой? Пока он был женихом, его даже забавляло, что она сумасшедшая... Чего она только не выдумывала!. А тогда-то и надо было остановиться...

— Я люблю тебя, потому что судьбой тебе уготован графский титул.

Графский титул! Несчастная... Можно помереть со смеху... Но если бы он знал тогда!.. Все, что должно случиться с человеком,— уже при нем, раньше, чем случилось, и тебе не остается ничего другого, как уступить дорогу тому, что наступит, хотя оно и сотрет тебя в порошок...

Весь этот теперешний ужас уже был заложен в гогдашней Марии-Элене, и нельзя было трогать ее, нельзя... Будь проклят час, когда он остановил на ней выбор, понуждаемый настоятельными советами тети Мерседес и жаждой золота, и еще думал при этом, что совершает подвиг... Его смешили выходки сумасшедшей... Как вспомнишь, в самый день свадьбы...

— Испанский король одарил тебя своей милостью, и ты теперь его светлость граф Посос дель Рио.

Тогда в Испании уже не было короля, но что значит истина для ума безумца, у безумцев — своя логика, и причем нерушимая логика...

— Альфонс XII — все равно король, только в изгнании.

Сначала — знатность рода и придворные связи, потом увлечение миллионерами-янки, а теперь еще это...

— *Товарищ.*

Жизнь с Марией-Эленой, чудовищная нелепость, ставшая привычкой... Ее дикие поступки, которые в конце концов стали вызывать у него чувство уважения, смешанного со страхом, словно совершались по наитию каких-то потусторонних сил...

— Граф, эта девочка-негритянка обворовывает нас.

Бедная девушка, судомойка...

— Ты не заметил, что у нее желтые глаза?

Глаза были не желтые, а зеленые, но все-таки странно, негритянка — и вдруг зеленые глаза, и, однако, это ведь не причина для того, чтобы заподозрить девушку в воровстве.

— У кого желтые глаза, тот обязательно вор.

Непреклонная в своем безумии.

— Я отказала ей.

На улицу выгнали негритянку с зелеными глазами только потому, что Марии-Элене они показались желтыми!..

— Мы — знатного рода и не можем терпеть в своем доме воров.

Вначале он всегда спорил с ней, чтобы послушать ее забавные ответы...

— В декабре будет два циклона.

— Циклоны кончаются в ноябре.

— А в этом году будет два циклона в декабре.

— Не будет ни одного.

— Два. Вот увидишь.

Ему тогда казалось невозможным, чтоб в декабре были циклоны. Потом разразился один, который смел Батисту, и после этого ему стало казаться, что глаза Марии-Элены горят каким-то потусторонним огнем... Но ведь этот огонь он видел потом и в глазах других женщин... В глазах Иоланды...

— *Подлец!*

— *Крестный.*

И в глазах Патрисии...

— *Ты меня вправду любишь, милый?*

Три женщины... Пожалуй, между ними есть что-то общее... братство судеб... Но он подумал об этом много позже, совсем недавно... Тот декабрь был как все декабри... Рис и халва, виноград и яблоки — и никакого циклона...

— Они уже, наверно, вошли в Гавану.

Она всегда читала газеты, но что могут дать газеты сумасшедшим, если там сообщаются новости, не входящие в круг их безумия? Мария-Элена...

— *Подлец!*

Иоланда совсем другая. Лейтенант революционной армии. Кто бы мог подумать? И от обеих он услышал одно и то же слово, одно и то же оскорбление:

— *Подлец!*

И обе ранили его этим словом, обе вонзили ему в сердце это слово...

— *Подлец!*

Кто-то сказал, что ему везет в женщинах... Везет! Если б они знали... Везет в том, чтоб делать женщин несчастными и самому страдать от этого... Мария-Элена...

— *Граф.*

— *Мистер Рейес.*

— *Товарищ.*

И Иоланда...

— *Крестный.*

И в тот ужасный вечер...

— *Подлец.*

Но он не виноват, что они, все три, были так несчастны; Патрисия иногда даже казалась счастливой...

— *Люби меня, милый!*

А Мария-Элена все равно была бы несчастна, это не его вина... Это вина того кучера... Патрисия немного взгрустнула, расставаясь с ним, даже не немного — они пережили вместе столько счастливых минут... Он причинил ей страдание... Но Мария-Элена... Мария-Элена — это расплата... Нельзя обращаться с ней как с сумасшедшей, это было бы низостью, преступлением... И может быть, кто-то, оттуда, сверху, все видит, как знать?.. Когда он был женихом и в первые месяцы после свадьбы... Ему даже становилось страшно тогда... Спать в одной постели с сумасшедшей?.. А вдруг как-нибудь на рассвете... Лоренсо Рейес де ла Торре... Он даже хотел было отказаться от этого брака... Но ведь золото, золото... Он получит его назавтра после свадьбы... Женившись, он мог бы разойтись, но золото медлило, надо было ждать какое-то время, а время заставляет человека ко всему привыкнуть... Мария-Элена казалась такой безобидной... Две женщины, близкие ему, их судьбы вначале были схожи, а потом как резко разминулись!.. Одна утонула в своем безумии, другая пошла навстречу смерти...

— *Граф.*

— *Подлец!*

И было в них одно начало, которое и сами они не сознавали, которое никак не было связано с их поступками... Одно стремление — что-то изменить, сдвинуть с мертвой точки...

Человек сходит с ума и создает себе особый мир или старается осмыслить этот, чтобы жить в нем... Многие женщины ушли в Сьерру, как Иоланда, они не побоялись смерти... И даже в донье Маргарите жило это стремление что-то изменить, но она не сумела ничего изменить и перенесла то, что выпало ей на долю, без борьбы, без желания вырваться... Перенесла... Более десяти лет переносила, живя вдвоем с дочерью, пока не умерла — через месяц после того, как родился Лоренсито... Лоренсито... Во время беременности сумасшествие Марии-Элены приняло дикие формы...

— Граф, у меня есть одна прихоть.

Прихоти сумасшедшей... Сохрани бог, чтоб еще когда-нибудь они овладели ею!..

— Хочу поесть манго.

— Сейчас не сезон для манго.

— Неважно. Хочу манго.

— Но как я достану манго в ноябре?

— Хочу манго.

Он постарался достать консервированные.

— Консервированные не хочу. Я хочу съесть кожуру.

Съела бы этикетки... Банки с манговым компотом остались стоять в буфете... Каждый день, с раннего утра — та же песня...

— Ты принес манго?

— Нет.

По мере того как рос живот, росли прихоти и росла настойчивость.

— *Манго!*

— *Манго! Манго!*

— *Манго! Манго! Манго!*

— *Манго! Манго! Манго! Манго!*

— Чтоб ты сдохла!

Это было жестокое, но спасительное средство... Она проплакала целую неделю, но больше не упоминала о проклятых манго...

— *Подлец!*

Так родился Лоренсито, сухонький, худенький заморыш, едва живой. Но он скоро набрал вес и оправился еще до того, как умерла Маргарита... Только красное родимое пятно на боку осталось... и сейчас есть...

— Видишь, граф?.. Потому что не исполнил мою прихоть.

Она считала, что родимое пятно — знак божьего гнева.

— Ты увидишь, каким необычным человеком вырастет твой сын.

Какое пророчество, страшно... Всегда так: ее безумные слова заставляют его дрожать, словно устами ее глаголет сам бог или сам дьявол... Нет, не всегда, не всегда... Иногда он слушает ее серьезно, словно она и в самом деле высказывает разумные мысли,— вот как тогда, после чтения книги Генри Форда; правда, он тогда не связал ее слова с этой книгой...

— Я должна выучить английский.

— Английский? Зачем?

— Должна выучить...

— Но ведь у тебя теперь есть сын, тебе надо им заняться.

— Какой сын?

— Мария-Элена, ради бога!

Разве мать может забыть о сыне?.. Какой бы сумасшедшей она ни была... И ведь она многое понимает, иногда просто удивляешься... Но ничего нельзя было поделать.

— Какой сын?

Бедный Лоренсито! Сколько принес он страдания в их дом... С тех пор как он родился, прибавилось столько забот, столько осложнений... Нет, особенно много осложнений было после, когда умерла Маргарита... Началось с памятного разговора с испанкой Энграсией:

— Так что теперь вам придется мне уплатить, сеньор Рейес.

— Конечно, Энграсия.

— Я не про жалованье, я про другое.

— Что другое?

— Деньги, что мне должна была покойница.

— Как вы сказали?

— Пятнадцать лет я давала ей на сохранение свое жалованье.

— Вы сумасшедшая!

— Нет, благодарение богу, не сумасшедшая!.. Вы наживаетесь на сумасшедших.

Хитрая женщина не растерялась, потребовала почти две тысячи песо, но никакой бумажки представить не могла. Слезы не являются доказательством на суде, никто не стал ею заниматься... Еще и сейчас звенит в ушах ее голос:

— *Пусть все мои деньги обратятся в соль и воду!*

— *В сыне твоем сбудется проклятие, в сыне!*

— *Кровавыми слезами будешь плакать, Лоренсо Рейес де ла Торре!*

Подлая испанка! Сущий дьявол...

— *Кровавыми слезами будешь плакать!*

Вот сволочь! Это плохо, когда желают зла, что-то остается от этих пожеланий, человек ударяется о чью-то злую волю, спотыкается о нее...

— *Кровавыми слезами будешь плакать!*

Кровавые слезы... Кровь... Ее уже мало осталось в его венах, он уже ходячий мертвец, но с тех пор, с того самого дня, у него было столько причин, чтобы плакать кровавыми слезами!..

Сборщик налогов на недвижимость... Этот был посерьезнее. Сущий зверь... И с каким самомнением...

— Пятьдесят песо, сеньор Рейес?!

— По-моему, это разумная цена.

— Вы меня за дурака считаете?

— Да ведь весь дом не стоит больше четырехсот!

— Хотите, я найду покупателя, который даст тысячу двести?

— Я не сказал, что собираюсь его продавать!

Наглец! Все нервы истрепал... Тоже вам способ взимать налоги... Но, однако, и на него нашлось владычное слово...

— Если вас не устраивает сумма в пятьдесят песо, я обращусь к инспектору, полагаю, что его она устроит.

— Вы так думаете? Но это вам обойдется в сто песо, если не больше.

— Хоть в тысячу!

Сборщик налогов перешел от нападения к защите. Где ему было понять, к чему клонит владелец дома. А он клонил к тому, чтоб как можно скорее оформить свои права на дом и тем самым оградить себя от посягательств всех этих бандитов... Так что он решил не сдаваться...

— Ладно, сеньор Рейес, ваша взяла.

— Да нет, это ваша взяла — пятьдесят песо.

— Поскольку я записываю стоимость дома в четыреста, то вам пришлось бы уплатить мне по крайней мере сто.

Все в конце концов находит свое разрешение. Испанка с ее жалобами и проклятиями все-таки ушла. Никто никогда больше не слыхал

о ней. А чиновник положил в свой портфель пятьдесят песо. Другие пятьдесят были истрачены на Микаэлу — Стеклянку.

— *Духи тебе дорогу пролагают. Истинно, духи.*

А может, и правда духи способны кому-то помочь... Кто знает?.. Сама Микаэла, во всяком случае, очень старалась ему помочь...

— *Свет да озарит мозг твой!*

— *Милость да будет с тобою, милость!*

Все-таки там наверху должно же что-то быть, человек ведь не сам из камней вышел, богу, видно, пришлось-таки его создавать... Истина, конечно, не в пророчествах медиумов, но уж и не в выдумках попов...

— *Две «Верую» и один «Отче наш».*

А он в то время серьезно думал, что многим, чего мы достигаем в жизни, мы обязаны умершим... Огрызки сигар и кучи монет, красные тряпки и зажженные свечи, ритуальные петухи и маис... Какая дикость! И он верил в это! Но все-таки спириты не такие мошенники, как попы, скромнее как-то... Микаэла Стеклянка за сеанс брала песету, и при этом бедненькая негритянка каждый раз взбиралась босая на целую гору разбитых бутылок, рискуя порезать в кровь ноги... Попы ни на что подобное не способны... Доброе вино и шелковые сутаны — это вот по ним... А верить во что-то надо в этом мире, где еще столько неведомого... В спиритизме, может, много обмана, но есть что-то вещее, могущее служить доказательством, а когда человек доведен до отчаяния... Пусть это нелепость, сказка, все что хотите... Эти миллионы умерших в пространстве, какое-то летучее кладбище... Суеверие — безусловно! Однако иногда человеку все представляется в ином свете, иногда вдруг выходишь из-под контроля разума... Он сам-то уже было бросил всю эту чепуху, целые годы не ходил на сеансы и думать забыл, а как жизнь схватила за горло, то и вспомнил — и опять стал ходить... Так уж устроен человек...

— Микаэла, спроси своих духов, когда это кончится...

— Это?

— Ну да, в правительстве...

Словно и сейчас он видит ее перед собой... Долгая затяжка, колечко дыма, два прыжка на куче битого стекла...

— В следующем месяце.

— Это точно?

— Так сказал дух...

И ничего не произошло.

— Вот в конце месяца...

Ничего... Так как он уже потерял веру, Микаэла утверждала, что потому и не сбылось...

— А потом время мертвых — другое, чем время живых.

— Как это так?

— Время мертвых — особое.

— Я не понимаю.

— Милость да будет с тобою!

Словно и сейчас он видит ее перед собой... Облако дыма над головой, и тело в бешеной тряске над битым стеклом...

— Ты должен верить.

Как тут верить?.. Когда такое происходит...

— И ждать.

И он ждал, с тех самых пор ждал...

— Месяц для мертвых — это, может быть, век для нас.

Он перестал ходить к Микаэле и к другим спиритам... Зачем?.. Какая чушь! Просто невероятно, что он мог хоть на мгновение поверить всей этой чепухе, слепо принять ее, будто слово божье... Даже поверил,

что это — тоже своего рода наука... Да, но в то время у него были доказательства... Доказательства?.. Его собственная вера, страстное желание верить, необходимость верить — вот и доказательства, других не надо. Человек дает обмануть себя, потому что иногда сам хочет обмануться, иногда ему очень нужно обмануться... А потом, может быть, Микаэла под конец... Ну да, все способности притупляются, и медиумы тоже изнашиваются, в них происходит внутреннее сгорание, как случилось с Толстухой...

— Вы можете сделать так, чтобы Маргарита меня полюбила?

— Это старуха-то, про которую ты мне сказывал?

— Да.

Толстуха, старая мулатка, от нее еще всегда пахло каким-то зельем...

— Ты что, рехнулся?

— Почему рехнулся?

— Да ведь она старей меня!

— Мне не для этого.

С Толстухой ничего не получилось, с Микаэлой было легче...

— Увидишь, я ее тебе заворожу.

Омовение в настое душистых трав, глиняный кувшин, сорок сентаво и четыре выкрика у истока четырех дорог, в полночь...

— *Донья Маргарита!*

— *Донья Маргарита!*

— *Донья Маргарита!*

— *Донья Маргарита!*

Неужели он был способен на эти безумства?! Однако он выполнил все, и притом с благоговением, уверенный в благоприятном исходе... Вера... Ему нужно было пристать к какому-нибудь берегу... Лоренсо Рейес де ла Торре.

— *А потом разбей кувшин о землю, и сразу же беги прочь не оборачиваясь... Увидишь, все сбудется.*

Кувшин разбился на тысячи кусочков посреди дороги...

— А потом зажжешь четыре свечи за четыре квартала отсюда.

— Четыре свечи?.. Прямо на улице?

— А что такого?

— Да ведь...

— Ничего тут худого нет, зачем стыдиться...

Свечи были зажжены и горели в тусклом, безветренном рассвете, быть может, до утра, и никто не видел, как он зажигал их... В Сантьяго люди ложатся рано...

— *Донья Маргарита!*

В доме всегда про нее говорили, и отец отзывался о ней очень резко, уверяя, что эта кузина — «бородавка на его жизни»

— Сука она.

— Ради бога, Фернандо!

— А как еще ее назовешь!

— Но при ребенке!

— Потому я и сказал «сука». Другое слово больше бы подошло.

— Фернандо!

Донья Маргарита один раз приезжала к ним, сидела больше часа...

— *Какой хорошенький мальчик!*

Мать с трудом цедила слова, глядя на донью Маргариту во все глаза, и часто отлучалась на кухню, словно надеясь, что гостья поймет и уйдет...

— Ты не должна была пускать ее.

— Ради бога, Фернандо! Она твоя кузина.

— Кузина! В мой дом никогда не были вхожи шлю...

— Фернандо!

Вот и ограничиться бы этой встречей, и потерять бы на жизненном пути донью Маргариту, но однако... да, все это из-за тети Мерседес... ее вина... Мерседес... Это она впутала его во всю эту историю, это из-за нее вошла в его жизнь донья Маргарита и с нею Мария-Элена... Тетя Мерседес тоже была типаж! И о ней в доме немало толковали, но до открытого скандала, правда, никогда не доходило. Она была помешана на деньгах... Кремень была баба!

— Ты знаком с Маргаритой?

— Я видел ее только раз, но много слыхал о ней.

— Ты должен с ней подружиться.

— Я? С этой женщиной? Зачем еще?

— Ее дочка получит в наследство двадцать тысяч песо.

— А вы откуда знаете?

Деньги... деньги... Ну кто на его месте не прислушался бы к словам тети Мерседес?.. К медовым ее речам?..

— Двадцать тысяч песо, мой мальчик.

— Да кто вам-то сказал?

— У меня — связи. Ты никогда не слыхал о графе Монте?

— Слыхал, мне известна эта история...

— Известна, да не целиком... Ты видал когда-нибудь Марию-Элену?

— Нет, тетушка.

Люди так любят смаковать всем известные подробности, если они могут хоть еще раз унизить кого-то...

— У Маргариты была связь с графом, и последствие этой связи — Мария-Элена...

— И вы специально послали за мной, чтобы рассказать мне эту историю?

— А ты не понимаешь, к чему я клоню?

— К чему клоните?.. Нет...

— Ты можешь жениться на девушке...

Ему и самому пришла тогда в голову эта мысль...

— Я?

— Да, ты.

Мерседес была жадна, как черт, ну да она уже умерла... Столько она тогда старалась, боролась, а выудила всего-навсего пятьдесят песо... За все-то свои усилия...

— Мария-Элена гораздо старше меня.

— И хорошо — раньше помрет.

— Вы сумасшедшая.

— За двадцать тысяч песо стоит сойти с ума.

— А говорят, эта Мария-Элена действительно сумасшедшая.

— Не сумасшедшая, а дурочка. и это тебе на руку.

— Но все-таки как вы узнали про наследство?

— Граф Монте — мой приятель, но не он мне рассказал... Я шью на его сестер, и одна из них мне и рассказала, не далее как вчера... Я сразу о тебе подумала... Ты знаешь про кучера?

— Слыхал что-то, да никогда его не видел... Да вы сами мне говорили, что граф выдал Маргариту за своего кучера...

— Но я тебе не сказала, что это была моя идея, это мне пришло в голову, когда стало заметно, что она в положении. Так Мария-Элена родилась не безымянной какой-нибудь, а с фамилией. А граф никогда не забывал о дочери... И не забудет, когда ты будешь его зятем...

— Да как вы все это себе представляете?

— Перво-наперво ты должен завоевать симпатии Маргариты. Это будет не трудно: она немногим умнее дочери и ничего не знает про наследство...

...Это была идея тети Мерседес... А ему чужие идеи всегда казались блестящими...

— Ей нравится, чтобы ее называли не просто Маргарита, а донья Маргарита...

Идея тети Мерседес... Если б он знал тогда!.. Но он был заворожен этой блестящей идеей, не мог он ничего обдумывать... К тому же в ту самую ночь ему приснился сон. В сны уж можно верить; они ведь — тайна, быть может, душа в них свои предчувствия выражает... Ему, например, сны всегда помогали в жизни, указывали путь.. А в ту ночь ему приснилась старуха с растрепанными волосами и ножом в руке, указующая на цветы багряные, кучей лежавшие на земле, над ручьем...

— *Они твои.*

Понюхав их, он убедился, что это вовсе не цветы, а... «Это» означает деньги... А нож — несчастье, конечно, но он тогда об этом не подумал!.. Все оказалось так легко... Маргарита была уж не дурочка, как ее дочь, а просто кретинка...

— Вы помните меня?

— Ты — сын Фернандо.

— Да, сеньора.

— Такое же лицо... Я слышала, что он умер.

— Да, сеньора.

— Отчего?

— Рак.

— Все мы умрем, только не в одно время... Это я и Марии-Элене говорю.

— Мария-Элена это ваша дочь?

— Да. Ты не знаком с ней?

— Не имел удовольствия.

— Она там, во дворе, сеет камни.

— Сеет камни?

— Она ждет, что вырастет гора.

Вот тогда-то бы и уйти...

— Ты не думай, что она совсем уж сумасшедшая... Если б ты знал, как она готовит!..

Зачем он не ушел тогда?.. А ему хотелось уйти... К черту двадцать тысяч песо!.. Но он остался...

— У нас дома всегда о вас говорят...

— Могу себе представить!

— Да нет, говорят по-доброму.

— Ладно, ладно, я хорошо знала твоего отца...

Как она смотрела на него! Словно хотела увидеть насквозь, угадать все его мысли... Он чувствовал тебя так, словно стоит перед ней голый... И вдруг — этот глупый вопрос, в котором он почувствовал свое будущее...

— Ты куришь?

— Нет, сеньора.

Как бы ни помогали ему духи, вызываемые спиритами, не следовало полагаться исключительно на них... Маргарита экономила на табаке, он решил преподнести ей самые дорогие сигары, хотя и пришлось заплатить по песете за пачку. На третий раз старуха проявила к нему живейший интерес...

— А ты чем занимаешься?

— В скобяной лавке.

— А я думала, ты адвокат.

— Я даже не закончил среднее образование. Когда старик умер, мне пришлось пойти работать...

— Сейчас дела идут неважно, да?

— Да ничего, живем.

— С такими ценами на сахар, как сейчас... Цены ниже земли...

— Это вы хорошо сказали: ниже земли... Но мы ничего, не жалуемся...

II

Какой черствый хлеб... И собакам его не бросишь... А если запить водой... Кофе с молоком теперь уже не подается... Пересохло во рту, от этого сока еще больше пить хочется. Мария-Элена все не выходит, заперлась в своей комнате, госпожа вкушает свой завтрак — этот ритуал обычно длится полтора часа, если не больше. Бедняжка, ее разум слабеет с каждым днем... Скобяная лавка... Немножко гвоздей, винты и шайбы, несколько мешков цемента, водопроводные краны, шесть или семь оцинкованных труб и помпы «флит» для дезинфекции, сотни помп... Именно он привез «флиты» в Сантьяго, это был его первый коммерческий успех, теперь, конечно, никто уж об этом не помнит — где там! — люди такие равнодушные!.. Он это ясно понял еще во времена Мачадо *, с тех самых пор... Столько народу умирало с голода, и никому не было никакого дела, никому... Он, правда, тоже ничем не помог, но у него тогда и возможностей не было, так жаль... Три песо в день уходило на их дом на улице Гальо, за два квартала от лавки... Там все еще жила его старуха, которая уже все глаза выплакала...

— Мама, ну сколько можно!

— А что мне делать? Кому ж его оплакивать?..

— Да ведь столько времени прошло, четыре года.

— А хоть бы и целый век! Фернандо был такой добрый!

Слезы и нищета. Жизнь в семье становилась все труднее, надо было экономить...

— Нам придется перебраться жить в пансион.

— В пансион?

— Там дешевле... Скобяная лавка дает мало дохода.

— Пока был жив твой отец, она давала достаточно.

— Сейчас другое время. Сахар упал в цене.

— Какое же отношение имеет сахар к скобяной лавке?

— О господи, мама!

Такою уж была его мать — всегда не от мира сего, тупая и к тому ж упрямая; может, и она была сумасшедшая, бедняжка... Как она измучила его своим упрямством...

— Управляйся, как знаешь, а я отсюда никуда не тронусь.

— Но, мама, поймите...

— Мне уже не много осталось. Из этого дома я отправлюсь только на кладбище.

На кладбище ее провожали сын и несколько родственников и соседей в то декабрьское утро, когда было так холодно... Воспаление легких... Пришлось отложить на два месяца свадьбу с Марией-Эленой. Педро Фуэнтес убеждал отложить на полгода, но он тогда не очень-то прислушивался к советам Педро Фуэнтеса... Донья Маргарита постепенно занимала свое место... Много монет на столе у негритянки, много красных тряпок.. До чего ж глуп он был в те времена!.. Убедительнее всего для доньи Маргариты оказались сигары, высшего сорта, целыми дюжинами...

— Ты разоришься, мальчик!

— Ничего страшного, они стоят всего по песете за штуку.

— Два сорок — за дюжину!

* Диктатор Кубы (1925—1933 гг.).

— Вы заслуживаете большего.

Все оказалось легко, даже слишком легко, теперь-то он это понял... Судьба, наверно...

— Сколько тебе лет?

— Двадцать один.

— На семь лет моложе Марии-Элены. Невозможно.

О, если бы это оказалось невозможным!.. Он тогда выдержал трудную борьбу, и не с доньей Маргаритой, и не с Марией-Эленой... С самим собой... Ему было страшно, он и сам не знал почему, словно он мог тогда угадать то, что должно было случиться потом... Жениться на этом чудище... А во что же тогда превратится его жизнь?.. В ад кромешный... Он мог бы признаться себе, что жизнь его всегда была адом, с тех пор как он помнит себя, и всегда будет адом, до самой смерти... Но все-таки рядом с нею стало еще хуже... Бедная Мария-Элена!..

— Ты знаешь, что ты очень красивая?

— Плебеи не разбираются в красоте.

— Ну, значит, в моих жилах голубая кровь.

— Ты плебей, но король может сделать тебя знатным...

Тяжко жить рядом с такой женщиной, ох, как тяжко... Но что мог он поделать?..

— *Ниже земли...*

И даже если бы не из-за этого: беда всегда искала его... Он хотел обеспечить себе будущее... Лоренсо Рейес де ла Торре... Двадцать тысяч песо, дело можно будет расширить — тысячи труб, предметы санитарии и гигиены, сотни болтов и цемента... К тому же Мерседес взяла на себя все хлопоты...

— А если граф долго не умрет?

— Как это так не умрет!.. Ему около восьмидесяти, и у него больное сердце.

— Мне говорили, что он очень бодрый старик.

— Да ты побыл бы в его шкуре! В восемьдесят лет у человека не шкура, а саван.

Для человека собственная шкура — всегда саван, с самого рождения... Саван или пустой бурдюк, который он всегда-то стремится заполнить жизнью и который все пуст, все пуст...

— Но, Мерседес...

— Что еще?

— Жить всегда с сумасшедшей...

— Ты будешь жить с деньгами, а не с нею. На деньги ты купишь сотни женщин...

А вот Иоланду не удалось купить ни за какие деньги...

— *Подлец!*

Мерседес ошиблась во всем: граф умер совсем не скоро и спокойно поживал все в одной шкуре даже уже после рождения Лоренсито... А он вот уже тридцать лет прожил с сумасшедшей, да не тридцать, а, верно, больше — теперь уж и не вспомнишь... Да, так вот в конце концов настал момент, когда можно было получить эти долгожданные деньги... Доктор Кабельо явился в скобяную лавку весь накрахмаленный, при галстуке...

— Граф не любил излишней гласности, потому он ничего не записал в своем завещании...

— Так как же?..

— Он сделал меня своим поверенным... Я хранил эти деньги в течение шести лет...

— Но какой-нибудь документ он все-таки оставил?..

— Никакого.

— Значит, вы, если бы хотели... Если бы не были честным человеком...

— Я не хочу никаких осложнений с умершими.

Словно и сейчас он видит этого доктора... Похоже было, что тот и сам сожалеет о своей честности...

— Есть одно условие.

— Условие?

— Да. Покойный выразил желание, чтобы мать наследницы ничего не знала.

— Ну, если таково было желание графа...

— Его последнее желание.

Он выполнил волю покойного, и притом с радостью... Так легче было избежать осложнений и с живыми — с матерью и с дочерью, которая хоть и сумасшедшая, могла впутать его в какие-нибудь неприятности... Уже во время беременности жены у него были дурные предчувствия...

Сумасшествие Марии-Элены — какое-то особенное, сегодня одно, а завтра другое... Лучше бы не иметь детей... Он старался, чтоб не было, девять лет прошло спокойно, а на десятый... Что делать? Привыкаешь к человеку... Лоренсито — новое испытание в его жизни... С началом беременности последние проблески разума покинули Марию-Элену, словно зародыш, по мере роста, высасывал из нее остатки серого вещества. Долгие часы проводила она, сидя в постели, зябко кутаясь в халат и требуя пищи... Она ела жадно, словно стремясь утолить голод многих поколений, и просила еще и еще...

— *Хлеба.*

— *Сыру и ветчины!*

— *Жареную курицу!*

— *Банан.*

— *Яичницу!*

— *Яйцо всмятку!*

— *Крутое!*

И несмотря на все, что она поедала, Лоренсито родился хилый... Словно вся пища шла только в нее, а сыну не оставалось ничего... Она, она одна ела, пожирала все — жадное животное с человеческим голосом...

— *Еще.*

— *Принеси.*

— *Давай.*

— *Купи.*

Скрюченные от жадности пальцы разверстых рук, слюна, закипающая в уголках рта... Голод всего человечества в одной маленькой женщине...

— Еще!

Словно она готова проглотить весь мир и его тоже внутри этого мира...

— Еще!

Словно и сейчас он видит ее такую, как тогда — омерзительную, ненавистную, страшную... Ему хотелось убить ее... Но одновременно он чувствовал какое-то внутреннее удовлетворение: вот он содержит голодного, а голодный рот — как глубокая шахта, она до времени только поглощает, но зато потом может дать золото...

— Еще!

Если послушать Мерседес, так эта шахта даст больше, чем поглотит...

— Ты совершил выгодную сделку.

Эти слова Мерседес сказала в негодовании, кипя от ненависти... Что вообразила себе эта фурия? Что он позволит ей ограбить себя?..

— Как? Только пятьдесят песо?

— А сколько вы хотели? Что вы такого особенного сделали?

— Идея была моя...

— И я вам плачу за вашу идею: пятьдесят песо, больше ваша идея не стоит.

Вполне, правда, разумный расчет, ни много, ни мало, как раз справедливо...

— Но не для такого выгодного дела, какое я тебе устроила.

— Я получил только две тысячи песо...

— Но получишь еще.

Несчастная старуха... она умерла в тот же год, должно быть, от досады...

— Будь ты проклят! Если бы я только знала!..

Бедняга всю жизнь ошибалась, жадное честолюбие всегда побуждало ее рассчитывать на что-то нереальное... Чего еще могла она в то время ожидать? Брак с Марией-Эленой не дал пока ни на грош больше, чем эти две тысячи песо... Доктор Кабельо... Откуда возник этот сморчок?.. В один прекрасный день он появился с конвертом в руке...

— Свадебный подарок от одного друга.

— От какого это друга?

— Он взял с меня клятву, что я не назову его имени.

Было нетрудно догадаться, кто этот друг... Даже донья Маргарита сразу поняла...

— Граф.

— Какой граф?

— Ты ничего не знаешь?

— Я? Нет.

— Как странно! В твоем доме, наверно, не раз об этом упоминали.

— Мне никогда ничего не говорили.

И старую историю пришлось выслушать еще один раз, с новыми подробностями, рассказанную голосом, в котором слышалась глухая обида...

— У него была любовница в доме напротив. Мне тогда и десяти лет не было...

Иоланде тоже было меньше десяти...

— *Подлец!*

— Он закармливал меня конфетами. А твоя тетка Мерседес была с ним в сговоре... Но виновата во всем я одна: я уже тогда все понимала!

Донья Маргарита не сошла с ума, не пошла на смерть, у нее была другая судьба, и она приняла ее безропотно и покорно, и только когда рассказывала, голос ее становился глуше от затаенной обиды... Граф для нее всегда оставался человеком, носящим титул графа...

— И когда мне исполнилось пятнадцать лет, твоя тетка Мерседес повела меня к нему, одетую с иголочки, тщательно причесанную...

Если бы он решился в тот год, когда той, другой, исполнилось пятнадцать лет!.. Да нет, было бы то же самое, ведь ошибка была совершена много раньше...

— *Подлец!*

— А выдать меня потом за кучера — это тоже была идея твоей тетки...

А ведь и он сделал почти то же самое, что этот кучер... Во всяком случае, нечто подобное...

— *Подлец!*

— Когда кучер умер, ко мне пришел Кобельо. Он принес мне документ на владение домом. И каждый месяц посылал мне через

своего служащего пятьдесят песо... Мне не говорили, от кого они, но я и так знаю.

Бедная донья Маргарита... Ей даже не пришлось по-настоящему понянчить внука...

— Он — единственная радость, которую мне бог послал.

Она умерла внезапно, вдруг упала на кухне — сердце... Только испанка Энграсия видела, как она умирала...

— Враз, господин... Словно ей кто душу вырвал!

Почему Марию-Элену так глубоко потрясла смерть матери? Без слез, без стонов, она неотрывно смотрела на гроб таким взглядом, словно все у нее внутри рвалось и горело. И произнесла только одно слово:

— Расплатилась.

Как будто понимала, как будто и не была сумасшедшей... В ее безумии есть какой-то странный разум, какой-то дьявольский талант интуиции, иногда даже кажется, что она совсем нормальный человек... Его тогда даже дрожь пробрала, какое-то скверное предчувствие ударило его...

— *Расплатилась.*

Вина кучера...

— *Подлец!*

Нет, донья Маргарита не была виновата... Что могла она сделать? Несчастная женщина сама чуть с ума не сошла, но что должно было случиться, то и случилось...

— Она так любила кучера!.. А я-то его хорошо знала, дрянной человек... Уж как он носился с девчонкой... Все поцелуи да объятья, словно она ему не дочь, а жена, а Марии-Элене было уже тринадцать. Ну, я ей все тогда рассказала, что он ей не отец и все другое... Я думала, что это ее расстроит, но чтоб она лишилась рассудка — этого я и вообразить не могла...

Кто же мог вообразить?.. Если бы все в жизни происходило так, как люди воображают...

— *Подлец!*

Бедная Маргарита! Но схоронили ее с почетом. Тогда скобяной лавки было уже не узнать: предприятие занимало два смежных здания и бурно разрасталось. Горы цемента, черепица и болты, эмалированные раковины и ванны... Дело, в которое втянул его негр Хамелеон, тоже как будто налаживалось... Проводить покойную пришли друзья из квартала Сан-Франсиско и с улицы Гальо. Было выпито много кофе и шоколада... И съедено много бутербродов... Лоренсо Рейес де ла Торре... Когда выносили гроб — он как сейчас это помнит,— Мария-Элена рванулась с кровати, забилась в угол комнаты, рыча, как раненый зверь, корчащийся от боли, ударялась о мебель, стлалась вдоль стен, хрипя и стеная, словно хотела убежать от чего-то, что внутри самого ее существа преследовало ее,— может быть, от этой боли, от своего собственного бешенства... Ему стало страшно... Всем кругом тоже стало страшно...

— Дайте ей что-нибудь.

— Оставьте ее, пусть выплачется.

— Но, Рейес...

— Оставьте ее. Она обожала мать. Потом успокоится...

Она совсем не похожа была на сумасшедшую. Никто из пришедших на похороны не подумал, что она сумасшедшая...

— Оставьте ее, пусть выплачется...

Лучше было оставить ее в покое: пусть выплачет свое бешенство здесь, одна, прижимаясь к стене, словно все отчаяние мира скопилось в ней,— полуголая, с растрепанными волосами, свисающими на лицо, и с таким ужасом в глазах, будто какой-то дикий зверь вцепился в нее

когтями и душит... Если б она умерла тогда... Эти стоны и хрипы долго еще потом стояли у него в ушах, и во время похорон, и когда пришли с кладбища, и позже, позже, словно все это происходило каждый день: похоронная процессия, двенадцать машин, медленно ползущих друг за другом, катафалк, венки... и медленный, тяжкий ход его мыслей...

— *Расплатилась!*

— *Я знала, что кучер — дрянной человек.*

— *Подлец!*

Стоны и хрипы... И мысли, тяжкие мысли, протянувшиеся по всей дороге до самого кладбища... Открытая могила, как разверстая пасть... Потом, словно зов трубы, упала на собравшихся тишина царства мертвых, и все постояли недвижно в этой тишине, а потом разом зашевелились и стали расходиться, будто сигнальный выстрел таинственного орудия дал отбой тревоги... Старуха была солдатом, погибшим при исполнении долга, она жила для него, Лоренсо Рейеса де ла Торре... Для того, чтобы эти пять слов громче звучали в Сантьяго... Лоренсо Рейес де ла Торре... Ему захотелось плакать, и странное чувство охватило его — чувство освобождения... Такова жизнь, она заквашена на смерти... Если б человек мог все знать заранее... Бедная донья Маргарита... Ее смерть была впечатляющей... Никакая другая смерть... Да нет, была еще одна, он тогда не вспомнил, первая в его жизни... Это когда умерла бабушка Лола, мать отца, давно-давно, он был еще ребенком, но ужасное впечатление осталось на всю жизнь... Более сорока лет прошло... Отец тогда вошел так внезапно, лицо его выражало испуг и какое-то удивление...

— Ну что?

— Я уже не застал ее.

— Бедная Лола.

Мать сразу захлопотала. Весь дом как-то разом забегал, захлопотал, словно смерть требовала хлопот и беготни...

— Нам придется ночевать там.

— Конечно.

— А Лоренсо?

— Пойдет с нами.

— Но он еще так мал!

— Пусть привыкает. Мы с тобой тоже когда-нибудь умрем.

— Фернандо, ради бога!

Они говорили, все время что-то ища, перекладывая, вороша, словно вдруг сошли с ума, а ведь уже сколько времени в семье были готовы к тому, что бабушка со дня на день умрет... А сейчас вели себя так, словно совсем не ожидали такого конца...

— Поторапливайся, Лоренсо!

— Надо же случиться такому горю!

— Да ей вчера как будто лучше было.

— Она сказала, что хотела бы еще лет двадцать прожить...

— Такова жизнь.

В те времена смерть была для него тайной, таким же чудом, как то, что, если открыть кран, водяная струя бурно вырывается наружу, разбрасывая брызги во все стороны.

— Так ведь вода идет по трубам, а трубы — на улице.

— А почему их не видно?

— Потому что они под землей.

— А кто толкает воду?

— Давление.

— А что такое давление?

— Есть такое особое устройство, там поршни...

— А что такое поршни?

— Ах, отстань, пожалуйста!

— Но объясни же ему, Фернандо...

— Ладно, сам поймет, когда вырастет.

Когда вырастет... То-то будет славно! Он будет носить длинные брюки, отрастит усы, будет бриться через день, да нет, когда суббота, то получится даже каждый день, потому что и в воскресенье надо бриться, и еще всегда будет ругать какого-то Гонсалеса...

— В один прекрасный день, когда он менее всего ожидает, я пошлю его ко всем чертям.

— Фернандо, ради бога! Обдумай раньше хорошенько, теперь не то время.

Можно было подумать, что этот Гонсалес необходим им, как вода, что они без него жить не могут... Тоже, видно, тайна какая-то...

— Если б у меня были две тысячи песо...

— Когда-нибудь будут, Фернандо, не отчаивайся.

Когда вырастет... Тогда он будет про все, про все понимать — и про водопровод, и про смерть, и про солнце... Почему оно светит, а?

— Светит, потому что для этого его бог сотворил.

И у него тогда всегда будут деньги, и он их будет хранить в бумажнике из крокодиловой кожи, и у него будет целая связка ключей, и он сам сможет открывать дверь прямо с улицы... Он все это так ясно себе представлял... Но в тот день, как умерла бабушка, взрослые поколебали в нем эту уверенность в своем будущем, они тоже, оказывается, не все понимали — вот смерть они не понимали и потому вели себя как сумасшедшие... А он-то был тогда совсем еще желторотый!

— Бедная мама!

— Столько натерпелась в жизни, и все — ни к чему.

— Во всем себе отказывала.

— Бедная Лола!

Его одели очень чистенько, в синий костюмчик с черным галстучком, но шапку взять не разрешили...

— Мы ведь не на прогулку.

И они поехали в той же коляске, в какой каждое воскресенье ездили на прогулку, запряженной все той же парой каурых, которые всегда так весело бежали мимо парка и дальше по кварталам Виста-Алегре и Пунта-Бланка, позвякивая копытами по асфальту... Цок, цок, цок... Дом тети Мерседес, эта мрачная комната с зажженными свечами... Он должен был поцеловать мертвое лицо бабушки... Он отчаянно рвался из рук отца, поднявшего его к кровати — гроб привезли позднее,— брыкался и кричал... Но руки отца были словно из железа... Это мертвое лицо...

— Фернандо, ради бога!

— Пусть поцелует ее!

— Оставь, ты ему руки сломаешь!

— Поцелуй ее!

Он чуть сам не умер тогда... Это ужасное желтое лицо, все в морщинах, закрытые глаза, нос, как-то свернувшийся набок, и белый платок, сжимающий челюсти и завязанный на макушке... Он словно и сейчас видит это лицо...

— Фернандо, ради бога!

— Пусть поцелует ее!

— Но ты не понимаешь, что он боится?

Страшное лицо мертвой бабушки...

— Поцелуй ее!

— Нет! Нет! Нет!

— Фернандо, ради бога!

Мать добилась, что отец отпустил его, но тоже была им недовольна...

— Почему ты не поцеловал бабушку?

— Мама, милая!

Он плакал так, как не плакал никогда раньше, словно был один на всем белом свете, беззащитный, меж диких зверей, у которых у всех было одно лицо — ужасное лицо мертвой бабушки... Много лет прошло с тех пор... А теперь... Да, точно, он уже не раз замечал, смотря на себя в зеркало, когда брился... Нос как-то скривлен в сторону, кожа пожелтела, и мыльная пена на подбородке — совсем как белый платок...

— *Почему ты не поцеловал ее?*

Та же бледность, то же мертвое выражение... Он стал похож на бабушку, когда она лежала в гробу... Видно, бог наказал...

III

Они жили тогда на улице Короля Пелайо... В дом на улице Гальо они переехали позже, когда он уже пошел в первый класс. Улица Короля Пелайо была широкая, с канавами по сторонам. Рано поутру по улице проходили разносчики китайцы, мать окликала их и принималась с ними торговаться. Рыбник, со своим оцинкованным белым лотком, перепачканным кровью, утыканным кусочками льда...

— Песету за этих рыбешек? Да ты с ума сошел, земляк.

— Китаес с ума нет, сеньола; китаес плодай лыба десево.

— Вот возьми реал, и хватит с тебя.

— Пятнасать сентаво, холосо...

— Дорожишься!

— Нет, сеньола.

Зеленщик, с бамбуковыми корзинами за спиной и на обоих плечах, переполненными красной редиской, нежным кресс-салатом, большими салатными листьями в каплях влаги...

— Сегодня не надо, хозяин.

— Смотли, китаес имеет фасол.

— Нет, не нужно.

— И помидол... болсой. Четыле ласа болсе...

— Завтра.

— Савтла, савтла! Китаес хосет кусат сегоня!

— Вот еще! Нахал!

Было время, когда матери что-то не удавалось сговориться с китайцами. И долго они не показывались из-за угла улицы со своими лотками... Ему все это помнилось как-то смутно, иногда только внезапным светом освещалась какая-то забытая картинка... Вот как спор из-за белого холста на костюм отцу...

— Полпесо! Да ты с ума сошел, земляк!

— Не хотес, не надо.

— Да уж давай, что с тобой делать.

Рыбы семья в то время ела мало, а белых костюмов сшили отцу всего два...

— *Цены на сахар выше неба.*

— *По десять сентаво.*

— *По пятнадцать!*

— Гонсалес времени не теряет. Если б и я мог начать дело...

— А почему тебе не попытаться?

— С дырявыми карманами?

— Можно откладывать прибавку к твоему жалованью.

— Откладывать... С двух тысяч песо...

— Начнем теперь же.

Он хорошо помнил, что подавалось тогда на стол... Рис и бобы на завтрак, иногда одни бобы с хлебом, а под вечер — суп... Каждый день одно и то же... Но это длилось недолго... Заблудшие китайцы показались снова, мать снова начала торговаться с ними...

— Реал и пять сентаво.

— Семь, холосо...

Белые костюмы отца сносились... Купили еще один, мышиного цвета...

— Только один?

— Тебе мало?

— И какой страшный!.. Как у кондуктора трамвая.

— Ну конечно, ты все думаешь, что мы — миллионеры...

Как раз в то время умерла бабушка, и в доме снова стали подавать вкусные завтраки и на обед — по три блюда, как по волшебству... Он тогда ровно ничего не понял, а тот разговор, тот спор, что начался в доме у Мерседес вечером, после похорон, и продолжался далеко за полночь, он понял только много лет спустя...

— Я не пойду на кладбище.

— Да почему же, Фернандо?

— Не пойду, и все.

— Фернандо, ради бога!

— И ведь ты — старший сын.

— Да, Мерседес, старший... Не такой я дурак! Не пойду.

— Что люди скажут!

— Пусть говорят, что хотят, мне наплевать!

Гроб унесли, мать плакала в голос, а отец накинулся на тетю Мерседес...

— А вы, сеньора, сейчас сядете вон туда и не сдвинетесь с места, пока не вернется ваш муж.

— Но почему вдруг?.. С ума ты сошел?

— Что с тобой, Фернандо?

— Садись вон туда!..

— Да как ты смеешь мной командовать?

— Фернандо, ради бога!

— Не такой я дурак!

— Что ты выдумал?

— Когда придет твой муж — все перероем.

— Фернандо! Ты думаешь, что...

— Мама ничего не запирала... Не надейся...

— Ну да... Не такой я дурак!

Ночью перерыли весь дом, все искали чего-то, заперли окна и двери, крались гуськом по комнатам — впереди отец, за ним — Мерседес с мужем, в хвосте — мать, и он с нею, схватившись за подол, умирая от страха, словно искали желтое лицо мертвой бабушки... Возле разверстого шкафа долго стояли, голоса звучали глухо...

— Не такой я дурак!

— Кто бы мог подумать!

— Золото!

— Доллары!

— Даже песеты!

— Поверить невозможно!

— Подумайте, пятьдесят лет клала туда... все, что ухватит.

— Черт знает что!

— И послушай, Фернандо... Не к чему было все это устраивать, стыдно... Я бы тебе сообщила, не забрала бы себе все-то...

— Ну да... Не такой я дурак!

Деньги считали этой же ночью, на кухонном столе... Много, очень много, он никогда точно не узнал сколько. Противно вспомнить... Вещи покойной... Отец и мать и тетя Мерседес рылись во всем, как голодные стервятники...

— Пополам, ясно...

— Ах вот как? А что мебель вся остается тебе, это не считается?

— Ну уж и мебель!.. Старая кровать и хромоногие стулья.

— Если ты не хочешь, я увезу.

— Да что мы будем делать с этой мебелью, Фернандо? Куда поставим?

— Твое дело — молчать!

Денег, верно, было много, жизнь изменилась в их доме с этой ночи...

— Наконец я распрощался с Гонсалесом!

— Что ты ему сказал?

— Послал ко всем чертям!

В ту пору мать что-то ударилась в религию...

— А мальчишка куда ходил?

— С Кончитой к субботней обедне.

— К обедне? Больше чтоб не смел!

— Почему, Фернандо?

— Ты разве не знаешь, что там всякий сброд собирается?

— Детей нужно воспитывать в религиозном духе.

— Если будешь посылать его к обедне, то он в босяцком духе воспитается.

— Надо будет отвести его в семинарию.

— Дай мне сначала завести скобяную лавку.

Лавку завели в скором времени, ему тогда еще и семи лет не исполнилось... Потом семинария «Страсти Христовы»... Торжественная тишина невидимой тучей заволакивала узкие коридоры, по которым проходили монахи в длинных сутанах...

— Что значит иезуит?

— Что-то имеющее отношение к Иисусу.

Рука отца, державшая его руку, вспотела — он, наверно, тоже был во власти всего этого... Большие внутренние дворы, лестницы, белые, словно мраморные, круглый диск тонзуры на макушках монахов...

— Падре, он ходил в одну школу, но, по-моему, не много там усвоил.

— Мы его проэкзаменуем.

— Он у нас очень нервный.

— Здесь он не будет бояться, правда, малыш?

На «малыша» уж бабы заглядывались, но старик, видно, хотел пошутить...

— Пришлите его завтра.

— Хорошо, падре.

Если б это завтра никогда не настало... Семинария повредила ему... Повредила в чем?.. Он не сумел бы сказать, но повредила; быть может, именно там родилось в нем это разочарование, это тоскливое чувство, что он — марионетка без собственной воли и делает какое-либо движение, лишь когда его дергают за веревочку... «Страсти»... Быть может, там он впервые постиг, что стоят деньги...

— Теперь ты должен прилежно учиться. «Страсти» обходятся дорого.

— Мама...

— Что?

— Завести скобяную лавку это лучше, чем работать с Гонсалесом?

— Слушай, что я говорю, и не спрашивай глупостей!

— Ладно, мама.

— Повтори, что я тебе сказала.

— Что я должен прилежно учиться в «Страстях».

— Ты должен правильно использовать те деньги, что мы на тебя тратим.

— Ладно, мама.

— Сейчас папа — владелец скобяной лавки. Доход, конечно, больше. С Гонсалесом он гроши зарабатывал.

Первый экзамен... Он дрожал перед толстым краснолицым монахом почти так же, как в день смерти бабушки, но отвечал хорошо...

— Девять и девять...

— Восемнадцать.

— Трижды восемь...

— Двадцать четыре.

— Восемь минус шесть...

— Два.

— Ты знаешь, что такое грамматика?

— Грамматика — это искусство говорить на каком-нибудь языке...

— И писать.

— Ну да, и писать.

— А о боге что ты знаешь?

— Бог сотворил землю.

— Землю, людей, животных, растения, воду, воздух и все сущее.

— Да, падре.

— А ты любишь бога?

— Мама говорит, что надо его любить.

— Очень любить.

— Да, падре.

Второй урок... Он тогда не знал еще, что такое футбол... Перемена показалась ему сумасшедшим домом — эта толпа мальчишек, бегущая за мячом, толчея, каждый стремится ударить первым... Монах, их классный наставник, отец Феррер, бегал вместе с мальчиками, запыхавшись, в экстазе, с такой силой ударяя ногой по мячу, словно хотел, чтоб тот лопнул... Вечерами, после занятий, когда все выходили во двор играть, отец ректор с балкона третьего этажа бросал конфеты... Ад и вечное спасение, злые и праведные... Надо было вести себя хорошо, исповедаться и причащаться, ходить к обедне, соблюдать все праздники и воскресные дни, для того чтобы добиться вечного спасения... Вечная жизнь под взглядом бога, в золотом сиянии, средь трепета ангельских крыл. А для злых — ад! Котлы с кипящим маслом, огонь, сера и черти... Черти с хвостами, с рогами, специально приставленные поворачивать грешников на сковородках длинными такими щипцами... Как тут не задрожишь?.. От страха, от ужаса и еще от любви, отчаянной, страстной... Бог, значит, это большая такая фигура с золотой бородой и огромными глазами, а иногда извергает огонь из пасти... Бог — дьявол... И надо, значит, любить это всемогущее существо, любить и повиноваться ему, чтобы он даровал вечное спасение...

— Мама, почему вы с папой никогда не ходите к обедне?

— Нам некогда.

— Но ведь лавка по воскресеньям закрыта, а завтрак теперь готовит Офелия...

— Слушай, отстань! Иди, пожалуйста, учи свои уроки!

— Ладно, мама.

Он старался и для них заслужить вечное спасение... Когда все в до-

ме ложились, в темноте, на коленях в изголовье кровати под сеткой от москитов...— «Отче наш», и «Аве Мария», и «Верую» десятки, сотни раз, долгими часами...

— *Прости им, господи... Они праведные, только не могут понять...*

На долгие годы... Бог, бог всегда и повсюду... На дворике по утрам в те дни, когда не шли к обедне, в тени фигового или мангового дерева, где так сладко распевают пестроперые птички, в солнечном кругу посреди хлопочущих кур, куда едва доносятся далекие шумы улиц, он поднимал глаза к небу...

— Все это сотворил бог.

Вслух, чтобы его слышали пестроперые птички и хлопотливые куры, чтобы его слышал господь, воплотивший себя во всем этом...

— Все это сотворил бог.

Бог, властитель душ, верховный судия, сулящий блаженство или кару, которые надлежит принять для наслаждения или муки навсегда, на веки вечные...

— Я хочу стать священником.

— Попом?! Да ты с ума сошел.

— Это ты виновата.

— Фернандо, ради бога!

— Разве не ты выдумала семинарию?.. Теперь расхлебывай!

— И как это тебе на ум взбрело, бедный мальчик?

— Я хочу служить богу.

— Служить богу?.. И что только у тебя в голове, сынок?

— В голове? Твои попы, которые из него уже идиота сделали!

Это было в четвертом классе, когда ему исполнилось одиннадцать... Он видел это у мальчиков старших классов... В журналах... Такие картинки, и на них женщины... Голые... На исповеди становилось все труднее.

— Падре... я... совершил... грех...

— Один или с кем-нибудь?

— Один.

Страх и стыд, ужас перед предстоящим искуплением... Идти пешком в церковь на покаяние, громко крича о своем грехе... стоять целый год на коленях пред алтарем, по два часа в день... Как же был он глуп тогда!

— Пять «Аве Мария» и один «Отче наш».

Обычное наказание... Как за пустой проступок, ну, когда отцу нагрубишь, выругаешься каким-нибудь таким словом...

— Пять «Аве Мария» и один «Отче наш».

А ведь отец Эрнандес как-то в своей проповеди так страшно заклеймил плотский грех...

— Это — ключ к вратам ада!

А отец ректор не придавал никакого значения...

— Пять «Аве Мария» и один «Отче наш».

Видно, не сговорились, каждый по-своему судит... Даже слова их были несогласны... Лучше уж исповедаться у отца Ластры, вот посмотрим...

— Грех... у меня...

— Надо сказать не «грех у меня», а «я согрешил».

— Я согрешил.

— Один или с кем-нибудь?

— Один.

— Две «Аве Мария».

Отец Энрикес считался строгим...

— Пять «Аве Мария».

Он тоже осудил такой грех.

— Эти грехи предают душу Люциферу. Имейте власть над собой...

Иметь власть над собой? Но ведь он только об этом и мечтал... На каждой исповеди он горько каялся и давал искренние обещания исправиться...

— *Никогда больше.*

— *Никогда!*

Но в его крови бурлило «это», запретное, пронзая его всего подобно огненному змею, воспаляя все его чувства, обращая в прах и пепел все, самые искренние и твердые его обеты. Это было что-то чуждое и вместе что-то сущее в нем, неразрывно связанное с ним, всецело овладевшее его сознанием...

— Сколько раз?

— Пять, падре.

— *Семь, падре.*

— *Девять раз.*

— *Одиннадцать раз, падре.*

Он думал, что сойдет с ума... Какая мука. Бог ведь все видит, все мысли читает. Двери ада разверзаются, двери ада... И однажды, рано утром, до уроков, на коленях перед алтарем, умоляюще глядя на распятого Христа...

— *Никогда больше, господи!*

— *Если согрешу, пусть молния меня ударит!*

— *Пусть молния убьет меня, господи!*

И с тех пор он все смотрел в небо, страшась любой тучи, испытывая дикий страх перед грозой... Первая после той молитвы гроза застала его дома, в постели...

— Мама!

— Что ты, милый?

— Посиди со мной.

— Да что с тобою?

— Иди скорей!

— Да ты весь дрожишь?

— Что с мальчишкой?

— Лоренсито, кажется, заболел. Что ты чувствуешь, сынок?

— Не знаю.

— Ну, выкладывай, в чем дело?

— Не знаю, папа.

— Ты чего это зубами стучишь?.. Грозы боишься? Ну, ясно! Грома испугался! Позор!

— Фернандо, ради бога!

— Трус! Тебе не стыдно?.. Тринадцать лет!..

— Двенадцать, Фернандо.

— Взрослый мужчина! И грозы боится. Как девчонка!

— Фернандо, ради бога!

— Ну чего ты боишься, скажи на милость?

— Не знаю.

— Должен знать!

— Оставь его, Фернандо.

— Давай выкладывай!.. Почему боишься грозы, признавайся!

— Не знаю.

— Не знаю, не знаю!.. Посмотрите только, у нас, оказывается, девчонка, а не сын! А ты вот что: оставь его одного в комнате — и пойдем спать!

— Мама!

— Я посижу с ним, Фернандо.

— Ну, как знаешь!.. Я б на твоем месте оставил его одного, пусть хоть сдохнет со страху.

Мать всю ночь, пока не перестали сверкать молнии, просидела возле его постели, положив теплую руку ему на грудь под москитной сеткой, словно чтоб согреть его заледеневшее тело.

Эта ночь... Молнии так и сыпались с неба, гром гремел оглушительно... И все, никакого наказания, ни одна молния в него не попала... Он внезапно подумал, что все попы — просто шуты гороховые и все их проповеди — вранье... Бог никого не наказывает, и ада нет, выдумали его... Ад-то есть, но только не на небе, а на земле, теперь-то он твердо это знает... Но тогда не знал еще и решил, что ада вовсе нету... И бога нету... Правда, так он думал недолго, что-то должно быть, ведь не возникло же все само по себе... А возмездие?.. Возмездие в жизни гораздо страшнее, чем в смерти, после смерти, и попы это знают, только скрывают от всех, выдумав всю эту комедию с адом и чертями... И вытягивают из людей деньги посредством этой комедии... С семинаристов дерут, с верующих дерут на милостыню и всякие там приношения, и все больше тянут, все больше... Деньги. Деньги движут миром, он уже видел это...

— *Не такой я дурак!*

На бабушкины деньги завели скобяную лавку, послали ко всем чертям Гонсалеса... Деньги. У «духовных наставников» были в семинарии свои любимчики, они им всегда премии выдавали и лучшие отметки ставили, все «отлично» да «отлично», и старостами класса выбирали... Франсиско Санчес и Луис дель Кампо... Он не вел себя так гадко и не грубил всем направо и налево, потому и не получил ни одной премии, почетной грамоты или еще чего в этом роде... Любимчики были все из богатеев — один сын алькальда, другой — губернатора, дети известных врачей и адвокатов, владельцев плантаций сахарного тростника и сахарных заводов... Деньги... Попы предстали ему совсем в другом свете с той минуты, как он взглянул на них без веры, и совсем другие мысли завертелись у него в голове... Плоть сильнее веры, побеждает все ее внушения... Плотский грех мог погубить его, но он спасся, вопреки попам, они осудили его, а он спасся... Офелия жила у них в доме и была хитра, сущий дьявол...

— Что с тобой, а?

— Со мной? Ничего.

— Ты смотри, будешь так продолжать, помрешь!

— Да о чем ты?

— Да я все вижу.

— Иди ты к чертям!

— Побелел весь.

Никто ничего не замечал, даже отец, а она вот...

— Мучаешься, а все так просто...

— Тебе нет дела!

— Есть дело, глупенький... Не понимаешь?

— Что ты хочешь сказать?

— Пойдем объясню.

Это было в ее комнатке за кухней, средь бела дня, дома никого не было, только они двое... Как ему не терпелось, чтоб попы узнали, особенно отец Энрикес...

— Один?

— Нет, падре, с женщиной.

— Десять «Аве Мария» и пять «Отче наш», каждую ночь в течение месяца.

Ночи существовали теперь уже не для молитв...

— Любимая!

— Ай!.. Да ты сущий дьявол.

Отец Энрикес за дурака его принимал, что ли: ужасался, потрясал

руками, а сам выспрашивал все подробности, заставлял повторять самые волнующие... И вдруг в один прекрасный день неожиданная кара...

— Во искупление расскажешь все твоему отцу.

— Как? Чтоб я сам рассказал моему...

— Он должен знать все, или ты погиб.

— Я ничего ему не расскажу... Не могу я...

— Тогда я не дам тебе отпущения грехов.

Очень ему важно!.. Отпущение грехов, подумаешь... Бог все проникает, все видит... он должен понять... А поп этот — сумасшедший, да нет, не сумасшедший, а лицемер просто... А вот он не хочет быть лицемером, он мог обмануть исповедника, обещать, что скажет обо всем отцу, а потом не сказать, но не захотел... Впрочем, отец Энрикес не так уж настаивал и даже не попытался сам поговорить со стариком... Тайну исповеди следовало соблюдать... Иначе кто же станет верить всем их выдумкам?.. Когда он перестал верить — какую муку он испытал, как хотелось ему умереть, убить себя!.. Несмотря на Офелию, на сознание, что ты любим, на все безумства этих ночей... Если б не спиритизм, к которому он прибег тогда, неизвестно, чем бы все это кончилось... Они жили в то время на улице Гальо, в двух кварталах от их лавки. По соседству жила одна знахарка, ее спиритические сеансы славились на весь Сантьяго, и держалась она с большим апломбом...

— Здесь вы имеете дело не с чем иным, как с настоящей наукой...

Он пошел как-то на один сеанс и потом уж не пропускал, каждую среду бывал у знаменитости... Там он впервые поверил в силу спиритизма. Как же не верить? У него были доказательства. Странный случай... странные впечатления... обо всем он и посейчас не мог думать спокойно... Он учился на третьем курсе, на первом и на втором пришлось просидеть по два года... Учителя были особенно суровы к мальчикам из духовной семинарии, особенно как-то ненавидели их, тут уж никакие связи не помогали... Приближались экзамены, он подумал, что, может, духи умерших... На спиритические сеансы в дом знахарки ходила одна докторша, сеньора Авила... На этих собраниях всегда бывал какой-нибудь врач, какой-нибудь адвокат — интеллигенция... В докторшу «вселялся» дух — страшный сквернослов — и все смеялся с икотой, как пьяница... Франсуа Можиль, гаитянский негр, который утверждал, что при жизни жил в Сантьяго...

— Учение, писанину твою, ты бросишь...

— А почему?

— Работать пойдешь, малый... Папаша твой сюда, к нам, подастся...

— К вам?

— Да, к нам, в нашу сторону. И вскорости.

Старик был тогда еще крепкий, здоровый, дородный, сильный, как бык. И вдруг у него начала болеть голова. Рак мозга свел его в могилу меньше чем через год, в феврале двадцать первого... И ему пришлось взять на себя все дела отца и стать хозяином скобяной лавки, когда ему еще не было семнадцати... Институт пришлось бросить, и он, грустно шутя, повторял фразу отца...

— *Я послал его ко всем чертям...*

Как могла докторша предсказать смерть его отца? Неужто правда, что этот гаитянин?.. Голос был совсем не похож на докторшу, незнакомый, хриплый, гнусавый такой, как у пьяницы.

— *Работать пойдешь, малый.*

Бухгалтер остался работать управляющим, старикашка... Но дела шли неважно, и через два года уже невозможно было платить ему ежемесячно сто песо...

— Мне очень жаль, дон Мануэль.

— Не огорчайся, сынок. Я найду другое место. Здесь я уже не нужен.

— Как так не нужны?

— Ты сам справляешься и поскольку ты уже не можешь платить мне жалованье...

— Шестьдесят песо я могу.

— Нет, благодарю тебя, я ухожу.

— О, что вы, дон Мануэль!

— Подыщу что-нибудь другое.

— Дон Мануэль, умоляю вас. Я один не справлюсь...

Ушел, мерзкий старик, у него уже было подыскано другое место... Деньги! Офелия тоже не согласилась получать вместо прежних пятнадцати десять песо, даже на двенадцать не согласилась...

— Как? И ты меня оставляешь?..

— Что делать, милый?.. Такова жизнь.

Мать знала то, о чем он и не предполагал...

— Как же ей не уйти? У нее пекарь есть! А пекари зарабатывают много денег.

Деньги, деньги, деньги!

IV

Эти сигары гаснут каждую минуту, словно в них воду налили... Четыре спички сжег, а еще и полсигары не выкурил, зато стоят тридцать пять сентаво, а не песету, как во времена доньи Маргариты... Коммунизм.

— Сеньор...

Мария-Элена, в чепце и переднике.

— Что случилось?

Какой странной радостью светятся ее глаза... Лоренсо Рейес де ла Торре.

— Сеньора говорит, что вы, сеньор, уже не должны записываться в батальон.

— Хорошо.

— Милиция демобилизована, только что сообщили по радио. Уже нет опасности вторжения.

Бедная Мария-Элена! Сердце разрывается, как взглянешь на нее... И без того горько, и все кругом непонятно, а тут еще это несчастье... Но ведь никто не виноват в нем... А он должен расплачиваться...

— Что ей сказать?

— Кому?

— Сеньоре Марии-Элене.

Логика сумасшедших... и притом железная логика. У них свой ход мыслей, настолько четкий, что порой усомнишься, сумасшедшие ли они... Лоренсо Рейес де ла Торре...

— Что ей сказать, сеньор?

— Что я согласен.

— А вы не думаете, что было бы лучше, если б пришли американцы?..

Совсем как Хамелеон...

— Хуже не будет.

— Как вы считаете, сеньор?

— Никак не считаю.

Бедная Мария-Элена. Слава богу, она уже уходит; как начнет что-либо обсуждать, так может час за часом, все на ту же тему, словно...

— Сеньор...

— Что еще?

— Еще сеньора просила меня сказать вам, сеньор, что я — ваша новая служанка.

— Хорошо.

— Меня зовут Аурора.

— Ага.

— Еще сеньора просила сказать вам, сеньор, чтоб вы ушли из столовой.

— Хорошо.

— И еще она просила сказать вам, что прежняя служанка, Кристина...

— Да, я уже знаю.

— Сеньора просила сказать и сказала мне, что вы не знаете.

Где ж предел, господь милосердный!

— Кристина поступила на курсы медицинских сестер...

— Да, я знаю, уже знаю.

— И сеньора говорит, чтобы вы, сеньор, шли в сад...

— Сию минуту.

Она идет за ним. Ни мгновения покоя в этом доме.

— Сеньора еще хотела, чтоб я сказала вам, сеньор, что она сегодня ничего не может делать по дому.

Ему не нравится в саду по утрам, солнце печет очень сильно, но какое дело сумасшедшим до солнца!

— У сеньоры сегодня очень важное собрание в нашем районе.

— Хорошо.

— И, пожалуйста, не усни тут в саду.

Сейчас она уже Мария-Элена, уже сама она — забыла, видно, что на ней чепец и передник... Лоренсо Рейес де ла Торре...

— Вчера ты мне целый куст сломал. Будь осторожнее.

— Хорошо, Мария-Элена.

Наконец ушла, наконец-то... Вполне возможно, что Мария-Элена — одержимая. Микаэла была уверена в этом...

— В твоей жене — целый сонм духов.

Есть что-то сверхъестественное в ее безумии... Лоренсо Рейес де ла Торре... Сигара опять погасла... Холодильник плохо работает, вода была совсем теплая... Коммунизм... Лоренсо Рейес де ла Торре... Пока она прибирает в столовой, в приемной будет спокойно. Сейчас она в кухне, произносит речь перед Хуаной, как на митинге. Добрая негритянка — просто мученица, пятнадцать лет терпит все ее выходки, и Висенте — тоже... Они никогда не говорят о ней, но заботятся как только могут... Эти шторы уже бог знает сколько времени не встряхивали. На улице пустынно, спокойно... Мотоцикл прогрохотал, никогда он не ездил на такой штуке, смешно!.. Грузовик с бойцами народной милиции... Глянька! До чего счастливые лица!

— Мы победим!

Лоренсо Рейес де ла Торре...

— Мы победим!

Лоренсо Рейес де ла Торре.

— Мы победим!

Лоренсо Рейес де ла Торре... Лоренсо Рейес де ла Торре... Вон тот негр похож на Хамелеона, всю панель занимает, шатается из стороны в сторону... Хамелеон был толще, да и выше, пожалуй... Где теперь Хамелеон, что делает?.. Лучше сесть, голова тяжелая, спать хочется, а он совсем не спит, ни днем, ни ночью, никогда не удавалось ему выспаться, сон с кошмарами — это уже не сон... Лоренсо Рейес де ла Торре...

— *Как дела, куманек?*

Что делает сейчас этот негр, где-то там, в Штатах? Хамелеон, по-

хожий на мешок жженого сахара, головастый парень. Он видал его както еще в «Страстях», но не думал тогда, что они когда-нибудь подружатся... Негр всегда ждал Арнольдо у дверей, каждый день приходил, и они вместе отправлялись гулять в Виста-Алегре, а, впрочем, один черт знает, куда они ездили.. Учителя, во всяком случае, этого не знали... Неженка Арнольдо бравировал этой дружбой и отвечал всем нахально...

— Куда это вы с этим негром ездите?

— А тебе что?

— А какие у вас отношения?

— Друзья.

— Друзья — и все?

— А тебе что?

— Вот я скажу отцу Энрикесу.

— Скажи, Лоренсо Рейес де ла Торре! Очень я испугался твоего отца Энрикеса, как же! Скажи, беги скажи!

Потом он видел этого негра у себя в скобяной лавке, когда отца уже не было... Подъехал на тележке, лошадь худущая, видно, сто лет не ела...

— Что вам надо?

— А я тебя знаю.

— Что вы хотите от меня?

— Ты учился в «Страстях», верно?

— Ну, учился.

— Вот я и говорю! Я всех ваших мальчишек помню... Так что, теперь в торговлю подался?..

Хотелось повернуться спиной к этому негру, сказать, чтоб шел вон из лавки, или послать приказчика, чтоб скорей отпустил ему товар, чтоб отделаться... Но как-то не получилось уйти сразу, и он стоял и разговаривал с этим человеком, подозревая, что тот и его считает таким же, как Арнольдо, что для негра все мальчики из «Страстей» одинаковы...

— Лавку, видно, папаша тебе оставил.

— Говорите, зачем пришли.

— Меня послал Пубильонес за трубами, что он тут у вас купил.

— Архитектор Пубильонес?

— Ясно, братишка. Какой же другой Пубильонес?

— Рамиро?!

— Повезло тебе, папаша лавку оставил.

— Называйте меня на вы...

Это «тыканье» оскорбительно, и лицо у негра отталкивающее, скользкое, как прозвище... Он и еще раз заходил, уже без тележки, вечером, когда лавка уже закрывалась...

— Вы гоните негра, а ему с вами говорить надо.

— Со мной?

О Хамелеоне еще со времен семинарии все говорили как о темной личности, и Рамиро тоже отозвался о нем с презрением, мол, весь Сантьяго знает, что это за птица...

— Что вам от меня надо?

— Могу предложить кое-что, что тебе подойдет.

— Не желаю иметь с вами дела.

— Не спеши, братишка... Ты не в курсе... У меня такое задумано... Твои деньги, мои руки.

— Послушайте, мне некогда...

— Не горячись, куманек.

Словно сейчас видит он эту сцену — наглое, самоуверенное, улыбающееся лицо... Теперь бы он, наверно, не смог ответить с такой резкостью, но тогда...

— Да как вы смеете?..

— Хорошее дельце, старик... выгодное... Проценты большие, миллионерами будем.

— Я уже сказал вам, что между мной и вами...

— Тебе подойдет. Незачем кому-то еще знать, что ты участвуешь. Я все беру на себя, а выручку пополам...

Он пошел на сеанс к Микаэле, не собираясь ничего рассказывать, если она сама не заговорит. Пришел и присел на край стула, нервничая, с каким-то дурным предчувствием...

— Негритенок один хочет тебя в одно дело втянуть.

— Негритенок?

— Да нет, большой негр, вижу его... большой и толстый, на лошадь похож... Дело тебе подходит...

— А если будут затруднения?..

— Никаких. Все тут просто, дух мне кивает и улыбается... Твой покровитель не может ошибиться. Сейчас он говорит мне, что негр — честный и в таких делах мастак. Не упусти случай.

И не хватало еще этого сна, что приснился ему той же ночью! Во сне все еще яснее было, чем на сеансе у Микаэлы: бык, огромный и черный, похожий на корабль, стоял возле козла, обернувшись в сторону дороги, а козел ел траву на лугу, зеленую, нежную такую...

— *Я все беру на себя.*

— Но я могу сейчас дать не больше ста песо.

— Да что ты, куманек? Это маловато.

— Торговля сейчас идет неважно.

— Я думал, ты дашь пятьсот...

— Ты что, с ума сошел?

— Ну, хоть двести пятьдесят для начала...

— Только, слушай, никто ничего не должен знать.

— Ясно, куманек.

— Мое имя не должно упоминаться ни при каких обстоятельствах.

— Это легче легкого.

Неделю провел он без сна, мучился мыслью — а вдруг негр его облапошит, но в воскресенье утром, еще до открытия лавки...

— Тебе полагается двадцать пять песо, но ты лучше не бери пока. Нам надо расширять дело.

— Но дай мне хоть пять песо...

— Нет, куманек. Ну что, тебя выручат пять грошей?

С этого момента он почувствовал доверие к негру — парень честный, сомневаться не к чему...

— Ну, как хочешь.

Приходилось только изумляться провидению Микаэлы...

— *Честный негр.*

Единственный честный из всех, кого он знал, никогда ни одного сентаво себе не присвоил... Постепенно он стал проникать в тайны дела, Хамелеон ничего от него не скрывал, был весь как на ладони...

— Куда ты вкладываешь деньги?

— В коммунальные услуги, в это дело можно хоть сто песо вложить, но есть и другие предприятия... Ром «бакарди», «кока-кола».. Есть где развернуться.

Он не думал раньше, что есть такие возможности. Хамелеон открыл ему глаза, доказал ему, что тут можно если уж не стать миллионером, то по крайней мере заработать много денег, кучу денег...

— А если тебе потом не заплатят?

— То есть как это — не заплатят?

— В таком деле нельзя рассчитывать на поддержку закона.

— Вот он у меня где, твой закон!

И негр сжимал кулак, огромный и черный, как лапа самой смерти...

— Со мной шутить не стоит!

Дело росло, росло, как пена, само собой, даже не требуя новых вложений; менее чем через год еженедельные отчеты Хамелеона стали казаться чудом каким-то, волшебной сказкой...

— *Пятьдесят песо.*

— *Сто двадцать, куманек!*

— *Эта неделя нам принесла триста песо.*

— *Можешь уже собирать твои цветочки, только не забудь, что нам надо увеличивать капитал.*

Это казалось выдумкой, тут и своим глазам не поверишь... Были, конечно, и потери, не все пошло в прибыток...

— Плакали наши сорок песо и барыш за две недели...

— Как? Прибыль со всего капитала?

— Нет, братишка, с сорока песо.

— Но что произошло?

— Да этот белый из представительства «Кока-колы», нет никакой надежды с него получить...

— Он уехал из Сантьяго?

— Да нет, повесился.

— Какой ужас!

В другой раз сумма оказалась побольше — двести песо. Это было связано с одним рабочим из фирмы «Бакарди»...

— Не выходил на работу всю неделю.

— А ты его адреса разве не знаешь?..

— Ну как же! Да только дома — одна жена...

— И что ж она сказала?

— Ничего не знает про этого типа, погибает сама, отчаялась совсем, не знает, что делать... Подумай, куманек, четверо детей, старшему девять, четыре голодных рта... Боюсь, пропадет, одна ей дорога — на улицу, разве что так вытянет...

— Да что за человек ее муж?

— Мошенник. Но не бойся, он еще когда-нибудь со мною повстречается на узкой дорожке, вот увидишь.. Мир-то тесный.

Негр не ошибался никогда — была, видно, в нем какая-то дьявольская смекалка, словно какие-то тайные чары помогали ему... И четырех месяцев не прошло, как беглец нашелся, и деньги свои они все вернули, даже часть процентов вырвали.

— Ну, не говорил я тебе?

— Что?

— Да про того типа из «Бакарди». Даже искать не пришлось, сам ко мне на дом пришел, тише воды ниже травы, прощения просил... По морде я ему все ж дал. Уезжает в Санта-Клара, а нам в уплату оставляет свою мебель, ту, что в его комнате стояла; пожалуй, можно захватить и из прихожей, правда, хлам, но что-нибудь да выручим за него...

— Я уж считал эти деньги пропащими, Хамелеон.

— Ты сразу нос вешаешь, куманек... Со мной шутки плохи, силой вырву...

Это была правда, мало кому удалось уклониться от расплаты с Хамелеоном, помнится, только тому парню из «Кока-колы» и еще кому-то, кажется; у Хамелеона, казалось, связи с самим дьяволом...

— С Хамелеоном шутки плохи.

Его боялись и даже как-то уважали — за силу, за красочность его речи, хотя вообще-то человек, берущий с других ростовщические проценты, уже не может быть порядочным... И Хамелеон часто бывал уж слишком крут с должниками, и сам рассказывал об этом своему компаньону, а иногда другие рассказывали...

— Я вчера одного белого выкупал...

— Выкупал?

— Ну да, в канаве.

— Хамелеон, побойся бога!

— Он чистенький такой шел, костюмчик на нем белый. В пивную шел, гад, а мне не заплатил. Я вежливо так подошел, давай мол, деньги, а он глядит на меня, дураком представляется... Ну, тут я и пустил в ход кулаки... А вода в канаве зеленая и... сам понимаешь... Костюмчик-то на нем враз заплесневел.

— Когда-нибудь ты в такой переплет попадешь, Хамелеон!

— Ну вот еще! У меня талисман есть.

— А ты на талисман не надейся.

— Как не надеяться!.. Мне его негритяночка одна дала, Микаэла.

— Микаэла Стеклянка?

— Да. Ты ее знаешь?

— Немножко.

И вдруг он все понял... Так вот почему она так хорошо угадала тогда, так уверенно говорила... И вовсе не дух ей все это сказал, просто она знала уже...

— *Дух мне кивает и улыбается.*

— *Негр — честный.*

— *Не упусти случай.*

Несколько дней он обдумывал, обдумывал, стараясь докопаться до правды... Вера ослепляет человека, всякий может обмануться, но ведь Микаэла ему так помогала... и все шло хорошо, всегда шло хорошо, пока не наступила эта внезапная перемена... Теперь-то он уверен, что маленькая негритянка не имела ровно никакого отношения к его судьбе, это он сам все чего-то добивался, столько прилагал усилий, а так никогда и не смог освободиться от всех своих несчастий, они преследовали его...

— *Подлец!*

Да, но тогда-то он был слеп, Микаэла его околдовала, и он тупо приписывал все мертвым, духам, которых вызывала маленькая негритянка... Хамелеон помогал ему добывать деньги, его дело разрасталось, он покупал и продавал много цемента, болтов, электротоваров, моторов... Все шло так хорошо, словно само небо покровительствовало ему... Как он мог подумать, что Микаэла...

— Она никогда мне о тебе не говорила.

— Полно, куманек! Да если она про всех, кто к ней ходит, говорить начнет, так ей сто лет говорить придется.

— Да, ты прав.

— А ей лучше быть немой.

— Верно.

— Как могила.

— Как могила, именно.

Дела с негром шли отлично, не шли, а мчались как на колесах, словно сам бог управлял ими. Иногда только возникали мелкие затруднения...

— Я все хлопоты беру на себя, но вот если меня посадят, то уж ты тогда сам управляйся, а то за решеткой человек что ж может сделать...

— Постарайся, чтоб этого не случилось, Хамелеон.

— Да я осторожно, только ведь ты сам знаешь, в каких только переделках бывать не приходится!..

— Ты должен сдерживаться, не делать глупостей...

— Да я осторожно, но вот если меня посадят...

Так он и продолжал, взрываясь каждую минуту,— то скандал устроит, то посреди улицы залепит пощечину «одному белому», то пиджак с кого-нибудь сорвет... Особенно в последний год их совместной «работы»... Совсем стал невыносим... И в один прекрасный день его аресто-

вали — хочешь не хочешь, а пришлось идти просить за него к капитану Миранде, бывшему тогда шефом полиции...

— А почему это вы так интересуетесь судьбой этого негра?

— Мать приходила, плакала, бедная женщина...

— Бедная женщина, в свое время прославившаяся как порядочная шлю... Вы что, не знали?

— Нет, капитан. Мне показалось, приличная такая старушка.

— Так вы, значит, интересуетесь этим типом...

— Да я вам говорю, капитан, мне мать жалко... Если вы можете что-нибудь сделать...

— Могу-то я могу, как же иначе?.. Но ведь этот субъект... Да вы знаете ли, что он сделал?

— Я не в курсе, капитан.

— Разбил в кровь лицо одному несчастному, выбил ему четыре зуба и вдобавок заставил есть землю.

— Да, понимаете ли, капитан, ведь это человек без всякой культуры, воспитывался на улице, его бедная мать...

— Я хотел наказать его покрепче, для примера, но раз вы за него просите...

— Очень прошу, капитан.

— Ну, ладно, если таково ваше упорное желание... Но придется возместить убытки кое-кому...

— Премного вам благодарен, капитан.

«Упорное желание» обошлось ему тогда в пятьсот песо и в несколько минут мучительного стыда от необходимости выслушивать явные намеки капитана на дурную славу, какой пользовался Хамелеон по всему Сантьяго...

— Так что вы просите за него потому, что вам мать жалко...

— Да, капитан.

— Этим неграм везет. Всегда находится какой-нибудь достойный господин, который ими интересуется.

Два слова, произнесенные с нарочитой, подчеркнутой любезностью...

— *Достойный господин.*

Он сознательно не понял намека, держал себя действительно достойно, давая понять, что какой бы темной ни была слава Хамелеона, к нему это не имеет ровно никакого отношения... И кроме того, ведь эту услугу оказал ему не кто иной, как шеф полиции, из тех самых, из приверженцев виселицы и расстрела, так что за такую услугу приходилось расплачиваться...

— Чтоб этого больше не было, слышишь, Хамелеон?

— Да я не виноват. Тот тип такую муть развел, что ж мне стоять и слушать? Ну, я его двинул разок.

— Капитан говорит, что ты его чуть не убил.

— Раздувает, да черт с ним, важно, что выпустил.

— На поруки.

— Да на свободе я никак не пропаду. Я буду с судьей говорить.

— С каким судьей?

— Да вот с судьей.

— А кто он, судья?

— Арнольдо.

— Арнольдо?.. Арнольдо Помарес?

— Ну, ясно, он самый, мальчишка тот из «Страстей» ваших. Теперь он адвокат, в суде работает. Мы-то с ним друзья, как раньше.

— И ты думаешь, что Арнольдо?..

— Он-то мне поможет, вот еще!

Знакомства, дружеские отношения, даже если они построены на темных делах, помогают людям, вся жизнь соткана из знакомств и друже-

ских отношений, он раньше как-то не замечал этого, до того самого дня... Арнольдо Помарес Рамбла, мальчик из хорошей семьи, так свысока обращавшийся с Хамелеоном...

— *Скажи, беги скажи!*

— *Мы-то с ним друзья, как раньше.*

— *Не боюсь я твоего отца Энрикеса.*

Адвокат, судья, когда-нибудь дойдет до прокурора, потом до председателя суда, а Хамелеон без всякого стеснения обращается к нему, основываясь на сомнительной дружбе, начавшейся с детства. И кто б мог тогда подумать, что ему тоже пригодится в жизни детское знакомство с человеком, оказавшимся таким «мастаком в делах»? А капитан Миранда, который при первой встрече заставил его перенести такие неприятные ощущения, тоже: пришло время — и оказал большую услугу, как настоящий друг...

— *Достойный господин.*

Дурная слава Хамелеона могла повредить ему, теперь, пожалуй, она бы ему еще больше повредила, но в общем дела шли хорошо, и более десяти лет подряд они выручали ежегодных восемь тысяч песо... Однако намеки Миранды заставили его призадуматься — может быть, если б все продолжалось как раньше, то доход уступил бы место убытку, а польза — вреду... Человек должен знать, когда приходит момент остановиться, освободиться...

— Хамелеон, у тебя уж, наверно, скопилось сколько-нибудь денег...

— Малость есть.

— Тебе этого хватит, чтоб продолжать одному?

— Да что это с тобой? Ты позабыл, что мы начали с двухсот пятидесяти песо?..

— Я начинаю уставать от всего этого; по правде сказать, не так уж мне по вкусу это дело...

— Лучше, что ли, нашел?

— Нет, не в этом дело, просто... Ну не по вкусу, и все! Если ты хочешь продолжать один, можешь оставить эти деньги себе...

— Нет, старик, с тем, что у меня имеется, я уж давно мог работать один... Я тебе ничего не говорил, потому что не хочу быть неблагодарным...

— Неблагодарным? Как так?

— Ты мне подсобил, когда я был в грязи, и не могу я тебя бросить потому лишь, что у меня теперь деньги есть, я человек прямой.

— И хороший друг, Хамелеон. Я хочу, чтоб мы навсегда остались друзьями.

— Можешь на меня рассчитывать, куманек.

— Но в деле нашем я дальше участвовать не хочу...

— Ну что ж, воля твоя... Я могу и один.

Да, Хамелеон был настоящим другом, помнил добро лучше, чем многие белые, и был честен, несмотря на все свои темные сделки, за десять лет он ни гроша не утаил...

— Завтра я тебе принесу твою долю.

— Оставь эти деньги себе, Хамелеон.

— Нет, братишка, никак невозможно. Завтра твои пять тысяч песо будут у тебя на столе.

— Пожалуйста, Хамелеон, не приноси мне ничего....

Было стыдно, ужасно стыдно сознавать, что этот негр своими руками сколотил двести тысяч песо на основе тех грошей, которые он дал ему вначале, когда затевалось дело, а теперь ему, оказывается, причитается половина, без всяких усилий с его стороны...

— И не говори. Твои деньги — это твои деньги.

— Ну, как знаешь.

— С тобой я работал легко, покойно, ты мне счастье принес.

— Это ты принес мне счастье, Хамелеон. Хорошо бы, чтоб оно и дальше нам улыбалось.

— И чтоб мы навсегда остались друзьями.

— Навсегда, Хамелеон.

— Ты еще миллионером будешь.

— Ты будешь им раньше меня.

Если б не разговор с Мирандой, он долго бы еще не расстался с Хамелеоном... Наверно, он поступил тогда правильно, человеку трудно оценить поступки, которые он совершил в прошлом... Бедный Миранда был так туп и упрям, уж если что-нибудь втемяшится ему в голову... Миранда не послушал его; наверно, раскаялся потом у стенки перед автоматами, когда уже никто не мог помочь ему... Один из друзей, которым это новое, эти перемены принесли несчастье, один из стольких... Такие уж времена...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Миллионером стать он бы мог, конечно, даже после того, как порвал с Хамелеоном. Мог бы... Теперь он уверен в этом... Ну и что? Чем бы помогли ему миллионы?.. Может быть, у него появилась бы особая осанка, особый вес в обществе... Миллион песо — это дано не всякому, возможно, такие большие деньги делают человека отличным от всех прочих... Когда он покупал дом, то был уверен, что станет миллионером, с тем и покупал... Хотя колебался, стоит ли... Думал о Марии-Элене, о ее сумасшествии — и колебался... Пошел даже к Микаэле, ее слово было для него тогда священным — слово умерших, ушедших в лучший мир...

— Что у тебя случилось?

— Продается один дом в Виста-Алегре, отдают за десять тысяч песо, просто находка.

— Не упусти.

— Но он стоит на Тринадцатой улице.

— Ну и что же?

— Ты ведь знаешь, что это число...

— Вот именно, дружок, потому-то тебе этот дом и подойдет. Для тебя число тринадцать — счастливое, я тебе уже говорила.

Вранье, никогда она ничего подобного не говорила; напротив, в каждое его посещение повторяла неизменно:

— *Твое счастливое число — один.*

Но в ту пору маленькая чернолицая спиритка всецело завладела его чувствами, и потому он поспешил уверить себя, что раньше дух, очевидно, ошибся, а теперешним откровением свою ошибку исправил... Чтоб убедиться, он в первой же партии в «болита» поставил на тринадцать свой «счастливый» песо и выиграл, и с этого дня много раз число тринадцать приносило ему удачу в игре... И все-таки он покупал дом без всякой уверенности... Мария-Элена... В этом квартале живут всё видные люди, начнутся пересуды, осмеют... В квартале Сан-Франсиско все было не страшно: район коммерческий, торговый, рядом с их домом был магазин готового платья, с другой стороны — мастерская, где делались портфели, бумажники и сумки, а напротив — меховое ателье... И к тому же знакомств у них особых не было, никто к ним не ходил. В Виста-Алегре все будет по-иному. «Стиль» дома установил Педро Фуэнтес, а

Педро Фуэнтес — человек умный, от него ничто не ускользнет... Ведь он с первых же месяцев понял все перемены, которые произошли в стране...

— Это коммунизм.

— Да ты с ума сошел.

— Это коммунизм, говорю я тебе.

— Да почему? Из-за закона о найме квартир?

— Из-за закона о найме квартир и из-за всего прочего. Ты прислушайся, как они говорят: «народ, трудящиеся, крестьяне»... Я разбираюсь в этих вещах и говорю тебе — это коммунизм.

Педро Фуэнтес знал, что говорит...

— *Это коммунизм.*

Он и позже ни при каких обстоятельствах не изменил своего мнения.

— *Это коммунизм.*

Педро Фуэнтеса не обманешь, он человек умный, умнее многих, и, когда он советовал переехать в новый дом, он тоже знал, что говорил...

— В Виста-Алегре ты познакомишься со многими людьми, стоящими людьми, которые в один прекрасный день могут быть тебе полезны.

— Да, но ты не знаешь...

— Чего не знаю?

— Я никогда не говорил тебе... Моя жена, она не... Это мое несчастье...

— Но что с твоей супругой?

— Она больной человек, голова у нее не в порядке. Так-то она тихая, никому зла не делает, но кругом соседи, знаешь, может, не все поймут...

— В Виста-Алегре никто не лезет в чужую жизнь, каждый сам по себе...

— Ты так считаешь?

— Уверен. Слушай, друг, а почему ты не покажешь свою супругу психиатру?.. В наше время они творят чудеса.

— Мария-Элена неизлечима.

Не надо было быть врачом, чтоб понять это, даже Микаэла заметила, а ведь видела ее только раз...

— Духи очень ею завладели, не дают ее мозгу работать... Ничто не поможет.

— Врачи думают так же.

— Ты должен покориться.

— Я уже покорился.

В Виста-Алегре никто ничего не сказал, все словно не замечали, хотя вообще-то они с самого начала должны были понять, но ведь здесь...

— *Каждый сам по себе.*

В то время пунктом помешательства Марии-Элены был английский язык и американцы, служанки были опять другие и двери дома в любое время дня и ночи были закрыты для всех — и для гостей, и для любопытных... Уже в первый месяц их жизни в Виста-Алегре сумасшествие Марии-Элены приняло новое направление...

— Ты уже знаешь?

— Что?

— Ты — кузен Генри Форда.

— Что ты говоришь!

— Не знаю, зачем ты скрывал это от меня, ты ведь знаешь, что от меня ничего нельзя скрыть.

С тех пор она уже больше не называла его графом.

— Мистер Рейес, мне не нравится яхта, которую мы купили.

— Ах, нет?

— Слишком дешева. Вчера я отправилась на прогулку по заливу, и моторы стали. Американскому крейсеру пришлось взять нас на буксир.

Американцы полностью завладели ее бредом, она ни на минуту не могла с ними расстаться... И вдруг теперь... Ну кто бы мог подумать?.. Кому могло бы прийти в голову такое?..

— *Товарищ.*

— *Чтоб видеть правду, надо быть сумасшедшим.*

Правда... Где она, правда?.. Зачастую у человека такое чувство, что он вот-вот ухватит ее, что она уже здесь, рядом с ним, и тогда чувствуешь себя ужасно, хочется умереть, как уже было с ним однажды... Может быть, в тот момент он и сам был сумасшедшим...

— *Подлец!*

— *Подлец!*

— *Подлец!*

— *Подлец!*

В вине утолил он свое отвращение к жизни.

— *Подлец!*

Правда была тогда в Иоланде, но позже он встретил ее и в Марии-Элене, а ведь в несчастной и безумной не может же воплощаться правда... Или, быть может, правда не одна?..

— *Граф.*

— *Мистер Рейес.*

— *Товарищ.*

— И потом я хотела сказать, что мне вовсе не нравится имя, которое ты дал яхте.

— А какое я дал ей имя?

— «Принцесса». Все принцессы должны умереть, надоели...

Ему тогда было только смешно...

— Я решила назвать ее «Good bye, sir» *.

Это началось после их переезда в Виста-Алегре, когда она в течение долгих месяцев зачитывалась книгой о Генри Форде... Лоренсито тогда не было еще двух лет, а Иоланда приближалась к расцвету своих восемнадцати, и ему показалось, что момент наступил, довольно уже этого бесконечного ожидания...

— *Подлец!*

Столько времени воспитывать эту девочку, лелеять, мечтать о ней, видеть, как она превращается в женщину, заранее ощущать вкус ее поцелуев и теплоту ее тела...

— *Крестный!*

Если б он знал раньше... Как страшно, ведь она уже навсегда во всем его существе, в его крови, в его сердце, она пустила глубокие корни, невозможно ее вырвать, и надо носить в себе, вечно, вечно... Это и есть кара за его преступление.

— *Вы?!*

— *Только мятую тряпку можете вы купить на ваши проклятые деньги!*

— *Подлец!*

Иоланда Монтеро, лейтенант революционной армии, там, далеко, в Пинар-дель-Рио... Она — с ними, но его она не ненавидит, не ненавидит, несмотря ни на что...

— *Подлец!*

Десять лет воспитывать ее, десять лет видеть ее каждый день, благословляя будущее счастье, единственное счастье, которое выпало ему на долю — воображаемое счастье, которого не было никогда, сладкий сон, принесший горькое пробуждение, счастье, ставшее несчастьем, огромным несчастьем, еще большим, чем жизнь с сумасшедшей женой. По

---

* До свиданья, сэр *(англ.)*.

крайней мере с Марией-Эленой не было ничего неожиданного, он с самого начала знал, что его ждет, но с Иоландой...

— *Крестный.*

И ведь он ей тоже доставил страдание, может быть, она и теперь страдает из-за него, а ведь он ее любит, все еще любит, несмотря ни на что, несмотря на то, что она — с ними, несмотря на то, что она — с другим...

— *Крестный! Крестный!*

И ничего уже нельзя поделать, все погибло, Педро Фуэнтес еще тогда сказал это...

— *Ты должен ее забыть.*

Педро Фуэнтес, его настоящий друг, его брат... В Виста-Алегре он помог ему войти в общество, сделал членом тамошнего клуба, познакомил с людьми...

— *Этот человек может быть тебе полезен.*

Педро Фуэнтес учил его жить, и Хамелеон учил, только по-своему — взял да и предложил выгодное дельце... Педро Фуэнтес открыл ему глаза на многое....

— *Надо жить бойчее, друг Рейес, под лежачий камень вода не потечет...*

И он стал жить бойчее; началось это в Виста-Алегре, перед концом мировой войны, на которой он сумел нажиться, особенно в те периоды, когда весь Сантьяго был объят строительной лихорадкой... Все строили дома, даже нищие, умирающие с голоду, словно сошли с ума от одной мысли — иметь свой собственный дом... Строили в Виста-Алегре, в Террасах, даже в Сан-Педрито и в Чичарронес, в квартале Гомеса — и всюду, как на самых фешенебельных улицах, так и в трущобах, всегда оказывалась нужда в каких-нибудь трубах, в дверных петлях, в гвоздях и цементе... Скобяная лавка процветала... Предметы санитарии и гигиены, электротовары, болты — все, что нужно при постройке дома, все поставляла скобяная лавка Рейеса, и клиенты платили не скупясь... Первое крупное дело — предприятие Хамелеона — в общем провалилось. Но кто бы мог подумать, что потом представится новая блестящая возможность обогатиться?.. Что ж, такова жизнь... Все стало вдруг иным, даже сумасшествие Марии-Элены приняло более сносные формы, стало как-то легче, забавнее даже с ее увлечением этим воображаемым высшим светом, где главную роль играли якобы американцы... Причиной такой перемены послужило для нее чтение книги о Генри Форде, которую ему подарил Педро Фуэнтес. Ему-то книга показалась скучной, но Мария-Элена прочла ее раз, верно, сто, не меньше, до тех пор читала, пока ее бедный больной мозг не наполнился новой путаницей...

— Мистер Рейес, я уже знаю, что значит «happy»...

— Как?

— «Happy»... Это значит «счастливый»... «I am very happy» — «Я очень счастлива».

Счастлива... Да, она была счастлива в своем безумии, в своем удобном мире... Ее бред освобождал ее от страдания, отдалял от жизни, от всего трудного, что составляет жизнь...

— *I am very happy.*

Она всегда внутри своего мира. Она счастлива внутри своего мира... Быть может, в ее безумном бреде заключено нечто такое, чего он еще не смог разгадать, чего он никогда не сможет разгадать... Да и стоит ли пытаться?..

— *Чтоб видеть правду, надо быть сумасшедшим.*

Теперь-то он уже побежден, навсегда побежден — произошло крушение, и уж ничто не заставит его подняться, ничто... Раньше было по-другому: он не обращал внимания ни на какие неудачи, был захвачен

борьбой в своем деловом мире, стремлением возвыситься, особенно первые годы жизни в Виста-Алегре... Новое окружение придавало ему новые силы, Педро Фуэнтес сразу же заметил...

— Ты стал другим человеком. Виста-Алегре хорошо на тебя действует.

Да, правда, переезд подействовал на него хорошо, принес ему удачу, через два года у него уже было выгодное дело и он встретил на своем пути женщину, которая одним фактом своего существования вознаграждала его за все неудачи...

Все благодаря Хамелеону...

— Он аргентинец. Дело, по-моему, для тебя подходящее...

— А почему ты сам не хочешь вступить с ним в сделку?

— Я? Да ты рехнулся! Я и так еле управляюсь. Деньги мои все в подвал идут...

— Как так в подвал?

— В дом. Я строю дом, большой, потом сдавать квартиры буду — «Дом Хамелеона», я такую дощечку повешу «Дом Хамелеона», на галерее повешу, большими буквами чтоб было написано... Восемь квартир, обойдется тысяч в тридцать, не меньше...

— А ты уверен, что это доходное дело?

— Доходное? Золотое дно, куманек. Золотое дно.

— А тот аргентинец, про которого ты говорил?..

— Если интересуешься, так я его тотчас приведу.

Аргентинец, Лусио Росини, плут с хамскими замашками... С ним была женщина, Патрисия... Он привел ее в скобяную лавку и, вытолкнув вперед, представил как жену — с законной супругой считаются больше, чем с любовницей...

— Моя жена...

— Очень приятно, сеньора...

Патрисия... Тоненькая, но с широкими бедрами и пышной грудью... Ну и наглым же субъектом оказался этот Лусио Росини!.. Может, он вовсе и не аргентинец, кто его знает, в Латинской Америке много стран!.. Но Патрисия действительно привлекательная женщина, заговорит — словно запоет танго, протяжно, томно...

— А чего ж тебе надо? Мы не женаты, но он мой муж....

— Когда мне нравится женщина, я хочу, чтоб она была моя — и ничья больше.

— Что ты, милый? Да ты в своем уме?

Патрисия... Она оказалась гораздо лучше аргентинца, если только он на самом деле аргентинец, право же, лучше, человечнее. Умела любить и была достойна любви, иной раз расчувствуется до слез, такая ласковая, чуткая, просто непонятно, как могла она жить с этим наглым человеком...

— Что делаете вы оба здесь, на Кубе?

— Что ты, милый? Да ты знаешь, не притворяйся, знаешь ведь!..

— Но за такие дела...

— А что в них особенного?

— Опасно.

— Чушь!

— Чушь, из-за которой попадают в тюрьму.

— Лучше тюрьма, чем помереть с голоду.

В тюрьму-то он сам чуть не попал, из-за этого проклятого дела с шинами, которое, казалось, шло так удачно, без сучка без задоринки... Лоренсо Рейес де ла Торре... В тюрьму, за такую-то ерунду... Он словно сейчас видит эту сцену...

— Почему у вас здесь столько шин?

— Они здесь хранятся.

— А эти шины принадлежат вам?

— Мне? Да что вы! Эти шины принадлежат капитану Миранде... Вы знаете капитана Гонсало Миранду?

— Что-то слышал.

— Очень известный человек, он в близких отношениях с самим Батистой, раньше был шефом полиции... Кажется, полковник тоже имеет какое-то отношение к этим шинам...

Полковник... Упоминание о полковнике как будто испугало инспектора, они были связаны какими-то общими махинациями... А он тогда словно предчувствовал, словно кто ему подсказал... Он потом несколько дней все боялся, что инспектор вернется, но пришел совсем не инспектор, а сам капитан Миранда, который метал громы и молнии...

— Ты что задумал? Погубить меня хочешь? Зачем ты меня-то припутал к этому делу?

— Но ведь мы же договорились, что если будут затруднения, то скажем, что ты...

— Ничего мы не договаривались! Я не имею никакого отношения к этому делу.

— Да ты же взял пять тысяч песо!..

— И еще пять тысяч возьму! Но я обещал только дать транспорт, а шины уже у тебя на складе. Теперь вы сами выпутывайтесь, я ни при чем.

— Так ты от нас открещиваешься?

— Сами выпутывайтесь, я сказал. Полковник тебе позвонит, и вы с ним решите, как действовать, а меня в ваши дела, пожалуйста, не вмешивайте.

— Но что же я скажу полковнику?

— А я почем знаю, сам решай... Но меня оставьте в покое, а то вам же хуже будет!

Аргентинец тоже не знал, что предпринять... Трус эдакий!

— Но, дорогой сеньор!.. Мне указали на вас как на человека состоятельного, а вот с полицией я совсем говорить не умею... Если б еще я был у себя на родине...

— Надо что-то делать! Иначе мы угодим в тюрьму...

— Угодим, если вы ничего не придумаете... Да и что такого? Мне не впервой....

Хорошо, что он тогда догадался поговорить с Педро Фуэнтесом, заинтересовать его этим делом, иначе хорош бы он потом был...

— Здесь пять тысяч шин, и из каждой можно выжать по крайней мере тридцать песо...

— Да я сейчас занят другими делами... К тому же этот капитан Миранда, по-моему, какой-то подозрительный тип....

— Да как тебе сказать, со мной он вел себя по-доброму...

— Может быть, я его мало знаю. У меня он как-то не вызывает доверия.

— Так ведь только благодаря ему удалось провезти шины в Сантьяго; он посадил в каждый грузовик по солдату, и шины спокойненько прибыли по шоссе под видом боеприпасов...

— В общем, хорош гусь твой капитан!

— Но ведь я уже связан...

— Так я не говорю, чтоб ты бросал это дело, может быть, ты на нем сумеешь здорово нажиться, но меня оно не интересует... Подумаем лучше, как выручить тебя из беды...

Какой нюх у Педро Фуэнтеса, как ясно умеет он видеть то, что должно произойти! С такой ясностью, словно оно уже произошло!.. Замечательный человек...

— Коммунизм.

И это он сказал тогда, когда никто ничего еще не понимал и все думали, что при новом правительстве будет спокойнее, без батистовских пушек... А из беды Педро Фуэнтес все-таки его выручил...

— Я поговорю с полковником.

— С полковником?.. Но он-то как раз с удовольствием посадил бы меня за решетку.

— И что бы он этим выиграл? Я хорошо его знаю. Его интересуют только деньги. Придется тебе раскошелиться.

— Да мы уж дали пять тысяч Миранде и обещали еще пять!

— Сколько ты выручишь на этом деле?

— Возможно, пятьдесят тысяч...

— И аргентинец столько же, да?

— Мы на равных началах.

— Так вы вполне можете пожертвовать двадцать тысяч песо полковнику, каждый по десяти.

— И Лусио согласится?

— Если не захочет попасть в тюрьму — согласится... Кто не заплатит десяти тысяч песо, чтоб избежать десяти лет тюрьмы?

— Ты так уверен, а ведь полковник... кто его знает?...

— Не волнуйся, пойдем лучше сейчас же к нему.

— А если не убедим?

— Пойдем к одному сенатору. Он с самим Батистой запанибрата... Но полковник согласится, вот посмотришь. Ты сначала ему предложи десять.

Батиста был тогда президентом, его выбрали президентом, и военщина еще не так разнуздалась, как это было потом, но все-таки было страшно... Встречаться лицом к лицу с полковником было не так уж приятно, особенно после того, что он в тот раз наговорил про полковника финансовому инспектору, даже опасно... Однако все оказалось легче легкого...

— Привет, Чучо.

— Как дела, старик?

— Слушай, Чучо, вот это мой друг Рейес, Лоренсо Рейес де ла Торре.

— Черт возьми, да я как раз хотел с вами поговорить!

— Ну, вот он и пришел к тебе.

Лицо у полковника стало, мягко выражаясь, серьезное... Впоследствии, правда, они подружились, но в тот день полковник показался ему диким зверем, а руки полковника — когтями дикого зверя, выпачканными в недавно пролитой крови жертвы...

— Вчера ко мне приходил инспектор Росалес, крайне взволнованный... Кажется, в вашем торговом доме, сеньор Рейес, обнаружены какие-то шины, и Росалес утверждает, что вы сказали ему, что они принадлежат мне...

— Простите, полковник, я...

— Здесь недоразумение, Чучо, я тебе все объясню...

— Нечего тут объяснять, и так все ясно. Зачем вам понадобилось впутывать меня в это грязное дело?.. По всей вероятности, грязное, если уж понадобилось припутать мое имя для того, чтоб его обелить...

— Не надо раздражаться, Чучо... Пойми, мой друг Рейес...

— И воспользоваться моим именем в такое время, когда правительство прилагает столько усилий, чтоб покончить с бандой бессовестных людей, которые наживаются на крови, проливаемой во всем мире за свободу...

Педро Фуэнтес прервал речь полковника. Педро Фуэнтес умел с ним обходиться, они были друзьями, и полковник всегда прислушивался к его словам, но на сей раз пришлось-таки попотеть...

— Слушай, Чучо, давай-ка ближе к делу... Мой друг допустил ошибку, ошибку непростительную, но он готов ее исправить...

Педро Фуэитес говорил минут десять без остановки, словно его завели; полковник слушал с большим вниманием, и вдруг его лицо расплылось в любезнейшей улыбке....

— Ну, поскольку сеньор Рейес — твой друг...

Обстановка сразу перестала быть накаленной... Разговор принял даже приятную форму...

— И все эти шины принадлежат вам?

— Да что вы, полковник! На какие деньги?.. Нас четыре компаньона...

— В наши дни шины — это весьма выгодное дело.

— Да не такое уж выгодное, полковник.

— Поверишь ли, Чучо, они продают по дешевке.

— Ну и неумно. Шины теперь как хлеб, за них можно хоть в три раза запросить...

— Да они недавно этим занялись, еще не в курсе... Но вернемся к нашему разговору, Чучо... Мой друг готов исправить свою оплошность, он дает десять тысяч песо....

— Да ты что вообразил? Как тебе не совестно?

— Двадцать тысяч, полковник...

Педро Фуэнтес был недоволен, что он сам напросился, он потом долго еще его попрекал...

— *Ты выбросил на улицу десять тысяч песо.*

— *Когда ты мне что-нибудь поручаешь, то сам лучше не суйся.*

— *Да-да, так же удачно, как в тот раз, помнишь, когда ты ни за что ни про что подарил человеку десять тысяч.*

Но тогда ему было уже все равно, он был в отчаянии...

— Двадцать тысяч, полковник! Двадцать тысяч!

— Нужно будет дать что-нибудь и Росалесу. Он так взволнован, бедняга...

«Взволнованный бедняга» мигом излечился от своего волнения, получив две тысячи песо, которые пришлось взять из сейфа скобяной лавки, потому что Лусио Росини согласился участвовать только в умиротворении Чучо.

— Военному — ладно, я согласен. Что поделаешь, придется дать. Но этому нахалу...

— Но так требует полковник...

— А что ж вы соглашались?

Не удалось уговорить аргентинца, да он особенно и не уговаривал— надоело все это до смерти... Две тысячи песо пришлись, видно, весьма кстати, инспектор Росалес весь расплылся в улыбке...

— С сегодняшнего дня можете считать, что у вас есть еще один друг.

Росалес впоследствии не раз ему пригождался, всегда такой услужливый...

— Можете располагать мною как вам угодно.

Но только губа у него не дура — за любую мелочь тащи ему в полицию сотни песо, а иной раз и тысячи...

— Друзья делают со мной все что хотят, я верный помощник...

И правда помогал, на него можно было рассчитывать в любом случае... В общем, на шинах удалось нажить более сорока тысяч песо и приобрести двух новых друзей — полицейского инспектора Росалеса и полковника Чучо. А главное, с этим делом было связано лучшее воспоминание, единственное светлое воспоминание в его жизни — память о Патрисии... Это были счастливые годы, когда Иоланда была еще ребенком, когда не было еще всей той горечи, что пришла позже... С Патрисией были свои трудности, но ни разу не причинила она ему боли, даже

когда ушла от него... Она была добрая, ласковая, сумела смягчить даже минуту расставания...

— Ты и сам знаешь, милый... Ты — единственный мужчина, которого я и правда любила. Не забывай меня!

— Почему ты не хочешь остаться?

— Ах, да я бы очень даже хотела, милый!

— Никто тебя не гонит...

— Долг гонит, милый... Он ведь не только мой муж, но еще из нищеты меня вытащил. Без него я б давно уж с голоду померла... Ты себе и представить не можешь, откуда он меня вытащил...

Такая уж она была, добрая душа, все по сердцу, а не по расчету делала... Перед самым падением Батисты он от нее письмо получил из Гватемалы, у нее были большие денежные затруднения, ей грозила опасность, этот субъект опять впутал ее в какую-то историю... Тысяча песо... Может быть, это был обман, трюк, придуманный Росини, но, бог с ними, он послал и не раскаивается, он бы и больше послал!

— *Мой храбрый гаучо.*

Он никогда больше ничего о ней не слышал, быть может, она уж умерла, или, напротив, этот мерзкий тип разбогател и она живет хорошо... Если б умер аргентинец, она бы снова была здесь — она, ее ласковые руки, ее мягкий голос, ее зеленые глаза...

— *Я тебя ужасно люблю, милый.*

Мужчина знает, какая женщина подходит ему, это точно, а он чувствовал, что так, как с Патрисией, не будет уже ни с кем. Есть мгновения, которые нельзя забыть, которые входят в самое плоть мужчины и женщины, их переживших... Может, когда-нибудь еще приведется ее увидеть?.. Да нет, это уж прошлое, невозвратимое прошлое... Что ей делать в сегодняшней Кубе? Она побоится приехать... Какие у нее полные бедра и теплые груди... Если б она вернулась!..

— *Что с тобой, милый?*

Но ее зеленые глаза смотрят в другие окна, и ее певучий голос раздается где-то далеко-далеко... Ту ночь он не забудет никогда, будет помнить сквозь все свои беды, сквозь свое крушение... Увлекаться женщиной такого сорта!.. Педро Фуэнтес каждую минуту повторял ему это, кто знает, может быть, из тайной ревности...

— Эта девчонка может свести с ума любого мужчину.

Может быть, Педро Фуэнтес был сам влюблен в нее, почему же нет? Наверно, завидовал, ревновал... Но никогда не выдал себя ни единым словом, это настоящий друг... Без Педро Фуэнтеса он никогда не стал бы тем Лоренсо Рейесом де ла Торре, каким ему удалось стать и каким он и сейчас был бы, если бы не пришло «это», новое. Еще бы несколько лет — и оба они были бы миллионерами. Предприятие с земельными участками оказалось просто золотым дном, Педро Фуэнтес носился с этой идеей по приезде из Гаваны и все время вводил в нее новые блестящие коррективы...

— В Гаване я видел одно выгоднейшее предприятие, которое вполне можно осуществить у нас в Сантьяго.

— А в чем суть?

— Продажа земельных участков.

— Это здесь еще при царе горохе заведено...

— Да нет, это совсем не то. Продажа в рассрочку, на долгий срок. Большая площадь, скажем около полутора тысяч акров земли, делится на участки, пролагаются две-три улицы — и в продажу... Миллионером стать можно!

— Ты полагаешь?

— Уверен. Мне еще надо получше изучить всю планировку, но, во всяком случае, дело крайне выгодное.

— Да я, понимаешь, с головой погряз в этой истории со сдачей в наем домов.

— А какое это имеет отношение?..

— Такое, что у меня нет ни гроша, которым я мог бы свободно располагать.

— Так это ж не сегодня надо, я просто хочу, чтоб ты имел в виду такую возможность.

— Посмотрим... Если только позже...

— Повторяю, можно сказочное богатство нажить.

Хамелеон уже успел тогда приобрести целых три здания, квартирная плата давала более шестисот песо в месяц...

— *Выгодное дельце, куманек, выгодное дельце!*

А если Хамелеон сумел...

— Я тоже могу.

— А я и не говорю, что не можешь.

— Хочу попробовать.

— Сдача домов в наем — дело верное, хотя, конечно, есть свои трудности, знаешь, какие бывают люди, у иного денег сто лет не вытянешь... Но это выгодно, не отрицаю. Попробуй. Я только хочу, чтоб ты не забыл об участках...

— Не забуду.

Звонок... Кто-то звонит. Пусть подождет! Не все ли теперь равно... В тот вечер Патрисия была в голубом платье — его любимый цвет, он так идет женщинам... Голубое платье... А под ним — ничего, она уже успела снять белье, пояс... Под голубым шелком только ее тело, упругое, теплое, золотисто-смуглое... Надо пойти открыть, может, это из комитета, опять с какими-нибудь повестками или извещениями... Ох, уж этот комитет... Нет, это почтальон, оказывается...

— Добрый день, товарищ.

Товарищ? С каких это пор еще...

— Добрый день.

— Вам письмо.

— Надо расписаться?

— Нет, товарищ.

Наверно, нарочно называет его «товарищ». Знает ведь, верно, кто с ними и кто не с ними, уж два года почтальоном работает в этом квартале...

— До свиданья.

— Храни вас бог.

Получил? Так тебе и надо.

II

Ему всегда везло с женщинами, еще когда он был подростком,— на это жаловаться не приходится. Офелия отдалась ему, когда он еще и вообразить не мог, что на него можно смотреть как на мужчину. Офелия многому его научила, она была женщина с опытом, но ласковая, нежная даже...

— *Не спеши, жизнь моя.*

— *Мальчишка мой славный!*

Как он страдал, когда она ушла, он задушил бы своими руками этого пекаря, к которому она ушла, но не пришлось: он ведь и не знал его в лицо... А про Офелию больше никогда и не слышал... Потом было заведение Лолы... Там он окончательно стал мужчиной, хотя ему тогда и пятнадцати лет не было... В первый раз с ним там случилась забавная история.

— Послушай, Качита, займись-ка этим сеньором.

— Что, я с ним буду детский сад разводить, что ли?

— Посмотрим, что ты скажешь после. Идем!

— Ой, малыш, какой же ты сердитый! Матерь божия!

Что-то такое должно же быть в нем, иначе почему же все они сходят по нем с ума?.. Он эту Качиту так разжег, что она вся дрожала от страсти... А как она потом на него взглянула. С удивлением, даже с благодарностью...

— Мальчик, ты где выучился?

— Родился ученый.

— Сегодня первый раз?

— Ну вот еще, вообразила!

— Знаешь, что я тебе скажу... Если ты здесь у нас другую выберешь, я тебя убью, наверно.

— Ах вот как?.. Ну, тогда я тебе ничего не заплачу.

— Не могу. Это ведь не для меня, для заведения.

Но не прошло и месяца, как она стала отказываться от денег...

— А если тебя заругают?

— Выпутаюсь как-нибудь.

— Да нет, возьми.

Не хотел он оставаться у нее в долгу, ни у нее, ни у кого другого... Платишь — и чувствуешь себя свободным, независимым, хозяином положения... Идиот! Все равно ведь остаешься марионеткой, которую кто-то дергает за нить, заставляя плясать и гримасничать, делать что не хочешь... Или что хочешь, как, например, платить женщинам за любовь...

— *Возьми.*

С Качитой в конце концов вышли осложнения, она была с причудами, как-то вечером даже ждала его у ворот семинарии...

— У меня будут неприятности из-за тебя.

— Если ты думаешь про того парня, так не бойся, он в Гуантанамо...

— Никаких мужчин я не боюсь, я наших попов боюсь.

— А попы разве не мужчины?

— И дома я не хочу скандалов.

— Но мне нужно было видеть тебя.

— Зачем?

— Чтобы видеть тебя, глупенький!

— Я приду вечером!

— А я не хочу ждать до вечера.

Домой он пришел в тот день уже около девяти, наврал что-то, но только одна мать поверила...

— Где ты пропадал?

— Был оставлен после уроков.

— До какого же часа?

— Попы обозлились на меня за что-то.

Но старик... Как взглянул тогда на сына — долгим пронзительным взглядом, словно хотел проникнуть в его мысли... И хмуро сдвинул брови...

— Не считай меня идиотом!

— Однако, папа...

— И замолчи, понял?!

Старик никогда не верил, невозможно было его обмануть, но чтоб ходить проверять в семинарию — этого не было никогда... До шестнадцати лет приходилось так вот врать, чтоб вечером вырваться из дому...

— Я в «Риальто».

— Опять?.. Ты что, теперь каждый вечер ходишь в кино?

— Я с воскресенья не был в кино, папа.

— Воскресенье было позавчера.

— Сегодня, говорят, хорошая картина.

— Делай как знаешь!

— А денег ты мне дашь?

Убедить отца бывало нетрудно, все в конце концов улаживалось. Старик любил поспорить, но деньги давал...

— Один песо, папа?

— А тебе разве надо больше? Сколько стоит билет в кино?

— Я хотел зайти закусить.

— Ну и хватит с тебя одного песо. И на билет, и на закуску.

— А если я встречу знакомых? Неприятно...

— Разоришь ты меня.

С матерью было проще, из нее можно было и побольше вытянуть, но тоже приходилось выносить всякие расспросы, страхи и уговоры, и к тому же на лице у старухи проступало невольно какое-то нездоровое любопытство, словно она обо всем догадывается, испытывая при этом тайное наслаждение от своих догадок...

— Только чтоб отец не знал.

— Но как же он может узнать, мама?

— Потакая тебе, я, вероятно, тебя гублю.

Стать настоящим мужчиной... Сколько для этого нужно труда, сколько хитрости, сколько лжи... Быть настоящим мужчиной — это очень трудно, это значит стать жестким и непреклонным, без всяких там сентиментальностей. Это значит заставить других бояться тебя — одним словом, это значит быть хищником среди хищников... Хорошо еще, что с самого начала он умел обращаться с женщинами, потому, наверно, ему везло со всеми ними... Со всеми, кроме Иоланды, и не потому, что он не нашел к ней подхода, нет, совсем не поэтому, просто так было предназначено судьбой, это было нечто роковое, что все равно должно было случиться... С другими женщинами все было легко, он всегда добивался чего хотел, даже с Микаэлой, несмотря на все ее колдовство, получилось как он хотел, во время этого обряда с раздеванием... Негритяночка была в то время хоть куда, стройная, упругая вся, и было ей, верно, не больше двадцати... Она потребовала, чтоб он снял костюм и остался в нижнем белье...

— Ты можешь запачкать костюм, и к тому же так мне легче работать.

Для обряда только что зарезали петуха, и комната наполнена была запахом душистых трав, крови и спирта... Оба они стояли друг против друга на битых бутылках, он — в сапогах, она — босиком... Ее черное, словно лакированное лицо казалось еще чернее в облаке табачного дыма, глаза ее горели... Он чувствовал на своей коже магическое прикосновение неостывшего маленького тела птицы, которой Микаэла проводила иногда по его животу... Он слышал дрожащие у нее на губах магические слова молитвы... Они были одни. Дверь была заперта...

— Что с тобой?

— Со мной? Ничего.

— Ничего?

— Просто я не из камня.

Они упали на кучу битого стекла... Сквозь жесткие завитки волос Микаэлы смотрели на него строгие глаза святой Барбары в колеблющемся пламени свечей... Битое стекло резало ему тело... В такие минуты ничего не замечаешь.. Микаэла потом была очень смущена...

— Пред ликом святых!.. Это ты виноват!

— Нет, Микаэла, это петушок виноват.

— Богохульник!

Любовь с Микаэлой была недолгая — раз пять или шесть были они вместе, он не хотел продолжать, хотя Микаэла охотно бы продолжала... Впрочем, так у него бывало со всеми женщинами... Со столькими жен-

щинами! Если считать, кстати, с того времени, когда он был еще подростком... Качита из заведения Лолы — ее потом какой-то забулдыга увез в Гавану, словно знал, что пора... Затем Мария... Заведение Лолы было не единственным, которое он посещал... Несчастные женщины не имели других средств существования... Почему же тогда все они внезапно переставали брать с него деньги?.. Заведение Марии Сото, заведение Трочи... Заведение... Уж и не вспомнишь, как их всех зовут... Одна из хозяек была толстая негритянка, старая уже, всегда в белых ситцевых платьях ходила... Свечечка — такое прозвище у нее было... Свечечка, хотя огонек, по правде сказать, в ней уже давно потух... Она всегда сидела в приемной, скользила сонным взглядом по девушкам, которыми распоряжалась, но, когда нужно, всегда оказывалась начеку...

— Вы уже уходите, молодой человек?

— Да.

— Вы заплатили за услуги?

Она всегда утирала свое лоснящееся лицо большим белым платком, всегда обмахивалась большим веером из пальмовых листьев и всегда ужасно боялась скандала...

— Не буяньте, молодой человек. У меня приличный дом. В своей семье ведь вы так себя не ведете?

Старая негритянка была кремень-баба, несмотря на свой белый платочек и свой веер... Свечечка... В такие «приличные дома» он ходил долго, до самой женитьбы на Марии-Элене... Потом на пути его стали встречаться совсем другие женщины... Иоланда, единственная его невеста... Ну да, Мария-Элена не была его невестой — невестой была Иоланда, одна Иоланда, сколько бы она ни называла его крестным... Десять лет была она его невестой, до того решающего вечера, о котором и вспомнить страшно...

— Так вот что было вам от меня нужно!

— Пойми, Иоланда...

— Какие вы все грязные — вы, мужчины!

— Иоланда, милая моя...

— Какие вы свиньи!

— Да ведь я люблю тебя, Иоланда!

— Подлец!

Она была его невестой еще с того далекого времени, когда он стал ее опекуном, десять лет была она его невестой — он ведь ни в чем ей не отказывал, у нее ведь было все, что только может пожелать человек, он кормил и одевал ее на свои деньги, приглашал к ней врачей, когда она заболевала, он отдал ее учиться в колледж... Это благодаря ему выросла она такая здоровая и красивая, такая образованная, утонченная... Он воспитывал ее, как девочку из богатой семьи... А в тот вечер... Боже мой!

— *Гадина!*

— *Подлец!*

Она оскорбила его, но и сейчас ему больнее вспомнить не эти оскорбления, а ее слезы, ее безутешные слезы... Какой бедной, покинутой девочкой, наверно, чувствовала она себя в тот вечер, как, наверно, страдала! Она тоже...

— *Вы?!*

Если б пришлось пережить все это снова, он по-другому поступил бы, по-другому говорил бы с нею... Каким неловким, каким тупым казался он теперь себе самому, вспоминая тот страшный вечер!

— Бессовестный! Подлец!

— Таков был договор с твоей матерью...

— Ложь!

— А почему, ты считаешь, она позволяет тебе всюду ходить со мной?

— Она ничего не знает!

— На какие средства, ты думаешь, жили вы обе все эти десять лет?

— Боже праведный!

Иоланда...

— Тебя я люблю, тебя, тебя, тебя одну, слышишь, тебя одну...

Если б могла она слышать его... Слышать снова... Но она далеко... Кто б подумал, что этот заморыш... Если б не землетрясение, если б Энграсия не заговорила тогда о доме своей сестры... Землетрясение... Февраль тридцать второго... еще до падения Мачадо... Они жили тогда в квартале Сан-Франсиско, с доньей Маргаритой... В то утро казалось, что весь Сантьяго сползает к морю, все быстрее и быстрее сползает к морю... Землетрясение...

— Спасите, спасите!

— Матерь божия!

— Спасите!

А то, что теперь на Кубе,— это тоже землетрясение: вот уж три года колеблется под ним земля, да нет, почти уж четыре...

— *Спасите!*

Вся Куба кипит, по всей Кубе — землетрясение, извержение вулкана, катаклизм...

— *Бог каблуком в землю ударил!*

Словно море вышло из берегов, и весь полуостров содрогается от землетрясения, и бесполезно для него и для подобных ему взывать о спасении, бесполезно — как во время землетрясения тридцать второго года... Громы взревели поутру, и долго грохотали их раскаты, и дома начали содрогаться, и неистовый шум и гул поднялся кругом, и Мария-Элена кричала пронзительно и тонко...

— Королевская армада! Надвигается королевская армада!

От испуга он даже забыл, что перед ним — сумасшедшая...

— Какая королевская армада?

— Альфонс XIII идет со своим войском, чтоб открыть и завоевать Кубу.

Дом шатался, толчки становились все резче и резче... Словно сию минуту обрушатся стены...

— Землетрясение!

— Двор Альфонса XIII будет здесь, в Сантьяго.

— Спасите!

А в другом доме, в другой комнате, донья Маргарита вместе с испанкой Энграсией тоже кричали так, что их можно было принять за сумасшедших...

— Спасите!

— Матерь божия!

— Спасите!

— Спасите!

Пусть бы тогда и упали на него стены его дома, пусть бы погребли его под обломками, все бы кончилось разом, не надо было бы еще мучиться — но нет, ничего с ним не случилось, он остался цел и невредим, просто судьбой было ему предназначено вытерпеть этот ужас и все, что случилось вслед за тем...

— *Подлец!*

Дом в Сан-Франсиско крепко стоял на месте, и стены его не рухнули от самых страшных толчков, хоть и потрескались вдоль и поперек... Никуда бы и не трогаться, да все испортила эта проклятая Маргарита с ее глупым страхом...

— Я не останусь здесь.

— Но почему же?

— Не хочу, чтоб кирпичи упали мне на голову.

— Так что ж нам делать?

— Уехать в другое место.

— Но куда?

— Все равно, хотя бы в парк, на бульвар Серрано, все равно... Здесь я не останусь.

— Сеньора, бога ради, успокойтесь!

Через каждые две минуты — новый подземный толчок и новые уговоры...

— Нужно уходить отсюда! Спасите!

Улица полнилась людьми и криками...

— Спасите!

Это был единый крик, вырвавшийся из тысячи глоток...

— Спасите!

...Эта мысль пришла в голову Энграсии, лучше бы она онемела, лучше бы умерла, чем сказать то, что сказала...

— Дом моей сестры Антонии в Сан-Педрито — деревянный...

Он тогда не очень-то знал, где именно находится Сан-Педрито. Донья Маргарита решилась сразу, не подумав ни мгновения...

— Так переберемся туда! Немедленно же!

— И вы думаете, ваша сестра примет нас?

— А почему нет, сеньор? Она очень добрая, а в несчастье люди всегда...

— Я не могу ехать. Меня назначили встречать короля Испании при его въезде в Сантьяго.

— Что ты такое говоришь?.. Спасите! Ну же, поторапливайся! Спасите!

— Зачем вы ее толкаете?

— А ты что хочешь?.. Чтоб я ее здесь оставила?.. Она-то, может, сумасшедшая, да я-то — нет. Оставайся сам, если тебе охота. А дочь свою я уведу.

Дом сестры, куда привела их Энграсия, был довольно тесный, и там уже расположилась целая семья из Виста-Алегре — Антония тоже была служанка, и ее господа приехали к ней, спасаясь от землетрясения...

— Здесь мы не можем оставаться.

— Домой я ни за что не вернусь... Ты разве не видишь, что делается? Спаси нас бог!

До чего ж боялась бедная старуха подземных толчков!

— Спасите!

— Вот если б моя подруга согласилась... Она тут совсем рядом живет.

Подруга согласилась... Подругой и была Матильда — человек, из-за которого пришлось пережить столько, столько горечи, Матильда, мать Иоланды... Как жаль, что он не умер тогда от первых толчков этого землетрясения!.. Дом оказался грязной лачугой... И как только люди могут жить в такой нищете? Заляпанный кирпичный пол, какое-то грязное тряпье в углу... Тошно даже вспоминать... Почерневшие стены были все в паутине, тараканы таращились изо всех щелей, всю мебель столовой составляли щербатый стол и два хромых стула, в пустой спальне стояла убогая кровать с проржавевшей сеткой, застланная мешковиной... Хозяйка, еще молодая, но уже беззубая, повязавшись засаленным, рваным платком, вышла к гостям...

— Входите, входите, сеньоры, этот дом — ваш...

Какой мерзкий дом!.. Донье Маргарите здесь, конечно, тоже не могло понравиться, и, поскольку уже с четверть часа подземных толчков не было, он решил попытаться...

— Большое спасибо, сеньора. Мы лучше вернемся домой, зачем же причинять вам столько неудобств...

— Ты один вернешься! Мы с дочерью остаемся здесь!

В это самое мгновение земля снова заколебалась...

— Спасите! Мы с дочкой остаемся, остаемся! Куда ж тут идти! Господи! Спаси нас! Спаси!

И опять заколебалась земля, еще глубже, чем прежде, и какой-то гул послышался...

— Спасите! Слышишь?! Мы остаемся, сеньора, большое вам спасибо... Уходи один, если хочешь... Мария-Элена, может, и сумасшедшая, да я-то — нет. Я ее мать и отвечаю за нее.

Он остался с ними. Подземные толчки продолжались все чаще — через каждые пять-десять минут и со все возрастающей силой, казалось, земля готова расколоться на части...

— Мне так неприятно, что мы беспокоим вас, сеньора...

— Не волнуйтесь. Люди должны помогать друг другу. Сегодня вам тяжело, а завтра, может, нам так будет.

На руках у женщины был грудной ребенок, а за подол цеплялся мальчик лет двух-трех, с темным худеньким личиком и вздутым животом...

— Ваш маленький — тоже мальчик?

— Дочка.

— А как зовут?

— Иоланда, ей уж скоро одиннадцать месяцев, а ему вот — два с половиной, Антонио его зовут, почти как сестру Энграсии.

Сестра Энграсии, Антония... Толстая, рыхлая испанка, вся какая-то взвинченная, озлобленная... Покуда все сидели у нее в доме и приходили в ужас от подземных толчков, она все время исподлобья глядела на свою хозяйку, которую приютила теперь у себя. И вдруг высказалась:

— Богу, чтоб нас покарать, достаточно разок каблуком в землю ударить.

И при каждом новом толчке повторяла:

— Бог каблуком в землю ударил.

Быть может, она говорила это вместо всеобщего «спасите!», у нее была своя манера выражаться...

— Бог каблуком в землю ударил!

Ее хозяйка, женщина из Виста-Алегре, сидела потупясь, избегая взгляда своей служанки, и только время от времени бормотала сквозь зубы:

— Спасите!

— Бог каблуком в землю ударил!

— Спасите!

... То, что сейчас на Кубе,— это тоже, наверно, кто-то ударил каблуком в землю... Бог или, быть может, дьявол, но кто-то ударил в землю, разбивая старую жизнь, и вот уже четвертый год дрожит земля, и вся прежняя жизнь раскалывается и падает в обломках, а земля дрожит, дрожит вся, до самого центра своего, до самого мозга...

И для этой нищей женщины это, наверно, совсем не землетрясение, как для него, Лоренсо Рейеса де ла Торре... Для нее это — возмездие, это падение богатых, это торжество справедливости... А для него это — начало его трагедии, рожденной той ночью, когда дрожала земля, трагедии, о которой он тогда и не подозревал... Заморышу, которого прижимала к груди нищая женщина, не было тогда и одиннадцати месяцев... Кто мог тогда предвидеть, что в будущем все так обернется?.. Что этот заморыш превратится в женщину, которая сведет его с ума?.. В красавицу... И ведь красавица-то выросла на его деньги... Лоренсо Рейес де ла Торре... Да наплевать на деньги! Ведь сколько усилий на нее затрачено... А, собственно, какие усилия? Деньги — и больше ничего... Теперь он платит за нее более дорогой ценой — страданием... А как она страдала из-за него, из-за его денег!..

— Я буду всю жизнь работать, как вол, но придет час — и я брошу вам в лицо все деньги, что вы на нас истратили... Все до единого гроша! Слышите?! До единого гроша!

Зачем ему его деньги?.. В сто раз больше потерял он во время обмена денежных билетов, в сто раз больше, чем истратил на ее воспитание за те десять лет, и на эту потерю ему теперь тоже наплевать...

— А зачем вы держали дома столько денег?

— Мне всегда нравилось иметь деньги под рукой.

— Но девяносто тысяч песо!

Циники! К чему спрашивали? Ведь знали, что все, у кого были большие капиталы в банках, поспешили забрать их оттуда, как только банки перешли к новой власти... Еще раз хотели проверить... А ему-то что? Все, что у него осталось после обмена, и сейчас в банке лежит, он даже не знает — сколько, даже не интересуется... В Соединенных Штатах у него еще доллары есть... А на что ему?.. Черт с ними. Ему ничего уже не надо, нет у него ни планов никаких, ни надежд... Все кончено... Он уж теперь покойник... Покойник, который дышит, двигается и страдает... Лучше б во время того далекого землетрясения стены дома обрушились на него... Это теперешнее землетрясение — страшнее... Он жив, но в то же время мертв... Мертв, но в то же время страдает...

— Бог каблуком в землю ударил...

Четыре дня прожили они в Сан-Педрито, четыре дня, хотя подземные толчки прекратились уже на третий...

— Можно перебираться домой.

Но донья Маргарита была еще во власти своего страха.

— Ты иди, если хочешь. Мы с Марией-Эленой эту ночь еще здесь проведем. Завтра посмотрим...

Ну что было с ней делать? Маргарита упрямилась, а он не мог же оставить свою жену среди ночи в этом логове под защитой матери, в общем такой же сумасшедшей, как дочь... Он и приходил-то только на ночь, потому что еще на рассвете отправлялся в свою скобяную лавку, а возвращался поздно вечером... Землетрясение как-то пощадило его лавку — только одна стена потрескалась, и несколько бутылей со скипидаром лопнуло, да еще части для насосов упали на пол и попортились... В доме, где они нашли приют, не было даже электричества, жалкое жилище освещалось лишь керосиновой лампой... Как забыть эти ночи на жестких матрацах, уложенных в ряд на грязном полу?.. Было бы нелепо перевозить сюда кровати... Даже Маргарита соглашалась...

— Только клопов домой завезем...

— И не отмоешь...

Он купил четыре матраца... Какими темными казались ночи в этом доме, рядом с Матильдой, матерью Иоланды, виновницей всей его трагедии!.. Ее вина еще больше, чем его... Матильда... Она подолгу сидела на одном месте, жуя и кроша черствый хлеб, с крошечной дочкой на коленях, завернутой в рваное тряпье, а грязный всклокоченный пес жался к ее ногам... Как-то раз хлеб выпал у нее изо рта, пес подхватил его и опрометью бросился во двор...

— Пусти, бродяга!

Она побежала за собакой, и из-за двери послышалась какая-то возня — это человек и животное боролись за черствую корку хлеба... Ему, помнится, захотелось тогда, чтоб в этой борьбе победила собака — самое голодное существо в этом нищем доме. Девочку мать кормила грудью и подслащенной водицей... Потому что всю пищу поглощали сама Матильда и мальчик со вздутым животом... А собаке и хлебных крошек не перепадало... Хорошо, если б этот кусок достался собаке... Послышался удар, жалобный визг, и Матильда вернулась в комна-

ту, вытирая отнятый хлеб подолом своей засаленной юбки... Как блестели у нее глаза!

— Проклятый!

Донья Маргарита пришла в ужас...

— Какой кошмар! Ты видел?

— Да.

— Завтра я скажу Энграсии, чтоб она приготовила обед и на их долю.

— Ну, ну, не будьте такой жалостливой, потом они вам на голову сядут...

— Какая нищета, господь милосердный!

— Не убивайтесь особенно.

— Да ведь она у собаки из пасти хлеб выхватила!

— Собака чище ее.

Он не мог проглотить ни кусочка из того, что готовила Энграсия в этой вонючей кухне, он обедал в городе.

— Скажи Энграсии, чтоб завтра приготовила обед и на мою долю.

— Ты будешь обедать с нами?

— Нет, отдайте мою порцию этим людям.

Наконец они выбрались из этого отвратительного дома, оставив хозяйке свои матрацы и двадцать песо в придачу... Он решил тогда, что ноги его там больше не будет... Но не прошло и месяца...

— Добрый вечер, сеньор.

Да, Матильде, наверно, было на роду написано приносить ему несчастье... И зачем только судьба столкнула его с этой женщиной!..

— Что вам угодно?

— Не узнаете меня?

— Узнаю. Вы — та сеньора, у которой мы останавливались... Матильда.

— Да, сеньор, Матильда, несчастная Матильда...

Она расплакалась...

— Матильда, которую бог все время наказывает, не знаю только, за что...

— А что у вас случилось?

— Что может у меня случиться, сеньор?.. Несчастье... Сыночек, помните?.. Антонио, его еще у меня сестра Энграсии крестила...

— Да, да, знаю.

— Умер он, сеньор, умер! Лихорадка его унесла.

— Глубоко вам сочувствую.

— Я собираю на похороны, понимаете? Не хочу, чтоб его в общий ров бросили... Хоть бы гробик купить, его тогда мои друзья сами на кладбище отнесут...

Пять песо — он дал ей пять песо и не стал ее задерживать, резко даже с ней распрощался, словно тогда уже предчувствуя, что лучше от нее подальше... Он нарочно так поступил, чтоб поняла, что он чужой жизнью не интересуется, что ему нет никакого дела ни до нее, ни до ее детей... Но она не хотела или, быть может, не сумела понять его... Через каждые два-три месяца заходила она в скобяную лавку, все с той же песней...

— Девочка моя погибает.

Девочка, Иоланда... Безрадостное детство в убогом жилище... Нищета, нищета...

— Девочка моя болеет. Не хочу, чтоб и ее смерть унесла.

— Но, сеньора, ради всего святого, почему бы вам не пойти к отцу вашей дочери?

— Увы, сеньор, ее отец умер, когда ей и трех месяцев не было...

И слезы, слезы, реки слез, моря слез... Чтоб не видеть этих слез, у него было только одно средство — деньги... И он давал их, давал еще потому, что не хотел, чтоб она потом рассказывала, как он со всей семьей жил четыре дня у нее в доме, а когда она обратилась за помощью — отказал... Так год за годом вытягивала она из него деньги своими жалостными рассказами о девочке и своими слезами, пока в один прекрасный день...

— Да я что-то не помню вашу девочку...

— Как так?

— Да вот не помню.

— Иоланда, сеньор, моя дочка Иоланда.

В то время ей было лет, верно, восемь, но какая она уже была красавица!.. Глаза черные-черные, огромные, полуоткрытый, словно просящий, нежный рот и взгляд глубокий, как будто из самой глуби ее существа... Иоланда, та же Иоланда, которую он знал позже...

— Как она у вас выросла!

— С вашей помощью, сеньор Рейес.

...Мысль эта пришла ему в голову внезапно. Что навеяло ее? Быть может, история Маргариты и графа Монте — он и сам не отдавал себе отчета... Он увидел перед собою женщину, маленькую женщину, которая вырастет и сможет принадлежать ему... Он не воображал тогда, что она станет такой красавицей, как в действительности, но того, что он вообразил, было достаточно — он потерял голову... Если б мог он тогда предвидеть... Но в тот вечер трудно было предвидеть, к чему все это приведет...

На только что купленном «бьюике» он подъехал к дому в Сан-Педрито.

— Сеньор Рейес!

— Ваша девочка не может дольше жить здесь.

— А что же нам делать?

— Переехать в лучшую квартиру.

— Да я об этом только и мечтаю, сеньор Рейес... Но ведь нет возможности!

— Она у вас тоже умрет, как умер ваш сын...

— Увы, сеньор Рейес!

— Умрет, тоже умрет.

— Бог не допустит, сеньор!

— Вы должны переехать отсюда.

— Но куда? На какие средства?

— Я позабочусь об этом.

И он позаботился — и о матери, и о дочери, он все взял на себя... Дом на улице Гальо, где ранее жили его родители, подходил для его целей — он хотел, чтоб Иоланда жила близко... Сто песо...— и дом удалось освободить от тех, кто его занимал после смерти стариков... Девочку он поместил в монастырскую школу святой Марии, хотя сам не очень-то долюбливал монахинь... Но он хотел превратить ее в образованную и утонченную женщину — в женщину, подходящую для него...

— Но это очень дорогая школа, сеньор Рейес! И форму ей надо шить, подумайте только!

— Я позабочусь об этом.

— Какой вы добрый, сеньор Рейес! Бог вам за это заплатит!

— Я не такой добрый, как вы полагаете.

Платья, башмачки, все лучшее, как у девочки из богатой семьи. И для матери тоже...

— Как мне вас отблагодарить?

— Не беспокойтесь об этом.

— Бог вам за все заплатит.

Бог, бог... Бог ему не платит, а взимает с него, дорого взимает за каждую мечту, за каждую надежду, за каждую минуту счастья, хотя бы и воображаемого... взимает дань горечи, начиная с того страшного вечера...

— *Подлец!*

Даже рояль он им купил...

— О, сеньор! Но ведь она играть не умеет!

— Научится.

— И вы уверяете, что вы не добрый!.. Вы — святой!

— Не говорите так.

Быть может, уже в то время Матильда что-то подозревала, но он сам ничего ей не говорил до тех пор, пока Иоланде не исполнилось двенадцать лет... В двенадцать лет она расцвела пышнее, чем он мог себе вообразить, на нее уже заглядывались... Ждать долее было бы неосторожно, надо было предвосхитить события... Разговор с матерью назрел раньше, чем можно было ожидать...

— Вы должны неусыпно следить за Иоландой, Матильда.

— Я понимаю, сеньор Рейес.

Матильда была к тому времени уже не та — вставила зубы, хорошо одевалась, красилась... В квартале поговаривали, что Матильда — неплохая партия...

— Вы должны не упускать Иоланду из виду ни на мгновение...

— Конечно, сеньор.

— Она хороша собой, а мужчины, сами знаете.

— Я слежу за ней, сеньор Рейес. Но не стоит очень-то беспокоиться, здесь, знаете... Никто не осмелится.

— Почему это вы так уверены?

— Все думают, что Иоланда — ваша дочь.

Он должен был опомниться тогда... Ведь он не забывал, что произошло с Марией-Эленой... Но у него недостало сил отступить, он только постарался воспользоваться создавшимся положением...

— Так знайте, что для меня Иоланда больше чем дочь, она — моя мечта, моя жизнь...

— Я это давно знаю, не думайте, что я такая дура. Все, что вы для нас делаете, ясно, не за мои прекрасные глаза...

— Так вы?..

— Я предоставляю все судьбе, что еще остается такой, как я?.. Коль ей суждено пасть с любым проходимцем, так уж лучше с вами, вы хоть человек порядочный...

И все пошло, как он задумал, шаг за шагом, как по маслу... Согласие матери означало, что дело уже сделано. Она будет принадлежать ему, эта девочка, которая растет для него, которая уже почти выросла, почти стала женщиной...

— Я отдам жизнь за то, чтоб она была счастлива, понимаете, Матильда.

— Я знаю, сеньор Рейес.

— И не доверяйте никому, Матильда, не отпускайте ее никуда одну...

— Не беспокойтесь, сеньор Рейес. Я об этом позабочусь.

И девочка росла, хорошея с каждым днем, с каждым днем все более превращаясь в женщину... Черные глаза, свежее, как цветок, тело, шелковые волосы... Пятнадцать лет...

— Крестный, я хотела с тобой поговорить.

Сердце бешено забилось у него в груди от какого-то предчувствия...

— Что с тобой?

— Дело в том, что... Да ты будешь недоволен.

— Говори же!

— Ты хочешь, чтоб я училась на машинке, но... Мне так что-то не хочется целый день печатать, это так скучно!

— Если тебе не нравится, солнышко мое... А чем ты хочешь заниматься?

— Я хочу стать учительницей... Ты согласен?

— Я мечтаю только, чтоб ты была счастлива, и что тебе по вкусу, то и мне... Ты — моя жизнь, Иоланда, я живу для тебя, для тебя одной.

Больше чем жизнь была она для него, больше чем жизнь — божество... Сколько пришлось хлопотать, сколько ходов использовать, чтоб поместить ее на курсы учителей начальной школы... Она там только два года проучилась, но те знания, которые она приобрела за эти два года, она отдала теперь на служение тому, что утверждают эти люди, с которыми она теперь связала свою судьбу...

III

— Завтрак подан.

Мария-Элена без чепца и передника, служанка-госпожа... Какой-нибудь новый бред...

— Который час?

— Половина второго.

— Как бежит время!

— Ну же, вставай!

— Иду, Мария-Элена.

Бедная Мария-Элена... Его жена, единственная женщина, оставшаяся с ним; безумная, несчастная, невыносимая, но она — с ним, а он-то хотел убить ее, даже уже начал осуществлять свой план с хладнокровием настоящего убийцы...

— Ну что ж ты за стол не сядешь?

— Сейчас, Мария-Элена.

Сейчас он сядет за стол, и ему покажется, что, как раньше, напротив него Лоренсито будет есть, не подымая головы, не глядя на мать, мучаясь тоже... Не следовало иметь детей, да он и не хотел, а она уж и подавно, да, видно, бог так сулил — бог, что всю жизнь карает его, без устали карает за его гордыню... Завтрак... Рис, горстка фасоли, мясо и груши... и наверняка сладкое из тыквы, можно пари держать. Где Хуана достает фрукты? Кажется, уже не сезон...

— Мне пришлось отказать Ауроре.

— Какой Ауроре?

— Как? Ты не знаешь? Я ей сказала, что надо тебе сообщить...

Что сообщить?.. Он не помнил.

— Аурора, служанка, которую я сегодня утром наняла...

— Да, она мне сказала.

— Тогда почему ты спрашиваешь?

— Я забыл.

— Знаешь, она из контрреволюционеров, из «гусанос». Знаешь, кто это «гусанос»? Черви!

— Знаю, Мария-Элена.

— А я не хочу терпеть в доме этих червей.

Почему у него вызывают гнев и страх ее слова?.. Ведь известно, что она сумасшедшая...

— Я это сразу поняла.

Лоренсо Рейес де ла Торре...

— Потому что ей не нравится, когда к ней обращаются «товарищ».

А ему тоже не нравится — кому не нравится, тому бы и не говорить это слово, уважать надо вкусы человека...

— Никому из червей не нравится, когда к нему обращаются «товарищ».

Лоренсо Рейес де ла Торре...

— Подумать только, бедная девушка — и вдруг контрреволюционерка!.. Да ты меня слушаешь?

— Да, Мария-Элена.

— И к тому же у этой Ауроры такой взгляд, знаешь, сверху вниз, как раньше буржуи смотрели. Ты не заметил?

— Нет, Мария-Элена.

— Бедная девушка — и контрреволюционерка. Понять не могу.

— А хлеба у нас нет к завтраку?

— Висенте не принес. Он сегодня не приходил.

Еще теперь с Висенте что-то случилось! Это первый раз в жизни, что он не явился и не предупредил,— он всегда накануне говорит, если не может прийти... Как странно!

— А у меня утро было такое трудное!.. Представь себе, надо принимать меры для обеспечения сбора кофе.

Сбор кофе давно кончился, работы ведутся лишь до первых дней ноября, уже не сезон...

— Мы два часа заседали в районном управлении, планировали... Лоренсо Рейес де ла Торре...

— Мы не можем допустить, чтоб хоть одно кофейное зернышко пропало. Родина или смерть... Понимаешь?

— Да, Мария-Элена.

— Сбор может дать до миллиона кинталов, так сказал Фидель... Дело движется, Революцию ничто не может остановить... Ты уже знаешь, что янки сняли блокаду?

— Да, Мария-Элена.

— Если б они осмелились...

...События развертывались уже полным ходом, когда он вновь увидел Иоланду... За эти четыре года он видел ее только один раз, в тот вечер... Он думал, что она пришла оскорбить его, бросить ему в лицо свой чин лейтенанта Повстанческой армии, но напротив...

— Теперь мне все видится по-иному... Я многим обязана вам.

— Мои намерения были подлыми. Ты была права, оскорбляя меня.

— Я теперь раскаиваюсь в своих жестоких словах, но удар был так... так... Я не ожидала..

А он не мог раскаяться!.. Она стояла перед ним в своей зелено-оливкового цвета военной форме... Она и сейчас, столько времени спустя, все стоит у него перед глазами, такая, как в тот вечер... Как хотелось ему тогда целовать ее, целовать, целовать...

— Виноваты не вы, и мать моя не виновата... Виновата жизнь — жестокая, страшная, которая нас тогда окружала... Человек — против человека, каждый старается урвать побольше у другого, за счет другого, любой ценой... Как волки... Она умерла.

— Матильда?

— Вчера мы схоронили ее. Потому-то я и пришла. Я хочу, чтоб вы знали, что я простила ей, что я ни на кого не таю зла за то, что произошло.

Как погасли ее глаза! Какая, наверно, печаль у нее в душе. И она стала еще красивее, чем прежде, теперь, когда она уже замужем... Это ему Хамелеон сказал, он все всегда узнавал откуда-то первый...

— Знаешь новость про лейтенанта?

— Нет.

— У нее есть свой повстанец.

— Как так «есть»?

— Она вышла замуж, вчера была свадьба.

Вся кровь бросилась ему в голову... Но ведь должна же она выйти замуж, она женщина и свободна, почему ей оставаться старой девой?.. У него нет на нее никаких прав, никогда не было никаких прав... И все-таки от слов негра вся кровь бросилась ему в голову...

— Простой солдат, даже не капрал, и к тому ж крестьянин, «гуахиро»... Свинство, верно? Такая девчонка...

— Почему свинство?

— Я думал, ты пойдешь на свадьбу.

— Я — на свадьбу?

— Ну ясно, ведь ты и она...

— Ты прекрасно знаешь, что мы с ней порвали.

— Ну, в своей семье всякое бывает...

— Она — не моя семья...

— Да кому ты говоришь? Мне? Мне, Хамелеону?! Послушай, куманек, я-то знаю, что ты для нее сделал в жизни... и мне ты уж зубы не заговаривай. Ты — ее отец.

— Я — ее отец?

— Да, отец, именно, не делай из меня дурака!

— Ради бога, Хамелеон, оставим этот разговор.

— Да что с тобой сегодня, куманек?

— Ничего.

Больно было ему говорить об этом. И зачем вспоминать то, что надо забыть?.. Этот нежный голос, это молодое тело так близко от него, почти рядом, эта девочка, которую он вырастил, эта девочка, превратившаяся в женщину,— и теперь она принадлежит другому, другой мужчина теперь обнимает ее, наслаждается ею...

— *Крестный.*

Ее детская голова на его плече, ее шелковые волосы на его щеке... Единственные счастливые минуты его жизни, счастье иное, чем дарила ему Патрисия, счастье тихое, теплое, особенное... Когда он выезжал с ней на прогулку, сначала по субботам и воскресеньям, позже — каждый вечер, он всегда старался вернуться до наступления темноты и гнал машину, чтоб не остаться ночью с глазу на глаз с этой девочкой, которая была уже почти женщина. Он хотел, чтоб она сперва осознала себя женщиной, чтоб у нее не осталось горечи против него, как случилось у Маргариты с графом... Он боялся остаться с ней ночью с глазу на глаз... Он желал ее не насильно, а убежденной в том, что так должно быть, он хотел, чтоб она принадлежала ему с ее же согласия...

— *Посмотри, крестный!*

Ей нравилось глядеть на горы, на реки, бегущие под мостами, на расцвеченное небо заката...

— *Как красиво! Посмотри, крестный!*

И рука в его руке — маленькая, горячая... Трудно ему давалось повернуть машину к дому, приходилось напрягать всю свою волю, душить в себе все желания...

— Поедем, Иоланда, уже поздно.

— Ну, еще полчасика, крестный!

— Нельзя, Иоланда! Нельзя!

Она — рядом с ним, в темном «бьюике», кругом быстро вечереет, и никого, кроме них, на большой, пустой дороге...

— *Крестный.*

А мать все знала, негодяйка. Нет, не надо так, ведь она уже умерла...

— *Она не виновата.*

Виновата нищета, он воспользовался их нищетой, но любой мужчина поступил бы, верно, так же на его месте... Мать не хотела ничего говорить Иоланде, ей было больно и стыдно, она и не скрывала...

— *Подлец!*

Ведь это была ее дочь, маленький заморыш, которого она вскормила своим молоком и подслащенной водицей... Наверно, тяжело переживать те муки совести, какие она пережила.

— Вы сами ей скажите... Я не могу... Не заставляйте меня делать то, что я не могу!

— Хорошо, Матильда..

— Простите, не могу, сеньор Рейес.

— Я сам ей скажу.

В этом-то и была его ошибка... Лучше б подготовить Иоланду, лучше б из уст матери... Он должен был тогда настоять... Но он хотел сказать Иоланде сам. Что же это за мужчина такой, если самое трудное поручает матери... Марионетка... Он всегда был марионеткой, и его дергали за ниточку, ниточка все удлинялась, все запутывалась в новые и новые узлы, и он прыгал на конце ее, и корчился, и делал нелепые фокусы, которые не думал, не хотел делать, и его всё дергали, всё тащили куда-то — к несчастью, к крушению... Каждый год в день рождения Иоланды — новая радость и новая горечь... Годом больше со дня ее рождения — годом меньше до осуществления замысла...

— Что тебе подарить?

— Что-нибудь, что тебе самому нравится.

Для нее не жалко было тратить деньги пригоршнями, она все равно заслуживала большего, сколько ни трать...

— Крестный, ну что ты!.. Ведь это, наверно, очень дорого стоит.

— И все равно не стоит тебя.

Восемнадцать лет... Наконец... Наступила решающая минута... Она уже сознательная женщина, все понимает, теперь можно без обмана... И он был уверен, твердо уверен, что она любит его... Вот уже два года, как он ждал нового дома в Кинтеро... Новый, чудесный домик, мебель специально заказана, кровать, вся застланная шелком, цвета нежные, бледные, чтоб еще живее выделялись черные глаза и черные волосы Иоланды...

— *Крестный.*

Дом для него и для нее, их дом, его мечта...

— Какая прелесть, крестный!

— Тебе нравится?

— Очень!

— Этот дом — твой.

— Мой?

— Да, твой.

— Как мама обрадуется!

— Это для тебя одной, любовь моя.

— Для меня одной?

Он обнял ее, поцеловал в губы... Решающий момент наступил...

— Я люблю тебя, жизнь моя.

Она вырвалась из его рук, резко подалась назад... Как она смотрела на него! Какой ужас был в ее глазах...

— Вы?!

Словно нож вонзился ему в сердце...

— Вы?!

Шаг за шагом отступала она, не спуская с него взгляда, полного ужаса, покуда не прислонилась крепко, словно приклеилась, к противоположной стене...

— Возможно ли?.. Боже правый, возможно ли?..

— Иоланда!

— Не приближайтесь!

— Так ты не любишь меня?

— Возможно ли?..

Слезы текли у нее по лицу, никогда не видел он ее такой красивой, как теперь, в страдании... Руки ее дрожали, губы тоже...

— Что с тобою?

— Не приближайтесь!

— Но... Иоланда...

— Вы?!

Она вдруг шагнула к нему, сжав маленькие кулаки, резко воздев руки, глаза ее стали еще чернее от дикого гнева...

— Для этого?! Все — для этого?!

— Я люблю тебя, я любил тебя, еще когда ты была ребенком...

— Для этого?! Какая мерзость!

— Иоланда!

— Гадина! Подлец!

Эти оскорбления, вырвавшиеся из ее губ с гневом и болью, как кровь из пасти раненого зверя...

— Подлец!

— Товарищ, о чем ты думаешь, товарищ? Да ты не слушаешь меня!

— А? Что?

— Ты меня не слушаешь!

Мария-Элена.

— Я говорила тебе, что до миллиона кинталов кофе можно собрать... Нельзя, чтоб хоть единое зернышко пропало...

Бедное существо, потерявшее разум.

— Как тебе кажется?

— Мне?

— Ну да, тебе... Разве не надо стараться, чтоб ни единое зерно не пропало?

— Конечно, Мария-Элена.

Его жена, его жена, которая осталась с ним, единственная женщина, которая ему осталась...

— Ты последние дни какой-то странный, товарищ.

Почему странный?.. Такой же, как всегда, как каждый день с тех пор, как началось «это», новое...

— Словно ты потерял интерес к Революции.

Это несчастье — жить вместе с сумасшедшей.

— Ты потерял интерес к Революции?

— Нет, Мария-Элена.

— Хочешь сладкое?

— Можно.

— Желе из тыквы.

— Прекрасно, Мария-Элена.

...Более года новый дом оставался закрытым, наполняясь пылью и насекомыми, наполняясь прахом его мечтаний... Когда появилась Патрисия, он послал Висенте прибрать дом... Патрисия...

— Ну и красотища, милый!

— Тебе нравится?

— Ну какой женщине не понравится?.. Да это ангельское гнездышко!

На постели ему на мгновение захотелось убить ее, задушить, разорвать на куски... Отомстить за Иоланду, за боль, отомстить на ней, которая так охотно предалась ему здесь, в этом доме, где Иоланда от него отступилась...

— Сука!

— Мой храбрый гаучо!

— *Подлец!*

Ему казалось, что в руках у него — тряпка, безжизненная тряпка, без души, без той души, которая, казалось, на его глазах росла и крепла в детском теле Иоланды, делая из нее женщину, которая его оскорбила...

— *Крестный.*

— О чем задумался, милый?

— Ни о чем.

— *Крестный.*

— *Мой храбрый гаучо!*

— *Подлец!*

— Ты не будешь есть тыквенное желе?

— Сейчас, Мария-Элена.

— *Подлец!*

— Так давай ешь! У меня мало времени, мне еще нужно созвониться с товарищами из комитета.

— *Крестный!*

— *Мой бравый кубинец!*

— Хорошо, Мария-Элена.

— *Подлец!*

В этот вечер он был так страстен, как никогда, он был как одержимый, Патрисия просто вся дрожала...

— Да я тебя прямо боюсь, милый! Нет другого мужчины, как ты!

— *Подлец!*

Вот как в жизни бывает... Безответную свою страсть отдал он другой женщине, чтоб и ее заразить этой страстью, чтоб заставить ее пережить и перечувствовать с ним то, чего никогда не знала она с другими мужчинами...

— *Подлец!*

— Ты все съел?

— А?

— Я говорю, может быть, подать еще желе?

Почему эта женщина не умирает? Нет, боже правый! Пусть останется с ним...

— Не хочешь больше? А то я тарелку уберу.

— Убирай.

— И больше ты меня сегодня не трогай, я буду очень занята, мне нужно договориться и встретиться с товарищами из комитета.

— Хорошо, Мария-Элена.

В тот вечер, когда он впервые встретился с Патрисией в доме на улице Куабитас, тоже было одно происшествие... Лусио Росини был хитер, как черт, но он его перехитрил...

— Сеньор Рейес, знаете, я снял дом в районе Куабитас...

— Ах, так?

— Превосходный. Хочу отпраздновать новоселье.

Дело с шинами шло хорошо, и ему хотелось в то время подружиться с Росини, кто знает, этот человек еще мог быть ему полезен...

— Маленький семейный праздник.

— Когда?

— Сегодня вечером. Семейный, учтите, так что приходите не один.

— Понимаете, моя жена... Она неохотно выходит из дома, ее не привлекают сборища...

— Так приведите любовницу. У вас ведь есть любовница, правда?

— Ну что вы, конечно.

В заведении Лолы он нанял женщину — пышную, с хорошим лицом, и при этом смышленую — за двадцать песо...

— Называй меня Лоренсо и веди себя так, будто ты — моя любовница.

Когда они пришли, хозяевам очень понравилась его подруга — Росини смотрел на нее с нескрываемым восхищением, чуть ли не облизываясь, и даже в зеленых глазах Патрисии сверкнуло нечто вроде зависти...

— Ваша супруга?

— Нет, приятельница — Лидия.

Лусио Росини достал на вечер патефон, и они отпраздновали новоселье вчетвером — других гостей не было... Потанцевали, выпили, и, когда уже пробило полночь, аргентинцу пришла в голову новая затея...

— Почему нам не устроить как в Париже?

— А что в Париже?

Пришлось объяснить подробно, и притом дважды — женщина из заведения Лолы никак не могла понять...

— Если Лоренсо согласен...

Ему-то сразу понравилась Патрисия, но при муже казалось невозможным...

— А вы как считаете?

Патрисия промолчала, потупившись, не выдавая своих мыслей. Росини ответил за нее:

— Она поступит, как я скажу.

Закрыли окна и двери, дом, где не было соседей, вполне подходил для плана Росини. Лидия была в восторге и охотно сняла платье... Через мгновение она уже стояла голая, Росини чуть чувств не лишился...

— Что за женщина!

Патрисия сбросила с себя под платьем розовое белье — он запомнил эту сцену на всю жизнь...

— Расстегни мне крючок.

Через вырез платья вытащила лифчик... Он чувствовал ее наготу под плотным платьем... Росини пришла в голову новая блестящая идея...

— Поменяемся!

Он и ждать не стал чьего бы то ни было согласия, схватил Лидию за руку и увел в другую комнату, а они с Патрисией остались одни в столовой, при полном свете... Ему стало как-то неловко...

— А другой комнаты нет?

— Есть.

— Так что ж мы здесь стоим?

— Пойдемте.

В постели Патрисия заупрямилась, может быть, нарочно, чтоб увлечь его еще сильнее, она была очень хитра... Он попытался ее поцеловать, не очень, впрочем, настаивая...

— Не надо.

Ему и самому было не по себе, и он многое бы отдал, чтоб быть сейчас подальше от этого дома, от этой комнаты; он хотел ее поцеловать просто потому, что иначе было бы нехорошо, должна же она все-таки чувствовать, что с ней мужчина... Но когда она его оттолкнула, он вдруг обиделся... Собственно, он пришел сюда с Лидией, а Лидию увел аргентинец... И к тому же он заплатил двадцать песо... Он вдруг набросился на Патрисию, стал бешено целовать ее, порвал на ней нарядное голубое платье...

— Да ты зверь какой-то!

Она вырывалась от него, царапалась, кусалась, и эта борьба начинала ему нравиться... Чем яростнее она защищалась, тем сильнее вски-

пала в нем кровь... Как это восхитительно... Он не ожидал ничего подобного...

— Тихо, чертовка!

Он сжал ее обе руки в своей и пригнул ее голову к подушке, свободной рукой сжимая ей горло... Бешеный гнев в зеленых глазах понемногу стихал...

— Мой силач!

— Сука!

— Дикий ты.

И вдруг она стала сама целовать его, отчаянно, в ярости... Иоланда тоже готова была уступить в тот страшный вечер, когда стояла перед ним прямая, твердая, словно неживая...

— Взыскивайте!

— Что я должен взыскивать?

— Деньги, что вы на нас потратили! Взыскивайте!

Внезапно на его глазах превратилась она в женщину, сознающую, что ее тело — это ценность, которую можно купить и продать...

— Взыскивайте!

Но он не мог, не хотел так...

— Так не надо.

— Взыскивайте, ну же!

Она подошла вплотную, он чувствовал ее дыхание, огонь ее гнева и холод ее тоски...

— Я не хочу, чтоб ты была как мятая тряпка.

— Только мятую тряпку можете вы купить на ваши проклятые деньги!

Как жестоко обошлась она с ним в тот вечер, как яростно выкрикивала ему в лицо свою боль... Он чувствовал себя униженным, раздавленным...

— Пойдем, лучше нам уйти отсюда.

— Я уйду одна.

— Но, Иоланда...

— Подлец!

— Ведь больше двух километров пути...

— Хотя бы тысяча! От вас я ничего не хочу!

Уже у порога она вдруг обернулась и взглянула на него глазами, полными слез...

— Зачем вы это сделали? Зачем?.. И моя мать!.. Боже правый!

И ушла. Он смотрел ей вслед из окна до тех пор, покуда она не скрылась за поворотом дороги, смотрел, как ветер шевелит ей черные волосы, как подол легкого платья плещет по ее ногам...

— *Подлец!*

Наутро она исчезла куда-то вместе с матерью... В доме на улице Гальо никого не было... А может быть, они ушли в ту же ночь... Они все оставили, все, все, что он ей купил — мебель, рояль, радио, телевизор, все, даже одежду...

— *Подлец!*

— *От вас я ничего не хочу!*

Хамелеон помог ему не в одном трудном случае, добряк негр всегда готов был его выручить...

— А они тебе родня?

— Друзья, просто друзья.

— Народ тут у нас говорит...

— Не все ли равно, что говорит народ!

— Да ладно, куманек, я не хотел обидеть... Поищу. У меня глаза — что у ягуара. Вот увидишь, найду беглянок твоих.

Недели не прошло, как он и в самом деле нашел беглянок, да только ни к чему это не привело, никакой надежды больше не было...

— Они в квартале Чичарронес, в одном замызганном пансионе...

Далеко ушли они, чтоб жить снова в одиночестве, в нищете, чтоб снова отнимать хлеб у собаки, у любого бездомного пса, который, верно, покажется Иоланде чище, чем он, со всем его богатством...

— *Подлец!*

IV

— Как, ты еще не вышел из-за стола?

— Ах, оставь меня в покое!

— Кончай немедленно завтрак и уходи!

Бедная Мария-Элена, нельзя на нее кричать, она ведь не сознает, что делает... Это расплата, он платит теперь за то, что польстился когда-то на ее деньги, которые никак ему не пригодились, ничего ему не принесли в жизни, ничего, ничего... И еще расплата за неосуществленное намерение убить ее...

— Почему б тебе не пойти в сад?

— Хорошо, Мария-Элена.

Сад... когда-то это был сад, и какой красивый... Теперь вместо роз — бананы, а вместо папоротников — тыквы.

— *Земля должна плодоносить.*

Когда человек теряет волю, он теряет все, он превращается в марионетку, которую можно заставить дергаться в любом направлении... Лучше бы уж сойти с ума, сумасшедшие, наверно, не страдают... С тринадцати лет Мария-Элена все такая же, ни о чем не печалится, счастливая даже...

— *Чтобы познать правду, надо быть сумасшедшим.*

Нет, в этом Педро Фуэнтес ошибается: когда человек создает себе целый мир лжи и живет выдуманной жизнью в этом мире, какая уж тут правда... Одна выдумка, начиная с тринадцати лет, как в кинофильме... А донья Маргарита словно смирилась с безумием дочери, словно оно никогда ее особенно не огорчало...

— Не думай, что она всегда была такая.

И ведь с Марией-Эленой случилось то же несчастье, что с Иоландой, а какие разные породило оно судьбы!

— Я часто думаю, что моя дочь все равно сошла бы с ума. Она слишком много читала, а книги хоть кому мозг иссушат, и потом, сам подумай, несчастная перенесла такой удар.

— Какой удар?

— А кучер?

— Да что сделал этот кучер?

Старуха опечалилась от этого вопроса, но все же рассказала прерывающимся голосом, как умирающий на исповеди...

— Она очень была привязана к кучеру. Ведь ей и годика не было, когда он на мне женился. Он был ее богом, она от него ни на шаг не отходила, а я была так глупа, что не почувствовала опасности... Мне бы с самого начала помешать этой дружбе, но я была дура дурой, говорю тебе...

В жизни что должно произойти — то уж произойдет неизбежно, и сам человек открывает путь этому неизбежному, подготовляет для него почву, какие бы предосторожности он ни принимал для того, чтоб это неизбежное не случилось...

— Кучеру эта ее жаркая привязанность была приятна — ясно, что ж тут неприятного!.. Возьмет ее, бывало, к себе в постель, целует... Пока она была маленькая — куда ни шло, мне и в голову ничего не приходило... Но когда ей минуло тринадцать лет, тут уж началось такое — прямо словно она ему жена, а не дочка...

— *Подлец!*

А вот он подождал, чтоб Иоланде исполнилось восемнадцать... А что изменилось? Она все равно оставалась ребенком, даже после того вечера...

— *Взыскивайте!*

— *Подлец!*

...— А Мария-Элена в тринадцать лет была уже развита, как девушка...

— *Крестный.*

Мать в конце концов все поняла и испугалась...

— Кучер был дрянной, грязный человек, я-то это знала! И не оставалось ничего иного, как сказать Марии-Элене правду.

Если б кто-нибудь раньше сказал правду Иоланде, кто-нибудь другой, не он, то не было б того страшного вечера... Быть может, так было бы лучше, даже если б пришлось ее потерять, ведь он все равно потерял ее...

— *Подлец!*

— И я сказала Марии-Элене, а она посмотрела на меня, словно ничего не видя, и чуть сознание не потеряла, стоит и молчит — как мертвая...

Так было и с Иоландой...

— *Вы?!*

...— А потом все повторяла: «Он мне не отец, он мне не отец»,— будто все другие слова позабыла...

— *Вы?!*

— «Он мне не отец»... Как она могла себе вообразить такое, бедняжка! С тех пор как себя помнила, она видела рядом этого человека, он научил ее первому слову — «папа»... и вдруг... Вообрази только! Когда она узнала, что ее отец граф Монте...

Две женщины, такие разные, сестры по страданию...

— *Крестный.*

А какие разные судьбы! Но все равно, надо одинаково сострадать обеим...

— *Вы?!*

...— Потом она пришла в себя, но все молчала, целыми днями молчала, и сидела неподвижно, глядя в стену... Она уже была сумасшедшая! Кучер сообщил об этом графу, я-то не хотела говорить, но он настоял на своем, как муж, как мой муж... Мой муж, сволочь эдакая!

Донья Маргарита никогда не произносила имени своего мужа и всегда называла его «кучер»... Быть может, она ненавидела его даже больше, чем графа...

— Ну, тут пошли врачи да врачи, одного даже из Гаваны специально выписывали, но куда там!.. Недели полторы она так промолчала, а потом завела свои истории про Испанию, про графов и маркизов — вот ведь она и сейчас носится с приемом короля этого, Альфонса XIII, что ли... Словно ей сняли голову и приделали другую...

Маргарита думала, что сумасшествие Марии-Элены всегда одинаковое... Но нет, это не так, оно меняется, принимает разные формы, разные направления... Хорошо, что старуха уже не может этого видеть, хотя, впрочем, бредовые идеи дочери как-то не очень сильно ее огорчали, напротив, забавляли даже...

— Еще чего придумала!

И мать целыми часами сидела против дочери, наблюдая ее безумные выходки. Бывало не раз, что Мария-Элена вдруг погрузится в полную немоту, по целым дням ничего не ест и все сидит на одном месте, неотрывно глядя в стену... А бывало наоборот: она внезапно сделается крайне оживлена и все говорит, говорит с какими-то ею одной видимыми собеседниками... И всегда-то мать все сидела против нее и смотрела с каким-то особым любопытством...

— Сегодня она принимала короля Испании, ну что ты на это скажешь!

Как будто безумие дочери ничуть не трогало ее...

— *Ваше величество!*

Мария-Элена изящно раскланивается...

— *Какая честь для нас!*

— *Охотиться на куропаток? Ну, конечно же, ваше величество! Все что прикажете...*

— *Нет, ну что вы!*

— *Ваше величество мне льстите.*

— *Ваше величество!*

— *Боже меня упаси, ваше величество!*

— *Я замужем, ваше величество, и всегда останусь верна моему мужу.*

В своих великосветских миражах она всегда заботилась о чести семьи... Это было трогательно... Он даже чувствовал к своей безумной жене что-то вроде благодарности за такую верность... Своим королям, графам и маркизам она неизменно отвечала:

— Я замужем, сеньор.

Она хранила святую чистоту в своем безумии и как девственница защищала свою добродетель замужней женщины... Однако и это кончилось... На смену испанским королям явились американцы... Как может измениться направление мыслей безумца! Это началось вскоре после их переезда в новый дом... Проклятая книга о Генри Форде... После чтения этой книги в мыслях Марии-Элены произошел новый вывих...

— Good bye, sir.*

— Please!**

Что за ужасные дни! Тут были и прогулки на яхтах, и банкеты, и оргии... Хотя, впрочем, вначале она все так же твердо отстаивала свою мораль:

— I am married.***

Чистая и неприступная...

— No, sir.****

Но как-то вечером вдруг...

— Ради бога, мистер Бэнк!

— Не троньте меня, мистер Бэнк!

Ее безумное воображение создало нового американца — страстного, настойчивого, неутомимого, не желавшего считаться с ее моралью замужней женщины...

— *Я уж вам сказала: я замужем.*

— *Ах, мистер Бэнк!*

— *Мистер Бэнк!*

— *Мистер Бэнк!*

Лицо ее исказилось от муки сопротивления, в душе ее разыгрывалась жестокая борьба...

---

* До свиданья, сэр *(англ.)*.

** Пожалуйста *(англ.)*.

*** Я замужем *(англ.)*.

**** Нет, сэр *(англ.)*.

— Ради бога, мистер Бэнк!

И внезапно — крик, резкий, страстный, страшный...

— Мистер Бэнк!

И сразу же — шепот...

— I love you, my dear.*

И словно английского было недостаточно...

— Я люблю тебя, жизнь моя! — уже по-испански.

За мистером Бэнком последовали другие — мистер Пэнсл, мистер Тэйбл, мистер Чер **... Тогда ему захотелось убить свою жену.

— I love you, my dear.

Даже дикие фантазии сумасшедшей способны разбудить ревность, необузданную ревность... Тщеславие мужчины или, вернее, самца... Но не все бредовые выходки Марии-Элены были связаны с американцами, и не все кончались оргией... Как-то раз она совершила путешествие в Рим, где была представлена самому папе, которому и исповедалась в великих своих грехах...

— Ваше святейшество... Мой грех — вольнодумство и разврат.

Голос у нее был глухой, покаянный, с дрожью смирения... И вдруг, без всякого перехода — резкий выкрик...

— Подлец!

И она тоже сумела сказать это слово — и кому?! Папе римскому, не более и не менее... Святой отец, видно, ответил на ее исповедь каким-то оскорблением, слышимым только ею одною.

— Подлец!

Она впала в бешенство и битый час выкрикивала проклятья и такую брань, какой от нее и ожидать было невозможно... Что она себе вообразила? Интересно бы узнать... Но припадок вскоре кончился, и причина столкновения с папой римским так и осталась не известной никому, кроме самой Марии-Элены... Безумие жены было какое-то заразительное, и он часто следил за ходом дикой ее фантазии с какой-то почти физической болью, словно речь шла о чем-то реальном. Лоренсито тоже страдал от безумств матери, хотя в другом плане... Бедный мальчик. С самого первого дня после родов Мария-Элена выказывала полнейшее к нему равнодушие, словно не имела ровно никакого отношения к его появлению на свет, все ее существо не принимало материнства, отталкивало его... И мальчик, казалось, тоже забыл, что у него есть мать, он лишь раз в жизни упомянул о ней... И как!.. Нет, Мария-Элена никогда не была матерью...

— Твой сын, сеньор...

Словно он сам родил этого сына... Донья Маргарита не захотела взять няньку, она была в восторге от внучонка... Носилась с этим искусственным питанием...

— Я его вынянчу.

Но ей не пришлось его вынянчить, потому что менее чем через месяц она умерла, и пришлось приставить к Лоренсито двух нянек, одну на день, другую — на ночь, и платить им по восемьдесят песо в месяц — уже с младенчества этот новый член семьи стоил много денег...

— *Твой сын, граф...*

И, по мере того, как мальчик рос, мать относилась к нему все более враждебно...

— Почему ты не уведешь его? Он только безобразничает... И потом,

---

* Я люблю вас, мой дорогой. *(англ.)*.

** Фамилии воображаемых американцев представляют собой обиходные английские слова: bank — банк, pencil — карандаш, table — стол, chair — стул.

в один прекрасный день его украдет кто-нибудь из этих американцев!.. Они, говорят, убивают маленьких детей...

Когда сыну пошел седьмой год, он определил его в духовную семинарию и поместил в семинарский интернат... Ему самому попы и монахи были не очень-то по душе, но что оставалось делать с мальчиком, куда девать?.. Существовала другая семинария, лучше — Христа Спасителя, но не хотелось отсылать беднягу так далеко... И потом эти протестанты... Среди учителей семинарии иезуитов не было... Мальчик рос какой-то странный, жесты у него были вялые, походка расхлябанная... Молчаливый, скрытный... Какие мысли бродят в этой голове?... Сын беспокоил его...

Все воскресенья он посвящал целиком мальчику, стараясь понять, разгадать его...

— Ты подружился с кем-нибудь в семинарии?

— Нет.

— Как так нет? У тебя нет ни одного товарища?

— Ни одного.

— Почему же?

— Скучные они.

— А учителя?.. Есть среди них такие, с кем ты ближе сошелся?

— А они с нами не играют.

— Так, может, там есть хорошие девочки?..

— У нас баб нету, папа.

Быть может, и не о чем беспокоиться, но в жизни чего не бывает. А вдруг его сын будет как Арнольдо... Когда сыну исполнилось тринадцать лет, стало спокойнее... Эулалия была, кажется, добрая девушка, грубоватая на язык, правда, но это еще не высший грех... И здоровая... Она производила впечатление существа кроткого и безответного, потом-то открылось, что не такая уж она тихоня,— да всего не предусмотришь... У нее, оказывается, уже и ребенок был, хотя ей самой и двадцати не исполнилось...

— Да как вы смеете такое предлагать, сеньор?

— Я тебе хорошо заплачу.

— Да ведь я...

— Это для тебя не внове, не притворяйся... К тому же он еще совсем мальчишка...

— А если он не захочет?

— Это уж будет зависеть от тебя.

— А сколько вы мне заплатите?

— Двадцать песо.

— Это очень мало.

— Сорок.

Через два дня Эулалия пришла за деньгами...

— Кажется, ему понравилось.

— Ты думаешь?

— Не знаю, что делать: он не хочет со мной расставаться, а вы ведь дальше платить не станете.

— Стану.

Вскоре пришлось прогнать Эулалию; она стала дерзкой, невыносимой. Но раньше он решил спросить Лоренсито...

— Мне все равно.

— Она говорит, что она — твоя любовница.

— Мы просто играли в любовь, как дети. Да пускай говорит что хочет.

С этого дня Лоренсито не захотел учиться в семинарии. Он пристрастился к рисованию, и пришлось нанять ему учителя, конечно, лучшего в Сантьяго... Но и это длилось всего четыре месяца...

— Скажи этому дядьке, чтоб больше не приходил.
— Но почему же?
— Он меня не понимает.
— А в чем, собственно, он должен тебя понимать?..
— Мою душу. И потом, я открыл, что живопись — это не мое настоящее призвание.
— А в чем же тогда твое призвание?
— Я еще не открыл.

Весь долгий год Лоренсито упивался чтением, проводил целые дни в постели с книгой в руках, совсем почти не выходя из дому... Он тогда испугался, что сын сойдет с ума, как мать...

— Ты слишком много читаешь, это вредно.
— Книги помогли мне открыть мое призвание.
— Открыл, наконец?
— Да.
— В чем же оно?
— Я поэт.

Он тогда ужасно испугался за сына... Люди говорят, что все поэты — сумасшедшие...

Да и что это за стихи:

Под настилом пола
змеи со звездными глазами
ползут,
унося в своей пасти
мои почки...

Странные стихи... Впрочем, он-то мало понимает в поэзии... Лоренсо Рейес де ла Торре... Может, это и хорошие стихи, кто его знает, может, сын растет гением... Впрочем, Педро Фуэнтес тоже нашел, что стихи — странные....

— Сведи-ка этого парня к психиатру.
— К психиатру? Почему?
— Он пишет странные стихи, надо его лечить.
— Ты считаешь?
— Говорю тебе, покажи его психиатру, и как можно скорее.

Мое сердце — паяц,
мне нутро выгрызающий смехом...

И правда, странные стихи... Странные, как безумные выходки матери... Но психиатр не понадобился — не прошло и месяца, как поэтический экстаз Лоренсито кончился...

— Устрой меня в училище святого Алехандро.
— А что это такое?
— Ах, папа. Это же в Гаване — училище искусств имени святого Алехандро.
— И ты хочешь уехать от нас и жить в Гаване?.. Один?..
— Поедем со мной.
— Вот это здорово! Мне — жить в Гаване... А дела?
— Пошли их к черту.
— Изумительно!
— Слушай, папа... Я не знаю, как ты можешь выдерживать ее.
— Кого?
— Ее! Она — моя погибель.
— Она?..
— Да, эта сумасшедшая.
— Лоренсито!

— Почему ты женился на сумасшедшей?

— Но ведь это твоя мать!

— Знаю. Я б отдал глаза, руки и ноги за то, чтоб она не была моей матерью!

— Лоренсито!

Никогда не мог он думать, что мальчик так остро ненавидит мать... И как он раньше не понял, идиот! Ведь если самому так трудно ее выносить, то как должны были действовать все ее выходки на душу ребенка!

— Я хочу быть далеко от нее, папа. Тогда я смогу жить спокойно.

Сколько пришлось попотеть из-за этого училища!.. Хорошо еще, что Чучо был в то время уже снова полковником, командиром полка... Чучо очень помог, и Педро Фуэнтес, со своей стороны, тоже...

— Вот видишь, как трудно было тебя устроить...

— Знаю, папа, и очень благодарен тебе за все хлопоты.

— Благодарности не надо, а вот постарайся правильно использовать время.

— Не подведу, папа.

И что же? Не прошло и двух месяцев, как Лоренсито перестал ходить на занятия... И что хуже всего, не пожелал вернуться домой, в Сантьяго. Никакие мольбы и уговоры не помогали...

— Не поеду я снова в эту дыру.

Он стал посылать сыну каждый месяц по двести песо, а тот за целые пять лет написал всего одно письмо, в котором жаловался, что умирает с голоду...

«Ради бога, папа, не будь таким скупым»...

Пришлось посылать по четыреста... Он тогда ужасно скучал по сыну... Теперь Лоренсито в Соединенных Штатах, много дальше, чем раньше, а он уж не так тоскует... Сын, его кровь... Как остро нуждался он тогда в постоянном присутствии этого родного существа... Да и теперь нуждается... А если не так тоскует, так потому, что думает, что там сыну лучше, чем здесь, при этих новых порядках... За те пять лет, что Лоренсито жил в Гаване, он ездил к нему раз двадцать или больше — только чтоб увидеть мальчика, других дел в Гаване у него не было. Как-то раз он застал у него девчонку, такую странную: волосы ярко-рыжие, прямотаки красные, свисали длинными лохмами ей на лицо...

— Твоя невеста?

— Скажешь тоже, папа!

— Жена, что ли?

— Соседка. И у нас одни взгляды.

В тот раз Лоренсито тоже читал свои стихи...

Жар моей крови —
это жар сердца,
жар моего безумья,
что течет в моих венах,
даря мне то, в чем отказал воздух...

Сын опять был странен, а может, никогда и не переставал быть странным, даже в те периоды, когда не писал стихов...

— *Покажи его психиатру и сделай это как можно скорее.*

Лоренсито посмеялся бы над этими страхами... Правильно, что он тогда ничего ему не сказал... Лоренсито — человек искусства, а люди искусства очень чувствительные и все странные, они отличаются от прочих. Ведь и с ним бывало, что он становился сам себе непонятен и удивлялся своим собственным мыслям, словно это не он думал, а дьявол думал за него...

V

В ту ночь, когда она ушла из нового дома одна, по темной дороге, как тяжко было у него на сердце! Он стал сам себе гадок, ему хотелось все бросить, пустить себе пулю в лоб... Весь мир казался ему грязным хлевом.... Педро Фуэнтес постарался утешить его...

— С другой тебе больше повезет.

— Не будет другой.

— Это ты теперь так говоришь, вот погоди, пройдет немного времени и... Девочек, как она,— хоть пруд пруди.

— Если б ты знал все!

— *Крестный.*

— *Подари мне что-нибудь, что тебе самому нравится.*

— *Подлец!*

Никогда уже после той ночи не был он тем, что прежде, никогда... Нет у него больше иллюзий, надежд, навсегда поселилась в нем смертная тоска, презрение к самому себе.

— *Подлец!*

Тоска и желание видеть ее, быть с нею, обладать ею, желание, от которого он еще больше презирает самого себя, но которое не может вырвать из своего сердца, из своего существа...

— *Иоланда, я люблю тебя.*

Если б он мог сказать это ей, вдохнуть вместе со своим дыханием в ее раскрытые губы, чтоб его голос и его желание проникли в самую ее глубину...

— *Я люблю тебя, жизнь моя.*

— *Подлец!*

Это оскорбление — все, что он услышал от нее, ей был противен его голос, как ему самому теперь противен, она оттолкнула его, оттолкнула навсегда...

— *От вас мне ничего не надо!*

Ничего не надо, ни взгляда, ни слова... все, чего он хотел для нее, она оттолкнула — с гневом, с презрением...

— *Не хочу! Не хочу!*

В ужасе, в тоске оттолкнула она его, и хорошо, что оттолкнула, иначе было бы так страшно... невозможно и подумать...

— *Крестный!*

Вдруг она потом сошла бы с ума, как Мария-Элена, и в безумии вспомнила бы счастливые годы, веселые прогулки вместе, реки, бурлящие под мостами, горы, проносящиеся мимо в ветровом стекле автомобиля?..

— *Смотри, крестный!*

Как она любила его! И как внезапно возненавидела — в одно мгновение, как по волшебству... А подарки?..

— *Подари мне что-нибудь, что тебе самому нравится.*

Все эти красивые вещи, что он дарил ей, оборотились бы ядовитыми змеями в бреде ее безумия... Иоланда, маленький заморыш, завернутый в лохмотья, на руках у матери... Он заставил ее страдать... Но она уже все забыла, теперь она живет в новом мире, у нее новые надежды... Осталась, может быть, маленькая заноза в душе, иногда, может быть, какое-то воспоминание омрачает ее, не очень раня... А он все никак не расстанется со своей мукой, с этим бессмысленным желанием видеть ее... близко, близко... Кто б мог подумать, что страдание — не только в душе у человека, а в самих костях, что оно разъедает кости, как раковая опухоль...

— *Крестный.*

Отчаяние не зависит от человека и вертит им по-своему, разум здесь бессилен... Долгое время, начиная с той ночи, бред заменял ему разум... Ему казалось порою, что все легко исправить, что она вернется, обязательно вернется... Может быть, если он разведется с Марией-Эленой, то все станет проще... Но оставалась еще в нем капля разума... Или он тоже сошел с ума и это был не разум, а безумие?.. Или просто раскрутилась нить, и, потеряв управление, марионетка почувствовала в себе независимость и силу?.. Ведь в безумии — тоже своя логика...

— *Подлец!*

С каким презрением она выкрикнула это слово... Ну что даст ему развод? Если о он сказал ей:

— Мы можем пожениться. Ты — единственная женщина, которую я всегда любил, без тебя нет мне жизни...

Она бы повторила слово:

— Подлец!

И в гневе сжимала бы руки, и в глазах ее было бы только презрение...

— Покинуть эту несчастную, которая была вашей женой двадцать лет?

Развод ничего бы не дал, напротив, стало бы еще хуже, он и сквозь свое тогдашнее безумие понимал это... И тогда пришла к нему новая навязчивая мысль... «А если бы Мария-Элена умерла». Мысль превратилась в желание, а желание — в надежду... Нет ничего невероятного, все мы родимся, чтоб умереть, никто не вечен... В последний раз доктор Феррер остался недоволен пациенткой...

— Во время одиого из этих припадков с полной потерей сознания она может умереть.

— Эти припадки так опасны?

— Сердце у нее сдает.

Как ухватился он за эту возможность. С какой страстью, с какой идиотской надеждой! «Если б она умерла»... Но ведь не может же она умереть только потому, что он этого хочет?. Впрочем, говорят, сила желания... «Хоть бы она умерла, хоть бы она умерла, хоть бы она умерла, хоть бы она умерла»... Месяцы подряд повторял он эту адскую молитву... «Хоть бы она умерла»... И тогда ему приснился сон... Что он надувает шар, красный шар... Надувает, надувает, покуда шар не лопается... И обрывки красного шара, разбросанные на полу, становятся желтыми, как желтое восковое лицо мертвой бабушки. Он в ужасе проснулся...

— Воздух!

Вот где был выход, ведь никто ничего не узнает... Как легко стало у него на сердце!

— Воздух в вену!

— *Во время одного из этих припадков она может умереть.*

Доктор Феррер, конечно, не будет осматривать труп, за свидетельством о смерти можно послать к нему домой, чтоб не причинять слишком большого беспокойства...

— *Сердце у нее сдает.*

— *Во время одного из этих припадков...*

Как все было легко! Веревка раскрутилась...

— Воздух в вену!

Он чувствовал себя счастливым, свободным, он был как в лихорадке, вся кожа у него горела...

— Иоланда, жизнь моя, мы уже можем пожениться.

— А эта несчастная?

— Умерла!

— Любимый!

Он дошел до того, что слышал как наяву это слово, чувствовал ее поцелуи, ее дыхание у себя на лице, он пережил в мечтах долгие, долгие часы любви, страсти, самозабвения... Он купил шприц и иглу — самую тонкую, какую удалось достать... Он ждал... Ждал долгих пять дней. Он забросил все дела, забыл обо всем на свете... Он не ел и не спал... Одна — спасительная — мысль поддерживала его... Новый мир открывался перед ним...

— *Воздух в вену!*

В первую ночь припадка он видел, как жена вдруг приподнялась на постели, встала, шатаясь, и замерла, устремив неподвижный взгляд в стену... Он взял ее на руки и понес... Она была такая легкая, невесомая просто... Несчастная... Так исхудала... Это было в эпоху оргий с любовниками-американцами. Он положил ее на постель, и она вытянулась как мертвая — неподвижно, в немом молчании. Он едва сжал пальцами ее руку повыше локтя — и вены выступили, выпуклые, лиловые... Он набрал в шприц воздуху... И вдруг она заговорила... Одно слово, повторенное множество раз...

— Подлец! Подлец!

Шприц выпал у него из рук и разбился на полу на мелкие кусочки...

— *Подлец!*

— *Подлец!*

Он опрометью бросился в гараж... Загудела машина... Один в ночи!.. Сумасшедшая скорость... Сумасшедшие мысли...

— *Подлец!*

— *Подлец!*

— *Подлец!*

— *Подлец! Подлец!*

Заведение Лолы...

— Черт побери! Ты опять у нас? Мы уж считали, что ты теперь богатый, про нас и думать забыл. А, бывало, засиживался... Веселые были деньки...

— Прикажи подать мне рому.

— Ром? Да ты раньше...

— А теперь пью. Прикажи подать самого крепкого. Марки «Альбуэрне»!

— Да он жжет, как пламя!

— Рому «Альбуэрне»! Слышала?!

— Да, сынок, да, слышала, сейчас распоряжусь. Марси, займись этим сеньором. Да обслужи его, как самого короля, понятно?.. Он достоин самого тонкого обхождения!..

Четыре дня и четыре ночи — без отдыху, без сна, один стакан рому за другим... В дурмане... В аду...

— Да что с тобой?

— *Подлец!*

— Я тебе, что ли, не нравлюсь?

— *Подлец!*

— Не пей больше.

— *Подлец!*

— Это вино крепкое, в голову ударит.

— *Подлец!*

— Пойдем отсюда, милый...

— *Подлец!*

— Ах вот ты, оказывается, где, Рейес! А я-то целый день бегаю, ищу тебя.

— *Подлец!*

— Я хочу умереть, Педро Фуэнтес! Я хочу умереть!

— Но если ты умрешь в этом доме... Вообразн, какой скандал!

— Ты мне — как брат, Педро Фуэнтес! Дай мне умереть. Не мешай мне!

— Согласен, я дам тебе умереть, но только в твоем кабннете, что гораздо более подходнт для главы большого предпрнятия. Пойдем отсюда.

Педро Фуэнтес вытащнл его на улнцу, почтн что снлой...

— Что с тобой пронсходнт?

— *Подлец!*

— Если б ты только знал, Педро... Я должен тебе рассказать... Впрочем, зачем рассказывать? Ты все равно не поймешь...

— Почему это я не пойму?

— *Подлец!*

— Не думай, пожалуйста, что только у тебя — сложности, а у другнх все гладко...

Педро Фуэнтес в то время разводнлся с женой...

— *Понимаешь, у нас нет детей и мне с нею скучно... Я просто не могу слышать ее голоса!*

Но Педро Фуэнтес мало беспоконлся о своем разводе. Это было для него будто совсем неважно... Ах, еслн б научнться так спокойно смотреть на вещн, как Педро Фуэнтес... Но он не умел... Все, связанное с Марией-Эленой, лежало в его душе как камень, это была болезнь, рак душн... Лоренсо Рейес де ла Торре... И ром не помог... Четыре дня пнть без просыпу н даже не опьянеть... Тело у него болело, он чувствовал себя бесснльным, отяжелевшим, без дум и желаннй — как тряпнчная кукла, которую все дергали и дергалн за ннточку, заставляя корчиться, прнчиняя боль, неистово стегая одним и тем же словом, сорвавшимся с губ двух, такнх разных, женщин...

— *Подлец!*

— *Подлец!*

А Педро Фуэнтес все настанвал...

— У меня тоже бывалн свои трудностн, н немалые.

— *Подлец!*

— Но не надо сходнть с ума, все всегда улаживается в конечном счете... У тебя что-нибудь не так с Иоландой?

— Не в ней одной дело... Во всем!

— Как так во всем?

— Во всем. В делах, во всей жнзни... Во всем! Хватит с меня!

— Да нет, ты нз-за этой девушкн, я знаю...

— Все для меня потеряло смысл. Все.

— Со мной одно время было так же, но тогда я был мальчншкой, а ты — взрослый мужчнна, сознательный человек...

— Человек?..

— *Подлец!*

— У тебя есть имя в деловых кругах, ты сам, собственными усилиями создал себе нмя...

— Да, это верно, я создал себе имя, и я за него отвечаю, я один, ннкто больше...

— *Подлец!*

— Ты прнложнл столько трудов, чтоб нажнть капитал...

— А на что он мне?

— Деньги дают власть.

— А что мне с ней делать, с властью?.. Какой в ней смысл?.. В чем вообще есть смысл?..

С какой беспощадной ясностью увндел он в этот день всю свою жизнь!.. Столько бороться, столько стараться — зачем? Нанимать людей,

заставлять их на себя работать, платить им деньги — для чего? Строить здания, покупать столько цемента, болтов — с какой целью?

— У меня есть деньги, я ворочаю большими делами — зачем?

Он думал, что Педро Фуэнтес не поймет, но он ошибся...

— Знаешь, что я чуть было не стал коммунистом?

— Ты?

— Я был, наверно, сумасшедший.

— *Подлец!*

— Тогда поиятио.

— Чтоб видеть правду, надо быть сумасшедшим. Разумное отношение к жизни, как мы его понимаем, заключается в том, чтоб закрывать на все глаза и топтать истину... Мне в то время было двадцать два года, так что можно меня извинить... У молодости есть право на безумие, и мое безумие состояло в том, что я хотел такого мира, в котором все были бы братья — то же безумие, что привело Христа на Голгофу... Я чуть не стал коммунистом...

— Но ты и сейчас веришь в эту правду!

— Да как тебе сказать... Повторяю, лучше всего закрыть глаза...

— Но это значит обманывать самого себя!..

— Естественно. А ты как хотел? Надо жить, какой еще путь остается?..

— Но в России, да и в некоторых других странах...

— Не знаю, то ли это, о чем я мечтал. А если и то... Мы ведь на Кубе, здесь такого не может быть... Возможно, внуки мои и увидят это или дети моих внуков, а я пока что должен жить, и стараться жить хорошо, а для этого нужно добывать деньги, любым способом добывать деньги.

Теперь Педро Фуэнтес далеко, в Соединенных Штатах, наверно, нажил уже много денег, он умный человек, не пропадет... Но в то время даже ум Педро Фуэнтеса ничего не мог придумать, чтоб вытащить друга из той темной ямы, в какую он упал... Что спасло его тогда? Патрисия?.. Да нет, не Патрисия, а, верно, что-то незнаемое, что существует в человеке и все время толкает его вперед, заставляя забыть прошлое и жить, жить, даже если ты этого не хочешь... Аргентинка, конечно, тоже ему помогла, он видел от нее много хорошего...

— *Мой храбрый гаучо.*

— *Мой силач.*

— *Моя жизнь.*

Жить хорошо... Добившись развода, Педро Фуэнтес старался жить хорошо... Женщины, развлечения, путешествия — в Северную Америку, в Европу, в Париж...

— *Вот это жизнь!*

Он, Лоренсо Рейес де ла Торре, не находил особого смысла в такой жизни. Разве это иазывается хорошо?.. С Патрисией ему было почти хорошо, но ведь так недолго... А все женщины, что были после — Аида, Мерседес, Эльвира... Они занимали его на мгновение и проходили, проходили мимо... Даже воспоминаний не оставалось... Дом в Кинтеро не пустовал, даже в этом он был подлецом!.. Сумасшедшая жена проводила все свое время в одиночестве...

— Ты вчера не пришел ночевать, мистер Рейес...

— Правда, Мария-Элена.

— Я знаю, что тебя задержало: бизнес.

— Да, Мария-Элена.

— Бизнес есть бизнес.

Наверно, в то время его спасли женщины. Много женщин могут помочь забыть одну... Больше других запомнилась Патрисия...

— *Мой храбрый гаучо.*

Он снова занялся делами, даже с большим рвением, чем прежде, Педро Фуэнтес убедил его, что на участках можно нажить много денег...

— По дороге на Каней есть участок земли в двадцать тысяч квадратных метров. Я могу купить его по пятьдесят сентаво за метр.

Сорок шесть небольших участков. Анхель Гарридо помог им в осуществлении их планов и Чучо тоже...

— Поговорите с инженером Пубильонес. Если он не захочет вступить с вами в пай, скажите мне.

Затруднений не было, Пубильонес согласился, дал рабочих, проложили улицы... Может, лучше было бы не нанимать строителей из Управления коммунальных услуг, тогда бы... Да нет, все равно, эти люди все теперь отбирают, они бы не стали раздумывать... Все шло хорошо, место выбрали красивое, вода, свет, телефон... Новые улицы, газоны зелени. Людям понравилась местность, за семь месяцев продали сорок шесть участков по семь и по девять песо за метр, а те, что выходили на две улицы сразу,— даже по одиннадцать... Последний участок продали доктору Ферреру, тому самому доктору Ферреру...

— *Сердце у нее сдает.*

Положительно, этот доктор приносит несчастье... Хамелеон в тот же день явился с плохими вестями...

— Вчера вечером забрали Иоланду.

— Забрали? За что?

— Террористка.

— Господи!

— Говорят, она бомбы подкладывала.

— А куда ее посадили?

— Не знаю.

— Разузнай, это очень важно.

— Твой друг полковник должен знать.

— Чучо?

— Только от него зависит, чтоб ее выпустили. И советую тебе поторопиться, эти люди не зевают: хоть она и женщина, не задумаются — враз прикончат.

Страх... Снова страх... Чучо, кажется, друг, но он — полковник, а эти люди так обнаглели...

— *Хоть она и женщина, не задумаются — враз прикончат...*

Хамелеон был прав, следовало торопиться. Чучо выказал дружеское участие...

— Спаси ее, умоляю!

— Что тебя с ней связывает?

— Ничего.

— Тогда почему ты так взволнован? Не пытайся меня обмануть.

— Я... Она... Я любил ее, когда-то я ее любил.

— Когда-то? Значит, сейчас уже не любишь?

— Ради всего святого, Чучо! Пусть ее не убивают! Пусть ее не пытают!

— Она из людей Двадцать шестого*, она подкладывала бомбы.

— Освободи ее! Сделай это для меня! Я все еще ее люблю!

— Твоя любовь ей не поможет... Если она еще раз попадется нам в руки...

Смерть была в этих словах, ее смерть...

— *Если она еще раз попадется нам в руки...*

---

* Речь идет о «Движении 26 июля» — революционной организации, которой руководил Фидель Кастро во время вооруженной борьбы против диктатуры.

Но она больше никогда не попалась им в руки, напротив, они сами попались... Если б случилось иначе, он не стал бы жить, пустил бы себе пулю в лоб... Как он страдал при мысли, что ее могут убить!.. Хамелеон всегда был незаменимым осведомителем...

— Она ушла в Сьерру.

— Откуда ты знаешь?

— Человек все узнать может.

— Боже правый!

— Опасность миновала.

— А вдруг она опять попадется в руки этим людям!..

— Полиция не полезет в горы, хоть ее жги и соли на хвост насыпай.

Солдаты полицейских частей уже прославились своей трусостью, и все над ними насмехались, но все-таки было страшно — мало ли что может случиться... Каждое утро с трепетом просматривал он газеты... «Арестована Иоланда Монтеро»... Ему всюду мерещилось это сообщение, напечатанное крупным шрифтом... Как будто об этом напишут в газете, словно речь идет о самом Фиделе Кастро... Ужасные были дни!.. Но ничего не случилось... Проходили месяцы... Они с Педро Фуэнтесом купили поместье, большой участок, больше шести тысяч акров, это была удачная мысль искать возле больших дорог — вдоль шоссе, ведущего к аэропорту, например, никому не пришло еще в голову строить, и земля была совсем дешевая... Чучо свои денежки выручил с лихвой...

— Ты больше ничего не слышал о своей девушке?

— О какой девушке?

— Не притворяйся дурачком.

— Об Иоланде Монтеро?

— Ну конечно.

— С ней что-нибудь случилось? Ты знаешь что-нибудь? Отвечай!

— Я только знаю, что она ушла в Сьерру.

— В Сьерру?

— *Если она еще раз попадется нам в руки...*

Кто мог тогда вообразить себе то, что должно было произойти? Батиста сидел прочно, продажа участков шла так хорошо... Быть может, и было у людей какое-нибудь предчувствие, что Батисте долго не удержаться, но никто не представлял себе событий так, как они в действительности развернулись... Педро Фуэнтесу все его таланты оказались ни к чему...

— Вот увидишь, к будущему году все наши участки будут проданы...

— Что ж, будем думать дальше...

— Это уж предоставь мне...

— Вообще-то, если бы не ты... Мне, честно говоря, достаточно доходов с моего предприятия...

— Надо бороться, денег никогда не бывает достаточно... Всегда нужно еще, и еще, и еще...

— Это проклятие.

— Не проклятие, а счастье... А как твоя скобяная лавка?

— Да ничего... Люди все строятся...

Несмотря на выстрелы и бомбы... Несмотря на смерть... Кто б мог подумать!.. Болты, мешки с цементом, предметы санитарии и гигиены... Можно бы и больше продавать, да он и так не имел права жаловаться... Предприятие процветало... Он даже подумывал построить новое здание... У Хамелеона было уже пять домов, которые удалось выгодно сдать в наем. Он тоже решил испробовать сначала на двух домах...

— Не раскаешься, куманек. Доходное дельце.

Удачный был год... Как могли они быть так слепы... В первый же день нового года этот Батиста... Крыса мерзкая!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Он никогда не увлекался политикой — напротив, всю жизнь терпеть ее не мог и с детства чувствовал к ней отвращение, тут уж, наверно, отец виноват...

— Все политики — свиньи. Чтоб провезти без пошлины пару гвоздей, и то кого-нибудь подмазать нужно.

— Ну не все же они такие, Фернандо.

— Все! Все — сволочи.

— Папа целое состояние истратил, чтоб стать советником, а он был очень честный человек.

— Ну, если б он стал советником, ты б увидела!..

— Фернандо!

С детства прививалось ему отвращение к политикам... И, признаться, все, с чем приходилось сталкиваться потом в жизни, подтверждало, что отец был прав: политики были заняты только тем, что старались обогатиться... Он знал некоторых лично — все они были жулики, бандиты, обманщики: в своих предвыборных речах обещали людям молочные реки и кисельные берега, а как только их выберут... ну, как только их выберут, забывали все свои обещания — и давай лавировать в бурных волнах событий, так что их и не ухватишь.. Издеваются над обманутыми, обводя их вокруг пальца, увлекая новыми обещаниями, новой ложью... Самый хитрый из всех них был Хильберто Прадо из Байямо, скотопромышленник и сенатор... Ну и тип! Тонны болтов, бочки и бочки цемента — скобяная лавка содрогалась от каждого наезда Прадо... Но по крайней мере он был откровенен...

— У республики я ничего не краду.

И весь трясся от смеха...

— Только то, что мне причитается.

— Зачем вы полезли в политику, сенатор?

— Чтоб защищать мое дело, сынок... Мое дело...

Его дело...

— Я должен защищать наше дело. В конгрессе я раньше всех узнаю про все тайные ходы и интриги, и, если кто хочет подставить ножку скотопромышленникам,— я тут как тут для того, чтобы этому помешать...

Неплохо придумано, может, и правда этот Прадо — честный малый и не позволяет другим плутовать...

— Деньги мне дает моя скотинка, и я должен ее защищать...

Может, и впрямь заняться политикой? Идея соблазнительная... Предприятие его давало огромный доход, а вдруг ему посчастливится, как этому Хильберто Прадо?.. Впрочем, идея так и осталась идеей... Кто протолкнет его в конгресс?.. К какой партии пристать? Все депутатские посты уже заняты, чтоб добыть мандат, нужны горы денег, а он не хотел потерять весь свой капитал, как случилось с дедом... Но все-таки одно время он тешился подобной надеждой, и Педро Фуэнтес его подстрекал, может, и не нарочно...

— Когда-нибудь это исполнится, вот увидишь. Будет достигнуто соглашение, будет фиделистская партия и будут выборы... Им понадобятся новые люди. Я уже устанавливаю с ними связи...

Так было вначале... Бедный Педро Фуэнтес!.. Однако вскоре его стали мучить сомнения...

— Знаешь, Рейес, эти люди заставят хоть кого поломать голову. Чего они добиваются?

— Чудак, того же, что все,— власти.

— Власти добиваются вовсе не таким путем... Если б я не был уже с ними связан...

— Ты? Ты связан с ними? Со всем этим?

— Многие связаны в той же мере...

— А если тебя схватят?

— Значит, судьба. Но нет... опасности нет, у меня — друзья.

— Ты можешь связать меня с этими людьми?

— Зачем?

— А ты зачем с ними связался?

Педро Фуэнтес свел его как-то к этим людям на сходку... Это было самое яркое впечатление в его жизни и, пожалуй, самое радостное... Фуэнтес казался не особенно увлеченным всем, что говорилось на собрании, напротив, он был как-то даже испуган... словно не очень доверял своим новым друзьям... И не прошло и нескольких дней...

— Знаешь, Рейес, мы должны принять меры предосторожности... Давай-ка переведем несколько тысчонок в банки Соединенных Штатов, чтоб в случае надобности...

— Какой такой надобности?

— Вдруг эти люди станут нас преследовать...

— Понимаешь, я сейчас не располагаю...

— Да речь идет о небольших деньгах... Тридцать, сорок тысяч долларов.

— Тридцать, сорок тысяч?! Да ты с ума сошел! У меня сейчас и тысячи песо нет свободных.

— У меня тоже нет, но это неважно... Ты мне акцептуешь вексель, я тебе — другой, и мы их учтем...

— Ладно, если только банк...

— Предоставь это мне. Я сегодня же поговорю с Чичо Алькантарой.

Затруднений не представилось, и благодаря Педро Фуэнтесу можно было быть спокойным — в банках США удалось поместить пятьдесят тысяч долларов. Так он смог отправить из Сантьяго Лоренсито, а также помочь Хамелеону... Если б Педро Фуэнтес так не перетрусил тогда на собрании... Там он встретил Иоланду...

— Что ты здесь делаешь?

— Да вот тут, с товарищами...

— А я думал, ты — в Сьерре.

— Как видите, я здесь.

Она говорила с ним свободно, словно между ними ничего не произошло, словно они — просто друзья...

— Тебе надо уходить, Иоланда. Здесь ты в опасности. Если тебя возьмут...

— Меня не возьмут.

Она была красивее, чем когда-либо, и страх сжимал ему сердце — страх за нее... и еще страх, что он ей противен...

— *Подлец!*

— *Если она еще раз попадется нам в руки...*

Он не собирался давать более двух тысяч песо, но когда увидел среди этих людей ее, участницей заговора, тысячи песо ему показалось мало — ничтожная, нищенская помощь; она, женщина, отдавала своему делу жизнь — жизнь, не более и не менее, и при этом спокойно, бесстрашно... Он тоже не захотел ударить в грязь лицом...

— *Меня не возьмут.*

И он дал им пять тысяч песо..

— Большое спасибо, сеньор Рейес.

Этого только он от них и добился — «спасибо»: никогда они не принимали его всерьез...

— *Большое спасибо, сеньор Рейес.*

Разбойники эдакие... Ну кто бы мог тогда подумать?.. Разве можно было угадать, как все повернется?.. Он ушел с собрания довольный, гордый своей щедростью — пять тысяч песо не всякий даст... Ну и глуп же он был! А Педро Фуэнтес...

— Поздравляю.

— С чем? Ты об этих пяти тысячах песо?

— Нет, я о девушке... Она любит тебя.

— Зачем ты так говоришь?

— Она была с тобой очень приветлива.

— Только от хорошего воспитания.

Воспитание, полученное в монастырской школе, куда он ее устроил...

— Возможно, но чувствуется, что в глубине души она таит что-то, что она что-то скрывает...

Ему тоже так показалось, он даже подумал было, что она — в курсе его переговоров с Чучо, но нет, он ошибся — она так никогда об этом и не узнала... А если ее снова заберут?! Он чуть не сошел с ума, господи, чего он только не передумал... Прошло много времени, прежде чем ему снова привелось увидеть ее, почти два года он ничего о ней не знал... Он искал ее, теребил Хамелеона, но все было бесполезно...

— Словно в землю провалилась, куманек... Но она в горах, точно тебе говорю, в горах, так что не убивайся...

Когда ему удалось вновь свидеться с нею, она была уже лейтенантом и с головой ушла во все это... Лейтенант, и одета как мужчина, в форму... Впрочем, форма чудо как шла ей... Подумать только, тот самый заморыш, которого держала когда-то на руках нищая в лохмотьях...

— *Крестный.*

Его-то никогда не привлекала политика, но она... Подумать только, какой путь она себе избрала...

— *Подлец!*

Всю жизнь не выносил он политиков, его никто из них ни разу не провел, никто, даже Грау Сан-Мартин*...

— Такой же, как все.

На предприятии его служащие только и говорили что о политике, спорам не было конца, и все были полны надежд — все его служащие, начиная с Луиса Регеры и кончая Рамиро...

— Грау будет не такой, как другие.

— Честный человек.

— Лицемер он, вот что.

— Ну что вы, сеньор Рейес.

— Вот подождите, пройдет год...

Как он торжествовал, что оказался прав! А служащие? Все повесили головы и сидели как побитые собаки...

— Ну кто бы мог подумать!

— Я вас предупреждал.

— Оказался такой мошенник, хуже других.

— Сволочь!

Прио** уже не вызывал у них таких восторгов, они обожглись на прошлом своем любимце...

— Такой же бандит, как Грау.

— Яблоко от яблони...

Бедняги! Впрочем, они заслужили и худшее, неблагодарные, свиньи эдакие, соглашатели...

— Вы должны понять, сеньор Рейес.

---

* Кубинский буржуазный политический деятель, был президентом Кубы.

** Прио Сокаррас — кубинский реакционный деятель, был диктатором страны, ныне — в контрреволюционной эмиграции.

— Теперь все по-другому.
— Новые времена.
— Революция обездоленных.
— Настоящая революция.

Сволочи! Как они с ним поступили!.. Ну ничего, когда-нибудь они за это заплатят... Подумать только, а такие казались несчастненькие... Он и сам-то хорош: дал обмануть себя, как идиот. А так легко было догадаться: они всегда увлекались теми, кто громче кричит... В отношении Чибаса * было так:

— Этот уж точно честный.
— Сметем!
— Совесть против денег!

Но Чибас в конце концов пустил себе пулю в лоб, а смел всех Батиста... Годы потом они все ждали и надеялись...

— Это должно измениться.
— Вот увидите...

Но они говорили уже без особой веры, только некоторые были непоколебимы, как Луис Регера, например... Рамиро предупреждал относительно него...

— Это коммунист.
— Ты считаешь?
— Да он и не скрывает этого.

Луис Регера всегда бывал чем-то занят, а Рамиро, верно, просто боялся его, во всяком случае теперь это представляется именно так... Регера не приносил большого вреда, но всех будоражил...

— *Закон таков, что рабочий день — восемь часов и ни минуты больше.*
— *Положенный отпуск должен по закону оплачиваться.*

Закон, закон... Всегда он на этот закон ссылается... Надоел! В конце концов представился случай от него отделаться...

— Вот уже пять дней, как Луис Регера не выходит на работу.
— А что с ним такое?
— Не знаю.
— Вызови Гонсалеса и пусть подготовит материалы для возбуждения дела против него.
— Дела?.. Так вы собираетесь возбудить против него дело?
— А почему бы и нет?
— Не следует, по-моему, сеньор Рейес.
— Что это ты за него заступаешься?
— Да я не хотел бы впутываться в это, сеньор Рейес.
— Но ведь ты — администратор...
— Да, но...

Рамиро никогда не отличался храбростью, но тут совсем перетрусил. Подозрительно...

— Да что здесь у вас происходит?
— Народ говорит, что Регера где-то скрывается.
— Скрывается? Почему же?
— Говорят, он — из людей Двадцать шестого, его обвиняют в том, что он куда-то там петарду подложил.
— Нас это не касается, против него следует возбудить дело из-за неявки на работу, таков закон...
— Но будут осложнения, вот посмотрите.
— Никаких осложнений не будет, вызови Гонсалеса.
— Доктор Гонсалес также не захочет вмешиваться... Регера — из людей Двадцать шестого...

* Эдуардо Чибас — кубинский политический деятель, выступавший против диктатуры Батисты.

— Да ведь ты говорил, что он коммунист?

— Правда, раньше... А теперь, я твердо знаю,— он из людей Двадцать шестого.

Из людей Двадцать шестого... Она тоже... Кто мог вообразить, что так все повернется?.. Она... зелено-оливковая военная форма, черные волосы, порыжевшие на ветру, опаленное солнцем смелое молодое лицо...

— Я пришла сказать вам, что моя мать умерла.

— Сочувствую тебе, Иоланда. Искренне тебе сочувствую.

— Она не была виновата, и вы тоже не были виноваты.

Ему было еще больней, чем прежде...

— *Подлец!*

Неужели она в конце концов простила? Он не хотел прощения. Прощают тех, кого можно покарать...

— *Подлец!*

А теперь она — из людей Двадцать шестого, и к тому же коммунистка, член партии, как это у них называется... Ну кто бы мог предположить?.. Хотя, впрочем, Гонсалес и тогда уже был напуган...

— Знаешь, Рейес, мы должны хорошенько подумать, прежде чем что-либо предпринимать.

— Да о чем тут думать?

— Эти люди Двадцать шестого... Никто не знает, как все развернется дальше.

— Ну вот, теперь и ты перетрусил. Ты — мой адвокат и провел уже не одно дело. Никогда ничего с тобой не случалось.

— Это — особый случай.

— Почему особый?

— Эти люди загоняют Батисту в тупик... Слушай, давай-ка по-другому...

— Скажи — как...

— Не будем пока затевать против него дело, подождем... Может статься, что Регера не явится больше, и не будет требовать, чтоб за ним осталось его прежнее место.

— А если явится?

— Тогда и можно начать против него дело.

Прошел год... Луис Регера не появлялся... И как-то раз он пришел повидаться с прежним хозяином — бородатый, в длинных волосах, в форме лейтенанта...

— Как дела, Рейес?

Говорил гордо, свысока даже, как человек Двадцать шестого... С этого дня стало что-то страшновато... И еще вот сон... Странный сон... Снилось ему, что он, Лоренсо Рейес де ла Торре, идет один по незнакомой улице какого-то, один бог знает какого, незнакомого города. И вдруг навстречу — отец. Борода длинная, в глазах — пламя, и не узнает сына. Положил руку ему на плечо и говорит, как чужому:

— Что вы здесь делаете? К стенке!

«Стенка» оказалась полой внутри, и было там четыре темных комнаты, и все четыре доверху набиты шляпами... Он переходил из комнаты в комнату, ища свою шляпу... В одной из комнат стоял у стены отец и грыз ухо черной собаки, кровь текла по бороде и струилась на землю — много крови, море крови... Он испугался отца и закричал:

— Я ни в чем не виноват! Я ни в чем не виноват!

Страх душил его... Так он и проснулся, полный страха и какой-то мучительной боли... Это было как бы предупреждение, но он не понял сразу — не понял и позже, когда Хамелеон принес первую тревожную весть...

— Ты уже знаешь?

— Нет. О чем?

— Что затеяли эти люди...

Лицо у бедняги негра было какое-то серое...

— Фидель вчера вечером сказал, что пусть никто больше не платит...

— Как так не платит?

— Да, чтоб не платили ростовщикам...

— Ах, не обращай внимания.

— Как же я могу не обращать внимания?

— Да это демагогия, старик, чистая демагогия.

— Да? Ты считаешь?.. Демагогия, да? Так вот сегодня я должен был получить примерно сто песо, а заплатил мне один только Хуан Мекайго, знаешь, этот белый, оборванец, дерьмо, в общем.

— И другие заплатят, Хамелеон, вот увидишь, это только вначале так...

— Спасибо за такое начало! Чтоб не платить! Представь себе! Сегодня не будут платить проценты нам, завтра съемщики квартир откажутся платить владельцу, послезавтра перестанут платить за мебель, взятую напрокат... Что ж это будет?.. На Кубе каждый что-нибудь кому-нибудь должен — не богу, так черту...

Бедняга негр с тех пор совсем покой потерял, ходил весь какой-то серый, с выпученными глазами, все было ему непонятно, все пугало... Несчастный часами сидел в кабинете друга, дрожа от страха, горько сетуя...

— Да что ж это такое!

— Спокойствие, Хамелеон, все уладится.

Тогда был как раз издан закон о найме домов... Он затронул не только Хамелеона... Затронул и людей покрепче... Что ж поделаешь?.. Лоренсо Рейес де ла Торре... На предприятии служащие смотрели на него с нескрываемой насмешкой, он ловил их взгляды и отворачивался... Говорили недомолвками...

— Сломали его!

— Пополам!

Бессовестные... Стольким ему обязаны... Да... теперь доходы уменьшились... Намного... Ну что ж делать?.. Он научился покоряться обстоятельствам, он ведь не Хамеленон. По крайней мере он-то умеет держать себя в руках и скрывать свои чувства от окружающих... Вот негр, так тот совсем, кажется, ума лишился...

— Эти люди — разбойники! Надо их свергнуть!

— Молчи, Хамелеон. Тебя могут услышать...

— Пусть слышат! Мы должны покончить с этими людьми! Они ведут страну к разорению. Пятьдесят процентов! Ну кому такое в голову влезет?

— Не кричи, Хамелеон.

— Да ты что? Ничего не замечаешь? Они замахиваются на наше добро, на мое, на твое! На чужое! Не понимаю, чего ждут американцы!

— Прошу тебя, Хамелеон...

— Американцы никогда еще не позволяли, чтоб тут у нас так распускались.

Американцы... Он тоже подумал было об американцах... При Мачадо они посылали сюда свои броненосцы... Но теперь они, кажется, боятся России. Сперва посылали сюда свои бумажонки, потом были события на Плайя-Хирон, а раньше самолеты сбрасывали оружие в районе Эскамбрая... Плайя-Хирон... Тоже вояки... Он думал — это тигры, а оказалось — крысы... Сдаться через два дня и еще кричать:

— Нас в это впутали!

Мерзкие крысы. А теперь что они делают? Нападают — не нападают, то «мы устроим блокаду», то «мы готовы», кричат о свободе, ругают красного Кастро... и в конце концов — ничего... А он-то надеялся! И Хамелеон надеялся в первые месяцы...

— Это все лопнет.

— Конечно, Хамелеон, должно лопнуть.

А Педро Фуэнтес раньше всех разгадал, Педро Фуэнтеса не обманешь...

— Это коммунизм.

— Вы думаете?

— Коммунизм, Хамелеон, и американцы уже это поняли.

— Ну а если это коммунизм и американцы не нападут, то мы пропали...

— Американцы нападут, Хамелеон, нападут... если только они еще не совсем скисли...

— А не нападут — придется утекать. Здесь нам жить никак невозможно!

— Я тоже так считаю.

Но первым уехал не Хамелеон и не Педро Фуэнтес... Лоренсито...

— Папа.

— Что, мальчик?

Лицо у Лоренсито было вытянутое, желтое, под глазами — синева...

— Да что с тобой?

— Я не могу больше, папа. Не могу вынести этого.

— Чего «этого»?

— Всего, что происходит. Не могу вынести.

Бедный мальчик, такой чувствительный...

— Не выношу всей этой чёрни! У них ни деликатности, ни тонкого обхождения... Рубят с плеча... Вульгарные люди, грубые... Не хочу, чтоб мной управляли такие... простые... Хочу на Север — в Соединенные Штаты. Помоги мне уехать, папа!

— В Штаты? А что ж ты там будешь делать?

— Жить, папа, жить в свое удовольствие. Там чернь не разгуливает по улицам, там на нее управа есть. Не могу я выносить эту чернь, папа!

— Так ты что ж, один уедешь?

— А ты тоже хочешь?

— Нет, я не хочу.

— Тогда зачем спрашиваешь? Один уеду, ясно.

— Я думал, может быть, та девушка...

— Какая девушка?

— Ну та, еще у нее волосы такие странные, падают на лицо...

— Не говори мне о ней!

— Поссорились, что ли?

— Она ушла к ним, к этим людям!

— Вот тебе и на! А... другой знакомой у тебя нет?

— Ах, папа, ради бога!.. Ну почему ты всегда выпытываешь, есть ли у меня женщина? Дай мне, пожалуйста, жить как мне нравится!

Пришлось отправить его в Соединенные Штаты. Одного... Ничего другого не оставалось: раз мальчик не может жить здесь...

— Я тут тебе денег приготовил...

— А сколько ты мне дашь?

— Пять тысяч долларов.

— Это очень мало, папа.

— Больше не могу, ты должен отвыкать жить как миллионер, теперь другие времена!..

— Проклятая чернь!

Он уехал еще до аграрной реформы, пяти тысяч хватило ему больше чем на год... Но потом пришлось послать ему еще десять тысяч... И вот уже месяц, как от него нет ни одного письма... Такой уж у мальчика нрав... «Папа, скажи Педро Фуэнтесу, чтоб он дал мне денег»... Вспоминает об отце, только когда деньги нужны... А отец еще о нем беспокоится... Лоренсо Рейес де ла Торре. Впрочем, и то сказать: зачем теперь деньги? Педро Фуэнтес предсказывал...

— И ты твердо решил остаться?

— А что мне делать?

— То же, что мы все,— уехать.

— Я не уеду.

— Ну, как знаешь! Не пройдет и года, как ты будешь человек конченый, без всяких надежд, как мертвая кукла, марионетка.

Марионеткой он и раньше был, всегда был марионеткой, которую дергали за ниточку...

— Я хочу просить тебя об одном одолжении, Педро...

— Слушаю.

— Лоренсито беспокоит меня, присмотри за ним, помоги чем-нибудь, если можешь.

— Конечно, друг.

— Я хочу выдать тебе доверенность на деньги, которые я перевел в тамошний банк...

— Но, значит, тебе придется пойти в посольство, а поскольку ты остаешься, это может тебе повредить...

— Ничего, я уже ходил один раз, когда уезжал Лоренсито...

— Ну ладно, поступай как тебе угодно...

— Я остаюсь здесь, Педро, я должен остаться, я ничего не выиграю, если уеду...

— Но это же преступление, чтоб такой человек, как ты...

— Я твердо решил... Желаю тебе удачи там, далеко.

Зачем уезжать?.. Повсюду будет одно и то же — дергаться на ниточке в разные стороны, среди чужих людей, лицемерных, неблагодарных, неискренних, вот как его служащие... Хитрецы, всегда говорили с ним так любезно, так вкрадчиво... Всегда... До того самого дня, когда...

— Да вы все с ума сошли, что ли? Ни за что! Ни одного сентаво!

И подумать только, что зачинщиком был Роке, такой обычно доброжелательный, такой скромный, порядочный человек...

— Послушайте, Лоренсо Рейес де ла Торре...

Даже не сказал «сеньор Лоренсо», как раньше... А с каким блеском в глазах и каким голосом...

— Вы обогатились за счет нас всех. Довольно с вас, Лоренсо Рейес де ла Торре! Вы всегда платили нам жалкие гроши, а ваш собственный капитал рос да рос... Мы терпели, у нас не было другого выхода, но теперь времена переменились...

— Да ведь я не могу платить вам больше!.. Предприятие требует огромных затрат... Налоги...

— Покажите нам книги...

— Какие книги?

— Бухгалтерские книги, Лоренсо Рейес де ла Торре... Если мы увидим своими глазами, что вы не можете платить нам, сколько мы требуем,— мы откажемся от наших требований...

— Да что вы тут вообразили? Что задумали? Какие еще книги?! На моем предприятии хозяин — я, я один, слышите?! А если я не смогу быть хозяином, я закрою его!

— Напрасно вы так говорите с нами, Рейес, теперь все по-другому.

— Закрою!

И... полное бессилие, невозможность что-либо изменить, чему-либо помешать... И бессмысленное бешенство в душе, и желание сломать все, разрушить все... Его предприятие... Сколько бессонных ночей, сколько усилий, мучительных сомнений, колебаний, размышлений, сколько жизни отдано — и все это теперь отнимают... Лоренсо Рейес де ла Торре... Более тридцати лет жизни посвящено всему этому: его предприятию, бесконечным делам по продаже участков, по строительству зданий... Более тридцати лет... Вся жизнь... Вся жизнь, полная трудностей, страстей, лихорадочная... Начинал с мелочи — крохотная скобяная лавчонка, несколько труб и две-три коробки гвоздей... Потом — грандиозное предприятие, огромное богатство... И теперь эти люди с их дикими законами... Сломали его, сокрушили...

— *Народ.*

— *Трудящиеся.*

Глупый народ, вот что, ленивые трудящиеся, чернь, «шапками закидаем»... То, что сделал он, Лоренсо Рейес де ла Торре, мог бы сделать каждый, кто готов пожертвовать собой, приложить усилия... Ему-то никто не помогал, никто его не учил уму-разуму, сама жизнь научила, нелегкий жизненный опыт... Все блага жизни доступны каждому человеку, надо только уметь бороться за них, ухватить побольше... И пойти на жертвы... Почему другие не поступали, как он?.. Можно было начинать и с меньшего... Хамелеон вот начинал с меньшего... Хамелеон никого не вынуждал брать у него деньги... Ростовщик, верно, но кто ж велел людям обращаться к ростовщику? Все ведь заранее знали, какие он берет проценты, это был договор на добровольных началах... Двадцать процентов за неделю — пусть это противозаконно, пусть это эксплуатация, все что хотите, но что ж другое можно ожидать от ростовщика?.. Лучше никогда к ним не обращаться... Он и не обращался, а ведь было время, когда, казалось, иначе и не выкрутишься... Особенно в молодости... Отец был строг, слишком строг, скуп даже...

— Ты что думаешь: деньги — это вода?

— Но я уже взрослый, папа, у меня свои расходы.

— Взрослые сами деньги зарабатывают.

И удавалось как-то выкручиваться, не особенно при этом запутываясь и не прибегая к помощи ростовщиков... Почему же другие не могут обойтись без ростовщиков, раз он смог? Почему? Бедняга Хамелеон...

— *У меня отняли все.*

— *Все.*

Прямо досадно было, что такой огромный, толстый негр — и вдруг плачет как ребенок... Жалко смотреть...

— Дома́, счет в банке...

— Успокойся, Хамелеон.

— И чего ждут эти скоты? Американцы твои?

— Ради бога, Хамелеон! Попадешь с тобой в историю...

— Да, американцы твои хваленые!.. До каких пор они будут терпеть этот развал? Чего дожидаются? Дерьмо они, вот что, просто-напросто дерьмо! Все наше к рукам прибрали, а теперь одни бумажки шлют, обещания, видишь ли... Столько у них солдат, столько самолетов!.. И что же?..

— Но так быстро все не делается, Хамелеон... Русские...

— Русские, сказал тоже! Американцы их раздавят в два счета... Эйзенхауэр — дерьмо, вот в чем дело!.. Дерьмо!

И слезы, и крики... Как помешанный...

— Трусы! Дерьмо поганое!

Оказалось, что он не только потерял все свое добро...

— Еще меня и в тюрьму посадили, на целый месяц, представь, как воришку какого. А я никогда не крал, ты-то знаешь.

Это правда, негр никогда от своих компаньонов ни гроша не утаил... Услужливый малый... С ним можно было иметь дело.

— Так ты теперь собираешься уехать?

— Куда ж я поеду? На какие деньги? Мне ничего не оставили... Только жалкие две тысячи песо... И то потому лишь, что они у меня были дома припрятаны, а не то их бы тоже взяли...

— У меня есть кое-какие деньги в Штатах...

Пришлось поехать с ним в Гавану, пойти в посольство, дать ему доверенность на тысячу песо и купить билет в Нью-Йорк... Хамелеон был вне себя от радости...

— Брат ты мой родной! Да как я тебе отплачу за добро-то?

— Забудь об этом.

— Брат ты мой родной!

Теперь он, кажется, хорошо устроился, ну что ж, это заслуженно, честный негр, ловкий... И добро помнит, хороший человек, пусть живет в свое удовольствие и воротит большими делами... Хорошо б ему повезло...

II

Время в печали бежит так же быстро, как в радости, и продолжается, продолжается без конца, словно оно не время, а вечность... Три года протекли, три долгих года, протекли и замерли в этой комнате, как дуновение ветра, и кажется, что все, что было за эти три года, было всего лишь вчера... У него не осталось ничего, кроме небольшого счета в банке, сохранившегося после обмена денег... И еще этот дом... Началось с его предприятия...

— Необходимо для государства... Мы не можем выгнать ваших служащих на улицу... Вы ведь собирались закрыть предприятие...

— Мы не отнимаем... Государство платит вам, за двадцать лет вы получите все, что причитается...

Двадцать лет... Словно он проживет еще столько времени... И еще все обошлось благополучно, могло быть хуже, его могли и посадить...

— Что за дела были у вас с Хамелеоном?

— С Хамелеоном?

— Да, с Хамелеоном, с ростовщиком...

— Никаких!

— Люди говорят...

— Люди могут говорить все что им вздумается... Хамелеон был мне просто друг.

— Друг и ничего больше?

— Да, друг. Или вы считаете, что я не мог дружить с негром?

— Совсем не в том дело, сеньор Рейес...

— У этого вашего друга очень уж дурная слава... Ваша репутация...

— А как он может повредить моей репутации?.. В Сантьяго меня все знают.

— И у вас никогда не было с этим Хамелеоном каких-нибудь других дел?..

— Никогда!

Ну как они могут доказать? Никак... Не осталось ни одной бумажки, которая могла бы его скомпрометировать, они с Хамелеоном доверяли друг другу, им бумажки были ни к чему... Вначале он дрожал, когда приходили эти люди, он боялся их, потом привык...

— Ваши участки...

— Как? И участки тоже?

— Эти земли принадлежат государству.

— У меня есть бумаги, все оформлено по закону...

— Обман. Сенатор Мартинес украл эти земли у государства... И, кроме того, работы производились строителями из Управления коммунальных услуг...

— Я заплатил инженеру Пубильонесу...

— И еще: в договоре сказано, что на участках будут проложены мощеные улицы, а там едва канавки прорыты...

— Ну что ж я мог сделать?.. Все так изменилось, столько событий! Вы не потеряете ни одного сентаво из денег, которые вы действительно вложили в это дело... Государство вам все возвратит.

— После того, конечно, как удовлетворит требования ваших покупателей...

Государство, государство, государство... Почти четыре года он слышит это: все для государства, а ему, Лоренсо Рейесу де ла Торре, пропадать, что ли? Несчастье... Как жить?.. И еще — Мария-Элена...

— *Товарищ.*

— *Твой час пробил, мистер Рейес.*

— *Твой час. Потом и кровью заплатишь.*

— *Товарищ.*

Раньше она была другая, пускай сумасшедшая, он это знал, но не ранила его так больно, даже бывала забавной...

— Пойдем, граф...

Обнимала его, тормошила...

— *Как я люблю тебя, граф!*

— *Вот как я тебя крепко обняла, граф!*

— *Я хочу выжать из тебя всю твою голубую кровь и посмотреть, как она будет капать на простыню!*

Это было завлекательно и приятно. Может, не очень достойно мужчины позволять женщине проделывать с тобой такие фокусы? Но что ж тут скажешь? Она ж сумасшедшая...

— Пойдем, граф.

С годами ему все это приелось...

— Пойдем, граф.

— Иди ты к черту!

— Граф! Как ты разговариваешь!

В конце концов он перебрался в другую комнату и спал в одиночестве. Такие безумства находили на нее только в постели, а вообще она была тихая... Донье Маргарите эти перемены не особенно понравились...

— Муж должен спать со своей женой...

— Моя жена — сумасшедшая.

— Она уже была сумасшедшая, когда ты на ней женился.

— Но поймите, донья Маргарита...

— Ничего я не собираюсь понимать. Ты ее муж, и твое место — в одной постели с ней.

Теща поворчала несколько дней и успокоилась, а он отделался от ночных выходок Марии-Элены... Сама же Мария-Элена словно бы ничего и не заметила, и вскоре начались эти безумства с воображаемыми американцами... Она стала вдруг совсем другая, словно в ее бедной голове подменили мозги...

— *Ах, мистер Пэнсл!*

— *I love you, мистер Хауз* *.

---

* House — дом *(англ.)*.

Это было не так уж приятно, он, право, ревновал жену к этим призракам. Но то, что теперь,— хуже, в тысячу раз хуже... Теперь ему делается страшно от ее слов...

— *Товарищ.*

И она уж не кажется такой сумасшедшей... Ему и всегда-то представлялось, что она не вполне, не до конца сумасшедшая, а теперь она рассуждает, как эти люди, она жалуется на свою прошлую жизнь и даже пытается найти себе оправдание...

— *Я жалела людей, мне всегда было больно...*

— *За их мертвую кожу и острые кости, за хлеб, что у них отнимали собаки.*

В самом начале событий она еще называла его мистер Рейес, правда, всего несколько дней, но с какой ненавистью!.. А то вдруг назвала Лоренсо, как ни разу не называла, даже когда он был женихом, и вот в один прекрасный день...

— *Товарищ.*

— *Мы с тобой — как две пчелки, товарищ.*

— *Что ты думаешь об аграрной реформе, товарищ?*

Ужасное положение, жестокая мука, хуже, чем когда она безумствовала с американцами...

— *Как все это здорово, товарищ! Как здорово!*

— *Товарищ.*

Все время это слово...

— *Товарищ.*

— *Товарищ. Товарищ.*

Просто несчастье... И он ничего не может поделать... Они — муж и жена, муж и жена, хоть между ними давно уж ничего нет. И он связан с нею, она — часть его жизни, его обвалившейся жизни, и среди мертвых развалин его жизни она — вся в движении, все время в движении...

— Борьба, товарищ.

Ее не оторвать от радио, от телевизора, она вся горит, волнуется, кончились припадки полной прострации, немой тишины, этот взгляд, неподвижно устремленный в стену; теперь она все время движется, кружит без устали из стороны в сторону и говорит, говорит...

— *Я иду на собрание в Гарсон.*

— *На митинг в Парк.*

— *На сход на улице Троча.*

— *На рубку сахарного тростника.*

— *На сбор кофе.*

— *Снимать хлопок.*

— *Сажать земляной орех.*

Всюду, всюду она поспевала, не выходя из дому, и даже мужа запутывала в свои дела...

— Мы с тобой на этой неделе поедем на одну ферму в Байямо.

— Хорошо, Мария-Элена.

— Мы не можем допустить, чтоб пропало хоть одно волоконце хлопка... Что с тобой? Почему ты на меня так смотришь? Ты не хочешь ехать?

— Я поеду, Мария-Элена.

— Вперед, товарищ!

Хорошо еще, что не подалась в Народную милицию...

— У меня плоскостопие.

С каждым днем она все хуже и хуже. Можно подумать, что у нее в голове — радио, а движения скопированы с экрана телевизора.

— Сегодня у нас тыква, товарищ.

Теперь и тыква очень редко, уже с мая не подается тыква в этом доме...

— Будем есть камни, товарищ.

Все беды сразу: со служанками просто горе, уходят одна за другой... Эулохия...

— Она теперь работает в банке.

Лолита продержалась до прошлого месяца...

— Она поступила в школу усовершенствования.

Осталась только старая Хуана... Если еще и кухарка уйдет... тут уж не вынесешь просто... Господи, хоть бы Хуана удержалась... Если Мария-Элена станет готовить сама, то кто ж это сможет есть.. Но нет, Хуана не уйдет, она не так глупа, ей здесь совсем не плохо...

— Мы должны нанять служанку, товарищ.

— Да, Мария-Элена.

— Товарищ Хуана не может готовить и стирать в одно и то же время.

— Да, Мария-Элена.

— Она получает только восемьдесят песо.

— Как так восемьдесят?

— Я прибавила ей жалованье. Мы не должны ее эксплуатировать.

А старая негритянка рада-радехонька, разбойница... Но что можно сделать?.. Иначе и она уйдет, как другие... Так по крайней мере завтрак и обед готовит какое-то разумное существо, а не сумасшедшая Мария-Элена... Впрочем, что касается обеда... почти каждый вечер Мария-Элена отпускает кухарку и сама становится у плиты... Теперь еще и кухаркой заделалась... Господи! Разве не довольно уже того, что она постоянно воображает себя очередной новой служанкой...

— Я нашла хорошую девушку, товарищ. Завтра она начнет у нас работать... Да ты слушаешь меня?

— Да, Мария-Элена.

А он было уж подумал, что и правда.. Но назавтра... В чепце и переднике, с пустым подносом... Кусок хлеба — на голом столе...

— Сеньора говорит, чтоб я вам сказала, что я ваша новая служанка...

Нет, довольно, довольно! Он чуть не расплакался...

— Мария-Элена!

— Меня зовут Рита, сеньор.

— Рита?

— Да, сеньор, Рита. Вам угодно еще что-нибудь к завтраку, сеньор?

— Нет, Мария-Элена.

— Меня зовут Рита, сеньор.

Что тут можно поделать? Надо предоставить ее самой себе, пусть все больше и больше сходит с ума... Но, странно, когда начинаешь с нею спорить, она рассуждает как вполне разумный человек. Как это она ответила на вопрос, почему ей нравится завтракать в постели? Ах, да:

— А разве социализм запрещает удобства?

По ней, пусть весь свет перевернется, она будет довольна, только чтоб свет перевернулся благодаря Фиделю Кастро. Сколько страданий она доставила за эти последние годы, сколько горьких минут пришлось из-за нее пережить... С одной стороны — она, а с другой — действительность...

— Расстреляли капитана Сантану.

— Бедный.

Хорошо еще, что Чучо сумел бежать — из Мансанильо, на самолете Хильберто Прадо...

— Ну, если его теперь схватят...

— Подумать страшно, Хамелеон...

Почти четыре года... Чего только не было за эти четыре года... Ждать больше нечего... Мятежи, события в Эскамбрае. И эти петарды в Сантьяго... Хамелеон разволновался...

— В тот раз тоже так начиналось.

Он-то сам не придал особого значения... он, как ему тогда казалось, угадывал, чем все это кончится... Что он, кубинцев не знает, что ли?.. Хотя, если вспомнить Плайя-Хирон...

— Это уже серьезно!

— Да, теперь — да!

— Я думаю, что не так уж страшно... Впрочем, увидим...

— *Нас в это впутали.*

Через три дня...

— Что я тебе говорил, Педро?

— Скоты поганые эти американцы.

А теперь что? Блокада не блокада... Кеннеди, казалось, собирается напасть... Вот именно — казалось... Даже Мария-Элена поняла...

— *Сеньора говорит, что сеньор уже не должен идти в батальон; милиция демобилизована, опасность миновала.*

Бедняга негр был прав...

— *Дерьмо твои американцы.*

А может, так и лучше... Вот что... Лоренсо Рейес де ла Торре... Он останется здесь, все под бомбами ходим, он остается здесь...

— Я не уеду, Иоланда.

— Но дело не только в том, чтобы не уехать, вы должны постараться понять то, что происходит, понять нас.

— Не могу.

Ну как он может понять?.. Кто тут может разобраться, черт возьми?.. Он-то, впрочем, считает, что это — грабеж, грабеж с оружием в руках, но ведь ей нельзя же так сказать... Он родился для другой жизни, и эта другая жизнь была вокруг него с тех пор, как он себя помнит, с тех пор, как он ребенком смотрел на небо, на птиц и цветы и думал:

— *Все это сотворил бог.*

Бог сотворил все вокруг, а он, Лоренсо Рейес де ла Торре, мог ухватить то, что сотворил бог, и пользоваться этим... Все это было для него: ректор семинарии бросал из окна конфеты на двор, где играли мальчишки,— для него... Женщины, Офелия и все другие, те, что отдавались ему по своей воле, и те, что отдавались за деньги,— для него...

— *Мой храбрый гаучо.*

Для него, Лоренсо Рейеса де ла Торре... Лоренсо Рейеса де ла Торре...

— Я не могу измениться, Иоланда.

— Все могут измениться. Я смогла.

— Но мой случай — другой... Ты ведь сама тогда сказала...

— Что я сказала?

— *Подлец!*

— Ты разве забыла?

— *Подлец!*

— В тот страшный вечер...

— Вот как раз с того вечера я изменилась... Когда подумаешь...

— *Подлец!*

— Почему тебе так важно, чтоб я понимал все по-вашему?

— По правде сказать... Хотите, я вам скажу правду?

Правду... Неужели?.. Он не знал, что и думать...

— Вы знаете, почему я так бежала от вас в тот вечер?

— Представляю себе: из отвращения...

— Нет.

Как внезапно она повернула все по-иному!..

— До того вечера я думала, что вы — мой отец.

— Твой отец? Я?.. Но... Как же это могло быть?..

— Я еще ребенком сочинила себе целый роман... Вы с мамой любили друг друга, родилась я... у вас обоих были большие осложнения... Вы не хотели скандала, не хотели, чтоб это отразилось на мне... И стали жить отдельно, а мне сказали, что вы — мой крестный... Говорю вам, целый роман!

— Но она, твоя мать... Матильда должна была сказать тебе... Ты ее никогда не спрашивала?

— Тысячу раз... Она всегда отвечала очень туманно, смущалась как-то, и это только усиливало мои подозрения...

— *Крестный...*

— Чего бы я не дал, чтоб ты снова называла меня крестный!

— Теперь не могу... Не могу.

— Понимаю.

— А в тот вечер у меня словно повязка с глаз свалилась, и я стала думать, думать... Что-то не так в этой жизни... Что-то неправильно... Почему есть бедные и богатые?.. Почему?.. Все спуталось у меня в голове. Я постаралась разобраться... И вот мало-помалу мне стало открываться нечто новое... Ну, дальше вы знаете... Я ушла в Сьерру и сначала хотела, чтоб меня убили... А потом я многое поняла, с каждым днем понимала все яснее, все ясиее...

Ее черные глаза светились верой, неколебимой верой в свою правду... Может быть, когда он, мальчиком, шел на исповедь, в его глазах тоже еще светилась вера...

— Я нашла смысл моей жизни, и причиной этому — вы.

— Я?!

— Если б не было того вечера... Почему вы тоже не постараетесь найти смысл вашей жизни?

— Какой смысл?

— Есть только один смысл... Мы знаем: единственное, что ие умирает в человеке,— это человечество; каждый — исчезает, все — остаются... Значит, надо бороться за тех, кто останется, за то, чтоб им жилось лучше... Почему вы не хотите бороться?

— Я не могу.

— Все могут. Я смогла.

— Есть вещи невозможные.

— Все возможно... Постарайтесь — и увидите.

— Ты сама не все можешь...

— Чего же я не могу?

— Называть меня снова крестный.

Она ушла, не прибавив ни слова, опустив глаза, словно задумавшись... В тот же вечер зазвонил телефон...

— Я слушаю.

— Крестный.

— Что? Что?

— Крестный, крестный.

— Иоланда!

Она повесила трубку. Больше он ее не видел, кто-то сказал, что она в Пинар-дель-Рио... Месяцы прошли... И нет Хамелеона, чтоб разузнать...

— *Найти смысл жизни.*

Быть может, ему ие суждено уж больше увидеть ее... Никогда, никогда, никогда... Быть может... Иоланда, лейтенант революционной армии...

— *Крестный.*

III

— Товарищ.

— А?

Мария-Элена, без чепца и передника, все та же — служанка-госпожа... Никогда она не оставалась подле него так долго...

— Тебе придется сегодня обедать в «Каса Гранде».

— Хорошо, Мария-Элена.

— Я отпустила Хуану на этот вечер.

На этот вечер... Все вечера теперь свободные у хитрой старой негритянки, пользуется случаем, разбойница, ну да что с ней поделаешь...

— Бедная товарищ Хуана убивается на работе, нельзя ж ее эксплуатировать... Ты не согласен со мной, товарищ?

— Конечно, Мария-Элена!

— Я б хотела что-нибудь сготовить для тебя, но не могу.

— *Не могу, крестный.*

— У меня собрание в комитете, очень важное собрание.

— Да, Мария-Элена.

Комитет, собрания... Пустые стулья, составленные полукругом в столовой, и она — в центре полукруга...

— Начнем, товарищи...

Бедная, безумная голова... Но она по крайней мере счастлива, а вот он — несчастен...

— Ты придешь на собрание?

— Нет, Мария-Элена.

— Ты очень недисциплинирован, товарищ. На этом собрании не успеем, но на следующем уж обязательно будет поставлен вопрос о тебе.

— Хорошо, Мария-Элена.

— И осторожнее, пожалуйста, в саду, ты мне вчера целый куст маланги сломал... Надо заботиться о плодах земли.

— Хорошо, Мария-Элена.

— Так что запомни, сегодня ты обедаешь в «Каса Гранде».

— Да, Мария-Элена.

Несчастная, как она переменилась!.. Эти кутежи с американцами, буйные оргии на яхтах, шампанское и любовный угар...

— О мистер Тейбл!

— I love you.

— Kiss me.*

— О, мистер Сигарэт!

— Thank you.**

— Обними меня крепче, my father.***

Но это было еще не так тяжко, как то, что теперь...

— *Товарищ.*

Комитет, добровольные работы, учебные кружки, митинги, которые приходится теперь выдерживать... Раньше она бывала иногда забавна, теперь каждое ее слово — как нож в сердце...

— *Чтоб ни одного «гусано» не осталось!*

— *Кто не с нами, пусть уходит или пусть хоть лопнет, черт с ним!*

Проклятье, проклятье на его голову, проклятье его дому, его очагу — священному месту покоя и отдыха для каждого человека, но только не для него, только не для него... И ведь ничего нельзя сделать, и ничем нельзя защитить себя, ведь она — сумасшедшая, а сумасшедшим дана

---

* Поцелуй меня *(англ.)*.

** Спасибо *(англ.)*.

*** Мой отец *(англ.)*.

большая власть именно потому, что они — беззащитные... Проклятье... А раньше бывало так забавно...

— Ах, Альпы!

— Very fine!*

— Beautiful!**

— О, мистер Хоум! ***

— *Что с тобой?*

— *Вы, янки, у нас тут замерзли, видно, ни на что не годитесь!*

— *Как жаль, что здесь нет мистера Рейеса! Вот это настоящий мужчина! И в дождь и в снег.*

В своем любовном бреду она не забывала его... А ведь он уже годы, как не жил с нею как с женой, еще со времени графов и короля Испании — и, кто знает, может быть, она в свои одинокие ночи, на своей одинокой постели переживала с ним какие-нибудь неистовые мгновения страсти...

— *Вот это настоящий мужчина!*

— *Крестный.*

Если б он знал раньше, если б не был так глуп... Иоланда любит его, и сейчас любит... Когда она пришла к нему на предприятие в тот вечер, она была уже замужем... И все же...

— Муж знает, что я пошла к вам, он знает всю нашу историю.

Зачем она упомянула о муже, напомнила, что не свободна?.. Лоренсо Рейес де ла Торре... Он ведь ничего у нее не спрашивал, это она для себя самой сказала, словно убеждая в чем-то самое себя...

— *Крестный.*

Она и сейчас еще стоит у него перед глазами такая, как в тот вечер, красивее, чем когда-либо, не девочка — женщина... Тоска, тоска по ней, сгустившаяся за все эти годы, билась в нем, когда он глядел на нее, билась отчаянно, словно само его сердце сошло с ума...

— *Крестный.*

Тоска, такая же, как та, детская, когда он, мальчиком, стоял на коленях в исповедальне, хотел покаяться и не мог, не мог... «Что было прежде?» «Что было потом?» Не было «потом», было только «прежде», и из этого «прежде» не было выхода...

— *Подлец!*

Он — против нее, здесь, в кабинете своего предприятия, дрожа от страха, что она больше не поверит, что догадается...

— Ты не можешь себе представить, как жалел я о том, что случилось, как раскаивался...

— Я тоже раскаивалась.

— Но ты ни при чем, это была моя вина...

Была?.. А сейчас?.. И сейчас его вина все та же, да нет, еще больше... Обнимать ее, целовать, прижимать к себе, крепче, крепче, заставить наконец склониться эту голову с блестящими черными волосами!.. Его вина...

— Я мог быть отцом для тебя...

— Вы и были... До того вечера.

Дочерью? Зачем?.. Он хотел, чтоб она была ему женой, женой...

— Но теперь уже поздно.

— Да, теперь уже поздно, Иоланда, и это сводит меня с ума. Потому мне и не хочется жить... что теперь уже поздно...

Если б она стала его женой — хоть на миг... Тогда его жизнь обрела бы смысл...

---

* Очень приятно! *(англ.)*

** Восхитительно! *(англ.)*

*** Home — дом *(англ.)*.

— Как грустно, Иоланда... Теперь уже поздно.

— Уже поздно.

Как бороться?.. Марионетка... Все та же нить... Воля человека оказывается совсем не его, а чьей-то чужой волей, управляющей им без разрешения, без разумной цели... Чужая воля, сидящая в человеке, которую человек принимает за свою... Лоренсо Рейес де ла Торре... Лоренсо Рейес де ла Торре...

...Земля... Черная земля выбивается из-под корней пальм... Море выплескивается из пасти рыб... Земля и море... Земля и кровь... Хамелеон... Откуда вдруг?.. И с четырьмя ружьями под мышкой...

— Как дела, куманек?

— Что ты здесь делаешь, Хамелеон? Ведь ты — в США?

— Мы вчера катались по льду и, вот видишь, всю землю вымели! Земля теперь чистая, голенькая, как спина ребенка.

Вытягивается, прыгает в высоту и исчезает — огромный, толстый, черный...

— Брат!

— Тише, Хамелеон, могут нагрянуть бойцы Народной милиции!

— Мы с тобой — как горячий хлеб...

— Осторожнее, Хамелеон! Мария-Элена может услышать тебя... О, если услышит Мария-Элена...

— Она сразу же скажет в комитете.

— Она — как гора. Твоя мать — гора, Лоренсито.

— Я знаю.

Ему хочется плакать, слезы крутятся и кипят в его горле, щекочут, как пауки, и ему страшно, о, как страшно... Если его застанут здесь с Хамелеоном!.. Земля держит его ноги своими корнями...

— *Подлец!*

Самолет кружит над его головой, кружит, кружит, шумя совиными крыльями...

— Лоренсо Рейес де ла Торре!

— Тебя зовут, слышишь?..

— Лоренсо Рейес де ла Торре!

— Я здесь.

— Явитесь в пехотную часть!

— Я не солдат! Я не солдат!

Теперь можно бежать, он бежит без оглядки, быстрее поезда, быстрее своего «бьюика»... Дома проносятся мимо, назад, назад... Кто-то тянет их за собою... Это мертвые...

— Смотри, крестный!

— Я не твой крестный, Хамелеон!

Деревья кружат, кружат, как самолеты, но низко, над самой землей, низко летят деревья...

— Мои дома! Где мои здания? Я хочу вернуть мои здания!

Иоланду убили, убили, это из земли говорит она с ним, из земли мертвых... Бедная Иоланда! А она уже готова была согласиться жить с ним, быть его женой... Ее отвели к стенке... Черные волосы были непокрыты...

— Цельсь!

— Огонь!

Зачем так кричать? Люди кричат как безумные, даже выстрелов не слышно, а ведь уже стреляют... стреляют... Иоланда — сестра Марии-Элены, они близнецы...

— Товарищ.

Зачем понадобилось ее убивать? Сперва она хотела, чтоб ее убили, но потом — нет, ведь теперь все по-иному... Зачем здесь отец Энрикес?..

Да нет, это не отец Энрикес, а сам ректор, он бросает конфеты из окна третьего этажа соседнего дома....

— Теперь можешь покупать новые участки.

— Спасибо, падре.

— Сколько раз?

— Я не люблю ананасную карамель, она разрушает мозг.

Здания и лестницы разрушены... оцинкованные ступени... трещины... Коммунизм.

— Надо позвать какого-нибудь солдата. Среди них есть хорошие плотники. Господи, сколько тут червей! Черви — гусанос, с желтыми глазами...

— Мы должны покончить с ними! Вперед, товарищ!

Мария-Элена, без чепца и передника...

— Чтоб тебя...

Нет, ругаться теперь запрещено...

— Не уходи, Мария-Элена... Посмотри на комету.

Какая комета! Выгнула хвост — и прямо к тучам... Лучше бы большой шар, шары хорошо летают, и по ним можно бить ногой. Опять этот отец Энрикес... Надоел...

— Возьми свое здание, оно принадлежит тебе. Ты всегда был хорошим мальчиком.

— Да, падре.

— Один?

— Нет, падре, с Марией-Эленой... Но я не хотел...

— Один «Интернационал» и пять гимнов...

— Хорошо, падре.

— Подлец!

— Да, падре.

— Иди.

— Хорошо, падре.

Дверь скрипит, как консервная банка, когда в нее ударяешь... Звонок сломан...

— Коммунизм.

— Да, падре.

Опять Хамелеон...

— Что ты здесь делаешь?

— Я вас не знаю.

— Спроси обо мне Педро Фуэнтеса.

— Я честный негр.

— Где твои ружья?

— Один белый взял. Нам не удастся получить проценты.

— Но где же твои ружья?

— Вот что, сеньор, ступайте-ка отсюда.

Хамелеон раньше так не говорил, наверно, в Соединенных Штатах его обучили, там, наверно, свои курсы усовершенствования...

— Что с тобой?

— От вас я ничего не хочу. Ничего!

— Неблагодарный! Это я сделал из тебя человека! Я! Лоренсо Рейес де ла Торре!

— Подлец!

— А ты — тряпка! Мятая тряпка!

— Вон из моего дома! Вон!

— Это здание — мое! Мое!

— Нет мое. Мне его дала реформа благоустройства городов! Вон отсюда, вон!

Негр хватает его за ноги, выкручивает ему ноги... Одной рукой подымает в воздух... встряхивает...

— Пусти меня, пусти! Я пожалуюсь ректору! Чучо! Чучо!

Он обливается потом, ему страшно, страшно, горло у него рвется от крика, сердце останавливается, он умирает...

— Чучо! Чучо!

Никто не слышит его криков, ведь он онемел во время землетрясения, он теперь кричит только внутри себя, он привык кричать внутри себя... Лоренсо Рейес де ла Торре....

— Подлец!

Он умирает, умирает...

— О, боже правый! О-о-о...

Как приятно умирать...

— О-о-о-о-о-о...

Он падает на пол, но долго, долго падает... Тело его вздрагивает, он задыхается... Он умирает без смерти...

— Скорей бы!

Он тихо опускается на землю, мягко, мягко, как птица...

— Хорошо, что я еще ребенком выучился летать.

А теперь ему горько, горько и стыдно... Его могли видеть, что скажут люди? Боже правый! Впрочем, неважно... Упасть ведь может всякий, верно?.. Упасть хоть раз в жизни...

— Мне нужно видеть Чучо. Меня кто-то обидел... Чучо! Чучо!

Полковник — в доме Лолы, там теперь казарма...

— Чучо!

— Это вино довело тебя до такого состояния.

Какая-то женщина, полуголая, бесполая, плоская, как доска...

— Пойдем, милый.

— Где Чучо?

— Полковник занят.

— Чучо?

— Ну ясно, Чучо.

— Занят? Я не знал, что он такой бравый мужчина!

Бесполая женщина отходит, не глядя на него, и запевает какую-то песню... «Всё для меня, всё для тебя...»

Гнусавый голос, и слова бессмысленные...

— Я еще могу измениться.

— Теперь уж не поможет. Теперь ты в земле, в корне тыквы, под кустом маланги...

— Маланги, да... Но, послушай!

— Зачем ты кричишь? В церкви кричать нельзя.

— Ты Иоланда!

— Я мертвая, оставь меня в покое... Ты разве не видишь, что я молюсь?

— Монахини из монастырской школы погубили тебя. Монахи и попы — все обманщики.

— Попы носят брюки под сутаной.

— Да, помню, серые брюки. Я учился в «Страстях». А, знаю: ты живешь с отцом Энрикесом. Как не стыдно!

Вот идет полковник, просматривая какие-то планы, за большими листами бумаги не видно лица, смотрит мимо него, словно не замечая, проходит мимо...

— Мои участки! Чучо!

— Не такой я дурак!

— Почему ты говоришь так со мною, Чучо? Чучо! Чучо!

Полковник уходит, не слышит его криков, как глухой... Да нет, Чу-

чо не глухой, это его самого не слышно, у него немой голос, он онемел во время землетрясения...

— Чучо!

Вот немножко голоса вырвалось наружу, но каких это стоило усилий... Полковник уже далеко...

— Чучо!

Вот теперь — крик, громкий крик... Полковник останавливается, смотрит на него желтыми глазами... Нет, это не полковник... Это отец Энрикес...

— Мои здания, падре! Мои дома! Этот негр погубил меня.

— Сколько раз?

— Одиннадцать раз, падре.

— Ты должен сказать отцу.

— Старик уехал в Соединенные Штаты, падре. Он уехал в Штаты и увез скобяную лавку.

— Тогда это не есть грех.

— Как не грех, падре?

— Это судьба, твоя судьба, которой управляют духи.

— Я так и думал.

— Теперь все по-иному, все как прежде. Мы снова начнем сеять мертвых, и вот увидишь, сможем продавать выстрелы.

— Бог да услышит тебя, Чучо.

— Мы с богом не в ладах.

— Но ты не уходи! Чучо! Чучо!

Он не может больше кричать, бесполая женщина целует его, зажала ему рот своими губами... Еле освободился...

— Оставь меня.

— Это вино тебя привело в такое состояние.

— Подлая! Подлая!

— Это неизбежно.

— Подлая!

— Как ты еще не понял?

— Я хочу умереть, умереть! Подлая!

Но если он умрет, ему будет очень холодно...

— Коммунизм.

Бесполая женщина начинает кричать, браниться, разъярилась, как зверь какой-нибудь...

— У тебя все отняли! Все! А ты — с ними! С чернью! Подлец! Подлец!

— Замолчи! Я хочу выйти на улицу! Я ухожу!

— Я погубила тебя! Пусть никто не узнает!

— Никто не узнает, я улечу.

Но сейчас он уже не может лететь, разучился, ему приходится ползти, ноги не повинуются... Что это? Чучо, капитан Сантана и несколько служащих, одетых в желтое, стреляют из ружей по стенам...

— В чем дело, Чучо!

— Надо выгнать их из домов.

— Реформа благоустройства города!

«Страсти», его семинария, он должен пойти отстоять ее... На улице Релох полно солдат, они стреляют из ружей... Вдруг он вспомнил:

— Но ведь Сантану расстреляли!

Теперь все по-иному... Ну и дьяволы эти американцы! Воскрешают мертвых, из стены делают мост до самой церкви... Мальчики ждут его у ворот семинарии, строгих, высоких и черных...

— Проходите, проходите.

— Проходите, Лоренсо Рейес де ла Торре.

— Не потеряйте шляпу.

— Я оставил мою шляпу у стенки, где меня хотели расстрелять.
— Проходите, проходите.
— Спасибо, мальчики, вы очень добры ко мне.
— Хамелеон ожидает вас.
— Этот негр меня любит.
— Проходите, проходите.
— Спасибо.
— Мы сейчас будем петь «Интернационал».
— Осторожнее, вас может услышать Мария-Элена!..

Отец Энрикес стоит на верхней ступени высокой белой лестницы — величественный, огромный, суровый... Он — без сутаны, в простых миткалевых брюках свинцового цвета, какие носят кондуктора...

— Грех, грех, грех...

Прекрасная речь... Но мальчики совсем не слушают, смеются, потрясают кулаками, не внемлют слову божию... Как сумасшедшие... Издеваются над проповедником...

— Эй, падре, мы теперь коммунисты.
— Грех, грех, грех, грех...
— Вы думаете, мы вернемся вспять? Как бы не так!
— Грех, грех, грех...

Зачем здесь Иоланда, среди этих мальчиков? Одетая во все белое, с длинным шлейфом, с непокрытыми волосами — теперь девушки уже не надевают на свадьбу венок из флердоранжа... Она увидела его...

— Вот встреча! Крестный! Крестный!
— Жизнь моя!

Она смеется, широко раскинув руки...

— Я люблю тебя.

Она безумно любит его, сходит с ума от любви, а сумасшедшие — умный народ, все могут понять, он-то знает это...

— Мой храбрый гаучо!

Но почему мальчики вдруг становятся между ним и его любимой, почему не пропускают к ней?..

— Ну же, детки, деточки, что вы это?..
— Червяк! Гусано!
— Иоланда!

Она уходит, уходит с повстанцами — нет, с одним из повстанцев, другие только идут за ней, а она уходит с одним, с простым солдатом, ну хоть бы с капралом каким-нибудь, так нет — с рядовым, и он к тому ж еще маленький и невзрачный... Но у него ружье за плечами, потому она и пошла за ним... Женщины любят тех, у кого ружье за плечами...

— Я больше не люблю ее.

Мальчики наступают на отца Энрикеса, потрясая кулаками...

— Дайте нам женщин! Женщин, женщин!

Отец Энрикес вынимает из-за пояса пистолет и стреляет... Но никто не падает — это новейшее изобретение американцев, пистолет, который стреляет и не убивает никого... Замечательное изобретение, что за хитрецы эти янки!.. Отец Энрикес все стреляет, а мальчики все продолжают наступать... Какое непочтительное отношение к наставнику!

— Внемлите мне, создания божьи!

Пули вонзаются в потолок, известка сыплется. Патрисия стоит в углу, прижавшись к стене, и так удобно ее целовать...

— Подлец!

Под выстрелами поцелуи слаще...

— Какая важность, если мы умрем?
— Ты мне должен пятьсот песо, милый.
— Кажется, тысячу.
— Подлец!

Отец Энрикес благословляет мальчиков, крестя их в воздухе дулом пистолета...

— Вот это хорошо.

— Бедные мальчики!

— Но ведь они коммунисты, Патрисия!

— Ты тоже коммунист, милый.

— Я — нет, это Педро Фуэнтес коммунист.

Мальчики толпятся, кричат, убегают навстречу кому-то...

— Они пришли! Они уже здесь!

Американцы — в штатском, но на головах — стальные каски... В новеньких черных армейских башмаках и с резиновыми дубинками... Он так рад, что забывает о Патриссии, которую только что обнимал, и хлопает в ладоши, страстно, яростно, словно все это и впрямь очень для него важно...

— Я никогда не увлекался политикой.

— Потому что ты дурачок, милый.

Отец Энрикес снова принялся стрелять, но теперь он целится только в них — в него и Иоланду... Да, это уже не Патрисия — Патрисия превратилась в Иоланду...

— Крестный.

Пули задевают его по лицу, красные пули, похожие на клубничные карамельки...

— Подлец!

Он пускается бежать, какое ему дело до Иоланды: пусть спасается как знает... Он бежит, задыхаясь, все быстрее, какая-то боль нарастает в нем, а пули летят впереди, все впереди, и он не может нагнать их...

— Я погиб!

Хорошо хоть, что аргентинка его еще любит, единственная женщина, которая любит его, и она где-то там, впереди... Но почему-то на улицах нет никого, только камни, одни только камни, горы камней... Огромный таракан уползает из-под самых его ног...

— Если я раздавлю его, все безумства кончатся... Воздух! Лучше всего — воздух в вену! Как это говорится в стихах Лоренсито?..

Я — красный шар,
красный шар, красный шар,
красный шар, красный шар,
красный шар...

Хорошие стихи, только, кажется, их сочинил вовсе не Лоренсито... Ну, конечно, это он сам их сочинил, он, Лоренсо Рейес де ла Торре... Лоренсо Рейес де ла Торре... А Лоренсито даже и нет теперь здесь, мальчик не может вынести всей этой обстановки, ему не нравится чернь, он натура артистическая...

— Вон идет полковник.

Чучо проходит по улице с целым полком солдат... Не глядя на него...

— Чучо! Чучо!

— Лоренсо Рейес де ла Торре, ты — командир. Спаси нас!

— Я не занимаюсь политикой.

— Умоляю! Ты один можешь нас спасти! Ты один!

— Если захочу...

— Спаси нас, Лоренсо Рейес де ла Торре! Ты должен спасти нас!

— Я не хочу.

— Огонь! Огонь!

— Горючая смесь!

— Кто разлил?

— Сумасшедшая! Сумасшедшая!

— Видишь, Лоренсо Рейес де ла Торре? Не говорил ли я тебе?..

— Спасайся, граф! Спасайся!

Как хорошо, теперь расстреляют Марию-Элену...

— Горючую смесь разлила Мария-Элена! Мария-Элена, Мария-Элена!

— Твоя жена сошла с ума из-за кучера, а кучер — ты!..

— Я? Как так, Чучо?

— Да, да, да! Ты и есть кучер!

— Не говори так, Чучо!

— Да, ты! Плачь теперь! Довольно ты смеялся, плачь! Теперь тебя сожгут, пробил твой час

— Чучо!

Пламя взвилось вокруг него...

— На помощь!

Пламя не жжет, только горит... Все ярче... Не жжет, но платье на нем тлеет, и пламя пахнет жженой тканью... Нет, вот теперь жжет, жжет все сильнее...

— Чучо, спаси меня!

...Слава богу, проснулся... Кончился этот кошмар... Ну и сон, господи... Теперь все встало на свои места: Хамелеон со своими зданиями остался где-то далеко, и выстрелов на улицах не слышно... А ведь он чуть не сгорел... Во сне... Да нет, черт возьми, совсем не во сне! Вся рубашка на животе прожглась... Уронил сигару... Теперешние сигары... Гаснут когда не надо, а эта вот, пожалуйста... Ну да не страшно — искорка... А ведь если б он не проснулся... И лучше было бы — покончить разом... Ужасный сон... К чему бы это?..

— Письмо!

Он совсем забыл про письмо, которое сегодня утром принес почтальон... Наверно, на столике, в другой комнате... Да нет, здесь, в кармане... Из Соединенных Штатов... Пусть лучше эти американцы сидят у себя дома...

— Господи!

Пусть все остается как есть, по крайней мере так он спокоен... Бедная Мария-Элена...

— *Товарищ.*

Если они придут... Это будет ад, как в его сне... Выстрелы, бомбы, горючая смесь... Беготня... И предприятие они ему не вернут, и здания не вернут, а об участках и думать нечего... Никто тут дела не поправит, а уж тем более американцы...

— *Дерьмо твои американцы.*

Было бы хуже, если б они пришли... Нет, все изменилось, путь назад закрыт, каленым железом не выжечь...

Письмо... Это от Лоренсито, наверно, опять денег просит... Беда с мальчиком, не умеет держать себя в руках, ведь месяц назад послали...

IV

«Дорогой папашка!

Когда ты получишь это письмо, я уже буду лететь в самолете по направлению к Франции, к Парижу, великой столице искусства и утонченной жизни, единственной, ради которой стоит жить. А знаешь, кто летит со мною вместе? Попробуй-ка угадай! Нет, дорогой, пока что не скажу. Помучайся... Я счастлив, папа! Счастлив! Наконец я разгадал свое призвание и вижу его с такой ясностью, как солнышко поутру... Если б ты прочел последние мои стихи!.. Скоро, наверно, они появятся в печати — первые стихи, которые я решился

оторвать от сердца и отдать на суд публики! Я пошлю тебе экземпляр, чтоб ты пережил вместе со мной мои чувства.

«Моя истерзанная плоть сегодня возродилась»...

Но нет, лучше подождем, скоро ты сможешь увидеть эти строки в красиво изданной книжке. В Париже наверняка заинтересуются моими стихами и пожелают сразу же их издать. Нет ни малейшего сомнения: мои стихи — такое чудо!

Ты не можешь представить себе, папа, какой подъем я сейчас переживаю. Словно на моих глазах создано нечто прекрасное, и при этом для одного меня... Какой-то мой собственный Бог создал это прекрасное для моего счастья и передал мне в руки, вложил в мое сердце, влил в мою кровь... И это прекрасное вырастает из моего существа, складываясь в пламенные слова... По моим венам, по моим синим венам, течет река огня и гармонии, и вдруг вырывается наружу, и превращается в ласковый свет воскресного утра. И воскресные утра окрашиваются для меня в нежные тона морской волны... Все утра для меня теперь воскресные, и все дни — праздники... и этот запретный свет проникает все вокруг — и огромные здания, и крошечные цветочки...»

Боже правый, что это с мальчиком? Тоже сошел с ума, как мать, что ли? Ну да ведь все поэты — сумасшедшие... И даже ничего про деньги не пишет... Пока что не пишет, надо до конца дочитать...

«Мои дни и мои ночи затоплены светом прекрасного... Нет больше ужасного мрака моей жизни. Я благословляю даже само страдание! И оно прекрасно. Я теперь и слышать не хочу о мирной жизни, о покое... Я хочу гореть в пламени объявшей меня тревоги, я хочу сам превратиться в пламя. Не знаю, поймешь ли ты меня, дорогой, но делиться с тобой всем этим — такое для меня счастье!

А теперь выслушай мою исповедь... Еще несколько недель назад я ненавидел тебя... Немножко ненавидел... Ты виноват в том, что дал мне мать, которая всегда внушала мне ужас... Но теперь все изменилось, папа; теперь я благословляю ее, потому что это благодаря ей сердце мое подобно факелу, горящему пламенем чувства, чистым и тревожным... Пусть будет благословенно ее святое безумие и твое решение сделать ее моей матерью! Это из-за нее мои стихи подобны раненым мотылькам, истекающим светом, взмахивающим крылышками и умирающим в кристальной чистоте утра... Сколькими чудесами обязан я безумию моей матери! Прости, что я ненавидел тебя, прости мне, папа!

Да, теперь насчет того, о чем я писал вначале.. Может быть, ты уже угадал? Нет еще?.. Ну, так и быть, помогу тебе, рассказав, как мы познакомились с этим человеком...

В тот вечер мне почему-то вздумалось пойти на состязание по боксу в Мэдисон-сквер-гарден; состязались боксеры в тяжелом весе... Я вообще-то не люблю смотреть на эти бойни, на кровь, все это мне внушает отвращение, но меня покоряет гармоническая плавность, с какой движутся эти гиганты на небольшом квадрате своей спортивной площадки... Я взял билет поближе к рингу. Рядом со мной сидел какой-то человек и ужасно переживал... И все время кричал по-испански, как кубинец, понимаешь? Я спросил у него:

— Вы откуда?

— Из Сантьяго.

— С Кубы?

— Ясно, куманек.

Потом он признался, что давно уже ищет случая со мной познакомиться, что не решался... Сказал, что я ему напоминаю одного

человека, ты знаешь его — доктор Помарес Рамбла, тот, который был председателем суда... Помнишь?»

Арнольдо... Хорошее дело, похоже, что этот новый знакомый сына — не кто иной, как Хамелеон... Странно, конечно, слишком необычайное совпадение... И все ж, по всему выходит, что так...

«Ну ладно, папа, пора раскрыть тебе секрет, хоть ты, наверно, уж и сам смекнул... Так вот, мой новый друг — Хамелеон. Он мне сказал:

— Так и напиши отцу: Хамелеон, мол, он меня знает.

Ты мне никогда про него не рассказывал, папа. Почему? Я очень сержусь на тебя за это».

Хамелеон! Боже правый! И еще говорит, что Лоренсито напоминает ему этого неженку Арнольдо... А у мальчика — голова кругом... Матерь божия! Не хватало только, чтоб этот подлец...

— Я убью его!

— *У вашего друга очень дурная слава...*

Весь Сантьяго знает какая... И, к великому сожалению, это не сплетни... Впрочем, сам Хамелеон даже ни разу не пытался что-либо опровергать...

И теперь — Лоренсито...

— Я убью его!

Да, да, он отправится в Париж — пара выстрелов, и все будет кончено... Сын будет спасен... Сын, его кровь...

— Я убью его!

Боже правый! За что столько горя?.. В этом огромном Париже разве их обоих разыщешь? Там столько людей... миллионы... Но надо читать дальше: может, мальчик указал адрес, ну хоть отель какой-нибудь, где они с этим подлецом остановились...

«Ну, старик, пока! Письмо и так получилось слишком длинное... Ах да, чуть не забыл! Знаешь, какую штуку сыграл со мной Педро Фуэнтес, твой вернейший друг? Украл у меня тысячу долларов. Дело не в деньгах, черт с ними: четырех тысяч нам хватит, чтоб добраться до Парижа и устроиться, но мне просто обидно, что он оказался таким грязным и вульгарным типом... Представь себе: когда я ему показал твой вексель, он выдал мне только четыре тысячи долларов и сказал, что остальное завтра, а когда я назавтра пришел за деньгами, то оказалось, что он из пансиона съехал, и хозяйка сказала, что он вообще уехал в Южную Америку, а в какую страну — неизвестно, не сообщил...»

Господи! И ты, Педро Фуэнтес... Да и деньги большие... Вот мошенник! Хотя, впрочем, он сам про себя сказал:

— *Я должен жить хорошо и добьюсь этого любым способом.*

Но так поступить с другом... О, люди, люди!.. Хотя, по правде говоря, Педро Фуэнтес имел полную возможность уехать со всеми его деньгами и вовсе ничего не давать Лоренсито, а он все-таки дал мальчику четыре тысячи долларов, поступил, в сущности, как друг, по-честному... И все же — какая сволочь, а?!

«Очень может быть, что у тебя, папа, он украл еще что-нибудь, это вполне вероятно, но ты не огорчайся, чернь отняла у тебя больше, а ты пока жив и здоров... Ну, довольно на сегодня: уже пять часов утра, а я всю ночь был во власти волшебных чар, словно во мне живет множество маленьких гномиков — это чудесно и одновременно причиняет страдание. Хамелеон говорит, что ты меня поймешь...».

Господи! Неужто эта свинья внушила мальчику, что он... Какой подлец!

«Ну, прощай, старик, хороший мой папашка... Если ты больше не получишь от меня письма, это будет значить, что я умер,— вернее всего, от счастья... Обнимаю тебя. Поцелуй от меня мою святую безумную мать.

Твой сын

Лоренсито.

P. S. Хамелеон просит передать тебе самый нежный привет.

Л.»

Боже милосердный! Какой ужас!.. Мальчик даже адреса не пишет. Может, и хорошо, что не пишет, иначе бы... Да он прямо видит перед собой всю картину: выстрелы, громкая сенсация, крупные заголовки в газетах...

«ЛОРЕНСО РЕЙЕС ДЕ ЛА ТОРРЕ УБИЛ ДРУГА СВОЕГО СЫНА».

Господи, за что такая судьба!.. Три самых близких человека — Хамелеон, Педро Фуэнтес и Лоренсито... Сын, его кровь... Последний, кто у него оставался... Теперь он один на свете... Один... Нет, Мария-Элена, Мария-Элена все еще с ним, бедная безумная Мария-Элена... Надо пойти к ней... Он должен видеть ее, видеть немедленно, чтоб не чувствовать себя таким бездонно одиноким, таким всеми покинутым... Мария-Элена... Она, должно быть, в зале, сейчас, наверно, около пяти, собрание комитета уже началось... Все обрушилось... Нет, мир стоит на месте, это он сам обрушился.. Крушение... Лоренсо Рейес де ла Торре... Вот горе-то какое! Ну, точно, она здесь, бедняжка... Собрание комитета... Пустые стулья полукругом, немые и недвижные, а она — в центре, стоя, председателем своего одиночества...

Она говорит...

— Господи, ну что же с тобой, Мария-Элена!

— Замолчите, товарищ!

— Хорошо, Мария-Элена.

— Так на чем мы остановились, товарищи?.. Ах, да... Так вот, я могу говорить о всех этих вещах, я это знаю, я пережила это сама... Я сама была графиней, я была близко знакома со всем этим аристократическим сбродом...

О, если б она знала!.. Но она ничего не может знать, ничего не может понять, живя в том удобном, воображенном ею мире, который она создает себе, чтоб быть счастливой, и из которого ее никто и ничто не может вырвать. И в этом своем мире она чувствует себя полноценной и выглядит полноценной, словно она вовсе и не помешанная...

— Я жила долгие годы при дворе одного короля и могла собственными глазами видеть всю эту грязь и подлость... А ведь Альфонсо XIII был еще не самый мерзкий из королей, есть много хуже, много подлее... Сущие свиньи...

Бедная Мария-Элена!

— Аристократы ничего не делают, они живут среди поклонов и бумажек — бумажек с портретом какого-нибудь короля... Как я была несчастна в то время!.. Пожалуйста, товарищ... Да, да, говорите, я даю вам слово...

Кресло, пустое кресло слева от Марии-Элены, вернее, кто-то, кого она видит в этом кресле, произносит какие-то слова, которые оскорбляют ее...

— Но это гадко, товарищ! Вы не имеете права... Я не разрешаю вам так... Ну да, я была аристократкой, я жила этой мерзкой жизнью и не протестовала... Это правда... Но я всегда сочувствовала людскому горю... Я ничего не могла изменить, ведь я не была королем, и король даже сильно меня недолюбливал, даже враждебно относился ко мне...

И знаете почему, товарищи?.. Потому что я хотела остаться верной моему мужу, а король за мной ухаживал, он по мне просто с ума сходил... Мой муж вам это подтвердит — вон тот товарищ справа, видите... Он тогда был графом Посос дель Рио... Я хотела остаться ему верной, и вот этого-то мне и не простил король Испании...

Если б все это было правдой, никто не смог бы утверждать, что Мария-Элена — сумасшедшая, а ведь для нее это и есть правда: все, что она говорит, она пережила, выстрадала... Правда — что все это когда-то было с нею... Правда, что кругом сидят люди и слушают ее рассказ о том, что было... Действительность не существует для нее, есть лишь ее мир, ее особая, воображенная ею действительность... А может быть, взять да и рассказать ей про письмо сына?!

— Я тогда была честной и чистой, но позже... позже я стала миллионершей, товарищи... Двадцать миллионов долларов в банке и один миллион дома в несгораемом шкафу — на текущие расходы... Я делала деньги... А делать деньги — это значит ничего не делать, товарищи. Ни аристократы, ни богачи ничего не делают, они ничего не производят... А если что и делают, то плохое... Я, когда была богачкой, позволяла себе всякое свинство...

— *Подлец!*

Мать Лоренсито «безумная святая», «святая безумная»... Мать первого человека тоже, быть может, была безумной, и человечество несет в своей крови это первозданное безумие, это наследственное проклятье... Мария-Элена...

— Когда ничего не делаешь, чувствуешь внутри такую пустоту, а денег много, хватает, чтоб оплатить все пакости, которые нам нужны, чтоб чем-нибудь заполнить жизнь... Но как мне было тошно! Я сама себе была противна, товарищи... Теперь все так изменилось... Когда я вчера собирала хлопок, когда я рублю тростник, когда я сею... Да, товарищи, теперь все совсем переменилось... Хлопок — он ведь нас оденет, маланга накормит нас, а тростник даст нам сахар, много сахара... Пот моего труда вливается в кровь людей... Вы понимаете меня, товарищи?.. Вы понимаете меня?

Она счастлива, глаза ее светятся счастьем... Если б он мог быть так счастлив...

— Теперь все по-иному... И чтобы никогда не было так, как раньше, мы готовы пойти на смерть, мы готовы разорвать на части проклятых червей — «гусанос» и этих янки тоже, пусть только сунутся!..

Звонок, зазвонил звонок...

— Куда вы, товарищ?

— Звонят, Мария-Элена.

— Не открывайте эту дверь, товарищ.

— Но там звонят...

— Идите через другую дверь, через сад.

— Хорошо, Мария-Элена.

— Так продолжим, товарищи... Я сказала, что для того, чтоб защитить то, что есть сейчас, мы готовы умереть, потому что это принадлежит нам всем, всем, кто находится...

Она будет говорить до самой полуночи, потом пропоет «Интернационал» и несколько раз крикнет «ура»... Это ее мир... «Богачи ничего не делают»... Правда... Он никогда ничего не делал, даже бумажного шарика себе не сделал, когда мальчишкой играл в саду, даже бумажного шарика не сделал сам... Все делали за него другие, все покупалось готовым, денег хватало, чтоб уплатить за все...

— *Делать деньги — значит ничего не делать.*

Он никогда ничего не делал... Никогда ничего...

— Добрый вечер, сеньор Рейес.

— Ах, это ты, Висенте. Куда пропал?

— Да так, сеньор Рейес.

Совсем не так, а что-то он собирается сообщить, да почему-то стесняется, словно ему неловко, словно жаль чего-то...

— Почему ты сегодня так поздно, Висенте?

— Видите ли, сеньор Рейес... Да это все жена, понимаете... Сегодня сынка демобилизовали... так она просила, чтоб я провел денек дома, с семьей, значит...

— Но ты же мог заранее предупредить...

— Это точно, что мог, сеньор Рейес... Да не подумал как-то, думал, может, я и не нужен вам... Поскольку я теперь почти ничего тут у вас не делаю...

Ничего не делает — за хлебом ходит, за молоком ездит в Каней... Не та работа, что раньше, разумеется... Висенте она, наверно, не очень-то по душе...

— Так ты говоришь, сына твоего демобилизовали?

— Да, сеньор Рейес, Мануэля моего...

— Он что, в Народной милиции?

— Артиллерист, сеньор Рейес.

— А почему ты мне о нем никогда не рассказывал?

— Да мы никогда с вами не говорили про мои-то дела, сеньор Рейес.

Никогда не говорили про его дела... А вообще о чем-нибудь говорили?.. Висенте был всегда на месте, за рулем и смотрел только вперед, на дорогу, по которой вел автомобиль...

— *Да, сеньор Рейес.*

— *Хорошо, сеньор Рейес.*

— А второй сын у тебя тоже в Народной милиции?

— Да, сеньор. В институте.

Вероятно, и самому Висенте по душе все это... Но ведь он никогда ни в чем не возражал хозяину...

— *Хорошо, сеньор Рейес.*

— А ты, Висенте?.. Что ты обо всем этом думаешь?

— Я, сеньор Рейес?.. Да знаете ли... Отцу не следует против своих детей идти...

— Ты прав, Висенте... Не следует...

Лоренсо Рейес де ла Торре... Против своего сына... Да, но ведь его сын...

— И еще, сеньор Рейес... Вы, может, не согласитесь со мной, но человек должен... Вы, конечно, не обижайтесь, сеньор Рейес... Вы всегда были добры ко мне, очень даже добры, но другие... из ваших... Больно уж горды... Дурные люди, сеньор Рейес, все жилы из тебя вытянут... Это я не про вас говорю, сеньор Рейес...

— Понимаю, Висенте.

Не про него говорит... Но думает, конечно, и про него...

— *Дурные люди, сеньор Рейес, все жилы из тебя вытянут.*

— И потом вот еще что, сеньор Рейес...

— Что еще, Висенте?

— Дело в том... Вы, конечно, не обижайтесь, сеньор Рейес... Ребята мои оба — из Коммунистической молодежи... И они... они... Это не то чтоб я сам хотел, сеньор Рейес... Они, понимаете...

— Говори, Висенте, не тяни, я тебя слушаю.

— Они говорят... Поскольку у меня только и дела, что водить вашу машину... они говорят... что эта работа теперь неподходящая, что она непродуктивная работа, никакой от нее пользы для общества... Это у них такая теория, знаете?

Этот человек тоже хочет что-нибудь делать... Что-нибудь делать...

— *Когда я вчера собирала хлопок, когда я рублю тростник, товарищи...*

— И вот они говорят, что в ИНРА *... Грузовик у них там... С первого числа...

— И ты, Висенте?!

— Да, приходится, сеньор Рейес...

— Оставляешь меня.

— Да ведь... Ребята всё, понимаете?.. Но я до конца месяца не уйду, чтоб вы могли другого подыскать...

— Никого я не буду искать, Висенте.

— Но, сеньор Рейес, с первого числа я...

— Ты поступил ко мне двадцать лет тому назад, Висенте.

— Двадцать два года, сеньор Рейес, помнится, в ноябре тысяча девятьсот...

— Тебя рекомендовал Педро Фуэнтес.

— Да, сеньор Фуэнтес хотел мне помочь... Я водил грузовик у него на складе... неважная была работенка..... Сеньор Фуэнтес....

— А какого ты мнения о Педро Фуэнтесе, Висенте?

— Я?.. О Педро Фуэнтесе?.. Он был богатый... Вы хотя тоже были богаты, сеньор Рейес, но вот Фуэнтес... Фуэнтес был, как бы это выразиться... сердце у него жесткое, сеньор Рейес... Не то что вы... Да что там, совсем другой!..

Лоренсо Рейес де ла Торре... Педро Фуэнтес... «Вы тоже были богаты»...

— *Жить хорошо... любыми путями...*

Каким тяжелым стало вдруг казаться собственное тело... Каждое движение стоит труда, огромного труда... В каждое движение надо вложить всю волю, какая еще осталась, даже в самое простое, даже чтоб пошевелить рукой... Словно что-то сломалось у него внутри.

— Приходи завтра за жалованьем, Висенте... Я не могу рассчитаться с тобой сегодня, дома денег нет. Я заплачу тебе за месяц вперед и подарю что-нибудь на память...

— Но, сеньор Рейес...

— Приходи завтра, Висенте...

— Но, сеньор Рейес, подумайте: ведь вам придется ездить в Каней за молоком, покупать мясо, стоять часами в очереди в магазинах... Доставать овощи где-нибудь за городом...

— Ничего, Висенте. Может быть, мне это и нужно, так я буду делать что-нибудь, это будет мне полезно.

Делать что-нибудь... Что-то, что делали за тебя другие, те, кому ты платил... Делать самому то, что может быть сделано для тебя за деньги... Делать самому... Лоренсо Рейес де ла Торре... Если он только не сходит с ума, то, кажется, это будет для него полезным...

---

* Национальный институт аграрной реформы.

КАРЛ СЭНДБЕРГ

■

Перевод с английского
Э. АНАНИАШВИЛИ

Дешевая синева

Синева далеких холмов
        и кружево летней листвы,
Синева далеких холмов
        и зимний узор оголенных сучьев,
Светлая морская синева
        зимой, у песчаного взморья,
Густая синева далеких морских просторов,
Степная синева
И синева вздымающихся гор —
Набрать бы охапку этой
        разнообразной синевы,
Полный карман синевы,
И ходить по свету,
        разговаривая и смеясь, словно
Получив от бога пригоршню блестящих монет,
Чтобы тратить их не жалея,
Швырять во взлетающих птиц,
Бросать со звоном
В оловянные кружки
        слепых у дороги!

Человек и собака зимним утром

Было болото, покрытое высокой травой,
Слишком жесткой для фермерского скота.
И ветер пробирался по нему,
        колебля копья травы,
И каждое копье
        упруго клонилось под ветром,
Посылая в воздух тихий свистящий звук,
Загадочный негромкий свист
        скрипки под смычком.
И случилось,
        что от всех этих копий,
        гнувшихся под ветром,

Возникла тихая музыка в болотной траве,
Слишком жесткой для фермерского скота.

«Вот это — знатное место, чтобы прийти отдохнуть,
Как-нибудь в зимнее утро,
Как-нибудь в раннее утро, зимой!» —
Сказал голодный человек,
Обращаясь к своей собаке,
Обращаясь к самому себе
и к ветру, летящему мимо.

«Какое царское место!
Сюда бы прийти отдохнуть!»

Три стороны Нью-Йорка

Нью-Йорк — город бесчисленных кошек.
Иногда говорят, что Нью-Йорк — это Вавилон.
Есть Нью-Йорк розовых и золотых туманов.

Нью-Йорк — город бесчисленных кошек;
Они питаются бедняцкими помоями
И помоями из домов важных людей;
Они трутся спинками о пожарные лестницы
И плачутся друг перед другом в мусорных ящиках.
О, они рождены для столичной кошачьей жизни!

Иногда говорят, что Нью-Йорк — это Вавилон;
Здесь вы увидите вавилонских танцовщиц,
Сверкающих оголенными пупами,
Пока официанты вполголоса отвечают «да, сэр!»
Постоянным посетителям, заказывающим тот же виски,
что в прошлый раз;
И полюбовавшись зрелищем,
Стоившим большого труда, выдумки и таланта,
Сказав друг другу, как это было замечательно,
Они едят и пьют, пока не забудут о нем;
И беседа их — о легких предметах: о том,
Какие из бутлеггеров работают с бóльшим риском
И какому именно малому риску
Подвергаются бутлеггеры высшего ранга.

Есть розовый и золотой Нью-Йорк,
Вечерних огней и солнечных закатов;
Есть туманный Нью-Йорк, видный с пароходов,
Призрачное нагромождение пятнистых масс,
Форма, воздвигнутая кулаками людей
Из грязи, и пота, и дневного света,
И хриплых утренних проклятий
После короткого ночного сна.

Нью-Йорк — город бесчисленных кошек.
Иногда говорят, что Нью-Йорк — это Вавилон.
Есть Нью-Йорк розовых и золотых туманов.

Два ноктюрна

1

Море выражается языком,
какого не услышишь никогда от
порядочных людей.
Это — громогласный дворницкий жаргон,
не знающий ни к кому уваженья.

Не правда ли, это ужасно:
быть одиноким?

2

Степь молчалива.
Она не говорит ничего,
пока не прикажет дождь.
Это — женщина,
таящая какие-то мысли.

Не правда ли, это ужасно:
слепо любить?

Детская песенка о четырех ветрах

Пусть я буду твое дитя, южный ветер!
Я хочу быть убаюканным,
Укачай меня, убаюкай меня.
Баюкай меня ласково, баюкай меня тепло.
Пусть я буду твое дитя!

Причеши мои волосы, западный ветер!
Причеши меня шершавым коровьим языком.
Или взбей мне волосы башней на голове.
Западный ветер, дай я буду твое дитя!

Северный ветер, встряхни меня, когда я безумен!
Встряхни меня ласково и измени мои пути.
Остуди мои уши
Прохладой синего моря.
Я — твое дитя; заставь меня быть послушным.

Чего же попросить у тебя, восточный ветер?
Уютный туман?
Закутай меня в туман!
Усыпи меня, закутав в уютный туман.
Я — твое дитя, я всегда был твое дитя.

Лицо

Я хотел бы выбить на меди твое лицо.
Профиль твоего лица
Хотел бы я выбить на меди.

Твой нос, твой рот,
Густую волну волос на твоей голове,
Твой холодный, открытый лоб.
Я возьму молоток и медный лист
И стану бить по нему,
Пока твое лицо не будет запечатлено навсегда —
Наперекор дождю, морозу, бурям,
Морской воде и соли морей,
Наперекор копытам, колесам, гвоздям,
Наперекор приливу, ржавчине,
Зеленой медной яри.
Я хочу вознести твое лицо
Над голубыми перекрестками морских побережий,
Мечту из меди и синевы.

Молочно-белая луна, прикажи коровам заснуть

Молочно-белая луна, прикажи коровам заснуть!
С самого утра, с тех пор, как они на рассвете
Проснулись и поднялись из высокой травы,
Распрямив подогнутые под себя колени,
С тех пор они ели траву и давали людям свое молоко,
И снова ели траву, и снова давали молоко,
И держали головы и зубы вровень с землей.

Теперь они глядят на тебя, белесая луна,
Равнодушно, как на земные ландшафты,
Как на плоские и обширные ландшафты равнин,
Равнодушно, как на ведро,
полное свежего, белого молока.
Глядят они на тебя,
не любопытствуя нисколько, нисколько,
Луна ли перед ними
или круглая белая поверхность
Налитого в ведро молока?
Равнодушным взглядом,
не любопытствуя нисколько,
Глядят они на тебя.

Молочно-белая луна, прикажи коровам заснуть,
Прикажи коровам заснуть!

Мафусаил

Мафусаил видел на своем веку капусту и королей,
Множество свекровей и тещ,
Вдов и соломенных вдов,
Множество треугольников из одной женщины и двух мужчин
Или из одного мужчины и двух женщин,
Множество людей, умиравших голодными,
Плача о судьбе своих детей,
И множество голодных, бездетных людей,
Которым не о ком было плакать в свой смертный час.

Мафусаил жил, вероятно, восемьсот лет,
Или тысячу, или двести лет.
Мафусаил был стар, когда умер,
И вы также, если вы увидите все, что видел Мафусаил,
Вы будете старым, когда вы будете умирать!

Повторим:
Мафусаил видел на своем веку королей и капусту,
Он был свидетель, соглядатай, как я, как вы.
Повторим:
Мафусаил был старый человек, он видел много,
Прежде чем дошел до конца,
И вы или я, если мы увидим то, что видел Мафусаил,
Если мы увидим это все, прежде чем дойдем до конца,—
Вы и я, мы будет старыми, старыми, как Мафусаил,
Старыми оттого, что видели капусту и королей,
Свекровей и вдов, любовные треугольники,
Людей, которые плакали о своих детях,
И бездетных людей, тех, кому не о ком было плакать
В свой смертный час.

Повторим:
Мафусаил был свидетелем повторяющихся фигур,
Узоров морской пены на прибрежном песке,
Степных узоров ветра степей,
Мафусаил был свидетель, соглядатай,
Как я, как вы.

Небо и ад

Каждый воображает себе рай или ад по-своему.
Иные рисуют себе уютный, домашний рай,
Дачное, чистенькое небо.
Иные ожидают дикого, разметенного бурями рая:
Счастье их было в бурях, и даже в раю
Бури должны сменять безмятежные дни.
Ад же для одних — тюрьма,
Для других — фабрика,
Для третьих — кухня,
А для иных это — место, полное вежливых лжецов,
Полное «бла-бла» и «га-га».

Призраку Джона Мильтона

Если бы я двадцать лет
Писал памфлеты против роялистов,
Зная, что каждому, кто схватит меня живым или мертвым,
Обещана награда,
И вокруг меня смыкались бы тюрьмы и эшафоты;

Если бы жена моя умерла,
А три невежественные дочери
Смеялись над отцом и утаивали деньги,

Вырученные за книги,
И богадельня подстерегала меня
За каждым углом;

Если бы я ослеп
И остался в мире, погруженном в вечную тьму,
С одними воспоминаниями да болтовней,

Я написал бы «Потерянный рай», я привел бы в дом
вторую жену,
А после ее смерти женился бы на третьей паре глаз,
чтобы они
Служили моим слепым глазам,
Я написал бы «Возвращенный рай», я
Писал бы дикие, туманные, дымные, многословные
книги;

Я сидел бы у огня и грезил о небе и аде,
О королях и слабоумных,
О женщинах, не доступных больше моему взору,
О самом боге и о непокорных, сброшенных богом
в ад.

Подразумевается

Когда одного иллинойсского сенатора
Обвинили в подкупе избирателей,
Он ответил: «Я читаю Библию
И верю в ней каждому слову».

Когда был установлен
Факт вручения взятки в пятьсот долларов
В ванной комнате одного из сент-луисских отелей,
Друзья его отвечали: «Он верен своей жене
И всегда добр со своими детьми».

Когда его исключили из сената,
И двери его банка были опечатаны,
И присяжные вынесли ему обвинительный вердикт,
Он публично принял обеты
Одной из старейших религиозных общин.

Когда обвинение в злостном банкротстве
Было снято с него судом
По свидетельству выдающихся граждан,
Подтвердивших, что он всегда был честным
человеком,
Он поместил в газетах обращение к публике,
В котором заявил: «Я заранее знал,
Что ни один американский суд
Не пожелает омрачить
Будущее порядочного человека
Несправедливым приговором».

Голодные смеющиеся люди

Беречь любовь? Не стоит беречь любовь!
Береги память о бегущей воде,
бегущих лошадях,
бегущей погоде,
бегущих днях.

Когда я вижу крыши, радующиеся дождю,
И слышу шорох бегущих капель в папоротнике,
Или встречаю в поле
след лошадиного копыта,
Полукруг подковы в нежной кентуккийской траве,
Или стою среди голландского ландшафта
бегущих угроз
В изменчивом свете бегущих взапуски
солнца и тучи —
Я беру в руки старинные записные книжки
Хокусаи и Хирошиге,
Дневники великолепных голодных смеющихся
людей,
И в наружном углу пишу слова моей веры:

Беречь любовь? Не стоит беречь любовь!
Есть память о бегущих,
память о радостном беге,
Следы копыт в голубой траве,
бегущие угрозы
Свинцовой тучи и солнца,
сменяющих друг друга.

Канзасские уроки

Часто дрозд-пересмешник поет чужие песни,
Передразнивая голоса других птиц,
Разливаясь в кустах краденой трелью.
Но подчас пересмешник поет сам по себе —
Ребенок, играющий в одиночку,
Совсем в одиночку.
А порой пересмешник взывает, и плачет, и голосит,
Выкрикивает жалобы, тексты,
баллады о разбивающихся сердцах,
Обо всех бесноватых, диких ночах,
Которые можно купить
За кровавую, золотую монету луны.

Продавцы и покупатели

Сколько стоит человек?
На что он годен?
Какая ему цена?
Вот по одну сторону — те, что покупают труд.

И вот по другую — те, кому нечего продать,
Кроме своего труда.
И когда покупатели труда
Говорят продавцам:
«Сегодня ничего не выйдет,
Нет никакой надежды!» —
Что тогда?

След на песке

Я увидел след птичьей лапки на песке,
И в памяти моей встало твое лицо.
Я сказал: «Что бы это могло значить?»

И вновь одинокий отпечаток
птичьей лапки на песке
Оживил у меня в памяти твое лицо.
Я сказал: «О, это глубже,
это не просто написано на песке!»

Я видел птичье крыло, замурованное в скале
Сорок тысяч лет.
Птичье крыло — оно напомнило мне
Твое запястье и след твоей узкой ноги.

Судьба

Судьба приходит с долларами или с пенни,
Голова индейца или богиня свободы,
То и другое — судьба.
Сегодня медь, завтра серебро,
И вот образцы:
Заглушенный плач,
Удержанный поцелуй,
Неспетая песня,
Подавленное желанье.
Все это, все это — пенни и доллары.
Их знает девушка, моющая посуду у раковины.
Их знает девушка, пьющая утренний кофе в постели.

Трава летом

Летом трава испытывает боль и шепчет.
Она чего-то ждет; она поет и взывает; она изливает
Свою тоску перед звездами, мерцающими в вышине.
Дождь слышит; дождь отвечает ей; дождь
надвигается.
Дождь увлажняет лицо травы.

КРИСТИАН ГЕЙСЛЕР

ХОЛОДНЫЕ времена

(Невыдуманный рассказ)

Перевод с немецкого И. КАРИНЦЕВОЙ

На рассвете по мостам грохочет поезд, прибывающий в город с юга. В некоторых вагонах пассажиры с чемоданами уже выходят в коридор, курят, протирают ладонью или рукавом пальто запотевшие стекла, глядят в окна. Завидев бегущие мимо фабрики, склады, сверкающие прозрачные заправочные станции, вереницы черных жилых домов, один человек говорит другому: «Здесь мне не хотелось бы жить». Этот человек будет выступать вечером на собрании в Доме профсоюзов.

I

В Гамбурге, в районе Вильгельмсбурга, зимними утрами слышны из гавани гудки пароходов в тумане, а иной раз и предостерегающие удары колокола. Они слышны, пока ты не встанешь, не выйдешь в носках в гостиную, к приемнику, *музыка и хорошее настроение — прежде всего*.

Так зачем же сразу голову вешать. Лучше начнем-ка наш рассказ. Хоть так, к примеру: однажды в пятницу утром... Или иначе: шестого декабря 1963 года в семь утра между домами Вильгельмсбурга повис такой густой туман, что Алерс сразу понял — сегодня он до нитки промокнет на своем экскаваторе.

Только что, вставая с постели, он сказал жене: «Можешь еще поспать»,— и вот ему уже и кофе не хочется, ничего не хочется. Ну и день, как начнется эдакий туман, так и не разгуляется, надо уж как-то терпеть.

Потом он услышал, что встала жена: в кухне загремели кастрюли. «Она у меня что надо. И встает легко».

И вдруг ему страх как захотелось, чтобы день начался, чтобы сам он этот день начал, он, Ян Алерс, экскаваторщик, двадцати пяти лет от роду, уже пять месяцев женатый, уже пять дней живущий в собственной квартире с женой, Ренатой Алерс, двадцати двух лет, прежде подсобной работницей в типографии. Славная она. И встает легко.

Затем он поел, а время еще оставалось; покурил, увидел, что жена несет из кухни завернутые в бумагу бутерброды. Она положила их на стол перед ним.

— Ты совсем ничего не ешь,— сказал он,— бледная стала.

— Меня тошнит.

— Черт побери. Меня тоже тошнит.

А ведь она и не думала упрекать его. Он разозлился и замолчал, потому что разговаривал с ней так, как ему никогда и в голову бы не пришло разговаривать с женой, она же славная, она действительно что надо и встает легко.

— Случилось что? — спросила она.

— Почем я знаю.

— У нас есть еще белая комнатка.

— Да что комнатка. Коляска стоит больше двухсот — синяя, складная, как у соседей.

— Разве ты был в магазине? Мы ведь хотели вместе сходить.

— Эх, и сваляли же мы дурака.

— Вовсе нам она не нужна.

— Что?

— Коляска.

— А люди? У него, скажут, нет денег даже на коляску для собственного ребенка.

— Ну и плевать.

— А мне нет.

— Подожди-ка,— сказала она, ушла в кухню, вернулась с вареными яйцами в целлофановом мешочке, положила его на стол к бутербродам.

— Три яйца и гора хлеба. Проголодаюсь, и вдруг в горло ничего не лезет. У тебя так бывает?

Прежде чем ответить, она прислушалась: по радио передавали любимую песенку их прежних дней, незамысловатую, но бодрую и шумную, отличную песенку их прежних дней, и ему, и ей она многое напоминала. Конечно, он тоже помнил, что это была за песенка, но он не поднял головы. Он услышал, как она спросила: «Слышишь?» — и увидел ее лицо, но головы так и не поднял. Что поделаешь, песенку оба они хорошо знали.

— Ты что, уже забыл?

Конечно же он не забыл. Черт побери, как это можно просто взять и забыть такое. Он поднял голову, улыбнулся ей и сказал:

— Тебе не заработать столько монет, сколько раз ты готова была ее слушать.

— Зато ты зарабатывал.

— И сейчас зарабатываю. Только такими деньгами теперь не обойдешься. Сама понимаешь. С отпуском-то ничего не вышло. И не выйдет. Ты подсчитала еще разок?

— Может, мне опять пойти работать?

— Вовсе я не то хотел сказать. И не нужно нам это.

Они помолчали. Она подумала: вдруг он встанет вот сейчас, сию секунду и скажет: «Мне надо идти»,— и готово, конец. Она не хотела, чтобы он так просто встал и ушел, сама отошла на несколько шагов к окну и оттуда спросила:

— Ты любишь нашу квартиру?

— А ты?

— Она же наша.

— Через три года будет, да и то не совсем, владелец дома — шеф. Владелец дома — шеф, верно, а шеф — человек благожелательный.

совсем еще не старый, ездит в «порше», и он, Алерс, дальше тоже охотно будет на него работать. Они что захотят, то и делают с нами, говорит Алерс. Многие так говорят — без горечи, покорно.

Через три года, да и то не совсем наша, владелец дома — шеф.

Он подумал: так это начинается, не поднял головы, сам не знал, что именно так начинается, помолчал.

— Сегодня опять получка.

— А толку что! Двадцать восемь — очередной взнос за квартиру, двадцать четыре — за стиральную машину, еще тридцать — за мебель, и за «принца» надо что-то внести. Здорово они нас скрутили.

— Кто?

— Что «кто»?

Он поднял голову, словно его застигли на месте преступления.

— Ничего, ты справишься,— сказала она.

— Ясно справлюсь,— ответил он без запинки, но потом, когда уже встал, доверительно прибавил: — Только бы все так и дальше шло, как сейчас, работа надежная и вообще.

Они подошли к зеркалу в прихожей. Алерс натянул кожаную куртку, лихо сдвинул на затылок кепку, точно такую, как у солдат с мыса Канаверал *, желтую, с большим козырьком. *It's a wonderful life, baby***, *ничего, ты справишься, ясно, справлюсь, его путь ведет вверх, и только вверх, она знала, за кого выходила.* А на кухне, еще не распакованная, новая стиральная машина, мощная штука, с великолепными пестрыми ручками. Мощь, власть! Зачем?

— Любопытно, когда они придут включать ее?

— Им главное получить с нас денежки.

Они вместе спустились с крыльца и сквозь туман пошли к машине. Ведь они еще и полгода не были женаты и всякий раз радовались, глядя на машину, на их «принца», с коронкой и металлическим росчерком. *Вам предоставляются выгоднейшие условия кредита.* «Здорово они нас скрутили»,— сказал Алерс. Он никого ни в чем не хотел обвинять. Он даже не сумел бы сказать, кого следует обвинять. Он просто сказал то, что есть. Сегодня на экскаваторе будет снова сыро и холодно, и он, если надо будет, снова сделает лишнюю ездку для шефа. Приходится зашибать деньгу. *Вы, Алерс, парень что надо.*

II

Туман плавал на высоте лобового стекла. Снаружи «щетки» сгоняли влагу направо-налево в грязные ручейки. Семь часов пятнадцать минут утра, город спешит, спешит по рабочим местам, выбора нет, и хорошо — все как всегда, новый день наступил. Надо бы, конечно, иметь право выбирать, какой это будет день. Но такого права нет. Сейчас все в движении, каждый стремится на свое место. Конец дня берет свое начало. Миновав два перекрестка, Алерс попадает на улицу с односторонним движением, он знает, где ему лучше свернуть, дорога знакомая, он мимо цели не проскочит, он уже вчера был там, он знает: все будет хорошо, не знает только, что «все», но на работу едет охотно, охотно, и точка.

У въезда на мосты движение регулирует полицейский. Он поднимает руки, машет, запрещает, торопит, указывает, грозит, останавливает, поворачивается кругом — и опять все сначала. Что еще умеют эти руки? С уверенностью этого никто сказать не может. Руки полицейского затянуты в перчатки.

По ту сторону мостов безостановочно катишь до самого светофора:

* Ныне мыс Кеннеди.

** Жизнь прекрасна, детка *(англ.)*.

вперед не пробьешься. *Валяй дави их, а ну, не спеши, звезда на машинах «мерседес» обеспечивает безопасность и надежность, точно из катапульты пролети мимо впереди идущей машины, а потом поскорее обратно в свой ряд, машина освобождает от проблем, огромная счастливая автомобильная семья.* И опять все сначала: точно из катапульты, без проблем и, не переводя дыхания, обратно под счастливой звездой; наконец-то, обогнав идущую справа, ты попадаешь в зону безопасности, ты и твоя семья.

При зеленом свете весь поток улетучивается, словно газ из шланга. Вперед, без размышлений. День начался.

Видел кто-нибудь Алерса?

Все, кого он оставил позади, ждут на остановках автобуса, проталкиваются в автоматические двери трамвая, трясутся в туннелях метро или толкаются еще наверху у входа, перед автоматами, и тесной колонной спускаются на эскалаторе — эскалатор работает только на спуск. Но прежде чем начать спускаться, прежде чем покатить на эскалаторе вниз, люди столпятся и перемешаются, они ведь разобщены, каждый существует в одиночку.

В Вандсбеке на Дальмерскамп, например, проживает некая женщина, служащая приходной кассы — главный почтамт, Стефансплац. Вся ее одежда, от шляпы до белья, пропахла «Китекатом»: **питательная смесь для кошек, основные ингредиенты — сельдь и печень.** Кто бы ни почуял этот запах — а в тридцать втором автобусе куда от него денешься,— захочет отвернуться, но, спрашивается, куда? Автобус битком набит. И все-таки человек отвернется, попытается отвернуться. И жительница Вандсбека это понимает. Но что поделаешь? Одежда ее ночью лежит в кухне, там тепло, и там живет кошка. Кошку можно усыпить — стоит пять марок,— потом три дня проветривать, потом на рождественские наградные оклеить кухню заново, еще даже в этом году. Но что без кошки будет делать дочурка? Дочурке девять, и без кошки ей после школы пришлось бы до вечера сидеть одной-одинешенькой в кухне. Жительница Вандсбека оставит все как есть. Она знакома с шофером тридцать второго. Все-таки кое-что. А когда сойдет, на Колоннаден купит «Бильд». В автобусе она уже успела прочитать одну-две заметки у соседей. **Мы будем защищать каждую пядь земли. Курильщик — враг собственного здоровья.** У жительницы Вандсбека землистый цвет лица. Она плохо спала. Она спит одна. Она не курит. Один из ее коллег вступил в бундесвер — там, сказал он, больше платят.

А во Флотбеке на Безелерштрассе зубной техник придерживается иного мнения. Он видел портреты генералов в Андернахе, одного даже узнал. «Глаза бы мои на него не смотрели,— говорит он,— в последний раз видел его в Киеве, с меня хватит». Сейчас он спешит в метро. Неподалеку от цели, на углу Бельманштрассе, у него лопнул шнурок. Он нагибается, ему трудно, левая нога — искусственная, поезд все равно ушел, значит, он успел бы выпить чаю. Нагнувшись, он замечает, что внизу туман редеет. «Настали времена четвероногих, у меня тогда осталось бы еще три, а не одна». Он улыбнулся. А может, это гримаса усилия? Он выпрямился — холодно, но холод ему нипочем, на одной ноге не замерзнешь, такая уж походка. Добравшись, наконец, до стаиции, он покупает «Бильд». **Для отца семейства фирма «Бош» предлагает комбинированный набор инструментов, он необходим вашему папочке для домашних работ, для мелкого ремонта и разных поделок, папочка сможет все делать сам, и вы будете в выигрыше. Комбинированный набор фирмы «Бош» — всего 373 марки.** «Знаем вас, вам только того и надо». Зубной техник имеет в виду как фирму, так и семью. Жена частенько его поругивает за нерадивость, иной раз даже не даст чай допить. Изготовлением искусственных зубов он зарабатывает в месяц всего лишь

1000 марок. А ей хочется «опель-кадет». А муж по вечерам возвращается вконец измотанный. «Сорок четыре — это ведь небольшой возраст для мужчины».

Бухгалтеру из Штеллингена все удается куда легче. Последний вагон шестнадцатого он настигает чуть не вприпрыжку, почти возле самого Гагенбековского зоопарка. Там вагон еще полупустой, и бухгалтер занимает место над отоплением — легко догадаться почему. Но сможет ли он удержать это место? Никто за это не поручится. И тут же его начинают толкать, кто-то едва не валится ему на колени. На остановке Дамтор он кивает рядом стоящей даме: теперь, мол, и она может посидеть. Еще две остановки, и он добрался до выхода. Ему навстречу втискиваются новые пассажиры, он знает, это запрещено, вход только через заднюю дверь, он натыкается на что-то мягкое ...*До чего мы докатимся, если каждый*... На переходе бухгалтер останавливается — красный свет, ждет зеленого. Благодаря затору успевает купить «Бильд». А потом бежит по полосатому переходу. Следом за ним бежит газетчик, бесстрашно лавируя между машинами, которым волей-неволей приходится ждать, он веером рассеивает газеты из-за плеча из сумки — по всему полю, по бороздам, выходит за его пределы, бросает семена за тумбы регулировщиков.

Поле остается позади. Но он вступил на новое. Алерс уже ждет его.

Осеменение бухгалтеров, экскаваторщиков, почтовых служащих, безруких, безногих. Теперь еще несколько слов о стюардессе — Рингштрассе, Мейендорф. Аэропорт далеко, шиповник источает аромат. **«Внимание, пассажиры рейса «Пан-Америкен» 604, сигареты «Петер Стойвезан» порадуют вас в полете».** Но почему эта девушка не едет к Фульсбютельскому аэропорту в собственной машине? Ответ: у этой девушки нет собственной машины. У нее есть друг. Она любит с ним спать, а он с ней. Поэтому они оба копят деньги на квартиру. Квартира стоит дорого. Что поделаешь. Ничего не поделаешь. Приходится ездить в метро. А в такси — только когда торопишься в гостиницу.

Сейчас ей торопиться некуда. Сейчас надо проехать семнадцать станций. Не далее как за ипподромом каждого начинают душить смрадные испарения соседа, испарения колышутся, сталкиваются волна с волной. Стюардесса «Пан-Америкен» приподнимает правую ногу, красивая ножка, надежд на перемены никаких, ну так хоть ножки. На улице туман. В аэропорту у нее хватит времени купить «Бильд». До десяти самолет при такой погоде не взлетит. *Вот уже 845 дней в Берлине стоит стена.* Интересно, о чем они там думают.

А 13 августа они считают или нет? Довольно любопытно с бухгалтерской точки зрения. Изучим этот вопрос, говорит житель Штеллингена. Он уже добрался до места службы.

Н-да, только этого не хватало, у жены зубного техника 17 июня день рождения. Прежде это был обычный день — нечего было его опасаться, а теперь **надо помнить о мамочке — дарить пудру. Джонсон благодарит немцев, лучший способ отпраздновать медовый месяц, пейте коньяк «Норис»...**

«Come on, let's have a drink»*; жительница Мейендорфа приехала; туман затянул весь аэродром. *Хельга оставалась холодной как лед, когда ее бывший возлюбленный... новый раунд в петушином бою... мы будем защищать каждую пядь нашей земли...* Ну, а пока что нечего думать о взлете. «Come on, let's do it».**

Жительница Вандсбека считает, что самое ужасное — *лежать голышом перед всеми, и как это можно.* Другим мешает запах. «Сходили бы помылись, что ли».— «Просто не понимаю, о чем вы». Но она пре-

* А ну, давай выпьем *(англ.)*.

** А ну, давай это сделаем *(англ.)*.

красно понимает. *Н-да, и вообще, если подумать, уже 845 дней. Здорово они нас скрутили. Кто?*

А вот и Алерс опять. Он подъезжает к строительной площадке, Аусшлегервег, угол Зюдерштрассе.

III

Алерс осторожно въехал с улицы на территорию стройплощадки. По дороге у него дважды глох мотор. Что-то с зажиганием. У Алерса возникло неприятное чувство. Во всем, что касается машины, он очень чувствителен. «Эта штука должна двигаться, а то мне каюк». Он озабочен. Надо выбрать свободную минуту и заняться машиной, непременно сегодня же. Он увидел свой экскаватор, оставил машину, пошел к нему.

На стройплощадке еще никого не было, один только экскаватор, колоссальная штука, **дизельный грейфер М-152 фирмы «Менк», Гамброк, Альтона, Гроссе Брунненштрассе, год выпуска пятьдесят седьмой, завод гусеничных машин, зубья ковша из ванадиевой стали,** весь хоть и заляпан грязью, но что хочешь сдюжит, полный порядок.

Туман начал рассеиваться, семь тридцать, скоро взойдет солнце. «Принц» остался далеко позади, за туманной пеленой. Алерс пошел к экскаватору и почувствовал себя отлично.

Два года назад, когда он получил место экскаваторщика, он раздругой украдкой ездил ночью на мотоцикле к стройплощадке, где стоял экскаватор. Теперь он перед сном спускается иногда на улицу или хотя бы подходит к кухонному окну, чтобы посмотреть на машину, на «принца». Но это уже нечто совсем другое. Алерс не раздумывал над тем, почему это совсем другое. Экскаватор — прекрасная штука. Но он даже об этом не думал.

Алерс нагнулся, прошел под стрелой до желтого щитка «Посторонним стоять в пределах сектора работы экскаватора запрещено», прислонился к синей влажной стенке двигателя, достал из кармана сигареты, закурил, его так и подмывало начать работу. Он видел, что за «принцем» на главной улице столпились у светофора машины, но все это было где-то далеко-далеко.

Он сделал несколько шагов, спрыгнул в котлован рядом с ковшом. Тот лежал в яме, чтобы за ночь не изнашивались крепления и тросы, вдобавок полицейское предписание: играющие дети и тому подобное.

Черт бы ее побрал, эту детскую коляску.

Внезапно он с силой пнул выступ подвальной стены. Кладка не поддалась. Ноге стало больно. «Грейфером-то я тебя разнесу. Все тут одно дерьмо». Презрительно и весело пнув еще тут и там, он вылез наверх, к экскаватору.

Знай он вчера, что ночью падет такой туман, он был бы умнее, не оставлял бы комбинезона в экскаваторе. Натянув влажную спецовку поверх одежды, он сменил башмаки, поднес ладони ко рту, подул, чтобы согреть пальцы, потом полез по выступам наверх запускать двигатель; что ни говори, а это всегда приятно — как-никак 155 лошадиных сил.

Двигатель заработал сразу. Треск разорвал тишину. Алерс спрыгнул на землю. Земля дрожала. Черный отработанный газ, вылетев из остывшей выхлопной трубы, разорвал остатки тумана. Алерс увидел, как мимо «принца» на площадку прошли трое рабочих. Каждый тащил по грязи свой мопед. Видеть-то Алерс их видел, но они казались ему совсем маленькими, словно были далеко-далеко, а он случайно заметил их откуда-то с высоченной башни. Он слышал стук двигателя, вдыхал запах выхлопных газов, стоял задрав нос, слушал — и уже больше не мерз.

Вдруг двигатель заглох. Еще один-два захлебывающихся оборота, и все — ни звука.

Алерс обернулся. Удивление промелькнуло на его лице. Но тут же разозлился, одним махом, не карабкаясь по выступам, влез в кабину, дотянулся до стартера и попытался снова запустить двигатель.

Он нажимал на стартер четыре, пять, шесть раз, машинально, не задумываясь, безуспешно. Потом ярость иссякла, он закурил сигарету, подумал, подошел к ящику с инструментами. Его ведь учили, как чинить двигатель. И он починит. *Ничего, ты справишься.*

Но, черт побери, искра есть, подача горючего в порядке, стартер работает, что же это может быть?

— Ну, что там? Не желает?

Алерс не слышал, как подъехал грузовик. Он никого не мог сейчас слушать. Хотел разобраться в своем экскаваторе.

— Отстань. Сейчас заработает.

Но шофер грузовика продолжал говорить, совсем близко, внизу, задрав голову кверху.

— Этой скелетине уже шесть годков, и думаешь, ваш шеф пошлет ее к Менку на осмотр и ремонт?

— При чем тут шеф?

Шофер стоял внизу, ухмылялся и не чувствовал, что на этот раз вовсе не понял Алерса. Но понял ли его Алерс? Он хотел только запустить двигатель. Хотел разобраться, что же случилось. Не желал, чтобы другие подсказывали ему, что случилось. Его это экскаватор или нет? Так какое дело до всего этого шефу? Он сидел в кабине, по рукам у него текло масло, и руки мерзли, он весь продрог, со стороны Эльбы дул холодный ветер.

— Опять дождь будет.

— Ничего у тебя не выйдет.

— Пусть они этим займутся.

Трое рабочих поставили свои мопеды за бараком конторы, зашли в барак, бросили сумки с флягами и хлебом на некрашеный стол, сменили куртки, башмаки, один начал разводить огонь в печке, двое других вышли к экскаватору.

— Двигатель скис,— сказал шофер грузовика и ткнул пальцем в машину и в широкую, согнутую спину Алерса.

— Оставь его в покое.

— Не его же денежки плакали.

— Это уж конечно.

— Дерьмо,— сказал Алерс и тяжело спустился с экскаватора.

— Пусть-ка старик сам слазит да поглядит,— сказал один из них дружелюбно.

— А ему какое до этого дело?

— А тебе какое до этого дело? Твой это экскаватор?

Алерс затоптал окурок.

— Ничего ты не понимаешь.

— Что значит «не понимаю», Алерс?

И когда Алерс зашел за экскаватор, другой сказал:

— У него делишки с шефом.

Алерс стоял за экскаватором один. Странное чувство охватило его — точно ему что-то угрожало. Он подумал, что ведь всего-навсего хотел запустить двигатель. Так надо же в этом разобраться, подумал он, не понимая, почему ему кажется, что какая-то угроза нависла над ним. Он вернулся к остальным.

— Слушай, парень, вид у тебя, как у девчонки, которую прижали в уголке.

Алерс ни на кого не глядел. *Эх, и сваляли же мы дурака.*

— Экскаватор ведь не твой. Пошли.

Кто-то сунул ему сигарету и зажег спичку, прикрыв огонек ладонью.

— Спорим,— сказал он и улыбнулся Алерсу.

— О чем спорим?

— Ты пальнешь в него сжатым воздухом, а я крикну: «Внимание, на горизонте Алерс!» Он и не шевельнется.

— Ты что, пьян?

— Не-е, слушай, а потом я крикну: «Внимание, на горизонте шеф!» Увидишь, как он рванет.

Алерс даже не улыбнулся.

— Отчаливай,—сказал он, сплюнул, снова взобрался на экскаватор. На паровом копре уже ькалывают. А у него, Алерса, тросы холодные и неподвижные. Он нагнулся над двигателем, затаил дыхание, впился взглядом в свои руки. Руки работали точно — раз, еще раз. Ничего. Вдруг кто-то внизу крикнул:

— Внимание, на горизонте Алерс!

— Заткнись.

— Еще разок!

Алерс проделал все еще раз.

— Внимание, на горизонте шеф!

Трос выскочил из рук Алерса, двигатель заработал, кругом рассмеялись. Когда Алерс выпрямился, у него дрожали колени. *Проголодаюсь — и вдруг в горло ничего не лезет.* Можно начннать работу. *Все равно не наша, владелец-то — шеф.*

IV

Если в декабре солнце до десяти не пробьется, значит, туман на весь день. Лучше уж не открывать окно в спальне, все отсыреет, а в тумане еще намешана какая-то желтая грязь.

Но пока такой спальней обзаведешься...

Вольный ганзейский город Гамбург, районное управление Центра. Альштедтерштрассе, 8, Квартирное бюро — прием по понедельникам и четвергам с восьми до шестнадцати часов, сходи как-нибудь, попытайся.

Поднявшись по бесконечным лестницам или в лифте, попадаешь, наконец, в коридоры, стены серо-буро-зеленые, штукатурка осыпается. За дверями завтракают, грызут ногти, дружно противостоят тем, кто в коридоре. Надо иметь мужество, чтобы туда сунуться. Надеюсь, они не станут смотреть мое удостоверение.

— Обратитесь, пожалуйста, в комнату пятьсот шестьдесят шесть.

— Благодарю.

— Нет, вам не сюда, для неженатых — в комнату сорок пять, по коридору направо, последняя дверь.

— Но мы собираемся пожениться.

— Но вы еще не женаты, слушайте, что я вам говорю: последняя дверь направо.

— Ладно.

— Нет, вам не сюда. Возьмите этот бланк с собой, заполните и пришлите: **фамилия, имя, с каких пор на учете, потерпевший, да, нет, болен тем-то, основание для распоряжения, плата годовая, помесячная, понедельная, готов платить, правильность сведений подтверждаю, подпись, заявление на предварительную регистрацию подал будущий квартиросъемщик.** Все решает количество очков, но с детьми, конечно же, гораздо труднее, это вы, вероятно, знаете.

А потом эти ночи.

— Ты уже тушишь свет?

— Ложись.

— Будь поосторожнее.

— Я и так осторожен.

— Подожди.

— А, брось.

— Устал, да?

— Эх, все дерьмо.

— Все что?

— Ты сама знаешь.

— А твоя мать за стеной небось слышит?

— Туши наконец свет.

— Обними меня покрепче.

— Брось.

«Целомудрие из страха перед ребенком следует предпочесть распущенности»,— пастор Симон Бартель, тысяча девятьсот шестьдесят третий год, произнесено публично. Что ж, сказано сильно, стало быть, и верно.

Вы можете весело отпраздновать рождество в новой квартире — мансарда, три комнаты со всеми удобствами.

Молодожены ищут меблированную комнату, согласны платить до 800 марок.

Одни ищут методично, неделю за неделей, день за днем.

Другие — от случая к случаю, не утруждая себя. Сказано сильно, стало быть, и верно.

— Обними меня еще разок.

— Брось.

— Сегодня на работе был разговор про пилюльки эти.

— Не надо, еще заболеешь. Здорово они нас скрутили.

— Кто?

— Да я ничего не сказал.

— Слушай, Ян, я так мечтаю о квартире. Иногда страх берет от того, что нет квартиры.

— Перед чем страх?

— Сама не знаю. Все что-то думается.

— Я ведь в такси не очень-то разъезжаю, еще не сошел с ума, но вот сегодня... На стройплощадке разозлился, я и решил: плевать, в надземке сейчас просто мочи нет, там из тебя котлету сделают.

— Кто?

— Я и сам не знаю, люди, кто-то вообще, а, неважно. Словом, взял такси и поехал. Будто в собственной квартире. Закрыл дверь, и точка. Конечно же глупо, сам понимаю.

— Брось.

Но он знай свое твердит. Изо дня в день, неделю за неделей, три недели подряд. А потом покупает «принца» — **вам предоставляются выгодные условия кредита, первый взнос 650 марок,** для остальной суммы рассрочка в сто пять недель.

— Но ведь твоя мать говорит, что деньги отложены на квартиру.

— Есть она у тебя? А тут, гляди, какой у него ход, и отопление работает, тепло, уютно.

Ну, ладно. Они продолжают ночевать у матери, ищут квартиру, ищут по субботам с газетой в руках, по всему городу, но теперь после работы изредка куда-нибудь выезжают, все равно куда, просто так: в поле, на озеро Гроссензее или в закусочную на Нейер Пфердемаркт — дверцу захлопнул и поехал, и точка.

А мать? «Ну, конечно же,— говорит, улыбаясь, мать,— ну, конечно же, сыночек». Старуха родом из Гумбинена. «Тебе лучше знать»,— говорит она и улыбается всем своим сухоньким старческим личиком, голова повязана платочком, настоящая мать. А днем, за их спиной, у соседей: «Что за легкомыслие, молодо-зелено, а надо бы подумать, но, конечно, это все она, девчонка эта, ветреница, сразу видно, бедный мой сыночек, принесет ему только несчастье».

Она кусает губы, облизывает и снова кусает, идет за шницельками на Марктштрассе. «Ох уж сыночек мой, озорник эдакий, последние деньги из кармана выманит».

Материнское горе.

А тем временем дети опять улизнули. Возле гавани ночью мест для машины сколько угодно и ветерком обдувает. А в машине тепло, уютно. Алерс переделал сиденья на откидные.

— Знаешь, чего бы мне хотелось?

— Мне тоже.

— Ты славная. Давай уедем отсюда.

— Работу ты везде найдешь. Погрузим вещички в машину и поехали, попутешествуем. Может, где и с квартирой полегче.

— Ясно. И вообще. Возьмем и уедем.

— Вот здорово, Ян!

Они обнимаются, целуются, жадные до жизни, ничего не боятся, целуются, ничего не боятся.

Но дня через два до шефа дошел слух об их замыслах.

— У меня есть для вас квартира, Алерс. Вильгельмсбург подойдет? И никакого риска.

Конец путешествию.

— Вот теперь у нас квартира, девочка, гляди-ка, и горячая вода и спальня.— *Только бы все и дальше так шло, как сейчас, работа надежная, и вообще.* Шеф — человек благожелательный, Алерс охотно будет на него работать.— Гляди-ка, горячая вода есть и спальня.

Конец путешествию.

Они что захотят, то и делают с нами.

V

Рената Алерс проводила взглядом машину, подумала: «Кто?» — и в сумерках вернулась в дом. Опять легла. «За что бы сейчас взяться, понятия не имею».

В половине девятого она встала и хотела открыть окно в спальне, но увидела туман и не открыла: все только отсыреет, может, попозже, может, еще выглянет солнце. В окно она увидела мальчугана на самокате, постояла, подождала: как-то он с ним управится.

Мальчуган, вцепившись в руль и выставив подбородок, с разбегу покатил прямо в лужу. Но лужа оказалась глубокой, на дне осела вязкая грязь, самокат застрял. Мальчонка зашлепал по воде, вытащил самокат, прошел еще несколько шагов, повернул, разбежался и повторил свой маневр.

Рената Алерс пошла в ванную принять душ. В гостиной стоит «Лёве Опта», повторяет семичасовую передачу — проповедь, но душ заглушает звуки, и проповедник усердствует в одиночестве:

«Итак, уважаемые слушатели, святой отец особенно печется об углублении религиозных чувств у трудового люда. В комментариях к сим новым условиям отпущения грехов буквально значится следующее: кто утром посвящает господу все бремя и все тяготы долгого трудового дня, кто, стало быть, несет тяготы труда своего, уповая на великую милость

господню, тот получит полное отпущение. Посвятив господу один-единственный, особенно тяжко доставшийся успех, присовокупив к нему краткую, исторгнутую из сердца молитву, получишь отпущение грехов на пятьсот дней. Без сомнения, сии новые условия отпущения грехов носят социальный характер. Они взывают к человеку труда, дабы связал он насущные свои усилия с господом и тем самым освятил мир окрест себя, свое производство, свое рабочее место и затрату сил своих, и божественное сияние озарит все, что он сотворит».

Она чуть не задохнулась от пара, закрыла душ, слизнула воду с верхней губы, прислушалась к словам проповеди, пошла в гостиную, поймала музыку, увидела мокрые следы до самого приемника — пустяки, сегодня все равно пол натирать; **употребляйте «Блеск», наводить блеск можно только «Блеском».** Она озябла, капли воды на ее коже стали холодными, она быстро оделась, увидела в зеркале свое лицо, решила начать уборку, нет, пожалуй, прежде надо еще разок выпить кофе.

Чтобы не сидеть без дела, пока закипит вода, она собрала посуду от завтрака. На блюдце лежали окурки: утром они курили, *черт побери, меня тоже тошнит,* а ведь она вовсе и не думала упрекать его. Под нажимом ее левой ноги открылась крышка пластмассового ведра, долой окурки, а тут засвистел чайник, жаль, что его в девять не бывает дома, после душа было бы неплохо, бодрость такая во всем теле, ну, ладно, завтра суббота.

Среди обрывков бумаг, оставшихся от переезда, она нашла несколько страничек старого иллюстрированного журнала, взяла их, села к столу, хоть и поеживаясь, но чувствуя бодрость, поближе к отоплению. В гостиной из приемника звучит песня о веселом короле, поют ребятишки на студии, а в журнале черным по белому напечатано: «По пятницам ваша жизнь прекрасна, нынешняя работница — человек нового типа, она красива и жизнерадостна, прежде ее эксплуатировали, нынче ее окружают заботой и попечением, многие работницы приезжают на работу в собственном «фольксвагене», женский труд пользуется большим спросом, поэтому женщина исполнена чувства собственного достоинства и оптимизма». Строка за строкой, звук за звуком, терпеливо повторенные, купленные, оплаченные, наконец понятые, громкие, мирные и бодрые, как положено для выступления школьников по радио: «Не много надо, чтобы быть веселым, а кто весел, тот король, тот король, да, тот король». Но кому это интересно слушать, хотела бы я знать, кто эту чепуху пишет, пора бы им понять... *может, мне несколько месяцев поработать... вовсе я не то хотел сказать, и не нужно нам вовсе... они что захотят, то и делают с нами,* знать бы только — что.

Она допила остатки кофе, хотела бросить журнал, взяться за дело, начать уборку — надо же, в конце концов. Все двери стоят настежь: в спальню, в гостиную, в кухню. А из ванны вода все еще уходит, захлебываясь, рывками — видно, засорился сток, в трубе застряли остатки цементного раствора. Она хотела было пойти в ванную поглядеть, но все стояла, не двигаясь с места, хотела приняться за уборку, но глянула на одну дверь, на другую, за дверями увидела окна, за окнами — туман, весь дом плотно окутан туманом. Секунду-другую она разглядывала квартиру так, словно это не ее квартира и вообще не квартира, только стена напротив стены, вещи между стен, миксер, курительный столик, двуспальная кровать, пластмассовое ведро. «Лёве Опта» с проигрывателем и золотой рейкой, а слева на ночном столике — номер газеты «Хобби», справа — «Ридерз дайджест» и будильник. Все двери настежь, только одна закрыта. Она пошла, отворила ее, оказалась в пустой белой комнатке, прислонилась спиной к стене. *У нас есть еще белая комнатка. Ничего, ты справишься.*

Свет на этих стенах казался ей светлее, чем свет в остальных комнатах. Белесый туман за окнами отбрасывал свет в каждый угол. Сырость за окном клубилась и доносила сигналы пароходов от Маакендама. «Куда же держит путь такое судно, откуда прибыло такое судно, большое, нарядное, блестящее, открою-ка я все-таки окошко, может, солнце еще и выглянет».

Пришел почтальон, принес рождественский номер «Ридерз дайджест». Конец путешествию.

Она вернулась в комнату, на ходу перелистывая журнал, но ей хотелось устроиться поудобнее, хотелось понаслаждаться, она взяла вазочку с конфетами из буфета, покрутила приемник, пока не нашла музыку, украдкой, как школьница, забралась с ногами в кресло, начала читать, почитала то и это, не обращая внимания на голос в приемнике, откуда уже опять вытеснили музыку, читала, слушала, ничего не вычитала, ничего не услышала, свернулась в кресле, чувствовала себя превосходно, хотя все куда-то торопилась. *Здорово они нас.* А вот и голос:

«Империалисты вновь разжигают... а один не пошел в Вифлеем... мерзкие и циничные махинации боннских ультра... трудящимися... у американского каплуна не только хрустящая корочка и нежнейшее мясо... рабочий класс Западной Германии борется плечом к плечу... где еще найдутся нынче мужчины, готовые преподнести даме своего сердца бисерный ковер... освобождение человечества от эксплуатации и угнетения можно отнести к тяжелейшим и самоотверженнейшим задачам... американской тайной полиции... можно отнести так называемые спецоперации, имеющие целью устранение нежелательных правительств... против власти новой идеи нет достаточно сильных средств... разве что глупость... «Ридерз дайджест» издается с 1922 года, выходит на 30 языках, а также для слепых, немецкое издание выходит еще и в магнитофонной записи»— хорошо бы купить такую ленту.

Из нижней квартиры донеслось жужжание пылесоса. Она с досадой закрыла журнал, положила его на приемник, на полуслове оборвала диктора — когда-нибудь надо же взяться за дело, итак, начнем. Она встала, взялась за дело, сорвала картонную упаковку со стиральной машины, отличнейшая это штука — стиральная машина, да, у кого есть, так уж есть, и, держа под мышкой куски картона, пошла по лестнице вниз в подвал, куда-нибудь надо же выбросить эти обрывки.

В подвале развешивали белье две женщины, старая и молодая. Они болтали, то наклоняясь к корзинам с мокрым бельем, то вскидывая вверх руки с кальсонами и полотенцами.

— Когда же, наконец, они поставят столбы для веревок во дворе. Им только бы плату за квартиру получать.

— Здесь, фрау Алерс, вы лучше эту картонку не оставляйте.

— Они хотят тут что-то перестраивать, уже на следующей неделе, для противовоздушной обороны, или как это теперь называется.

— Еще хорошая картонка.

— Все надо сохранять, милая фрау Алерс.

— Никогда не знаешь, что тебя ждет.

— В газетах только об этом и твердят.

— Мой муж на днях сказал: «Тучные годы еще только грядут».

— Да что там, чего только в газетах не пишут.

— А мой муж как раз принес доску, хотел полку здесь прибить и все уже вымерил, а они вот перестраивать собрались, куда же консервы девать? Надолго, что ли, эта канитель?

Старшая подошла к Ренате Алерс, к окну. На улице мальчуган все еще катался на самокате. Ей хотелось выговориться, и она сказала, словно себе самой, глядя в подвальное окно:

— Ровная мощеная улица. Да здесь ничего особенного и не было. Но вот там подальше, в сторону Хамма. Случилось это в июле сорок третьего. Камни мостовой так раскалились, что у людей башмаки и носки на ногах спекались, жар чуть не до костей проникал. Мне-то повезло, мы с мужем как раз уехали в Финкенвердер, но моя сестра и Альберт жили чуть подальше, в сторону Хамма, так там все дотла сгорело, Альберту тогда только шесть годков минуло.

Молодая, там, в глубине, держа большую белую простыню перед лицом, сказала:

— А вы консервы в квартире храните?

— Ах, да что консервы. Бросьте вы. На них далеко не уедешь.

— Ну, как дети есть захотят, а купить нечего? У вас-то детей нет.

— Были у меня дети. Только потом и война была.

— Да я ничего такого не хотела сказать. И вообще. Кто же войны хочет.

Молодая свою работу кончила. Рената Алерс пошла за ней, прочь из этого погреба, прочь от этой старухи. На лестнице обе женщины остановились. В нише стояла та самая чудесная синяя коляска.

— Дороговато обошлась, да?

— Господи, да что там, в чем попало не повезешь ведь ребенка гулять.

Рената Алерс нагнулась к коляске, увидела крошечные коронки из жести, вштампованные в обивку, осторожно провела рукой по верху.

— Интересно, легко она вспыхивает?

Соседка засмеялась, спросила, с чего это она. Рената Алерс не знала, с чего это она. Обе засмеялись и стали подыматься наверх. *А люди-то... у него нет денег даже на коляску собственному ребенку. Эх, и сваляли же мы дурака.*

VI

Алерс в это утро уже кончал грузить седьмую машину, как вдруг, когда зачерпнул последний раз, увидел, что из ковша свесился маленький самокат. Осторожно переправив игрушку на кучу мусора в грузовик, он свободной рукой сделал шоферу знак обождать и высунулся из кабины.

— Погоди-ка. Только самокат достану.

Подошли двое рабочих.

— Лежал, видно, где-то сверху, вот его и не раздавило.

Алерс высоко поднял самокат против затуманенного солнца и покрутил колеса.

— Смазка еще цела,— сказал он.

Подошел шофер.

— С сорок третьего, верно. Здесь везде были жилые корпуса. У тебя дети есть?

Алерс усмехнулся:

— Дурак я, что ли?

Но шофер не унимался:

— Неужто сам будешь кататься?

— Просто жаль вещицу. А ну, отчаливай,— рассердился Алерс.

Он поставил самокат в укромное местечко, неподалеку от экскаватора. И когда снова полез наверх, какой-то пожилой рабочий заметил:

— Может, еще и косточки в придачу к самокату найдешь. Махонькие косточки.— Он показал по своей руке.— Такие вот, больше наверняка не успели вырасти.

— Ты что, спятил?

Алерс бросил злобный взгляд на старика, и вот он уже опять сидит наверху за рычагами и готов продолжать работу.

За последние несколько часов ему пришлось дважды переставить экскаватор. Теперь он стоял впритык к тротуару возле «принца» и парового копра. Прямо перед собой Алерс видел самокат и «принца», хотел было начать, но заметил, что шофер подъехавшего пустого грузовика стоит метрах в ста от него, с кем-то болтает, покуривает. Алерс поднес ко рту согнутый указательный палец, свистнул и махнул рукой, подавая знак. Внизу рабочие, не выпуская из рук лопат, курили, поглядывали вверх, ухмылялись:

— Тише едешь...

— Все деньги заграбастать хочешь, что ли?

Шофер грузовика и не думал торопиться. Алерсу пришлось ждать. С этого места хорошо было видно движение на прилегающей главной улице. Туда смотреть — как в огонь или на текучую воду, и рабочие тоже смотрят туда, видят поток: он ускоряет свой бег, обгоняет соседний поток, сверкает, мчится вперед.

— Вон белая. Неплохой ход — «рено».

— А двадцать тысяч пройдет и по швам разлезется. Давай начинай.

— Ничего, новую купит.

— Это уж как с деньгами.

— А я что говорю.

— И «принц» не лучше. Видел хоть раз, как Алерс ему хвост накручивает?

— Знаю, видел.

— Здорово он влип с этой игрушкой.

— Недолго протянет. Эдакий клоп для работы не приспособлен.

— Что значит «не приспособлен»? Выжимай из него все, покуда не лопнет, а загнется, бросай, и точка.

— Ты так думаешь?

— А что?

— Никакого у тебя понятия нет.

— Думаешь, такую игрушку не сумею погонять и добить? За милую душу.

— Сам не заметишь, как вдруг привяжешься к ней и жалко будет до смерти.

— Э, дерьмо все, были бы деньги.

— Послушай, старина, мы тут на днях за город съездили, приятель мой и я, взяли машину напрокат и все по автостраде гнали, ну, скажу тебе, когда так лупишь, кого угодно раздавишь, и вдруг видим у Золтау, сразу у въезда, один наскочил на какого-то типа, думал, верно, ему все позволено, а ведь наверняка правила знает.

— Насмерть?

— Это бы ладно! Несколько десятков метров протащило. Жуть! Стой, говорю я, притормози, Эрвин. Думаешь, что? Он жмет и жмет, подъехали и — мимо. Ведь иногда и не остановишь на полном-то ходу.

Шофер медленно, задом, подвел машину под ковш. Алерс рявкнул:

— На почасовой работаешь, что ли?

— Не-ет, зачем же,— добродушно откликнулся шофер,— делай свое дело, никому твоего не нужно.

Он обошел вокруг грузовика, внимательно его осмотрел, пнул по очереди каждое колесо — все в полном порядке. Алерс опустил ковш в развалины погреба, каждое движение грейфера он умел рассчитать до сантиметра, и зубья ковша вгрызлись в стену. «Хотелось бы только знать, когда это чучело получку привезет».

VII

Работа по дому кончена — *наводить блеск можно только «Блеском»*,— а в прихожей и в ванной еще валялись вещи рабочих, какое-то барахло, она даже не знала, что выкинуть, а что — нет, им бы только деньги получать, и по радио ничего путного. Хотя ей все равно делать нечего, можно поискать, искать от Шверина до легкой атлетики, проскочив Гайдна и разведение крупного рогатого скота в Нижней Саксонии, звуки, шумы, болтовню, она ничего не нашла, что хотела, да и не знала, чего хотеть, зацепилась в конце концов за какие-то далекие итальянские слова, отошла от приемника, подсчитала оставшиеся на хозяйство деньги. Девять пятнадцать и желтенькая книжица с талончиками на скидку, но они пока еще не действительны, на страницах зияют пропуски, **в наших супергастрономах клиент — король, самообслуживание в супергастрономах удобно и выгодно,** обслуживаешь сам себя, а уходишь с таким чувством, словно тебя обслужили, и *кто весел, тот король... а с отпуском ничего не вышло... ты подсчитала еще разок? Ничего, ты справишься, ясно, справлюсь.* Она провела гребнем по волосам, губной помадой по губам, очертила контур, закрасила всю поверхность губ, еще мазок — и готово.

Соседка тоже пришла в супергастроном на Веринштрассе, с коляской на высоких колесах, что выглядело очень элегантно — *господи, ведь в чем попало не повезешь ребенка,*— в магазине тихо играет музыка и приятный вид у товаров: жир, и рыба, и филе в стеклянных холодильных ящиках, колонна консервных банок, груды сыров и колбас в целлофановой обертке, батареи бутылок, и повсюду во множестве лотки с морковью, свечами, конфетами, косметикой, **зубная паста для разумных людей «Зельгин», лучшая зубная паста с морской солью, немедленная активизация естественных защитных снл...** *Каждую пядь земли мы будем защищать, а вы тоже так устаете? Здорово они нас, да здравствует море, да здравствует «Зель»,* **мельчайшая столовая соль «Зель», цена 40 пфеннигов.**

Соседка наклонилась над лотком, протянула Ренате консервную банку:

— Вы эти уже пробовали?

— Мой муж терпеть не может грибов.

— Все они терпеть не могут.

— А вот это — да.

Рената Алерс разглядывала пеструю наклейку — очищенные томаты из Италии. Неаполь.

— Туда мы ездили в отпуск.

Соседка взяла одну банку.

— В этом году мы не едем в отпуск,— сказала она дружелюбно.

— И мне муж то же самое заявил утром.

Образ жизни свободных людей, достаточно заглянуть в хозяйственную сумку, чтобы... Ваш жизненный уровень поднялся, что это значит, да ничего, кроме того, что ее муж... она знала, за кого выходила... за пятнадцать лет свободного предпринимательства он использовал все шансы, чтобы в честном состязании не только упрочить, но и улучшить свою позицию, лишь бы все так и дальше шло, как сейчас, работа надежная, и вообще она восхищается как раз этой стороной его натуры, он постоянно приспосабливается к растущим требованиям, в этом тайна его успеха, а вы тоже так устаете? Экономический уклад жизни свободных людей... В этом году мы не едем в отпуск... и мне муж то же самое заявил утром.

Случается, вообще нет больше сил сопротивляться.

Они так умеют тебя отделать.

В холодильных ящиках лежали петушки, *датские петушки, новый раунд петушиных боев... ведь уже 845 дней... датские петушки в целлофановых пакетах,* обнаженные и синие, на коже отпечатаны коронки. В магазине царит душное, мерцающее тепло. Приятно стоять возле холодильного ящика. Рената Алерс взвесила на левой руке одну из этих твердых, бледных, влажных птичек и вспомнила о мотопробеге тысяча девятьсот шестьдесят второго ФРГ — Дания.

— Если увидишь, как их разделывают, стошнит.

— Зато вкусные.

— Потому что им двигаться не дают и кормят зерном в молоке, а через полтора месяца голову — чик.

— Такое создание, по правде говоря, и не живет вовсе.

Рената положила петушка назад в холодильник, соседка взяла одного.

— Ничего не поделаешь,— сказала она,— быстро варятся, с ним возни немного и мясо нежное.

Возле прилавка с кофе блестят детские глазенки, на коробках и бутылках — детские щечки, **добрая весть для всех матерей — натуральный молочный белок в детском питании,** *зерно в молоке, а через полтора месяца... Альберту всего шесть минуло. Сразу видно, когда мать ухаживает за ребенком с любовью,* **желаем вашему ребенку доброго здоровья, покупайте детское питание фирмы «Гербер».**

Соседка купила.

— Неплохо они на этом зарабатывают,— сказала она.— На этих огольцов уйму денег ухлопываешь, даже не верится.

Рената Алерс вернулась, тоже взяла одного петушка, пошла дальше скучливой походкой. Набрала в корзину еще кое-чего, не так много оказалось — девять пятнадцать... *эх, и сваляли же мы дурака... меня тошнит.* Потом расплатилась у кассы.

Вернулась домой, но лучше ей не стало. *Желаем вашему ребенку доброго здоровья.* Заметила на кресле подушку, взяла ее, пошла с ней к трельяжу в спальню, сунула подушку под платье. Спереди не так уж бросается в глаза. Она сделала несколько шагов, оглядела себя и «это», еще покрутилась перед зеркалом, не сводя с себя глаз. Похоже на двойняшек, что ж, возможно, а может, это солнце так светит, на свету все становится округлее. Глянула в окно. Туман рассеялся. В ярком свете дымились крыши; лужи отражали голубое небо. Она отступила в тень — лучше, когда темнее, так, пожалуй, сойдет, и не такая уж она толстая. По обе стороны живота свисают руки, она подняла их, вытянула горизонтально, отошла, в зеркале отражались только руки, пошевелила пальцами, кольцо блеснуло на солнце, левой рукой сняла кольцо, зажала его в ладонь, подняла руки, уронила их, шагнула вперед, увидела себя всю, оглянулась. Бросила подушку на кровать, снова надела кольцо на палец, встала перед зеркалом, на самое солнце, откинула голову, сцепила пальцы на затылке, улыбнулась, блеснула зубами.

Когда это будет, через девять месяцев?

Из сумки с только что купленными продуктами она вытащила рекламный календарик, принесла из кухни старый и шариковую ручку, встала у окна и начала высчитывать на подоконнике, когда это — через девять месяцев. Когда же это будет? Ага, вот. *Знаешь, чего бы я хотел? Я тоже, давай уедем отсюда, но до шефа дошел слух... Кажется, в конце октября, ну, значит, в июле... А с отпуском ничего не вышло... эх, и сваляли же мы дурака.* Она, как ребенок, отсчитывала месяцы по пальцам. На солнце лицо ее выглядело бледным, солнце было белесым и бессильным. Она вернулась в тень, подошла к приемнику, нажала какую-то клавишу, подождала не двигаясь. Ну, значит, в июле.

VIII

Кассир из отдела заработной платы был в темных очках, он не захотел ставить свою машину в лужи и в строительную грязь и потому остановился на неперекопанном участке. Он не вышел, посигналил.

Тридцать пять человек подняли голову, обернулись, поглядели в одном направлении, медленно двинулись вперед, оторвавшись от работы, одиннадцать пятьдесят, обед, выдача жалованья, да уж пора. Некоторые щурились от яркого солнца, прикрывали глаза ладонью. Казалось, люди идут из шахты. Машину быстро обступили.

Человек за рулем положил перед собой список, рядом справа, в коробке, конверты. Правая дверца заперта.

Получая конверт, каждый должен был расписаться. Люди по очереди всовывали голову в «фольксваген» и расписывались — длинный список добропорядочных имен.

У одного итальянца порезан большой палец, кровь капнула на список. Кассир разозлился, счел это типично итальянским. Итальянец расхохотался, поставил подпись, получил жалованье. Каждый, получивший конверт, обязан тотчас проверить сумму, *позднейшие претензии не принимаются во внимание*. Это предписание все выполняли неукоснительно. Но не сразу. Никто не делал этого сразу. Сначала каждый отходил на несколько шагов, в одиночку пересчитывал деньги, прикрывая их рукой,— все стояли в одиночку и считали. Из тридцати пяти рабочих мало-помалу создалась какая-то странная, почти орнаментная группировка: в центре — кассир в своей машине, покуривает, скучает; вокруг, неподалеку, но отвернувшись друг от друга, рабочие, прикрыв ладонью деньги. И надо всем этим — солнце. Но даже тени рабочих не соприкасались одна с другой.

Ян Алерс был одним из последних, ему спешить некуда, он поначалу смотрел на все со своей верхотуры, из застекленной кабины, что там к чему... *Сегодня опять получка, а толку что.* Потом и он подошел. Расписался, получил свое жалованье, отошел на несколько шагов, тоже пересчитал, отвернувшись, словно ему было что скрывать. А что тебе, собственно, скрывать, Алерс? Он посмотрел кругом, непроизвольно рассмеялся, еще раз пересчитал деньги, еще раз засмеялся про себя, подумал, сколько же людей в городе получают сейчас конверты, все они— товарищи по работе, и все глядят в сторону, все глядят вниз, считают, ничего не говорят, отворачиваются, словно отправляя малую надобность. Выражение его лица, когда он это думал, было добродушным.

Но возвращаясь к экскаватору, он увидел, что все восемь итальянцев стоят кучкой, громко разговаривают, смеются. Вечно они о чем-то треплются, проходимцы эдакие. Следа улыбки не осталось на его лице. Все кругом дерьмо, стало быть, ладно, обед — *три яйца, гора хлеба, и вдруг в горло ничего не лезет.*

Чуть попозже на площадку медленно въехала, сверкая чистотой, машина винного цвета с прицепом. Молодой парень за рулем — владелец ресторанчика у Берлинер Тор — знал, что нынче получка, он остановился возле экскаватора, вышел из машины, улыбнулся, открыл все дверцы: понимает, как надо действовать, когда у людей карманы полны, улыбается. И все стали подходить и покупать — цыплят, шницеля, отбивные, маринованную селедку, пиво, и все с небольшой наценкой — **обслуживание клиентов.** Парень понимает, как надо действовать, говорить: кто работает, тот и есть должен, улыбается, принимает деньги, вынутые из конвертов. Алерс, сидя в кабине своего экскаватора с бутербродом в руке, тоже захотел что-нибудь купить — можно ведь что-нибудь купить себе, раз деньги получил, тут же купить и съесть,

и точка. Он был голоден, но хлеба не хотелось, он спрыгнул вниз, купил себе еду. Купил отбивную, надкусил, пареиь еще и денег не успел с него получить. Панировка была чуть пересолена, под ней слой жира, *ну, да ладно, а вообще все дерьмо, еще давай кружку пива, две, пожалуй, все едино, давай сюда, обеденный перерыв.*

Кругом сидели рабочие, кто на досках, кто на какой-то бочке, кто на развалинах стены, где посуше, а кто в грязи, освещенные слабыми лучами белесого солнца, довольные, разделившись на группки — тут итальянцы, там немцы, а кто со специальностью — подальше от тех и других, каждый у своей машины, отделенные от остальных своей квалификацией, своим более высоким заработком.

Алерс у себя наверху еще раз внимательно проверил цифры на расчетном листке. Внизу под ним кто-то вынул бутерброд из газеты. Обрывки ее валялись на земле, ветра не было, черным по белому там стояло: **Вновь заинтересовать участием в прибылях... быть готовыми на жертвы... подчеркивать ответственность предпринимателей... акции «Бефлеэм стил корпорейшн» — 33$^{5}/_{8}$... внедрять дисциплину труда... оставить за собой право иа замораживание цен... «Интернэшнл никл» — 61$^{7}/_{8}$... вместе с ростом частиой собственности в нижних слоях общества растет интерес к сохранению существующего порядка...** *Отбивные — три двадцать, твердая цена.* Ветра не было. От земли поднималась сырость. Солнце блеклыми лучами освещало площадку.

IX

«Порше» въехал в самую гущу обедающих. Шеф ловко выпрыгнул из машины.

— Приятного аппетита. Конверты получили? Ну, вот видите. Мне бы ваши заботы.

Какие заботы? Все приветливо поглядывали на него, продолжая жевать, лишь немногие знали, кто это, да и те толком не знали *кто*. У шефа на лице сияло солнце, на руках были натянуты перчатки, оставлявшие открытой загорелую тыльную сторону ладони. Он схватился за синие перекладины и быстро, раз-два, вскарабкался наверх к Алерсу.

— Привет, Алерс. Найдется у вас минутка для меня?

— Привет, господин Ратьен.

Они спустились с экскаватора, прошли мимо рабочих, остановились между экскаватором, «порше» и самокатом, вместе заглянули в котлован.

— Здорово трудно приходится, а?

— Ничего не поделаешь, надо кончать.

Алерс и Ратьен поглядели друг на друга. Они были почти одного роста, только Алерс стройнее и шире в плечах и чуть-чуть сутулее. Он поднял руку, чтобы протереть глаза, но кажется, что он хочет похлопать шефа по плечу, словно все в порядке. Они стояли на краю котлована как два приятеля.

— Не выпить ли нам пива?

— Отчего же,— ответил Алерс, сунув в рот последний кусок хлеба.

Они вышли с площадки на улицу. На солнечной стороне возле залепленного глиной экскаватора, прислонясь к тяжелым гусеницам, сидело несколько рабочих, они потягивали пиво, рыгали, глядели вслед Алерсу и Ратьену.

— Опять Алерсу перевозочку подкинет.

— Что ж, права у него есть.

— Кто смел, тот два съел.

Один, разговаривая, чистил обломком кремня лопату. Глина не поддавалась. Не поднимая головы, будто обращаясь к лопате, он сказал:

— Кто хапает, тот вдвое цапает.

— Брось, шеф у нас что надо.

— Да я ничего про него и не говорил.

Рабочий с лопатой взглянул на улицу. Метрах в ста от светофора Алерс и Ратьен переходили широкую новую магистраль. Алерс не обращал внимания на мчащиеся машины.

— Ну же, смелее, господин Ратьен, а ждать будете, никогда не перейдете.

— Вам хорошо. У вас нет детей,— засмеялся Ратьен, осторожно шагая за Алерсом.

Черт бы побрал эту детскую коляску. На тротуаре Ратьен нагнал его.

— На Абэцэштрассе вас уже ждут,— сказал он,— закругляйтесь поскорее.

— Все будет в порядке, господин Ратьен.

Лопата теперь блестела. Рабочий покрутил ее на свету — хотел, чтобы металл сверкнул. Поглядел вверх. Но солнце уже опять застлал легкий туман. Он отбросил лопату, склонился над своей левой ногой, обеими руками потер лодыжку.

— Все насквозь отсырело,— сказал он и после небольшой паузы продолжал: — На экскаваторе-то легко зашибать пять марок в час.

— И вот тебе «принц»!

— Но уж «порше» на нашей работе не выколотишь.

— Думаешь, шеф бездельничает?

— Какое там. Да еще налоги платит каждый год.

— Ясно, платит. Чего смеешься?

— И новый экскаватор каждый год!

— Такой экскаватор стоит тысчонок сто пятьдесят.

— А экскаваторщик — Алерс.

— О нем что говорить. Зашибает пять марок в час. Немалые денежки.

— Если уж Алерс у Ратьена пять марок в час получает, так Ратьен со своих клиентов за это же время пятьдесят сдерет.

— Но ведь экскаватор-то его.

— Ясно. А экскаваторщик — Алерс.

Другой сплюнул и ногой растер плевок.

— А почему у Алерса нет собственного экскаватора?

— У него — экскаватор?

— С пяти марок в час экскаватором не разживешься.

— Зато с пятидесяти...

— Думаешь, шеф бездельничает?

— Я не говорю, три тысячи часов в год он чего-то делает, как и Алерс, только один получает пятнадцать тысяч в год, а другой сто пятьдесят. Здорово, а?

— Но ведь экскаватор-то Ратьена.

— А как же Алерс?..

— Что Алерс?

— Ну, и дурак же ты, сходи-ка к доктору, скажи: что-то у меня котелок не варит.

Пиво было отменное, они курили одинаковые сигареты *«Королевские», а кто весел, тот король.* Алерсу было приятно стоять рядом с Ратьеном. На стене напротив стойки, между бутылками, висело изречение, адресованное посетителям:

Иной небось и сам не рад,
И детки хуже поросят,
А уж жена — свинья свиньей,
Да не одна — со всей родней.

Ратьен был в отличном расположении духа.

— Ну, как с новой квартирой, все в порядке?

— Все в порядке. Еще раз большое спасибо, господин Ратьен. Да ведь кучу денег надо.

— Каждую неделю — конвертик, и никаких забот. Я бы не жаловался!

«И я тоже»,— подумал Алерс.

— Меня, конечно, не касается, работает ваша жена или нет, но вы, по-моему, правильно поступили.

— Она бы охотно снова пошла.

— Да зачем это вам, Алерс?

— Нет, есть все-таки смысл.

— Будьте тверды. Всех денег не заработаешь, всего не купишь. Должен и предел быть, порядок, и точка. И вот что я вам скажу: когда жена дома, так хоть знаешь, зачем работаешь. Домой вечером возвращаться — одно удовольствие. Вы не согласны?

— Денег прорва уходит каждый месяц.

Ратьен, рассмеявшись, поднял стакан:

— Ясно, прорва. Выпьем!

Оба выпили, шеф расплатился, и они вышли.

На улице им в лицо ударил холодный, сырой ветер. Алерс не мерзнет. Он считает, что шеф у него отличный. Вернулся с ним к «порше».

— Так вот, Алерс, поосторожнее нынче вечером. Вещица стоит денег. Чистое безумие, вообще говоря. Да жена с ума сходит по таким штучкам.

Вечером Алерсу предстояло перевезти из Люнебурга к Ратьену старинный английский шкаф. Ему хотелось ответить получше.

— Зато вещь ценная,— сказал он,— и вид имеет. Что у кого есть, так уж есть,— добавил он улыбаясь.

Ратьен был доволен этим человеком.

— Черт побери, Алерс, вы парень что надо. Стало быть, за работу!

Он уже сел в машину:

— Это все еще ваш старый «принц»?

— Пыхтит пока.

— Неплохая машина, знаю, но при вашем росте? Надо, надо уже подумать о более вместительной. У нас в отделе заказов кто-то хотел «таунус» продать, в хорошем состоянии, я знаю машину, зашли бы как-нибудь поглядеть.

— Это можно.

Шеф кивнул и укатил. Алерс еще постоял минуту-другую молча, руки в карманах, глядя не на «принца», а в котлован. Рабочий-итальянец внизу погладил оштукатуренный кусок старой подвальной стены и улыбнулся Алерсу.

— Хороший была дом,— сказал он,— и капут, война проклятый.

Алерс прекрасно понял, что хотел сказать итальянец, но буркнул:

— Никакая не война. Все заново сделаем, давай работай, мартышка ты эдакая!

Он полез на экскаватор, запустил двигатель и ковшом с силой врезался в кусок стены рядом с итальянцем. У себя на родине они все еще по деревьям скачут. Даже такой паршивой стены этот итальянец в глаза не видал. И Алерс разбил остатки погреба — *зашли бы как-нибудь поглядеть,*— с наслаждением разбил бы и своего «принца»... *Валяйте, Алерс, вы парень что надо!* Ему было неудобно сидеть, что-то в заднем

кармане мешало, оказывается, он сидел на конверте, вытащил его из кармана брюк, сунул в карман рубашки. *Ваш конверт с жалованьем, Ратьен, и никаких забот, ничего, ты справишься.*

И вдруг ему захотелось очутиться в гигантском экскаваторе, огромном, скрежещущем, воющем, ревущем чудище-экскаваторе, под которым все дрожит и трясется, который все рушит и срывает на своем пути. *Только бы все так и дальше шло, как сейчас,— работа надежная и вообще.*

X

Сияющий солнечный свет над туманом, но так высоко, что даже шпили церковных башен не доходят до него. Если стоять внизу, у св. Михеля, и смотреть вверх по кирпичным стенам, кажется, что доходят, но это обманчивое впечатление.

Полицейский у въезда на мост уже давно сменился, скоро опять его черед, еду он принес с собой из дома и греет ее в караулке, угол Таможенной гавани и Уффельнсвег, в котелке — этот котелок побывал с ним в Польше, такие вещи милы сердцу. Бухгалтер из Штеллингена охотнее ходит обедать дальше других, чтобы занять место за столиком в автомате Городских боен, на Гергофштрассе. День-деньской напролет у него перед глазами зеленый цвет — зеленый линолеум, зеленая бумага на письменных столах, зеленые карандаши, зеленые абажуры, зеленый войлок под арифмометрами, и ко всему — сидящий напротив коллега курит сигареты с зеленым листом на обертке. Вот ему и хочется в обед поглядеть на красное. А если — что иной раз случается — нет у него аппетита, он, прежде чем принести себе слева суп и хлебец грубого помола, наблюдает, как справа мощные блондинки в белых халатах неслышно режут огромными ножами куски филе. «Получите».— «Благодарю, я с удовольствием смотрю на вас». Но этого он не говорит. Он охотно становится за столик в правом углу; оттуда ему и во время еды удобно смотреть на блондинок. И вдобавок видны электрические часы. Ему ни в коем случае не хотелось бы опоздать. Больше всего он любит смотреть, как течет мясной сок по кафелю. Он никогда сам не дотронулся бы до сырого мяса, но энергично двигает челюстями. Когда видишь, как он медленно надкусывает хлебец, то кажется, что этот не бог весть какой сильный человек хотел бы иметь кулак, достаточно увесистый, чтобы одним ударом размозжить бычий череп. Но почему этот тщедушный штеллингерец мечтает о кулаке? Хуже того, почему он сам не знает, что его мечта — кулак, и против какого быка он ему нужен? Вместо этого до обеда, до одиннадцати, он в поисках бухгалтерской ошибки орудует цветными карандашами «Фабер-Кастель», а когда побежит назад в зеленую комнату, то не заметит даже, что туман снова застлал солнце. *Только бы все так и дальше шло, как сейчас,— работа надежная, и вообще.*

— Вот и я говорю,— отвечает жительница Вандсбека сослуживицу и закрывает свое окошечко желтой дощечкой: «Временно не работает», наконец-то обед, спина болит, пойдем вместе? Она хочет немножко пройтись со своей сослуживицей, недалеко — до Генземаркт мимо «Ватерлоо» и «Ларронж», мимо «Опеля», а на обратном пути она каждый раз останавливается у входа в оперу, чтобы посмотреть фото.

— Вы в опере были?

— Была, в гардеробе работала, работа ерундовая, вечная толчея, а потом, если мелочи на сдачу нет, все ворчат.

Сослуживица хочет перейти улицу поглядеть фотографии у входа в кино. Жительница Вандсбека идет с ней, думает: «Когда же наконец

я накоплю денег на проигрыватель, да, ребенок немало стоит. Бен Гур — странное имя».

— Вы уже видели этот фильм?

— Один наш служащий видел, из отдела посылок, здорово, говорит, цветной, четыре часа с перерывом. Смотрите-ка, рабы прикованы цепями, чтобы не выпрыгнули и не уплыли.

— Ну и силища у них.

— Ловко придумано — цепями.

— Все в цепях.

— Ну, так ведь дурачье одно.

— Не-ет, почему же, просто они поначалу ничего не подозревают. Им обещают, деньги, мол, получишь, милок, жратву. А потом — бац и попался, звяк да бряк.

Сослуживица смеется. Двери бесшумно закрываются за ними. Они уже вернулись в здание почты. Жительница Вандсбека взглянула на часы. Еще пять минут.

— Не торопитесь,— говорит она,— у нас еще есть время.

— Не все ли равно, так и так надо в свою клетку садиться.

— А в опере, в гардеробе, значит, неподходящая работа?

— Да нет, никакого толку.

— Так ведь днем можно подработать.

— А потом? Лучше уж что-то верное иметь. Я вот всегда говорю: лучше день за днем в клетушке сидеть, зато на старости лет пенсию получать. Вот что я говорю.

— Что ж, это правильно.

«А «Риголетто»,— думает жительница Вандсбека,— хорошо бы послушать «Риголетто», но как это сделать? Вечером снова возвращаться из Вандсбека — так ведь всякий раз рада-радешенька, что домой добралась, да и меньше, чем пятью марками, не обойдешься, нет уж, не надо, вечером поскорее домой, и все. Только бы они мне не отказали от квартиры. Говорят, из-за кошки, а сами просто хотят плату повысить. За такую-то дыру. Новый дом, шесть лет всего, а штукатурка со всех стен осыпается. Снесли бы к чертям эту конуру. Построили бы что-нибудь стоящее, раз в жизни что-нибудь стоящее. Только что? Уж лучше что-то верное иметь. Хотя бы из-за ребенка».

Она втискивается в свой закуток, убирает дощечку — обеденный перерыв окончен.

Девушка из Мейендорфа уже летит обратным рейсом, высоко-высоко, под самым солнцем, и подает крошечные бутербродики.

Зубной техник из Флотбека работает сегодня без обеда; в четыре он обещал встретиться с женой в универсальном магазине «Альстер», она хочет что-то купить там и непременно хочет, чтобы он пошел с ней. Чего только они не хотят!

XI

Значит, видимо, в июле, и, возможно, дочка.

Рената Алерс сбила себе в миксере молочный напиток и теперь сидела на кухне, пила и высчитывала на полях старого иллюстрированного журнала, во сколько это обойдется — питание и пеленки, кроватка и приданое для новорожденного, присыпка и детский крем, и все вообще, и, может, еще картину купить, но прежде всего, конечно, занавески, светлые-светлые, красивые, хоть раз в жизни что-нибудь стоящее.

Она кончила есть, встала из-за стола, пошла в пустую комнату посмотреть, какого цвета лучше купить занавески и какую лучше картину.

На стенах играло солнце. Ее взгляд упал на собственную тень. Она обернулась, окинула взглядом свою квартиру, пошла назад к двери: не хотелось, чтобы в эту комнату вслед за ней вошли ее страхи, прикрыла дверь, сама не зная зачем. Измерила комнату шагами — три шага вдоль и почти четыре поперек, подошла к окну, уселась на подоконник, спустила ноги, сбросила туфли на пол, прислушалась, как трутся чулки о штукатурку, за ней — сияло солнце, перед ней — стояла ее собственная огромная тень. У нее было легко на душе, как у человека, который чего-то избежал, которого никто не видит, а сам он где-то совсем близко, все видит, видит больше, чем другие. Легко было у нее на душе, словно она владела колдовскими чарами: значит, в июле, и, возможно, дочка.

— А я умею колдовать,— сказала дочка.

— И я тоже. Гляди-ка!

— Если я заколдуюсь, то меня ведь здесь будто и нет.

— Ничего, погляди-ка, хоть тебя здесь и нет.

Рената Алерс подняла руки к освещенной солнцем стене, сжала кулак — на стену прыгнул длинноухий заяц.

— Почему ты только зайцев делаешь?

— Я все умею делать.

— А волка умеешь?

— Тогда зайцы разбегутся.

— Да ведь он не кусается.

— Нет, кусается.

— А меня он не укусит.

— Потому что ему со стены не соскочить?

— Потому что я заколдовалась, и меня здесь нет.

— Да он вообще не кусается.

— А ты сделай такого, чтобы кусался.

— А если он на тебя нападет?

— Он на меня не нападет, я же заколдовалась, и меня здесь нет, ну, сделай же.

Волк широко разинул пасть. Его длинная шея вздрогнула. Похоже было, что он собрался петь.

— Не открывай дверь, а то он еще влезет,— сказала дочка.

— Я тогда разрежу ему живот.

— Да он и не пройдет в эту большую дверь,— засмеялась дочка,— он же совсем маленький.

— Значит, тем более пройдет.

— Нет, не пройдет. Я наколдовала.

— Что наколдовала?

— Совсем маленькие волки никогда не пройдут в большие двери.

— Но у него длинная шея.

— Скорее, он идет!

Рената Алерс села, разжала кулак, растопырила один за другим все пять пальцев.

Но тень на стене вдруг стала серой и нечеткой.

— А уроки ты уже сделала?

— Нам ничего не задали.

— Пройдемся немного по Гамбургу? Просто так, мы с тобой вдвоем. Может, где-нибудь папу встретим.

Она встала, вышла в большую комнату и быстро прошла в переднюю. На ходу сняла с вешалки старый плащ, а еще до того вынула из шкафа, из заветной коробочки, две десятимарковые бумажки.

— Там плавают настоящие лебеди.

— Белые лебеди? В такой грязной воде?

— В Альстере вода чище, чем здесь.

— Почему чище? — спросила дочка.

Когда она проходила мимо бомбоубежища на Нейхёферштрассе, из-за тумана еще раз ненадолго выглянуло яркое солнце. Увидев сейчас Ренату Алерс на улице, всякий понял бы, что ей хорошо. Ленивая, довольная и любопытная, расстегнув плащ, шла она по улице просто так, просто так — шла и шла. От бензоколонки «Шелл», с северо-запада, ветер доносил до Веринггштрассе резкий, пряный запах. Проходя мимо почтамта, Рената Алерс вспомнила о последнем платеже за миксер: пять двадцать. Но сейчас ей неохота, лучше когда-нибудь потом. Ожидая одиннадцатого, она стояла рядом с зеленым мусорным ящиком, вместе с другими женщинами. Они похожи на старых отравленных мартышек. Мимо Ренаты бесшумно проезжали пустые машины. Мужчины, сидевшие за рулем, нередко оборачивались на нее.

— Вырасту большая, куплю себе большую машину. Увижу, что люди стоят, остановлюсь, посажу на заднее сиденье, места ведь хватит.

— А они, может, и не захотят сесть, подумают, ты им что-нибудь сделаешь.

— Ничего я им не сделаю.

— Но они подумают.

— Почему же они так подумают?

— Потому что они глупые.

— Гляди-ка, они и вправду глупые,— прошептала дочка.

Подошел одиннадцатый, красный с желтым. На задней площадке было свободно. Отсюда видно, как улицы, как дома с узкими, наглухо закрытыми окнами, звеня, ускользают в туман, тонут в нем, словно в них никому и никогда не надо возвращаться.

В вагоне было холодно. Пассажиры, в большинстве женщины, сидели озябшие, одинокие, уставившись в одну точку,— отчужденные лица с подергивающимися веками. Ручка ребенка схватилась за руку матери. Мать оставила свою руку ребенку, не шевельнулась — тщательно одетая, она рада была своей меховой шубке,— оставила свою руку ребенку.

Кондукторша со своего места испытующе поглядывала на затылки и шляпы. Без сомнения, из всех женщин у нее здесь было самое лучшее место, здесь была ее работа. Понимала ли она свое преимущество? Она видела шубку женщины с ребенком, ей тоже хотелось шубку и сбитых сливок после обеда, в два часа.

— Кому еще билет? — громко крикнула она и потерла посиневшие пальцы правой руки о тыльную сторону левой, потом назвала следующую станцию: — Фогельхюттендейх.

Вагон, гремя, завернул налево, головы женщин покачивались в такт, трамвай остановился, никто не вышел из вагона, кто-то вошел в вагон, трамвай покатил дальше.

У следующей остановки какая-то женщина потянула в вагон маленькую собачку на поводке, толстого, гладкого, белого песика. Тот не хотел идти, хотел еще подержать ножку у зеленого мусорного ящика. Рената Алерс поглядела на него. Вожатый зазвонил. Песик прервал свое занятие, бросился в сторону, потом прыгнул к хозяйке.

— Мне тоже хочется собачку,— сказала дочь.

— Зачем?

— Затем.

— А еще зачем?

— Только моя собачка будет ходить в штанишках.

Песик поднял мордочку, оскалясь, поглядел на Ренату Алерс, ошейник сдавил ему горло, он засипел, лапки у него задрожали, усталая хозяйка дернула его к себе, поглядела в окно устало и сурово.

Прежде чем трамвай нырнул в туннель у моста, Рената Алерс прошла по вагону, мимо пассажиров, на переднюю площадку. Ей неприятно было смотреть на собаку. Впереди сидела мамаша в шубке. Ребенок ря-

дом с нею шевелил губами, старательно читая по буквам слова, которые находил где попало — на стенах, под окнами, на рекламных картинках; он вглядывался в каждую вывеску и в каждую надпись, надеясь отыскать что-то новое и необычное. Как раз когда он собрался встать, чтобы прочесть неразборчивую надпись на двери в кабину вагоновожатого, трамвай остановился. Низенький человечек с жирной шеей и черным бархатным воротником, неся в вытянутой руке венок, подошел к кондукторше, вскинул на нее глаза, заплатил за билет, она попросила его пройти вперед, туда, где сидел ребенок, чтобы не мешать входящим пассажирам. Ребенок уставился на нового пассажира, пристально оглядел всю его жирную физиономию вплоть до ушей и, видно, ничего не обнаружил. Потом вдруг заметил блестящую ленту на венке и склонил головку на плечо, пытаясь прочесть слова на бантах. Но теперь уже не он один обратил внимание на человека с венком. Лица женщин, когда тот шел по длинному вагону, немного оживились. Запах жестких, темно-зеленых листьев и каких-то увядших белых цветов коснулся их лиц, нацелил глаза в одну точку — на венок, на ленту.

— «Господь, даруй ему вечный покой»,— по буквам прочел ребенок, тихо и старательно.

— Не надо так говорить,— сказала мать и дернула ребенка за руку.

Внимание пассажиров отвлекли ее пудра и мех. Трамвай сделал крутой поворот, головы приняли свое прежнее устойчивое положение. Все в порядке.

— А почему, мамочка? — спросил ребенок. Когда же на его рот лег длинный палец, он потянулся к уху матери, к меховой шапочке, и зашептал: — На что ему такой большой венок?

Мать встала и пошла в другой конец вагона. Ребенок нехотя поплелся за ней, то и дело оборачиваясь, чтобы взглянуть на запретную ленту, а потом отчетливо и громко еще раз прочел новые для него слова:

— «Вечный покой».

— Перестань, замолчи сейчас же.

Но ребенок не обращал внимания на слова матери. Рената Алерс взглянула на ребенка, улыбнулась ему. Но на его лице ничего не отразилось. Она отвела глаза, посмотрела в окно на мчащиеся машины, на затылок вагоновожатого.

— Что это за господь такой? — спросила дочка.

— Этого они и сами не знают.

— Скажи-и-и.

— Только не бойся.

— А волк?

— Ты же его заколдовала, совсем маленьким сделала!

— Сказать тебе словечко?

— Скажи.

— Я его погладила,— сказала дочка.

— Ну чем это вы, взрослый человек, занимаетесь? — сказал пассажир с венком.

На запотевшем стекле Рената Алерс изобразила волчью морду. Из пасти волка свешивался длинный острый язык.

— Ну чем это вы, взрослый человек, занимаетесь? — повторил пассажир.

Рената Алерс рассмеялась ему в лицо и вышла из вагона: на Главном вокзале пересадка.

А зачем пересаживаться? Ей вовсе неохота ждать, она пойдет дальше пешком, прежде всего к Альстеру. Но она не сразу пошла дальше. Всю территорию между Штейнторвалем и железной дорогой разрыли,

котлован выкопали метров десять в глубину, три экскаватора выбирали песок. Знакомая работа, **вход на строительную площадку посторонним воспрещен!** Рената Алерс прошла мимо ковшей до самого котлована, огороженного досками. Мужа своего она здесь не найдет, это ясно, слева на сарае для инструментов она заметила вывеску фирмы, поняла, что тут не Ратьен хозяин, все равно, решила заглянуть — просто так. Она перегнулась через доски, поглядела вниз, в пестрый рыхлый песок. Сзади кто-то сказал:

— Извините, это не разрешается.

— Знаю,— ответила она.

Похож на инженера, а может, университет кончил. Он держал в руках план, наклеенный на кусок фанеры. Из кармана его зеленой куртки торчала металлическая рулетка.

— Доски могут не выдержать,— сказал он.

— Я осторожно,— ответила она и опять поглядела вниз.

А приятно смотреть, как они песок выбирают. Здорово работают.

В группе рабочих на противоположной стороне какой-то приземистый парнишка помахал руками из-за насыпи и громко крикнул:

— Hallo, bambina *.

Второй отделился от группы, свистнул, помахал, а потом, качнувшись, принял недвусмысленную позу и хохоча крикнул:

— Эй, малютка, давай позабавимся!

— Уходите лучше отсюда, эти бандиты способны оскорбить любую девушку.

— Нет, они хорошие ребята,— сказала Рената Алерс и побрела с площадки, но еще не к Альстеру, сначала на виадук, чтобы с него посмотреть вниз, на платформы и пассажиров. Ей хотелось увидеть темно-синие запыленные вагоны с желтыми французскими надписями. Но днем спальных вагонов не видно, только электричка стоит, и скучные зеленые поезда отправляются в Бергтехейде и Бухгольц, а жаль, красивое зрелище, когда провожающие машут платками и какая-нибудь женщина с плачем бежит за вагоном.

Она пошла дальше, проходивший внизу паровоз пустил через перила моста струю холодного пара, и Рената застегнула плащ; ей хотелось пройтись еще к Рейхсгофу, мимо публичных домов, просто так, ну и глупы же мужчины. Но едва она вышла из облака пара, как перед ней возник какой-то человек с огромным плакатом. «Уберите Хёхерля **,— было написано на плакате.— Не допускайте принятия чрезвычайных законов». Она внимательно поглядела на человека. Он был очень похож на того, что частенько звонил в их старую квартиру, все толковал о «Свидетелях Иеговы». Кто-то сунул ей в руку зеленый листок. Она отошла к перилам и прочла: «Вон эсэсовцев из Телефонного управления. Сегодня в 20 часов митинг протеста перед Домом профсоюзов. Выступает писатель Кристиан Гейслер». Писатель? *Один человек говорит другому: — Здесь мне не хотелось бы жить.—Этот человек будет выступать вечером на собрании в Доме профсоюзов.* Она молча смотрела, как другие прохожие брали листовки, бросали их, знали, что это значит: «Ваш телефон тоже подслушивают».

— У нас нет телефона,— сказал кто-то раздраженно, отчетливо, покосившись, однако, на человека с плакатом; а больше он на эту тему и говорить не хотел. Сказал это от имени всех человек лет сорока, кондуктор надземной железной дороги, он *знал жизнь, знал, что это значит.* Рената Алерс еще немного постояла, глядя на того, кто раздавал листовки. Чего это они прицепились к эсэсовцам? Похож на уличного торговца, только что помоложе. Сам виноват. Работы нынче везде хоть

* Эй, детка *(итал.)*.

** Министр внутренних дел ФРГ (1961—1965 гг.).

отбавляй. Она бросила листок с моста, и он полетел прямо под вынырнувший товарный поезд, а сама пошла дальше, ни разу не оглянувшись. За Рейхсгофом ничего интересного не было; на Кирхеналлее киоск: сосиски с булочкой — марка десять, а потом сразу дальше, мимо речного вокзала «Атлантик», вниз до самого Альстера к чудесному большому озеру, раскинувшемуся между домами.

Серебристый свет лежал на поверхности воды, заходящее солнце позже расцветит туман, и светофоры на берегу у перекрестков блеснут в росной пелене. Но сейчас еще никаких красок нет. Серая сырость тихо ложится на траву. На другой стороне, на западном берегу, видны исполинские неподвижные деревья, а высоко над крышами белых домов то тут, то там уже загорается неон.

Рената Алерс пошла по прибрежной траве вверх по течению Альстера. Трава была зеленая, мягкая, еще не старая, не померзшая. На ходу Рената схватила свисавшую ветку, потянула ее за собой, отпустила, не обернулась, но поглядела на собственную руку. В руке остались мягкие, коричневые кусочки коры, они пахли грибами. Она пошла дальше, засунув руки в карманы плаща. Наконец вышла на какую-то площадь, где дети кормили уток и чаек. На реке к сваям были привязаны узкие лодки, укутанные от зимней стужи в парусину. Сейчас и они были неподвижны.

Чайки хватали корм на лету. Утки боялись, нерешительно подходили по камням к берегу и очень медленно приближались к протянутым детским ручкам. Дети вели себя тихо, терпеливо ждали. Утки боялись уток. Схватит одна кусок и, спасаясь от нападения других, обращается в бегство, но далеко не уходит, чтобы не упустить своего. Ребятам с кульками в руках это доставляло огромное удовольствие. Казалось, что птицы, подобравшись поближе к руке с хлебом, забывали об опасности, тогда дети начинали медленно пятиться, маня их все дальше и дальше от берега. Вдруг с тротуара на газон выскочил мальчишка, промчался мимо детей, отрезал уток от хлеба. Он носился по газону как угорелый, глаза его блестели, вытянутая рука сжимала игрушечный пистолет. Утки описали большой круг и, крякая, заковыляли к воде. Мальчишка вскочил на прибрежные камни и стрельнул им вслед, раз-другой послышался негромкий треск. А потом удрал обратно на тротуар, где его ждал отец. Дети с хлебом обернулись и увидели, как большая ладонь отца погладила сына по голове.

Матери окликнули их, дети послушно ушли с берега, кто куда.

— Почему это утки не покусали того мальчишку? — спросила дочка.

— У него же пистолет.

— И у его отца тоже?

— Нет.

— Нет тоже.

— Оставь.

— У тебя есть еще хлеб?

— Оставь.

— Тебе тоже грустно?

— Да.

Дочка встала на цыпочки, шепнула ей в самое ухо:

— Оставь, в школе мальчишки тоже нахальные, ну, и ничего.

— Но ведь там был отец.

— Как он смеялся.

— Да.

— Тебе тоже не хочется смотреть, как он смеется?

— Тоже.

Рената Алерс берегом вернулась обратно к речному вокзалу «Атлантик» — придется подождать,— а пока глядела с понтона вниз, на почти черную воду.

— Хочешь, я поколдую еще немножечко,— прошептала дочь.
— Хочу.
— Поколдовать?
— Ну-ну, давай.
— А ты закрой глаза.
— Ладно.
— Видела? — с волнением спросила дочь.
— Это ты здорово.
— Теперь уж ему никогда не смеяться. Утки расклевали ему все губы.

С реки подул ветер. Рената Алерс подняла воротник плаща. Пароход причалил, почти совсем пустой. Внутри пахнет машинным маслом, сквозь начищенную до блеска медную решетку в центре судна видны двигающиеся клапаны, а с места у окна слышится тихое масляное чавканье. Пришел кондуктор, стал продавать билеты. Снаружи, под окном, скользила, убегая куда-то, вода, темное текучее зеркало.

— Да здесь же никаких лебедей нет,— сказала дочка.
— Наверно, улетели, скоро зима.
— А куда?
— В зоопарк Гагенбека, там есть отопление.
— Послушай-ка!
— Да.
— А почему вода в Альстере не такая грязная?
— Здесь нет фабрик.
— А почему?
— Потому что здесь повсюду дома белые.
— В них и вправду живут люди?
— Да.
— Кто же?
— Не знаю.
— Настоящие люди, и дети, и все такое?
— Можешь сама взглянуть.

У дочери сделалось испуганное лицо. Она с беспокойством сказала:

— Не смотри так.
— Как это я смотрю?
— Сказать тебе что-то? — воскликнула дочка.
— Скажи.
— А тот и смеяться-то больше по-настоящему не может.

Но тут засмеялась чайка. К пароходу приближалась узкая коричневато-красная лодка. Четверо молодых людей в белом с изящной точностью гибко двигались вперед-назад по команде маленького человечка у руля.

— Куда они едут? — спросила дочка.
— Просто так, катаются.

Лодка прошла близко от пароходика. Слышно было постукивание скользящих скамеек и тихий, равномерный скрип ремней.

— А папочка тоже гребец? — спросила дочь.
— Он экскаваторщик. Ты же знаешь.

Рената Алерс встала, прошла к выходу, прислушалась к глухому толчку у причала на Альте Рабенштрассе. Сошла с парохода. Она замерзла. Но ей еще не хотелось в центр, она пошла по Харвестехудервег к северу, вдоль Альстера; здесь на берегу в такую погоду ей почти никто не встретился. А на редких запоздалых прохожих она не смотрела, ее взгляд скользил мимо их ушей и шляп, над газонами, она видела деревья, дрозда, летающего над самой землей, и ей было легко, словно она совсем одна в чужой стране. И она шла все дальше и дальше. В конце парка она свернула налево, пошла по дорожке мимо больших садов, по-

том по Софиентеррасе добралась до здания казармы. Школьницей она частенько по вечерам ждала здесь мать, работавшую прислугой у «томми». Она до сих пор отчетливо помнит длинную бутылочно-зеленую шинель, которую носила ее мать,— тогда все шинели приказано было перекрасить,— где-то теперь эта шинель?

Из здания вышел офицер в длинной серой шинели, к нему подъехала машина, офицер сел в нее. Парень-шофер, верно, ровесник Ренаты, он с большим уважением относится к офицеру, это видно по его глазам, по всей его позе. А по тому, как лихо он тронулся с места, видно, что он гордится своей службой.

Рената Алерс пошла дальше, дошла до Миттельвег, слева цветочный магазин, цветы качаются на длинных стеблях, огромные, яркие, очень дорогие. В витрине за спиной Ренаты отражалась молодая женщина. Рената не оглянулась на нее. Судя по легкому, хорошо сшитому пальто из тонкой кожи, по спокойному голосу и правильной речи, эта женщина жила в одном из больших белых домов. Она стояла всего в нескольких шагах от Ренаты Алерс и разговаривала с мальчиком лет десяти так, будто ни одной живой души поблизости не было, понятно и просто разъясняла ему, в чем он провинился и чего ему больше не следует делать. Из ее слов Рената Алерс заключила, что мать застигла сына в момент, когда он требовал пятьдесят пфеннигов от своего одноклассника, угрожая, в противном случае, донести учителю, что тот тайком курит. Мать объясняла, как подло использовать страх другого человека — на это способны только низкие, скверные мальчишки. Мальчик пытался оправдываться, говорил, что в школе многие так делают. Мать не стала с ним спорить, только ответила, глядя на него большими прекрасными глазами, что многие люди глупы и бездарны, тут уж ничего не поделаешь, да их, собственно, и упрекать нельзя, такими они родились, мелкими, ничтожными людишками. Но он, ее мальчик, он совсем другой, она это знает, слишком гордый и порядочный, чтобы участвовать в таких историях.

Рената Алерс при последних словах непроизвольно обернулась: любопытно, какой это он совсем другой. Он и вправду оказался другим. Красивый, холеный. Весело и доверчиво смотрел он на мать.

Рената прошла мимо них, пересекла улицу, сделала несколько шагов в сторону города, потом свернула вправо, мимо теннисных кортов. По направлению к Гринделю.

В районе Гринделя четко видна граница между двумя частями города. За Гринделем все вдруг стало снова таким, как на Фельдштрассе и на Новом Конском рынке: жалкие парикмахерские, измазанные машинным маслом двери мастерских, тесные витрины, грязно-серые дома, ни садов, ни теннисных кортов, парни ходят в кедах, нет спокойных матерей в легких пальто, наоборот: много озабоченных лиц и хозяйственных сумок.

До сих пор Рената Алерс не глядя проходила мимо детских площадок, в Вильгельмсбурге за бомбоубежищем тоже была устроена такая площадка. На этот раз она пересекла пестрый уголок и, увидев двух женщин на скамейке, села на соседнюю и стала наблюдать.

Из шести игравших детей двое были толстые, тепло одетые, как и женщины на скамейке. Четверо остальных, видимо, играли без присмотра, без шапок и пальто. Здесь была песочница, стояла шведская стенка из пестрых стальных трубок и качели; на посыпанной гравием дорожке валялся самокат. Владельцу он был сейчас не нужен, тот лазал по стенке, но поглядывал, чтобы другие дети его не схватили.

— Не трогайте самокат,— угрожающе выкрикивал он.

— А вон моя,— добродушно сказала одна из женщин на скамейке, взглянув на девочку, грациозно раскачивавшуюся на качелях.

— Опять холодно нынче,— сказала соседка, бросив беспокойный взгляд на мальчугана в теплом пальто. А когда он тут же неуклюже свалился с борта песочницы, подбежала к нему, отругала, утешила, вернулась к скамье. Вторая женщина сунула в рот конфету и теперь сосала ее.

В сторонке от других детей сидела на корточках толстенькая девочка лет шести и камешком рисовала что-то на сырой земле.

— Что ты рисуешь? — спросила Рената Алерс.

Девочка, не подымая головы, ответила:

— На качелях можно подлететь гораздо выше.

— А ты хорошо умеешь качаться?

— Да она не пускает.

— Хочешь, я попрошу?

Девочка робко пошла за Ренатой Алерс к качелям. Маленькая красотка спрыгнула, словно понимая, что тут уж ничего не поделаешь, и убежала к детям на шведской стенке.

— Раскачать тебя?

— Я сама,— сказала девочка.

Не успела Рената Алерс вернуться на свою скамейку, как другая девочка выскочила из песочницы и ринулась к качелям. Она сильно толкнула сидевшую на доске девчушку — та еще и раскачаться не успела,— сзади стащила ее с доски и, смеясь, легко, как белочка, вспрыгнула сама. Обе женщины на скамейке спокойно смотрели на эту сцену.

— Ишь ты, знает, чего хочет.

— Бой-девка будет.

— А без того нынче и не пробьешься.

Рената Алерс продолжала сидеть, ее злила маленькая, плачущая толстушка. Она хотела подойти к ней, раздумала.

— А та плачет.

— Только не утешайте. Такого ребенка полезно закалять.

— Надо же, какая девочка.

— То-то и оно. Подумайте сами, с такой девочкой что хочешь может случиться, ведь кругом одни бандиты!

— Вы тоже читали?

— Просто взял и задушил голыми руками!

— Только потому, что она не подчинилась ему.

— Сначала задушил, а потом разрезал на мелкие куски.

— Такого недочеловека ничего не удержит.

— А он что, иностранный рабочий?

— Нет, банковский служащий! Ученик!

— Игит, поди сюда!

— Никакой жалости, просто каменный!

— Подумать только, и таким нынче оставляют жизнь.

XII

— Позвони-ка, где это трейлер пропадает,— бросил Алерс, проходя мимо прораба. Он кончил работу на этом участке. И вспомнил о «принце». Пошел взглянуть, почему тот «упрямится». У него заболела спина, когда он нагнулся к мотору. Чертов экскаватор. *Езди в «принце», будешь королем.* Перво-наперво свечи. *Надо, надо вам подумать о более вместительной машине, Алерс.*

На Абэцэштрассе дожидались не только экскаватора, но и рабочих. Прораб пальцем отсчитал семь человек:

— Пошли давай.

— Пешком?

— Вы двое забирайтесь в пикап. Amigos * пусть лезут в грузовик.

В пикапе место было только впереди, рядом с шофером, в кузове лежали катушки кабеля, *да все равно, куда-нибудь лезь, никого это не касается, давай лезь, гоп-ля!*

Итальянцы не хотели лезть в грузовик, они стояли возле машины, один смачивал языком самокрутки, ухмылялся прямо в лицо прорабу.

— Нет грузовик, много холодно.

Прораб не понял ухмылки:

— А ну, не нахальничай, слизняк, давай avanti, presto **!

— Нет presto,— ответил итальянец, остальные подняли, улыбаясь, руки и дружелюбно сказали:

— Piano, amigo ***.

— Вы что, с ума посходили?

— Больная человек, нет работать.

У прораба перекосилась физиономия.

— Да ты же не больной, свинья паршивая,— рявкнул он,— небось вчера с бабами переработал.— Ему казалось, что он очень удачно сострил, но итальянцу, стоявшему перед ним, вожаку группы, было не до смеха, он дрожал всем телом, его, видно, лихорадило.— Пошли, мартышки,— дружелюбно сказал прораб и схватил итальянца за плечо, чтобы сдвинуть с места. Но щуплый паренек хлопнул по руке, его схватившей, словно по мухе, да как еще. Прораб был до того потрясен этим необычным для рабочего поведением, что даже не сразу сообразил дать сдачи. Однако итальянец, предвидя такую возможность, живо шмыгнул за спины приятелей, а оттуда — за грузовик. Ему повезло, ловить его было некому, шофера на месте не оказалось — стоя за «принцем», он обсуждал с Алерсом, не погнулся ли поплавок в карбюраторе.

Прораб не бросился догонять итальянца, а закурил сигарету, внимательно наблюдая за догорающей в руке спичкой. Негоже, пожалуй, каждого итальянца загонять колотушкой в грузовик.

— А ухмылки свои вы бросьте, ну, живо! И пикап с немцами еще не уехал? Чего же вы, черт побери, здесь торчите, отъезжайте, наконец!

— Любопытно,— сказал шофер, садясь за руль пикапа.

Один немец пошел следом за ним. Другой, пожилой, все еще стоял рядом с прорабом, счищая грязь с лопаты.

— Ты с ума сошел,— бросил он прорабу, стремясь охладить его пыл.

— Езжай.

— И не подумаю.

— Как это не подумаешь.

— Итальянцы не так уж глупы,— заметил старик.— Скажи-ка лучше пикапщику, пусть съездит кабель выгрузит да вернется, тогда и нас на Абэцэштрассе подвезет.

Старик направился к итальянцам. Прораб хотел загородить ему дорогу, но старик обошел его, выставив вперед, точно подрывную шашку, свою седую голову.

— Эти повадки у тебя, видно, оттуда,— крикнул ему вслед прораб.

Старик остановился, повернулся к нему и сказал:

— Еще бы, в Ростоке приходилось вкалывать вовсю.— Горькая складка залегла вокруг его рта, и он громко крикнул итальянцам: — Не надо в грузовик, чертовски холодно, вон легковая!

---

* Друзья *(итал.)*.

** Вперед, живо *(итал.)*.

*** Потише, друг *(итал.)*.

— Послушай-ка, папаша,— вдруг тихо сказал прораб. Теперь он точно знал, чего хотел. Алерс и шофер грузовика стояли рядом, курили, наблюдали за происходящим.— Послушай-ка, папаша, одумайся: скажи этим мартышкам, чтоб сейчас же лезли в грузовик, да поживей.

— Не-ет, слишком холодно. Так и помереть недолго. Не надо в грузовик,— повторил старик, обращаясь к итальянцам, и жестом как бы провел черту подо всем этим делом.

— Да что с тобой, Куддль? Сдурел ты, что ли?

Шофер грузовика рассмеялся, хотел было подойти к старику, поглядеть на него поближе: очень уж небывалая получилась история. Но молодой прораб решил сам все уладить.

— Погоди,— тихо сказал он и, обращаясь к старику, скомандовал: — А ну, давай, зови их.

— Не-ет. Сам погляди, на кого они похожи.

При этих безобидных словах Алерс вдруг рассвирепел.

— На кого они похожи,— заорал он,— да они с бабами спят каждую ночь до одурения, а в обед им головы не поднять. Дерьмо они, вот что.

— Отцепись ты от них,— отрезал старик.

Он хотел сказать: «Нечего завидовать, милый мой, уж что у кого есть, так есть». Да не хотел зря злить Алерса, Алерс был ему по душе.

— Ладно,— сказал прораб, бросил окурок старику под ноги, махнул рукой на упрямцев, велел шоферу грузовика отъезжать без них, подошел к пикапу, отодвинул шофера вправо — пусти-ка, мол,— и быстро уехал с рабочим-немцем.

— Через полчаса вернусь,— крикнул он Алерсу,— скажи им там.

Алерс заглянул в контору, сказал, вернулся и стал ждать трейлер, продолжая копаться в моторе своего «принца». Время от времени он оглядывался на остальных. Они просто с ума посходили, ничего у них не выйдет, интересно, если бы каждый так поступал, все бы пошло у нас вкривь и вкось, а что «все»? Что именно, Алерс? Да наплевать. Дурачье они. Кто? *Ничего, ты справишься. Вы парень что надо, Алерс.*

У итальянцев сейчас скверно было на душе. Они, правда, толковали между собой, стоя тесной кучкой, видимо, хотели поддержать друг друга, утвердиться в своей правоте, в то же время медленно, исподволь продвигались вперед, покуда не добрались до подветренной стороны экскаватора. На открытой площадке было холодно.

Старик в конце концов подошел к Алерсу. При ходьбе он опирался на лопату, держа ее как посох.

Алерс как раз промыл фильтр, продул его, поставил на место. Старик подошел, прислонился к машине, потом присел на корточки, поставив лопату между колен, все суставы у него трещали, а за спиной был «принц».

— Осторожнее, лак не попорти,— предупредил Алерс.

— Что, отказала машина?

— Ну, приятель, у тебя и выдержка! Видел бы Ратьен, дал бы тебе под зад коленкой.

— Свези-ка нас сам туда.

— Что?

— Трейлер раньше трех не придет.

— Ты что, рехнулся?

— Полчаса всего займет.

— А кто мне их оплатит?

— Да брось ты, Алерс.

— Хватит чепуху молоть. Это автомобиль, а не навозная тачка.

— Ну, парень, у тебя и выдержка,— сказал старик, глядя прямо перед собой.

— Ничего ты не понимаешь,— буркнул Алерс куда-то в мотор,— посмотри только на этих amigos!

— Сам посмотри на этих amigos,— сказал старик, помолчав.

— Ну и что?

— Один болен — все отказываются ехать.

— Это им дорого обойдется.

— Н-да,— добродушно сказал старик,— а такой «принц» тоже хороших денежек стоит.

— Хватит болтать.

— Не-ет, почему же, amigos — славные ребята.

— Только уж грязны очень. Настоящие мартышки.

Он закрепил фильтр, пошел, сел за руль.

— Так ты никогда ничего не добьешься,— сказал он старику, включил зажигание, двигатель взревел раз-другой, Алерс, довольный результатом, снова вылез и вдруг со злостью обернулся к старику: — Хочешь послушать анекдот, папаша? Так вот. Двое встретились в пустыне и глядят друг на друга. «Надеюсь, мы с вами друзья»,— говорит один. Второй выхватывает пистолет, стреляет ему в голову и отвечает: «Зря надеешься».— Алерс хохотнул, но смех его застрял где-то в глотке. Старик не шевельнулся.— Это Ратьен мне рассказал.

Старик исподлобья поглядел вверх, даже лица не поднял.

— Ну и свинья же ты, Алерс,— сказал он.

Алерс рассмеялся.

— А ты — старый хрыч.

— Все лучше, чем хохочущая свинья.

— Ладно, ладно, кончай и пошли,— сказал Алерс.

Старик не двинулся.

— Хочешь меня запугать,— сказал он и прибавил: — Послушай-ка, Алерс, и откуда у вас эдакое?

— Не поспеваешь за временем, папаша!

— Дай-ка сигаретку,— сказал старик. Закурив, он раскопал кончиком лопаты ямку между своих башмаков, плюнул в нее и загреб, как кошка.— И откуда у вас эдакое,— повторил он,— ведь так жить нельзя.

Алерсу, собственно, не хотелось больше пускаться в разговоры, хотелось сделать вид, что все это пустая болтовня, мало ли что может случиться, не его это дело, все дерьмо, а старый хрен, верно, давно уже из ума выжил, к черту все, но вдруг его разобрало, захотелось поглубже вникнуть. *При вашем росте, Алерс, зашли бы поглядеть как-нибудь... под ним все дрожит и трясется... к черту все.*

— Что значит вообще «жить», папаша,— насмешливо крикнул он,— сидеть в грязи и мерзнуть? Глянь-ка! Да сам-то ты знаешь, что такое жить? Вот, слушай внимательно, старая калоша: на днях был здесь мой шурин из Франкфурта, у него уже два агента есть, он-то знает, что такое жизнь, и вот он мне говорит, Ян, говорит он, скажу тебе один секрет, как жить надо: если ты когда-нибудь выбьешься в люди и других заставишь на себя работать, а дело поначалу не пойдет, так попросту натрави одного на другого, они сами друг с другом разделаются. Люди хотят жить, говорит он, и еще они хотят жрать. Дошло, папаша? *Вот что такое жизнь!* Парень ездит в «пежо», а ему всего двадцать шесть!

Старик молчал. Алерс рассмеялся, глядя на него сверху.

— Еще наудивляешься,— весело сказал он.

Старик не поднимал головы.

— Слушай-ка,— сказал он,— а ведь ты трусишь.

Через некоторое время он тяжело поднялся, опираясь на лопату, и посмотрел на Алерса. Увидел молодого человека, довольного жизнью.

— Мне тошно глядеть на тебя,— сказал он растерянно,— ты похож...

эх, да что там,— добавил он и пошел за экскаватор, готовый к самому худшему. Стал ждать там вместе с итальянцами. Но объясниться с ними он не мог.

XIII

Рената Алерс рассердилась на маленькую, плачущую толстушку, хотела подойти к ней, хотела уйти, осталась сидеть, внимательно и безучастно смотрела на ребенка. Девочка медленно пятилась от качелей, боязливо, словно они, взлетая, могли ее догнать, словно она надеялась укрыться на краю детской площадки. Но смотрела она при этом не на качели, а в землю, прямо перед собой. Она больше не плакала. Она озиралась, не поднимая головы.

Тут, обгоняя мать, на красном самокате откуда-то подкатил мальчонка и стал кружить по площадке. Маленькая угрюмая девочка вздрогнула, но вдруг бросилась со всех ног догонять самокат, догнав, прыгнула через него, ловко спихнула мальчика, упала сама, тут же поднялась, вскочила на самокат и умчалась. Мальчуган завизжал, подбежавшая мамаша грозно потрясала руками, но у ведьмы были руки коротки, а у девочки был самокат, и она не собиралась его возвращать. Когда она прокатила мимо Ренаты Алерс, в ее глазах вспыхнул огонек, точно между ними существовал тайный сговор. Рената ощутила ветерок, запах шерсти и теплой кожи, она посмотрела на колеса, на девочку она не посмотрела, увидела только, как та после второго круга бросила самокат, кинулась через кусты на улицу и была такова.

— Здорово я ему наподдала,— гордо сказала дочка. Даже тени не пробежало по ее личику.

Солнце опускалось во все густеющий туман. Рената Алерс поднялась, пошла, взяла такси, захлопнула за собой дверцу.

— В порт.

— Порт до самого Вильгельмсбурга тянется.

— К причалам, я скажу где.

Красная малолитражка с желтой крышей, до невероятности заляпанная грязью, обогнала их справа, что называется «впритирку». Нарушение. У таксиста задергались посеревшие щеки.

— Такому бы с удовольствием по морде смазал,— тихо сказал он и тут же воспользовался случаем отомстить.

Человеку в малолитражке, чтобы не врезаться в затормозивший фургон, пришлось резко взять влево и сразу вырулить на середину проезжей части и обогнать «ллойд». В это мгновение таксист увидел то, чего парень в малолитражке еще видеть не мог: навстречу ему шел трамвай. Таксист усмехнулся. Низкорослый малый, важно восседая за рулем своей красной машины, высокомерно и дерзко расхохотался, проезжая мимо таксиста. Этого таксист уж не стерпел.

— Сейчас я ему покажу,— сказал он, намереваясь прижать «красного» к трамваю.— Пускай смотрит лучше.

Но тот, оказывается, смотрел, только ему, видно, чихать было на лишнюю вмятину. Он спокойно взял вправо. Резко затормозить пришлось таксисту. Выражение лица у него было такое, словно он затормозил зубами. Красивая молодая женщина, сидевшая рядом с водителем в малолитражке, оглянулась, поглядела на стиснутые губы таксиста и засмеялась. Таксист вытаращился на красную перепачканную жесть, на красный крест.

— И как это так ездить можно, а еще врач.

По грязи, залепившей красную машину, кто-то пальцем написал на багажнике: «Привет Виллимаку».

— Не понимаю, как разрешают такую езду,— сказала Рената Алерс, но в душе была довольна, она подумала о муже. Он тоже лихо водит машину. *Гляди, какой у нее ход, и отопление работает, тепло и уютно.*

— Да это же настоящие гангстеры,— буркнул таксист, подразумевая чуть ли не всех обитателей планеты. Бедняга!

— Здесь, пожалуйста, сверните направо, а потом по Гейн-Хойе-штрассе до порта.

Они подъехали к морю, туда, где по ночам всегда сколько угодно места для машины и ветерком обдувает. Она расплатилась, захлопнула дверцу, через какие-то развалины добралась до парапета гавани, вдохнула запах студеной, бурой воды. Сильного ветра не было, мыс волнореза уже скрылся в тумане, погода не для чаек. При такой погоде все точно недоделанное, подумала она, шагая взад и вперед. Да что ей, собственно, здесь нужно? От Вальтерсгофа наперерез бегущей волне шел маленький бело-зеленый пароходик. Навстречу ему, уже включив сигнальные огни, бесшумно двигался огромный финский лайнер, белоснежный, роскошный. А на верфи «Шликера» все вымерло и заржавело, они его добили: кто кого, ничего не поделаешь.

— Знаешь, чего мне хочется? — спросила дочка.

— И мне, Ян, и мне тоже!

Но пароход уже скрылся в тумане.

Рената Алерс оглянулась: ни души кругом, зачем она здесь? Ну и дурища же я. *Эх, и сваляли же мы дурака. А, брось. Ты устал? Да что комната, коляска стоит больше двухсот... сегодня у тебя получка.*

Она вернулась на улицу, вошла в метро, прежде всего нужно на Стефансплац, внести деньги за миксер,—*ничего, ты справишься... Ясно, справлюсь.* Внизу у зеркала она ловким движением поправила волосы и гордо вскинула голову.

От станции метро «Стефансплац» до почтамта всего несколько шагов. Но памятник погибшим солдатам — махина из бетона, **да здравствует Германия, пусть ляжем мы костьми** — стоит там у всех на виду.

— Что они делают? — спросила дочка.

— Это солдаты.

Напротив в киоске лежит «Бильд»: *мы будем защищать каждую пядь нашей земли... Хельга была холодна как лед, когда ее бывший возлюбленный...*

— Что они все-таки делают, мамочка?

— Маршируют.

— Куда они маршируют?

— Ах, оставь их в покое.

Вспыхнул зеленый свет светофора. Рената Алерс вместе со всеми перешла улицу. *Да здравствует Германия, пусть ляжем мы костьми.* Сегодня она прочла эти слова впервые. *Добрая весть для всех матерей... Альберту всего шесть минуло... натуральный молочный белок в детском питании, а через полтора месяца — голову чик. добрая весть... эх, и сваляли же мы дурака.*

Какая-то машина почти рядом с ней дала сигнал. Она посмотрела направо. Молодой человек, улыбаясь, кивал ей из «фиата». На машине был иностранный номер.

— А он симпатичный,— сказала дочка.

— Не болтай глупостей.

XIV

— Знаете, что мне на днях сказала моя малышка? — Жительница Вандсбека вышла из своей стеклянной кабины, держа в руке бланк заграничного перевода, ей надо было что-то выяснить. И теперь болтает

с сослуживицей. У окошечка стоят две женщины, ну их, пусть подождут.— Знаешь, мамочка, сказала она, Эрвин меня всегда просит потрогать его за пипку.

Сослуживица рассмеялась:

— Так и говорит?

— В папашиной машине катается.

— Рано, рано начинает.

— Ох уж эта семейка! Что ни год — в отпуск в Италию на машине ездят.

— Вот как.

— А вы бывали в Италии?

— Нет.

— И я еще не была. Но хотелось бы. Да вот этих самых...— жительница Вандсбека выразительно потерла указательный палец о большой, улыбнулась, пошла обратно в кабину.

— Сто три,— говорит она, беря у женщины деньги, считает их, раскладывает по стопкам, штампует квитанцию, отрезает, подает в окошечко.— Следующая.

Расходный ордер, бланк фирмы «Некерман», двадцать пять, знаю, ну по этой сразу видно, какая она, пусть, мол, муж вкалывает, а сама бегает по городу в грязном плаще, ни гроша за душой, а каждую неделю плати, главное, чтобы детей не рожать, и это называется любовь, хотелось бы мне знать, когда, наконец, я попаду на «Риголетто», ребенок-то денег стоит, эдакий болван, мог бы и поосторожней, сколько раз говорила, так нет же, о женщине не позаботится, куда там! Или вечерком в город выйти, хоть просто так, хоть на людей поглядеть, а в выходной у него всегда денежки в кармане, и я бы не прочь мало-помалу кое-что приобрести, ведь никуда это не годится, если в комнатах ничего нет, кошкина еда, «Китекат» этот, да диван.

— Пять тридцать пять,— женщины не смотрят друг на друга.

Рената Алерс кладет деньги на стеклянную тарелочку. «Принимайка. Зарабатываешь сотен пять, наверняка не больше, и за них деньденьской в этой клетушке торчишь, и пахнет от тебя, хоть бы помылась, сама же виновата, скоро на кошку похожа будешь, у его матери тоже всегда так воняло». *А твоя мать за стеной небось все слышит? Туши, наконец, свет. Эх, и сваляли же мы дурака, может, мне опять поработать месяц-другой...* Не такая уж это беда, утром уходишь, а вечером вернешься домой, так по крайности хоть знаешь, что за день сделала, и заработок есть, каждый день — двадцать марок, сама заработала, как ни говори, а деньги, хотя нам вообще-то и не нужно это — *обними меня еще разок,*— сорок, пятьдесят шесть, восемь, десять, а этот на двухмарковой бумажке на младенца в очках смахивает, и при чем вообще здесь Макс Планк *?

XV

Рената Алерс, рассмотрев лицо на двухмарковой бумажке, вышла из почтамта. Проходя мимо Генземаркт, дочка полюбопытствовала, чем во-он тот человек болен.

— Кто?

— Да погляди.

— Вовсе он не болен.

— Нет, конечно, болен,— сказала дочка,— я вижу.

— Нельзя в упор смотреть на человека. Это неприлично. Пойдем.

---

* Макс Планк (1858—1947) — физик, основатель квантовой теории.

Мимо них прошел человек, на спине и на груди у него висели рекламные плакаты фирмы срочного бытового обслуживания.

— Он умеет колдовать,— сказала дочка.

Рената Алерс с интересом поглядела на рекламу кинотеатра «Уфа-Паласт». Кто-то стоит возле сырой подвальной стены, изо рта у него струится кровь, его избивают.

— Он и правда умеет колдовать? — спросила дочка.

На другой рекламе полураздетая женщина лежит на белом меху. Почти голый мужчина навел на нее пистолет.

— Но настоящих маленьких волков он наколдовать не может,— сказала дочка,— а то у него была бы большущая машина.

Рената Алерс хотела подойти к кино «Урания», посмотреть, что там идет, но увидела легкое кожаное пальто в витрине на углу Колоннаден, а до того еще рекламу стриптиза.

— Мамочка, что она делает?

— Танцует, ты же видишь.

— А почему она танцует?

— Нельзя все время спрашивать.

Она злилась из-за своего дурацкого старого плаща, а слева еще увидела магазин элегантной мужской одежды и рядом — великолепную витрину с ультрамодными телевизорами, тик, хром и стекло. **Вы можете спокойно слушать все, что пожелаете, ваша комната превращается в концертный зал, наши телевизоры высокого класса предназначены для людей, обладающих известной культурой, умеющих ценить удобство и красоту,** *а кто весел...* В другой витрине — изысканные сорта табака и на темно-красном шелку трубки от двадцати девяти марок восьмидесяти пфеннигов, *она знала, за кого выходила, его путь ведет вверх и только вверх, он никогда не проскочит мимо цели, настоящий... и всегда лишь скромно посмеивается, когда замечают его успехи,* и справа — здание компании «Пан-Американ».

XVI

В этих залах цвет дерева, форма мебели, матовый блеск металла, холодный яркий свет скрытых плафонов превосходно гармонирует с кожей девушек, с их руками, манерой говорить, свежим запахом изо рта, девушек в голубых костюмах, которые здесь работают, красота и доброжелательность будут сопровождать вас во время длительного полета под солнцем, вас соединят по телефону, вам приобретут билеты: a stopover on return at Addis Abeba, of course, Mrs. Lopkin, that can be arranged, good afternoon...* Красной шариковой ручкой «ВИП» девушка записывает вслед за вашей фамилией very important person**, мы приложим все усилия, госпожа консульша, on PANAM you enjoy warm personal service, PANAM makes it easy,*** **вы будете купаться у мыса Доброй Надежды, насладитесь танцами горняков в Иоганнесбурге, а затем на обратном пути посетите Аддис-Абебу, отель Нью-Гион — излюбленное место встречи выдающихся деятелей пробудившейся Африки с крупнейшими деятелями Европы, разумеется, и на этих приемах подают сухое вино,** в пятидесяти одной стране свободного мира черные слуги в белом почтительно подают знатокам сухое вино. Теперь уже недолго.

---

* Остановка на обратном пути из Аддис-Абебы, конечно, миссис Лопкин, это можно устроить, всего хорошего... *(англ.)*.

** Чрезвычайно важная особа *(англ.)*.

*** На самолетах «Пан-Ам» вас индивидуально и внимательно обслужат, «Пан-Ам» сделает ваше путешествие легким *(англ.)*.

Появляется девушка из Мейендорфа. Она растеряна, не знает, что ей делать с хорошенькой белокурой девчушкой лет пяти: малютка плачет, личико искажено. И подумать только, при отлете девочка выглядела прелестно. Мать девочки заверила девушку из Мейендорфа, что на аэродроме в Фульсбюттеле Сильвию встретит бабушка. Но ребенка никто не встретил, верно, какое-то недоразумение. А теперь она часто-часто моргает посреди голубых костюмов, и хрома, и пестрых рук, всхлипывает, дрожит с головы до ног в своем элегантном дорожном пальтишке из светло-коричневой кожи. Может ли «Пан-Ам» помочь ребенку? Девушка из Мейендорфа не показывает вида, но она смертельно устала, она чувствует себя истощенной, опустошенной — и не только сегодня. Служба в «Пан-Ам» изматывает. *Дал бы кто чашечку кофе.* Она протягивает ребенку резиновую куколку из Калифорнии. Но та не берет куколки, у нее горят распухшие от плача губки, она не хочет даже взглянуть на фотографию Жаклин Кеннеди и ее детей и на Боба Хоупа *.

— Хоть позвонили бы, номер же есть, может, застанете кого-нибудь дома.

Но уже идет начальник отделения «Пан-Ам», ему тридцать пять, широк в плечах, узок в бедрах, голова маленькая, прилизанная, костюм из эластичного габардина, синий, двубортный. Он улыбается тепло, интимно, **«Пан-Америкен» makes it easy,** останавливается возле плачущего ребенка, смотрит на девочку, кланяется, протягивает руку, здоровается с уважаемой пассажиркой.

— Могу я быть чем-нибудь полезен, фрау? — Когда он говорит, его нижняя губа двигается, точно в свое время это был чувствительный хоботок.— Прошу вас, пройдите вот сюда, присядьте, а теперь расскажите мне откровенно, какое у вас горе? — Он подводит малышку к креслу, она успокаивается, ее поняли.

У девушки из Мейендорфа дрожат руки, она пьет чуть не кипящий кофе, пора ехать в аэропорт, отлет в пятнадцать тридцать. Она видит: на улице какая-то женщина разглядывает рекламные фото «Пан-Ам», **все знаменитости летают на самолетах «Пан-Ам».** Похоже, что женщина оттуда. Девушка из Мейендорфа часто летает в Берлин, знает, как там люди выглядят, не любит их лиц, их плащей и, когда видит их, начинает как-то неуверенно подавать свои бутербродики, пролетая под солнцем. Она выходит на улицу, подзывает такси.

XVII

Рената Алерс решила, что господин в темно-синем костюме — элегантен, на девушку в голубом она и смотреть не хотела, изящные дамы и господа на фотографиях в витрине побудили ее слегка изменить осанку: плечи, бедра, шея — все, вплоть до уголков рта, как-то подтянулось. На плачущую девочку она смотрела чуть ли не с антипатией.

— Чего это она плачет? — спросила дочка.
— Просто дуреха.
— Где ее мама?
— А дядя симпатичный.
— Разве он знаком с девочкой?
— Вот она и успокоилась.
— Со страху.
— Со страху?
— Я этого не говорила.
— Как так?

* Известный американский комик.

— Вот так.

— Дурашка ты.

— Сама дурашка.

— Ах ты маленькая грубиянка.

— Сказать тебе что-то? — спросила дочка и потянула мать от витрины.

— Нельзя так тянуть.

— У меня, знаешь, тоже есть ребеночек,— сказала дочка,— но ты его не увидишь никогда.

Солнце уже опустилось за дома. Но дома не отбрасывали тени. Последний свет рассеивался над крышами. Рената Алерс вспомнила голубую служебную сумку в руке девушки из Мейендорфа и сверкающую белизной надпись «Пан-Ам». Такие сумки есть в «Альстер». Она вошла в огромный магазин, не поднимая головы. От теплого воздуха, повеявшего на нее в дверях, перехватило дыхание, она вдруг ощутила усталость — в ногах и в глубине глаз, вид целой горы мужских носков, нагромождений шоколада, духов заставил ее обратиться в бегство, она пошла вниз, в закусочную: надо, пожалуй, для начала съесть порцию сосисок. Вокруг пылища, вокруг все испытывают жажду, сухость в горле, но все неподвижно, все как всегда, никаких изменений, и нет спасения. Стоя у сверкающего чистотой, огнеупорного, моющегося столика, она ела сосиски. Так же, как другие, ела, откусывая по половинке, — два раза вопьешься зубами в теплое сочное мясо, и сосиски как не бывало. Рядом с Ренатой Алерс ели сосиски молодая полная женщина и ее дочка. Девочка держала большую куклу.

— Ты же любишь сосиски,— сказала мать.

Девочка — рот ее был полон мягких разжеванных сосисок — со смехом сказала:

— Папа, если узнает, будет ругаться — вечно вы, женщины, деньги транжирите.

Мать и ребенок поглядели друг на друга, лица были удивительно похожи. Мать, смеясь, через плечо обратилась к Ренате Алерс:

— Маленький бесенок. Уже понимает, что к чему.

Но вдруг изо рта девочки вытекла струйка жирного сока и закапала на пальтишко.

Мать треснула ее и, поплевав на носовой платок, начала яростно тереть пятно.

— Смотреть надо!

Злоба матери сверкнула из глаз дочери. Потом глаза ее опустились вниз, взгляд упал на куклу, она отложила сосиску и с маху дала кукле пощечину.

XVIII

Примерно в то же время на строительную площадку въехали трейлер и пикап с прорабом. Теперь пикап был пустой, кабели шофер отвез.

Алерс, не обращая внимания ни на прораба, ни на трейлер, перешел площадку, взял самокат. И осторожно положил его сзади в пикап. На этом пикапе он поедет вечером с Абэцэштрассе в Люнебург, отвезет шкаф Ратьену, а потом из Фалькеиштейна сразу домой в Вильгельмсбург. «Принц» до завтра постоит на Аусшлегервег.

— Ты поосторожней,— сказал он шоферу,— смотри не кидай ничего сверху.

И не дожидаясь ответа, вернулся к экскаватору показать, куда подгонять трейлер. Об итальянцах и о старике он и думать забыл. Рад был,

что пришел конец ожиданию, что он может уехать отсюда, продвинуться вперед, он, Алерс.

Итальянцы увидели, что молодой прораб идет по площадке, и замолчали. Прораб еще на порядочном расстоянии от их группы остановился, закурил сигарету. Вблизи можно было бы увидеть, что поверх ладони, прикрывавшей сигарету, он внимательно следит за ними. Потом он медленно двинулся дальше, до определенной, словно бы заранее намеченной точки. Там он остановился, понимая, что все ждут его знака, подал этот знак:

— Давай все в пикап, да поживее.

Итальянцы плотной кучкой подходили к прорабу, но, приблизившись, они разделились; он не тронулся с места, будто никого не замечая. Старик, опираясь на лопату, ковылял сзади. В пикапе места хватило для всех, разговор снова оживился, и даже зазвучал смех, но тихонько. Прораб подошел к машине.

— Выйди-ка на минуту, папаша,— сказал он дружелюбно.

Шофер был в курсе. Как только старик подошел к прорабу, он дал газ и выехал на улицу, а там, пропустив поток транспорта, повернул и исчез за двухэтажным автобусом.

— Ловко ты это сварганил, парень,— сказал старик, не зная, что же теперь с ним будет, ему вдруг стало не по себе, оттого что он выступил заводилой. Глядя в землю, он скреб кончиком башмака по лопате.

«Теперь прораб его изничтожит»,— подумал Алерс, осторожно повел экскаватор на трейлер, ничего не желая видеть, все, однако, видел, хоть и не смотрел в ту сторону. «Теперь он его изничтожит, ну и ладно, папаша глуп, как пробка, винтиков у него не хватает, а еще удивляется, что ничего не добился в жизни. Не повезло»,— подумал Алерс. «Жалкий старый смутьян»,— подумал он. «Какое мне до этого дело»,— подумал он. Подумал, ничего не подозревая: «Какое мне до этого дело!»

Экскаватор медленно взбирался наверх. Алерс внимательно следил за каждым движением машины.

— Это ты ловко сварганил, парень,— повторил старик.

— Дело-то ясное,— сказал прораб.

— Голова у тебя варит, а?

— Главное, ты немедля проваливай,— спокойно ответил прораб, вытащил из кармана бумаги, протянул их старику.— Нежелательный элемент, сказал Ратьен, отказ выполнять предложенную работу, подстрекательство к отказу выполнять предложенную работу, сказал Ратьен.

Старик не брал бумаг.

— Это ты чертовски быстро сварганил.

— Давай проваливай.

— Да нет, постой,— сказал старик,— видать, парень, за хозяина ты горло перегрызешь. Настоящий надсмотрщик. А наших amigos тебе никогда бы не заполучить, если бы они знали об этом,— он показал на документы,— верно, а?

— Верно, товарищей этих раскусить не трудно, папаша.

Старик поднял голову.

— Ты этого слова лучше и не выговаривай, приятель, только зубы об него обломаешь.

— Собирай монатки и проваливай.

Но старик все еще не желал понимать.

— А откуда ты взял — отказ выполнять предложенную работу?

— Спроси пойди Ратьена.

— Спроси пойди Алерса,— сказал старик.— Эй, Алерс!

Старик рявкнул так громко, что молодой прораб на секунду потерял выдержку. Так же, как и Алерс. А мне какое дело, сразу так бы ему и

сказал, думать, папаша, нечего, налегай и шагай, а все прочее смысла не имеет.

Алерс встал рядом с прорабом, руки заложил за спину, голову откинул, подбородок выдвинул вперед, улыбнулся, попробуй, мол, кто его провести, смущенно улыбнулся.

— Ну, в чем дело?

— Объясни-ка ему, пусть собирает монатки и убирается.

— Ты у Ратьена был?

— Давай объясни ему.

— Что я тебе говорил, папаша: коленкой тебе под зад.

— И ты тоже,— сказал старик.

— Теперь он не прочь и на попятный,— улыбаясь, сказал прораб Алерсу.

— Так ты никогда ничего не добьешься, папаша,— разъярясь, выкрикнул Алерс.

— Ребята, и откуда у вас это,— повторил старик, беря документы.

— От Ратьена,— терпеливо объяснил прораб,— а ты думал, можешь чихать на хозяина? Нежелательный элемент, и кончено, вон.

— Что это значит? — спросил Алерс.

— Ратьен сказал: подстрекательство к отказу выполнять предложенную работу.

Алерс на секунду ослабил внимание, его взгляд встретился с взглядом старика, он понял, что мог бы сейчас сказать: *свези-ка нас туда сам.* Но он промолчал, только ладонью провел по лбу и глазам, будто угодил головой в дерьмо.

— А в «принце» мы бы в момент там были,— сказал старик Алерсу.

— Кончай давай,— ответил Алерс.

— А почему?

— Черт побери! — Алерс злобно набросился на старика.— Да потому, что моя это машина, собственная! Собственная! Вот почему!

— Ах вот что,— сказал старик и пошел прочь.

— При чем тут «принц»? — спросил прораб и протянул Алерсу сигареты.

— Эх, дерьмо все,— громко сказал Алерс.— С души воротит,— сказал он.

Трейлер с экскаватором уже прицепили к тягачу, парню с тягача не терпелось поскорее ехать, Алерсу надо было еще поставить своего «принца» в укромное местечко до завтра. Он захлопнул дверцу, запустил мотор и, подпрыгивая на ухабах, отъехал за бараки. Только вдруг среди красных стенок машины ему почудилось что-то угрожающее. Но тотчас вслед за тем он широким шагом, сунув руки в карманы, пошел к трейлеру. Залез в кабину экскаватора, проверил крепление, порядок и смеясь подал знак отъезжать.

XIX

На первом этаже универмага «Альстер», возле самого эскалатора, стояла крашеная блондинка в белом халате с застежкой сзади и что-то выкрикивала; в поднятой левой руке она держала ногу из пластика.

— Уважаемые дамы и господа, нынче вечером в виде исключения мы не станем обманывать себя, умение мыслить, как известно, счастливое качество немногих, изо дня в день мы мечемся туда-сюда, и ног под собою не чувствуем, но это пустяки, мы бегаем и бегаем, а вечером скорей домой, в ловушку, капкан захлопнулся, мышка спит, все отлично и хорошо, никто ничего не говорит, ничего лучшего мы и не заслужили, и ужин вкусный, уверяет нас мамочка, не хочу никого обидеть, но будем хоть раз честными, на чем же в конце концов покоится все наше

счастье и хорошее самочувствие от колыбели и до Олсдорфского кладбища? Вот вам, пожалуйста! По ногам узна́ешь ты ее, сказал господь, по ногам! А теперь давайте взглянем... кто из уважаемых господ будет столь любезен и за компенсацию в пять марок снимет левый башмак и носок, чтобы все могли видеть, как беспощадно обходится этот господин со своими ногами?.. Никто... видите, никто не решается. Большего мне и не надо. Не правда ли, уважаемые господа, нам должно быть стыдно. Как же мы пренебрегаем самой большой нашей ценностью, здоровьем наших ног. А стоит лишь представить себе...

Но уже на следующем этаже об этой женщине никто не помнил.

— Что с ней? — спросила дочка.

Из невидимых громкоговорителей неслась тихая музыка.

— Мамочка, что с ней?

И вам тоже следует помнить, что, продвигаясь по жизненному пути, всегда надо быть на шаг впереди других, всегда надо обладать преимуществом, кухонные наборы АЭГ обеспечат вам безусловное превосходство над соседями, наконец-то у вас высвободится время для более важных занятий.

— Ну, скажи же, мамочка, что с ней, почему она так кричит.

— У нее нет денег, ты же видишь, а теперь помолчи.

В мебельном отделе перед вами раскрывается вся красота современной культуры быта, а вверху, над кроватями и качалками,— ласкающая слух музыка.

Уважаемые дамы и господа, обратите, пожалуйста, внимание, что отныне мы предлагаем вам совершенно новую систему кредита. Благодаря нашему ассортименту вы можете обзавестись необходимыми товарами. Наша система кредита дает вам возможность немедленно оплатить покупку, иначе говоря, превращает вас в покупателя высшего ранга. Обратитесь, пожалуйста, к нам, это ни к чему вас не обязывает.

Какой-то малыш убежал от матери, посадил своего медвежонка в белую качалку и знай качает дружка. Мать подбегает, шлепает его, ребенок нехотя бросает игру.

— Это же денег стоит,— говорит мать.

Ребенок соображает: за что дорого платят, за то и шлепки дают.

Он вопросительно глядит на мать.

— Нельзя,— грозит пальцем мать,— не твоя качалка.

Ребенка отшлепали, ребенок получил первое понятие о собственности.

А теперь дальше, под легкую музыку. **Каждый из нас должен иметь возможность стать владельцем солидного имущества. Давно уже ни для кого не секрет, что уважение к вам растет, если ваша квартира обставлена как подобает. Подумайте о критическом суждении ваших гостей. Наша стильная мебель докажет первому же оценивающему взгляду: здесь живут люди со вкусом.**

Пустая комнатка совсем без всего — одни только белые стены — выглядит довольно-таки жалкой, если в ней не стоит ничего красивого, хоть что-нибудь должно в ней стоять, многого в нее и не поставишь, такая она крошечная, но что-нибудь пестренькое, с пластиком, и вообще, ведь не хочешь же ты, чтобы твой ребенок играл всем, что под руку попадется, *эх, и сваляли же мы дурака,* все равно эдакий карапуз все поломает.

Но зачем так уж сразу голову вешать? Лучше начнем-ка наш рассказ хоть так:

Благодаря нашей системе кредита вы можете приобрести постоянные ценности, ценности нужны тем, кто понимает, во что ценится настоящая вещь. Поделитесь, пожалуйста, вашими планами с нашим Бюро кредита. Мы с удовольствием сделаем вам интересное, ни к чему не обязывающее вас предложение.

В отделе готового платья тощие молодые продавцы, заваленные пальто и брюками, постоянно в затруднительном положении. Долг службы превращает здесь молодого человека в насмешку над самим собой. Холеные ногти на бледных влажных пальцах, средний палец частенько желтоватый, хотя курить здесь не разрешается.

В отделении дамской одежды резче запах тела, краски ярче, тихое позвякивание, скольжение утюга, поблекшие руки, большое разнообразие предлагаемых товаров, еще осталось добрых три с половиной часа, почасовая оплата — две марки десять.

— Мамочка, я хорошенькая? — дочка прохаживается перед зеркалом, вертится, поправляет сзади свои кудряшки.— Я хорошенькая?

— Для мамочки ты прелесть. А теперь пошли.

У каждого из вас возникало когда-нибудь чувство неуверенности из-за ощущения, что вы плохо одеты. Уже давно ни для кого не секрет, что солидная одежда делает человека столь же уверенным в себе, как и солидный счет в банке. Поэтому без всяких обязательств с вашей стороны обратитесь в наше Бюро кредита.

XX

Житель Флотбека, зубной техник, будет платить нынче из собственного кармана, но гнетет его нечто совсем иное, безрадостно согласился он на просьбы жены. Пять минут назад они, как и было условлено, встретились у гастрономического отдела и вместе поднялись в лифте в отдел дамского платья.

— Только долго не копайся,— бурчит он.

— Мог бы быть со мной полюбезнее,— отвечает она.

Он смотрит мимо нее, смотрит, где бы тут присесть, садится, спиной опираясь о зеркало.

— Пожалуйста, чем могу служить?

Он проводит рукой по рядам платьев, указывает на толстуху, то есть на свою жену, не произносит ни слова, в зеркале напротив видит, что сидит у зеркала, зачем он вообще здесь, но жена и слушать его не желала, она считала, что ему обязательно надо сюда прийти, скоро рождество, и в конце концов платье должно тебе нравиться, а после нового года приедет мама, из зоны, куда это годится, ну ладно, тащит его с собой, сама давно еле ноги таскает, но кому охота замечать свои хворости? Да разве она замечает? А потом она подойдет показаться ему, руки будут висеть как плети, на шее морщины. Она еще попытается прибегнуть к трюку с зеркалом, ему это давно известно, а ей нет, ему тепло и скучно, он разомлел здесь среди платьев, не хочет смотреть в ту сторону, но смотрит: занавеска примерочной расходится посередине, женщина, лет сорока с небольшим, виляя бедрами, подходит к зеркалу, виляет задом, виляет запястьями, глаза у нее виляют под веками, походка все равно тяжелая, шестьдесят девять килограммов до обеда, она подходит к зеркалу. Стоя у занавески, молодая продавщица наблюдает за ней вполне доброжелательно, **бархат скрадывает недостатки фигуры, а фасон делает вас изящной,** говорит она за занавеской, **на жакете эффектно выделяется черный меховой воротничок.** Хочется ей верить, но она улыбается, ей хочется продать, набрать несколько очков у администрации, жене — у мужа. Жена повернулась спиной к мужу, а к себе лицом, так она видит его. Заметит он что-нибудь? Она, не спуская с него глаз, вертится у зеркала и так и сяк, опять поворачивается, но на заднем плане никакого движения. Она идет за занавеску осторожно, чтобы напоследок не попасть в поле его зрения без соответствующего контроля. Муж вспоминает: когда из Киева посылал ей меховые сапож-

ки, прямо-таки мечтал о ее ногах, так бы и заласкал их снизу доверху. В горле у него что-то булькает. Его тошнит, он сам не знает, с чего бы это, разве здесь нет иллюстрированных журналов? Раньше все было иначе. А теперь он одинокий человек.

Движение за занавеской, шуршание материи, он знает, как все это выглядит, бога ради, знаю, знаю, оставь меня в покое. Занавес топорщится, открывается, второй раунд: женщина лет сорока с небольшим, **особый шик этого скромного черного платья в широком подчеркивающем талию поясе,** как будто это так просто. Он смотрит на ее спину, видит ее лицо, видит свое лицо у ее бедер, опускает взгляд на свою вытянутую ногу, на протез, жена подходит. Что она задумала?

— Скажи хоть что-нибудь?

— Просто не знаю,— как можно дружелюбнее говорит он.

Но она уже его не слышит, опустив голову, возвращается за занавеску. Может, третье? У нее вспотело под мышками. «Можно ли вообще примерять так много платьев, ах, ведь не каждая женщина так потеет, но я же не виновата». Она улыбается девушке.

— Извините, пожалуйста,— говорит она,— нынче уж такие мужья пошли.

И все-таки на что-то надеется, отирает капельки пота под носом, выходит, третий акт: женщина лет сорока с небольшим, **красное платье, жакет с застежкой на спине, скромный и нежный малиновый оттенок, стиль «матадор»,** она идет на риск, воздух от жары мерцает, пыль стоит столбом, **смелая линия бедер.**

— А это тебе нравится, Эрвин?

Но бык устал, все его раны кровоточат, ему бы средство от мух.

— Кончай скорее,— говорит он, с безразличным выражением уставившись ей в какую-то точку между грудью и животом.

Этому человеку очень и очень худо.

Обратитесь, пожалуйста, в наше Бюро, это вас ни к чему не обязывает.

— Почему этот человек терпеть не может свою жену,— шепчет дочка.

Рената Алерс, заметив, что к ней идет продавщица, скрылась за платьями и ушла.

— Почему же, мамочка? — уже издалека крикнула ей вслед дочка.

XXI

В отделе кроваток и ванночек для новорожденных, в отделе колясок и мягких игрушек — всюду музыка. Рената Алерс прошла дальше, у многих колясок на пологе маленькие серебристые коронки, а вон на одной точно из золота. Рената остановилась, разглядывая коляску, склонилась над ней, как мать над младенцем, цена — двести двенадцать.

— Складная всегда очень удобна,— говорит продавщица.— В любой малогабаритной квартире поместится.

— Но дороговато.

— В рассрочку самое лучшее,— говорит продавщица,— а главное, скажу я вам, такую коляску на каждом углу не встретишь.

— А двести двенадцать — это с матрасиком?

— Все, что вы здесь видите, включая доставку.

Рената Алерс больше не сомневается.

— Разрешите записать фамилию и адрес?

Обе женщины посмотрели друг другу в глаза. Но потом Рената Алерс оглянулась, точно ее кто-то позвал, посмотрела на свои руки и сказала:

— Нет, лучше не надо, но, пожалуй, вот эту зверушку.

Она подошла к шкафу, хотела было взять волка, купила крошечную птичку, пошла к лестнице.

На эскалаторе какая-то девчушка попала рукой под движущиеся резиновые перила. Громко закричала. Внизу, правда, выяснилось, что ручка не пострадала, но теперь девочка не может найти свою мать.

— Где же твоя мама?

— Как ее зовут?

— Ну, не плачь!

— Подожди, вот мы ее сейчас разыщем.

— Покажи-ка ручку.

— И совсем уже не болит.

— Пойдем со мной.

— Мамочка сейчас придет.

— Давай поглядим, где же это наша мамочка, пошли.

Много дружелюбных лиц склонилось над потерявшейся, плачущей девочкой, люди склонились, улыбаются, хотят ей помочь, но как, но чем, где твоя мама? Далеко-далеко, среди ведер, и платьев, и качалок.

— Лучше всего отвести ребенка в Бюро справок, они объявят по радио.

Рената Алерс все это видела, все это слышала. Осторожно нагнулась, присела на корточки, присела неловко и робко перед девчушкой, близко-близко, посмотрела на нее, внимательно, посмотрела на ее лицо, отчетливо его рассмотрела, ощутила незнакомую, но резкую боль, еще раз посмотрела на девочку, помедлила, не шевельнула даже рукой, не сказала ни слова, поднялась, постояла, словно окаменев, спокойно пошла по высокому, пустынному залу к другому отделу, отделу грампластинок. Там она знала одну продавщицу. Они улыбнулись друг другу.

Ей хотелось уйти, прочь отсюда, на улицу, домой, но еще прежде хотелось купить что-нибудь на сегодняшний вечер, может, здесь ее можно достать, эту песенку, *ты что, уже забыл, послушай-ка.* Она наскоро прослушала несколько шлагеров, наконец-то песенка, которую она хотела, сжавшись в комок, прислушалась к своим воспоминаниям, к пустоте, холодная, восхищенная, изнемогшая. Пока пластинка еще крутилась, она положила на столик один наушник, сунула руку в карман, нащупала теплую, мягкую игрушку.

XXII

Из магазина Рената Алерс вышла через запасной выход. На улице мокрый ветер растрепал ее волосы, она втянула голову в поднятый воротник, ей захотелось прочь отсюда, куда-то уйти, но куда и почему, вообще-то говоря? У нее вдруг пропала способность сопротивляться холоду, способность защитить себя от серого света, разлитого среди домов, способность видеть людей, их лица, их движения. Ей хотелось прочь отсюда, вдаль, она побежала, но не сдвинулась с места, потом побрела тупо, медленно. Время от времени она оглядывалась. В какой-то витрине увидела заводных кукол, Красная Шапочка и Серый Волк кивали друг другу, **приближается веселое рождество.** Увидела большие зеленые глаза искусственного зверя, остановилась, поглядела на них, они двигались, не переставая, но и они не сдвигались с места. Как известно, в живых останется бабушка, а не волк, и волк кивал головой, он-то лучше всех это знал.

Тягач с экскаватором и трейлером двигались по узкой торговой улице со скоростью улитки. Ян Алерс и со спины узнал жену. Она услышала его свист, обернулась, узнала его, уже почти позабытое оживле-

ние озарило ее лицо, радость, что вот ты кого-то узнала, радость при виде мужа. Алерс рассмеялся, заметив это:

— Как ты сюда попала?

— Ты уже кончил?

— На другую площадку перебираюсь. А ты?

— Просто так гуляю.

Они хохотали, перекликались. Рената Алерс, перепрыгнув через какой-то люк, прошла мимо стоявшей у тротуара машины на проезжую часть. Тягач медленно тащил экскаватор.

— Дать тебе сейчас деньги?

— Что ты говоришь?

— На, держи.

Алерс вытащил конверт из кармана и протянул его ей из окна кабины.

— Вечером придется еще ездку сделать.

— На пикапе?

— В Люнебург.

— Можно мне с тобой?

За экскаватором засигналила легковая. Слов не разберешь. Алерсу вдруг стало как-то неуютно. Между стоявшей машиной и трейлером оставалась очень узкая полоска асфальта. Он неуверенно качнул головой, крикнул:

— Осторожней!

Она его не поняла, крикнула в ответ:

— Почему нельзя?

Но водитель тягача вдруг вышел на оперативный простор и прибавил газ. Алерс, смеясь, крикнул:

— Давай ходу, девочка! Привет! Вечером не жди. Буду поздно.

Рената Алерс вернулась на тротуар. Прохожих много, не обгонишь, она отстала. Алерсу вдруг понадобилось что-то в кабине. Она увидела, как он сделал какое-то движение рукой, что ж, он на работе, тягач его утащил.

Рената остановилась. Только что она не замечала холода, а теперь вся дрожала. Взгляд ее упал на конверт, она сняла перчатку, пересчитала бумажки. Лицо ее разгладилось, просветлело. Почему-то ей вдруг захотелось есть, захотелось пирожного, сластей, кофе и еще захотелось купить журнал «Фильм унд фрау», или «Квик», или какой-нибудь другой в этом роде. Где же здесь поблизости кондитерская? Она поискала, нашла, слегка вздохнула в сладком тепле, повесила плащ, поискала место, села, заказала, получила, стала потихоньку есть, пить, листала, прислушивалась к разговорам за одним столиком, за другим, ей было легко на душе и радостно, словно она оказалась где-то далеко-далеко. Окликни ее кто сейчас, она бы не услышала.

Но вдруг ей почему-то захотелось уйти. Почему-то она вспомнила типографию, в которой до замужества работала разнорабочей. Ее вдруг разобрала охота сходить туда просто так, поглядеть, что там делается, да все равно, интересно, просто так.

— Будьте добры, я хочу расплатиться.

Официантка, тощая, упрямая, брюзгливая, считала: шестьдесят, две сорок, две шестьдесят пять. Рената Алерс дала ей три марки, взяла плащ, вышла на улицу, дорогу она хорошо знала.

XXIII

В проходной типографии за окошечком сидел знакомый сторож.

— О, фрау Алерс? Опять в наши края забрели.

— Да-а, хочу две-три книжки взять.— «И что это я выдумала. Все глаза вытаращат, если я тут без дела болтаться стану».

— Скучновато, наверно, дома-то сидеть?

— Ну, этого я бы не сказала.

— Верно, верно. Все лучше, чем, как прежде, целыми днями торчать в четырех стенах.

Рената Алерс взглянула на часы в проходной. Еще час до конца работы. Всегда самое скверное время. Иной раз с ума можно было сойти.

— Н-да, такие-то дела,— сказал сторож.

— Н-да,— повторила, смеясь, Рената Алерс и пошла через двор к большому машинному цеху. Смех ее улетучился.

Она и сама теперь поверила, что пришла взять в типографской библиотеке книги, почему бы ей и не взять что-нибудь почитать. Но она не пошла через цех, в котором когда-то работала, в котором знала всех, а пошла в обход, через незнакомый ей машинный цех. Там девушки, сидя у сложных машин, насаживали страницы иллюстрированного журнала верхом друг на дружку, а потом клали на конвейер. Девушки производили впечатление равнодушных и спокойных, платья на них были чистенькие, воздух в цеху — прозрачный, пропитанный тонкими химическими соединениями, все в целом — мирно, молчаливо, необозримо, лишь внешне подвижно. Девушки, машины, а в результате — пестрый журнал, толстый, семьдесят пфеннигов, пустое чтиво.

Девушки, видевшие, как Рената Алерс проходила через цех, так, случайно, совсем случайно проходила через него, переглядывались. На их лицах выражение презрения смешалось с испугом, точно их застигли на месте преступления, и они приготовились к обороне. Дурацкая работа. А тут еще изволь готовиться к обороне. Они понимали это. Да что поделаешь. Рената Алерс видела их лица, смутилась, не подымая глаз, шла по цеху, ноги ее одеревенели, она ковыляла, как утка.

От убогой библиотечной комнатки всегда был прок, там можно было укрыться еще и в ту пору. Какая-то работница сдавала книгу.

— Да-а, что правда, то правда, господин Шумахер, ну и книга, наконец что-то стоящее. И подумать есть над чем, и вообще.

Господин Шумахер был очень рад.

— Ого, гляньте-ка, да это никак наша фрау Алерс!

— А мне еще разрешается?

— Ну, конечно же, конечно. Не хотите ли эту же взять?

Он протянул ей только что возвращенную книгу.

— Посмотрим,— сказала Рената Алерс и пошла с книгой к окну.

Какой-то молодой человек, которого она прежде никогда здесь не видела, в очках без оправы, с длинным носом и длинными изящными пальцами стоял у столика, можно было подумать, что он работник библиотеки, и устало просматривал названия возвращенных книг.

Шумахер нашел что-то подходящее для работницы и принес ей. Рената Алерс, стоя у окна, перелистывала книгу, читая то одно, то другое, к примеру вот это: «Человеческое животное любит лежать в соломе, пускать слюни и глазеть в пустоту». И еще одно: «Между мужчиной и кастратом разница такая же, как между гением и глупцом».

Книга эта, видно, пользовалась успехом: наконец-то и подумать есть над чем, и вообще, сказала с благодарностью работница. Она получила новый допинг и ушла.

Парень в очках улыбнулся ей вслед, устало поднял брови и обратился к господину Шумахеру, назначенному производственным советом старшему библиотекарю Шумахеру.

— Обязательно нужно допинг давать?

— Так это же лучше всего читается.

— Зачем же тогда библиотека?

— Вы что, из газеты?

— Нет, из лаборатории, студент-заочник.

— Так вот что я вам скажу: библиотека стоит много денег. Верно. Но, во-первых, хозяин может провести этот расход по статье социального обеспечения.

— А во-вторых?

— Чтение развивает ум. А это в свою очередь повышает производительность труда. Вот как я это понимаю: рабочий, который читает хорошие книги, даже расскандалившись, не скажет мастеру — иди ты в ж...

— Стало быть, классовая цель достигнута?

Шумахер поднял глаза.

— Все как один — послушные работяги,— добавил молодой человек.

— А почему вы смеетесь? — спросил господин Шумахер. И пошел к Ренате Алерс. Та между тем выбрала на полках два красненьких томика и теперь ждала, когда можно будет уйти. Допинг она отложила на столик возврата.

— Не нравится?

— Слишком толстая. Я лучше детектив возьму.

XXIV

Она вышла во двор, прошла через ворота на улицу, завернула за один угол, за второй, подошла к трамвайной остановке. И только когда увидела трамвай, заметила, что всю дорогу бежала, как бывало раньше после работы, к трамваю на Вильгельмсбург. Но сейчас зачем ей спешить домой? Он все равно вернется поздно.

Солнце уже зашло. В тумане над шапками крыш еще кое-где вспыхивали краски. Но скоро небо затянулось серостью, а потом чернотой. А внизу у светофоров то гаснут, то зажигаются фары, рождественский свет льется из сеток, решеток и звезд, а у Нейенвал там и сям на камнях сидят люди.

Справа витрина огромного книжного магазина: **Гольвитцер, Грасс, Бахман, Брехт и Миллер** — благородно, умно, смело. Перед этой витриной с удовольствием останавливаешься, с удовольствием рассматриваешь ее. Красиво разложены книги, и красиво размещены между дорогими книгами маленькие, причудливые картины молодых художников. И никаких детективов, никаких допингов, никаких «Эдельвейсов на Украине».

Рената Алерс сначала прошла мимо витрины, потом остановилась, вернулась, увидела на одной из книг блестящую голову волка с длинным красным языком. С ума они сошли, двадцать четыре марки. Но обложка ей понравилась. Можно повесить в детской вместо картины. Ну и дура же я. Время еще есть. А в зале такого книжного магазина глаза разбегаются. Она читала все названия, разглядывала маленькие пестрые не очень-то понятные картинки среди книг, внимательно все рассматривала, полная любопытства, очарованная предметами, каких в Вильгельмсбурге нигде не встретишь. Но очарование скоро развеялось. Внезапно на нее нашло безразличие, ничего больше не хотелось, она сама не знала почему. В рассрочку, по двадцать четыре в месяц, можно купить телевизор. Рената Алерс ушла, неся под мышкой четыре детектива и маленькую пластинку *blue diamonds, люби меня вечно, всю жизнь, я больше ждать не могу*. Теперь она снова поняла, чего она хочет, хочет в кино, где это, ага, правильно, «Уфа-Паласт». Она посмотрела на часы, время еще есть, и опять пошла к Альстеру.

Днем здесь было хорошо.

Ногой она сбрасывала гальку в воду. Вода мерцала от нефти.

Почему это вода в Альстере не такая грязная. Хорошо было ей сегодня. Она не поднимала головы, стояла долго, ни огонька, ни тени, не поднимала головы. *Эх, и сваляли же мы дурака, знаешь чего мне хочется... мне тоже.*

Она перешла Нейер Юнгфернштиг, и на Феландштрассе рядом с невзрачной дверью увидела фото из кинофильма, совсем непохожее на обычное фото в таких витринах. Какой-то человек присел на корточки посреди пыльной улицы и руками обхватил личико ребенка, это наверняка его ребенок, прямо посреди улицы, а на другом фото — строительный мусор, там строят небоскреб, ничего, неплохо выглядит, весь из стекла, а вон там солнце и длинная пыльная дорога, мужчина идет рядом с женщиной, хочет ей что-то сказать, но женщина идет все быстрее и быстрее, это сразу видно, она ничего не хочет слышать, она боится. *Почему эта женщина терпеть не может этого мужчину.* Рената посмотрела, когда начало сеанса, табличку цен и хотела уже подойти к кассе. Но тут открылась дверь. Навстречу ей вышли какие-то люди, таких она прежде никогда не видела. В Вильгельмсбурге люди выглядели по-другому. По-другому? Рената Алерс посторонилась, повернула назад на улицу. Все равно, фильм, наверно, никудышный. А кинотеатров сколько душе угодно. Внезапно на нее нашло безразличие, в кино ей больше не хотелось, почему, она и сама не знала. Ах, да, вспомнила, на Генземаркт, **«Кто другому роет яму»,** не все ли равно, всюду эти дурацкие парни с бородами и в американских шинелях. От досады у нее опустились уголки губ, в фойе «Уфа-Паласта» были зеркала, но в них никто не глядел, все ждали, тупо уставясь перед собой, надеясь, что вот-вот впустят, потушат свет. У стойки со сластями Рената Алерс купила винную жевательную резинку, отошла к стене с плакатами, ждала, жевала. **Сигареты «Мальборо» курят современные люди, из маленьких радостей они умеют создать себе счастливую жизнь.**

XXV

Строительная площадка на Абэцэштрассе была не очень-то по душе Алерсу — песчаная почва, никакого сопротивления. Многотонный ковш падал в песок бесшумно и мягко — что же будет?

> Фильм начался с того, что кто-то бил кулаками человека у стены. Живот избиваемого мягко колыхался под ударами. Бьющий стоял на цыпочках в позе профессионального боксера. Было ясно, что у избиваемого все внутренности переворочены. Рот его словно застыл в крике. Из опущенных уголков губ лилась кровь. Из горла рвались стоны. Скоро он испустит последний вздох в углу тесного подвала.

Все еще старая машина? Надо, надо подумать уже о более вместительной. Алерс был рад, что уже сидит в пикапе, что кончил работу, вылез из экскаватора и уехал со стройплощадки в Люнебург, *уж что у кого есть, так есть, и вид имеет, вы парень что надо, Алерс.*

Алерсу казалось, что поток машин движется слишком медленно. Не обращая внимания на разграничительные линии на асфальте, он обгонял то справа, то слева, ни на кого не оглядывался. А когда ему кто-то засигналил, он с ненавистью сжал губы, а когда кто-то нагнал его на более мощной машине и попытался оттеснить, он не уступил, просто с наслаждением смял бы бампер. *И что это вообще значит «жить», папаша?*

На мосту ветер теснил машину влево, Алерс стойко сопротивлялся, проскочил, радуясь, что дальше до Машена поедет по автостраде. У въезда на автостраду под сине-желтыми огнями щита-указателя он увидел молодого человека, тот поднял руку, просит подвезти.

Но почему же бандиты загнали этого человека в подвал и убили? Шофер «форда» из ФБР заинтересовался этим и, нажав на стартер, сквозь ночь помчался по залитым светом улицам Чикаго за удирающими убийцами, рискуя жизнью, герой, храбрец, человек с пистолетом, храбрость, пистолет, твой друг, твой помощник, порядок должен быть, это мы знаем, об этом мы помним.

Убийц подгонял бородатый парень, еще молодой, в рубашке цвета хаки, физиономия партизана, главарь шайки, ясно, вернее, становится ясно, мы что-то вспоминаем, но что именно — неизвестно, вот и порядок. Убийцы вдруг резко затормозили, один выпрыгнул, побежал наискось через шоссе, вскинул винтовку с оптическим прицелом и выстрелил в лобовое стекло преследующего их «форда» V8. Но парень из ФБР не испугался. Снайпер слишком поздно понял, что сейчас последует. Он успел только открыть рот и вскинуть руки, как «форд» уже сбил его, смял в лепешку. Искромсанное тело перекувыркнулось в воздухе и глухо шлепнулось оземь. Изящная машина неслышно и легко проехала по останкам.

В темноте перед экраном раздавались отрывочные похотливые звуки. Потом зашуршали пакетики винной жевательной резины.

Но попробуй затормози, когда до автострады уже рукой подать. Она вьется впереди, скользкая и пустая, черной полосой по краю города. Топчи его, так его! *Люди хотят жить, и еще они хотят жрать.*

Алерс видел под щитом человека с поднятой рукой, а на лобовом стекле и на мостовой — влажный блеск. Он хотел притормозить, парень просит подвезти его, видно, хочет кутнуть, похоже, что студент, красивая жизнь, красивый плащ, у папаши денежки водятся. Но попробуй затормозить на полном ходу, когда покрышки так и визжат, когда тебя заносит.

Алерс хотел притормозить, парень просит подвезти, что ж, видно, учится, а денег на железнодорожный билет нет. Нет денег, пусть просит у папаши, нечего другим машины портить, и вообще, попробуй-ка затормози при такой сырости. Живо кувырком полетишь, мой милый, пройдись-ка пешочком, сопляк, да ладно, *сыночек мой, озорник, последние деньги из кармана выманит.*

Алерс хотел притормозить, парень ведь просит подвезти, студент, верно, в Кёльн торопится, каждый может это сказать, вчера на автостраде одного на куски раскрошили, у меня в конце концов семья, и эта чертова коляска, да все равно, вам-то все равно, а денег проси у папаши, на Шлютерштрассе рук не марают, подымай, подымай руку, сзади такой пикапчик тоже неплохо выглядит, брось, парень, Алерс едет, раз — и готово, уехал, гляди вслед, ну же, Алерс, притормози, ты ведь хотел.

Алерс проехал, не притормозив.

Шоферу «форда» между тем намекнули, что речь идет о наркотиках. Пустите меня к Тому Ростеру, заявил он, оттолкнул в сторону какого-то старика, подскочил к двери, ведущей на чердак. В крошечной каморке без окон на кровати лежал

молодой парень, лицо его искажено гримасой, тело скрючено от маниакальной страсти, которую никто не может удовлетворить. Несчастный маньяк громко заскрежетал зубами, из его груди со свистом вырвалось дыхание, пальцы не переставая перебирали край пижамы, когда водитель «форда» приступил к нему с расспросами.

Разве он до сих пор никогда не замечал этого, очень приветливо спросил Алерса в Люнебурге старик антиквар, прислонясь к шкафу. Разумеется, человеку в нынешние времена нужна фабричная мебель, *...что стало бы с нами, если бы каждый...* Кроме того, эта мебель быстро стареет, и ценность у нее преходящая, преимущество же дорогой прочной мебели лежит на ладони. Кстати, о ладонях и руках. Теперь мало кто доверит рукам изготовление красивых и ценных вещей. Война — вы, человек молодой, этого конечно не успели заметить,— но война подорвала надежду человека на то, что в этом мире существует нечто постоянное, будь то старый шкаф или же старые, перетасованные ценности и цели. Однако же, и это очень хорошо, легкомыслие и страх проходят, а здравый смысл со временем вновь и вновь обращается к старым, привычным ценностям. А что, молодой человек уже обзавелся семьей? Или, может, сберкнижкой? Вопрос его вызвал улыбку, и это кажется ему, старшему и многоопытному, подозрительным. Однако он просит извинить его, он видит, что пальцы молодого человека нервно теребят край куртки, он отнюдь не собирается его задерживать, путь предстоит не близкий, и все-таки он, если позволите, советует ехать осторожно, этот шкаф — особо ценная вещь, стало быть, всего хорошего.

Через несколько минут Алерс уже мчался на большой скорости по булыжной мостовой и не снижал темпа. Тряска и грохот машины доставляли ему удовольствие. *Надо, надо подумать уже о более вместительной, Алерс.* Эх, расколошматить бы что-нибудь на куски.

Пожар был устроен по всем правилам киноискусства. Парикмахерская полыхала огнем. Именно здесь шофер «форда» рассчитывал узнать, откуда взялась последняя партия героина. Согнувшись в три погибели, он пробился сквозь пламя. В задней комнате обнаружил стройную маленькую женщину. Полуобнаженная, она ничком лежала на тахте. Между женщиной и шофером стеной стояло пламя. Он прыгнул, как тигр, и проскочил сквозь огонь. Женщина, когда он упал на нее, не шелохнулась, схватив ее на руки, он вскочил на тахту, и тахта стала трамплином для прыжка на волю.

— Где вы это взяли? — смеясь спросил Ратьен у Алерса, когда они выгружали шкаф.

— Да так просто,— ответил Алерс и перевел глаза с самоката на шкаф, потом поглядел на дом, на дверь в чудесную квартиру Ратьена.

Они вместе внесли шкаф, поставили его в прихожей. Там уже ждала хозяйка с бокалом и бутылкой «шантре».

— Как это мило с вашей стороны,— сказала она Алерсу,— в такой поздний час вы еще съездили за ним.

Алерс не знал, что на это ответить. Покосился куда-то в сторону, но уйти так сразу ему было неловко, его взгляд упал на изящный столик красного дерева справа, на нем навалены книги, еще не все распакованы, в пестрых обложках.

Веселый Ратьен стоял рядом с женой по другую сторону шкафа. Его густые волосы растрепал ветер с Эльбы, куртка из сине-зеленой шотландки ловко сидела на нем, плоские часы на руке тихо тикали, двигаясь к тому часу, *когда мужчины принимают решения,* а под цифрой двенадцать — крохотная коронка, *начиная от 303 марок.* Открытый, но пустой взгляд Ратьена устремился сначала мимо Алерса на северную стену комнаты, потом пробежал от стены к двери, распахнутой в соседнюю комнату, в глубину дома. Дом был дорогой, просторный, весь белый и отлично вписывался в зеленый сад, мягко сбегающий к Эльбе, восемь комнат, два гаража, «порше» и «фольксваген», два сына, семь лет и четыре года, у каждого по комнате. В саду на зеленом склоне росли старые деревья, увенчанные мощными кронами. Летними вечерами Ратьен любил посидеть под буком с мягкими раскинувшимися ветвями, кора которых днем серебрилась, а в дождь отливала чернотой. Прекрасные часы Ратьена были прекрасными полезными часами, его прекрасный дом был прекрасным глубоко продуманным домом, его прекрасная машина была прекрасной мощной машиной, оба его прекрасных мальчугана были прекрасными умными мальчуганами, его прекрасный сад был прекрасным тихим садом, его любимое прекрасное дерево было прекрасным густым деревом, с верхних нежнейших ветвей которого в ясную погоду открывался великолепный вид на город, на его площади, дома и экскаваторы, на четыре его собственных синих экскаватора, на его четыре доходных дома, в Хамме, Бильштедте и Вильгельмсбурге, на его четыре доходных, все дорожающих земельных участка на опушке леса между Аумюле и Фридрихсру. И неподалеку от Алерса, через две комнаты, слева на ночном столике номер «Хобби», а справа «Ридерз дайджест» и будильник.

Алерс не знал, что ответить хозяйке, покосился куда-то в сторону, но уйти так сразу было неловко, его взгляд упал на изящный столик красного дерева в углу, на нем навалены книги, еще не все распакованы, в пестрых обложках.

— Вы любите читать? — спросила хозяйка.

Алерс скользнул взглядом вниз, по ногам:

— Да не то чтобы очень, иногда.

— Ну как, рискнем еще по одной? — спросил Ратьен и хотел было с бутылкой в руке подойти к Алерсу, но остался на месте.

— Лучше не надо,— ответил Алерс,— ехать пора.

Он попрощался за руку, с ним и с ней. Получил в подарок от хозяйки яблоки и сигареты. И один вышел на улицу. Ратьены остались у шкафа, глядели ему вслед, глядели друг на друга, руки, лица их были неподвижны.

Внизу в темноте перед экраном публика пришла в хорошее настроение. Главаря шайки Каро, бородатого бандита с нежной, как у младенца, кожей, привязали к шкафу, и водитель «форда» с помощью не слишком увесистых, но метких пощечин попытался выяснить у него местонахождение перевалочного пункта героина. Полуобнаженная блондинка, сжавшись в комок, тихонько плакала неподалеку на шкуре ангорской козы. Что же случилось? Злобный Каро в своих нечистых целях использовал маниакальную страсть — потребность в яде одной из клиенток и принудил ее исполнить его прихоть. Восседая в высоком кресле, он смотрел, как она раздевается, а затем, посулив бедняжке наркотик, довел игру до высшей точки. Связав бедную красотку, он бросил ее на кровать, заплаканным личиком она уткнулась в простыни, и он, приставив пи-

столет к ее затылку, зловещим шепотом объявил ей, что она умрет, если будет упорствовать и не откроет ему, кто в этом городе, сбивая цены, наносит ущерб его торговле наркотиками.

Эта изощренная игра привела его жертву в состояние изысканного возбуждения, что доставило злобному бородатому Каро острое удовольствие. Однако же радость его была недолгой, шофер «форда» действовал решительно, красавица на сей раз была спасена, мерзавец стоял привязанным к шкафу.

У Ренаты Алерс внизу, в темноте, было хорошо на душе, из подвижных картинок она узнала, кто злой, а кто добрый.

Алерс вышел из дома один. Ветер в саду пропах Эльбой, древесной корой и прелью зимней травы. Здесь, в тишине большого сада, можно в кои-то веки вдохнуть эти запахи, ощутить их на вкус, превосходный сад, превосходный дом, да что там говорить, шеф у нас хоть куда. Он обернулся, посмотрел на освещенные окна. Никто не следовал за ним. Он пошел вперед, мимо пикапа, по газону, до первого чернеющего дерева внизу на склоне. По Эльбе скользили огни уходящего судна; он прислушался к грохоту машин, к ветру, к каплям, падающим с ветвей на его протянутые руки. Ему было хорошо, он мечтал о таком саде, таком доме, о вечернем ветре в ветвях. И как человеку, углубившемуся в мечтанья, это не казалось ему несбыточным. Он вытащил из кармана сигареты, подаренные хозяйкой, закурил, укрывшись за деревом, и спокойно пошел назад в гору, к пикапу. *Ничего, ты справишься.*

Когда он обходил машину, вверху тихо отворилось окно, а когда уже хотел сесть в нее, сверху детский голос крикнул:

— А у моего папочки машина пошикарнее.

Алерс поднял голову, ухмыльнулся куда-то в темноту и крикнул в ответ:

— А у меня экскаватор есть. Иди-ка спать, карапуз.

Но тут другой детский голос крикнул:

— Неправда. Экскаватор тоже папочкин.

Алерс захлопнул за собой дверцу и уехал, направление — Вильгельмсбург.

Смеется тот, кто смеется последним, заявил бородатый Каро. У кого сила, у того и выдумка, а у кого выдумка, у того и сила. Каро сбежал, а потом заманил ночью обоих героев — шофера «форда» и умученную блондинку — в глубокий котлован. И сверху стал охотиться на своих пленников, медленно, с наслаждением, во всеоружии своих технических средств. Оба выхода из котлована заняли его снайперы, по отвесным стенам не выбраться, разве что в собственную могилу под огромными массами песка.

Что могли предпринять шофер и его дама? Оба решили было закопать друг друга в песок на склоне, надеясь таким образом укрыться и спастись. Но вдруг весь котлован залил ослепительный свет прожекторов. По краям ямы стояли четыре экскаватора с мощными прожекторами, и вот протянулись, раскачиваясь над котлованом, их стрелы. В кабине одной из сверкающих чудовищных машин адским хохотом захохотал злобный бородатый Каро, и игра началась. Грохоча, упали вниз многотонные ковши и ну гонять, ну захватывать несчастных, чтобы под конец размолоть, разодрать

их в клочья. Если не произойдет чуда, то это лишь вопрос времени, когда машины злобного бородатого Каро перемелют и изничтожат внизу все живое.

Ловко сделанный фильм. Ожидание чуда, побеждающего силы зла. Никто не знает ни имен, ни адресов. Рената Алерс в это мгновение впервые так близко, так точно и так подробно разглядела сложный механизм экскаватора. Ей и в голову не приходило, что́ здесь, в кино, творили с ней. Вся дрожа, следила она за отвратительными сценами на экране. При этом она непроизвольно нагнула голову, словно на нее совершалось нападение.

XXVI

Алерс пустил машину вовсю, так что мотор перегрелся, никому не давал обогнать себя. Шоссе, поле, земля — все сплошная чернота. Он громко дышал, словно борясь с какой-то тревогой, засевшей у него в мозгу. *Ничего, ты справишься.* Но с чем?

А потом опять показались дома, стены, бледные огни, тени, пестрые мерцающие рекламы. Он ехал по крутым улицам вниз, проскочил туннель под Эльбой и между складами и товарными платформами выехал к морю, вышел из машины, захлопнул за собой дверцу и через какие-то развалины добрался до парапета гавани. На мысу волнореза, за туманом и сыростью, молочным светом горели прожекторы. Ночь только начиналась. Он плюнул в воду и, обогнув развалины, вернулся к пикапу, вытащил самокат, присел на корточки у самой воды. Стал крутить колеса, нажал на педаль, прислушался к маслянистому жужжанию в подшипниках, отвинтил крышку звонка, она заржавела, звонок не звонил. Алерс поднял камень, вновь привинтил крышку, но слабо, и камнем ударил по ней. Когда звон заглох, ударил еще раз. А потом поднялся, опрокинул самокат на поросшие травой камни. Наступил на него, схватил обеими руками и разломал. Обломки бросил в воду. Ногой подшвырнул их к парапету и бросил в грязную воду, а потом ушел, уехал назад, вверх по улицам до пивной, куда частенько наведывался. Надо чего-нибудь выпить.

XXVII

Было уже темно и холодно, когда Рената Алерс вышла из трамвая напротив почтамта. Мимо нее пробежала маленькая собачонка. За ней торопилась женщина. Улица, черная, сырая, извивалась среди домов. Из зеленого мусорного ящика торчали старые газеты, «Бильд» — *каждую пядь земли мы будем защищать.* Она вспомнила бородатого босса, с нежной, точно у младенца, кожей, поганую его морду — как же его звали, этого типа в рубашке американского образца? Она не знала, но кое-чему там уже научилась, раньше никакого понятия не имела, а теперь — полный порядок.

Дождь и туман брызгами осыпали ее красивое лицо. Она шла мимо бомбоубежища, шла домой одна.

Невдалеке от бомбоубежища стояла церковь. На двери под стеклом, на виду у всех, было вывешено изречение: *«Горе человеку, предающему сына человеческого».* Что такое «сын человеческий»? И что значит «предавать»?

Рената Алерс поднялась по начищенной до блеска лестнице, в нише увидела коронку на синей обивке, прошла дальше. Наверху вытащила ключ из кармана, отперла, включила свет, остановилась в маленькой прихожей, закрыла, немного помешкав, за собой дверь, и все. Ладонью ощутила гладкость дерева. Она была одна. А руки-то холодные. Она не шелохнулась.

Потом подошла к зеркалу, провела рукой по волосам, поглядела в зеркало на дверь за своей спиной.

— А ты сделай так, чтобы кусал.

— А если он на тебя нападет?

— Он на меня не нападет, я же заколдовалась, и меня нет.

Волк широко разинул пасть. Его длинная шея вздрогнула. Было похоже, будто он собирается петь.

— Не открывай дверь,— сказала дочка,— а то еще он войдет.

Рената Алерс повернулась, распахнула двери комнаты, но не вошла. Она открыла все двери, везде включила свет, ни на что не взглянула, не слышала собственных шагов, энергично взялась за уборку. Смела в кучу пыль, мусор, всю дрянь, оставшуюся от переезда, собрала все, что надо было выкинуть, убрать с глаз долой, замела за собой, выкинула все через дверь в пустую белую комнатку.

Она не плакала. И есть ей не хотелось. Ей хотелось спать, она пошла и легла в постель.

Позже она слышала, как Алерс ставит внизу машину, хотела выйти ему навстречу, поднялась, легла обратно; потушила свет на ночном столике. Дверь из спальни в гостиную стояла полуоткрытой. Ренате Алерс виден был приемник и ужин, который она оставила мужу на столе. Перед домом на улице Алерс громко свистел, на лестнице уже потише, а когда увидел дверь своей квартиры, то и вовсе замолк.

XXVIII

С пустыми руками вошел он в свою квартиру. Еще по дороге, на мостах, он с радостью думал о жене, о своей квартире, о квартире, куда можно приехать, хоть разок порадоваться, сделать что-нибудь хорошее, хоть разок сделать что-нибудь хорошее, дерьмо проклятое, да что же это такое?

— Ты уже спишь? — осторожно спросил он.

Она не ответила. Она поглядела на него. Но в темноте он этого не заметил. Он вернулся назад, под лампу, к пиву. Его руки дрожали, когда он наливал пиво в стакан, он сел к столу, он смертельно устал, и он злился на себя за то, что устал, залпом выпил стакан, увидел маленькую пластинку, а на ее дешевеньком бумажном футлярчике — двух веселых пареньков в синих куртках: *столько монет тебе не заработать, сколько раз ты готова была ее слушать.* Он пошел, поставил пластинку, хотел прослушать ее, долго стоял перед сверкающим «Лёве Опта», хотел еще разок прослушать. Но после первых же тактов отвел иглу. Диск продолжал крутиться. Алерс стоял и стоял, следя глазами за круговым бегом диска. Он посмотрел на свои руки. Этими руками он только что отвел иглу, а до того разломал самокат, день напролет работал на экскаваторе, что еще? Левой рукой он подвигал пальцы правой. Он разглядывал живые руки Алерса, повернул голову к полуотворенной двери, он был не один. Он был этому рад, но сказал:

— Я думал, ты спишь.

— Поставь еще разок,— попросила она.

Он хотел было подойти к ней, но не двинулся с места, взглянул на нее. Она у меня красивая.

— Случилось что? — спросила она.

Он обрадовался, но сказал:

— Накинь что-нибудь, еще простудишься.

Она помедлила, хотела подойти к нему, пошла назад в спальню, закрыла за собой дверь. Он хотел еще что-то сказать, но не мог слова вымолвить, как будто рот у него был набит камнями. Где же выход? Он посмотрел на дверь: открыть ее ничего не стоило. Он посмотрел на окно, решетки на окне не было, и стен вокруг дома не было; не было надсмотрщиков, не было контроля, не было штрафов. Черт побери, где же выход? Но в ответ он не услышал ни слова, ни звука. Его знобило. И больше ничего.

Ночью из города уходит поезд на юг. Глядя на фабрики, склады, сверкающие прозрачные заправочные станции, вереницы черных жилых домов, один человек говорит другому: здесь мне не хотелось бы жить. Он нерешительно поднимает вверх руки, голову. Кто слышал и видел этого тридцатипятилетнего человека несколько часов назад перед Домом профсоюзов, тому этот жест знаком.

Из югославской поэзии

МИРА АЛЕЧКОВИЧ

Октябрьская сказка

На пяльцах берез российских сказку снег вышивает —
тот снег, которого дети осенью ждут не дождутся,
тот снег, который сверкает в памяти, в отзвуке звонком,
когда человеку так хочется снова стать ребенком...
На ветках цветы серебрятся. Слепят, хоть глаза прикрывай...
Снежинки ткут под ногами ковер искрящийся, пышный.
А в лепестках кристальных, в узоре волшебном и тонком,
от ветра звон возникает — певучий такой, чуть слышный,—
и брезжит над белыми селами,
и ходит над лесом белым.
Что, что тебе, зимушка, вспомнилось? Про что ты так тихо запела?
О, сказочный русский край!..

Избушка ли это, шалаш ли стоит, свою повесть слагая,
и в снах своих белоснежных все то же видит, все то же,—
и эти сны, эти строки вбирает память людская...
Октябрьские повествованья на дивную сказку похожи —
на сказку о силе идеи, на сказку, где нет неправды.
Здесь ткалась Октябрьская сказка.
Здесь жил и работал Ленин.
Все, все тут напоминает о замысле светлом и смелом,
отсюда великая вера к нам тихо приходит поныне.
И скромное это жилище, покрытое снегом белым,
переживет небоскребов каменные гордыни.

...На пяльцах берез российских снег вышивает сказку —
ту сказку, которой дети осенью ждут не дождутся,
ту сказку, которая блещет в памяти, в отзвуке звонком,
когда человеку так хочется снова стать ребенком...
Октябрь... Костры перед Смольным... Вот-вот появится Ленин...
И видится в снах этих вечных избушке ли, шалашу ли,
как перед Лениным строем, с поднятыми головами
проходят солдаты, балтийцы, путиловцы, красногвардейцы,—
и первый снег октябрьский вдруг начинает валиться,
и сказочна эта минута, и даже стрельба смолкает,
и радость, радость свободы в тиши озаряет лица,
и в сумерках серых, туманных
будущее сверкает.

Перевод с сербохорватского ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

ВЕСНА ПАРУН

Нева

Кто-то промолвил вполголоса белое слово: Нева,
словно приглушенный зов тишины твоей, север.
Я услыхала, как льется с деревьев листва,
дали увидела в снежном и пепельно-сером.

Чуть прикоснувшись к ее берегам, повлажнели слова,
и уплывают устало, влекомые властным теченьем.
Как это странно, что где-то на свете — Нева́,
вот она вновь предо мною струится в вечернем свеченье.

Грустные девушки смотрят, как льется сквозь сумрак река,
как отражается в ней отпылавшая осень садами,
трутся бортами упрямые лодки о берега,
и облака уплывают, как очи покинутых нами.

Воды далекой Невы, я не видела их никогда,
шороха трав не слыхала, окутанных сизою тьмою,
севера серые птицы летят, провожая суда,
воды, и травы, и птицы — вы в сердце моем, вы со мною.

Как я люблю белый север и струи спокойной Невы,
сильных людей, что живут здесь, и даже их тени,
как я хочу, чтоб из самых глубин синевы
солнце касалось лучами земли моих жгучих видений.

Перевод с сербохорватского ЯКОВА БЕЛИНСКОГО

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР

Листки календаря

Перевод с немецкого НАТАЛИИ МАН

Моему отцу

Звезды в календаре

Когда туман спускался на поля и деревню, дед ставил крестик в календаре. «Через сто дней после тумана будет дождь»,— утверждал он. Утренний туман, вечерний туман, целодневный туман — все они у деда заведовали погодой.

Случалось, что в дни, помеченные крестиком, и вправду шел дождь, а случалось, что и нет. Тогда дед начинал изворачиваться: гроза, мол, прошла над районным городом или не мог дождь пролиться, когда такая сушь кругом.

Дедова способность делать погоду по собственному разумению не давала мне покоя ни днем ни ночью, покуда я с годами и сам этому не научился: солнечные дни я метил звездочкой в календаре. Солнечные дни — это радостные дни, а радость, как я слышал, порождает радость, почему же, спрашивается, не могла она меня посетить через сто дней после солнечного дня?

Так оно и пошло. Видно, я унаследовал от деда дар заклинать погоду. Если в день, отмеченный звездочкой, радости не угодно было явиться, я мысленно перебирал прошлое или подмигивал будущему. Это уже меня радовало.

Наконец, я записал радости, которыми намеревался обзавестись, в десятипфенниговую тетрадку. И теперь они собраны в этой книжке в виде маленьких рассказов или чего-то в этом роде.

Птицы улетают

Дни стали короче, но всякий раз после обеда я седлал свою кобылу и отправлялся в лес. Эти прогулки верхом длились долго в любую погоду. Мне шло на пользу переспоривать ненастье; так я выздоравливал после долгой болезни.

В иные вечера выйдешь из дому, и не видно ни дерева, ни столба, все заткано мраком, но я все-таки кое-что видел, и, хотя снег и дождь, летевшие мне в лицо, щипали его. словно соль и перец, настроение у меня было отличное. Кобылка несла меня сквозь ночь, и ее спина меня согревала.

Выдавались и погожие вечера, когда кричали филины, потому что теплый воздух вдувал им под перья мнимую весну, но так или иначе приближалась зима.

Навстречу мне попадались лани, зайцы и косули, потом опять косули, а однажды я увидел какого-то странного козла. Моя кобыла, пущенная галопом, вспугнула его. Было еще светло, и козел сонной рысцой трусил по просеке. У него был один только рог, да и то изуродованный, он сидел на голове как парик.

Ах да, я ведь видел еще ворон, соек и дятлов; черный дятел что-то крикнул и спрятался. Лесные голуби паслись в кронвх сосен, я слышал, как они хлопают крыльями, перелетая с верхушки на верхушку.

Изредка на каком-то озерце вскрикивал селезень, и ветер одна об другую тер тростинки, покуда они не начинали звучать. Вода в озерах была темная, как чернила,

а не то пестрая, как картинка в книге сказок. Цвет воды зависел от неба, а вид неба зависел от солнца, от плотности же облаков зависело, проглянет солнце или нет — цепь взаимозависимостей.

В сумерках я увидел стаю птиц, летящих на юг. Это были маленькие птицы, и они покидали наши края. Я стоял под ними, свет вечернего неба слепил меня, и я не мог разглядеть, какого цвета их оперенье. Мне хотелось, чтобы это были жаворонки, жаворонков я любил за их песню.

Вереница птичьих тел по-змеиному извивалась на лету, напоминая полых внутри и надутых воздухом бумажных драконов, которых китайцы запускают во время праздничных шествий.

Когда шустрые предводители птичьей стаи по непонятным причинам вдруг описывали дугу, вся вереница повторяла ее с поразительной согласованностью.

Я придержал свою кобылку, потому что птицы летели и летели. Они брались из воздуха над заболоченными лугами, устремлялись к лесу, к югу, казалось, на моих глазах из вечерних сумерек возникает все больше и больше птиц.

Ни звука в вышине, даже хлопанья крыльев не слышно: тишь, среди какой тянутся на юг стаи, наводит на мысль о невероятностях в сновидениях; из пустоты лились льются птицы, льются и льются, и, когда через несколько минут этот поток иссякает, мне чудится в вечерней дымке след, дорожка, которую, переходя с места на место, оставляют земные звери.

Дорожки я, конечно, не увидел, хотя, возможно, даже воздуху понадобились какие-то доли секунды, чтобы выровняться, упорядочиться на пути, разворошенном птицами. Но прежде чем это могло бы случиться, мимо пронеслась, теперь уже врассыпную, другая стая, пригоршня птиц, щепоть, брошенная вслед первой разгневанным великаном. Три раза запускал великан руку **во всемирное птицехранилище;** потому что три щепоти метнул он, и на сотую долю секунды вечерняя дымка пошла дырами. Но три птичьих щепоти описали такую же дугу, как и первая вереница, опередившая их на четверть минуты.

Все это я видел, и, когда последние птицы для моего грубого и незоркого глаза растворились над верхушками сосен, я, словно приобщившись великой тайны, поехал дальше своей лесною дорогой.

Кораблики

Мой сын Маттес подарил мне два кораблика. Они сделаны из золотой станиолевой бумаги и имеют одну особенность: никто, глядя на них, не скажет, что это кораблики. Просто измятые листки бумаги. Если бы Маттес мне не объяснил, я бы тоже не догадался, что это кораблики.

— Зачем ты держишь на книжной полке клочки золотой бумаги? — спрашивают меня.

— Пускай лежат; ведь это два корабля.

Кораблики останутся на полке, покуда Маттес не подрастет и не положит туда что-нибудь другое.

Я думаю о своем первом стихотворении. Это был клочок бумаги, покрытый каракулями, и никто не хотел считать его стихотворением.

Мир моего деда

Дед дожил до девяноста лет, и никогда я не видел его малодушным или обессилевшим. На смертном одре он задал основательную трепку молодому человеку, задумавшему раньше времени унаследовать его часы. Часы и календарь были навигационными приборами, которые вели деда сквозь жизнь.

Когда весною в огороде прорастал кочанный салат и ветер играл его бледно-зелеными листьями, дед говорил: «Скоро лето, салат уже ушами шевелит».

Животные у него обладали даром речи, и он переводил ее на язык человеческий.

Кот, стоя у сарая, говорил кошке, взобравшейся на сеновал: «Катарина, выходи на шуры-муры, шуры-муры!»

Жеребец, завидев кобылу, восклицал: «И-го-го, вот и я!»

Вороны зимой подбадривали друг дружку: «Кради кость, кради кость, кради!», а ласточка летом на крыше пела: «Чем чинить, чем чинить, на нитках цвель, на нитках цваль!»

Дятел, как уверял дед, весною кричал: «Вей, вей, вей!», а осенью: «Тки, тки, тки!»

Голубь ворковал: «Задери подол, задери подол!», а королек щебетал на березовом сучке: «Мила ты, мила, мне мила!»

Иногда мне думается, что дед был поэтом, только суровая жизнь не дала ему времени записать, каким ему виделся мир.

Заячьи проделки

Неправильно думать, что заяц — это просто экземпляр определенной породы, заяц, и все тут. Я уверен, что не ошибусь, если скажу: сколько зайцев — столько характеров.

Один заяц угнездился на лесной опушке под кровом молоденькой сосенки. Иной раз, когда я проезжаю мимо на своей кобылке, он, видимо, считает зазорным удирать. Только прямехонько поставит уши, вылупится на кобылу и следит за каждым ее движением. Я это понимаю так: бегать ему неохота, он о чем-то размышляет, я тоже не обращаю на него внимания, ведь когда я один, он мне не очень-то нужен. Но когда я еду по лесу с гостями, хочешь не хочешь, жди вопроса: «А зайцы у вас тут не водятся?»

Вместо ответа я направляю свою кобылку к молоденькой сосенке, под которой обитает мой знакомый заяц, он выскакивает, и гости кричат:

— Заяц, вот это здорово, заяц!

Я, разумеется, знаю, куда он перепрячется, и через несколько минут выгоняю его из нового убежища; гости вне себя от восторга:

— Смотри, смотри, еще один!

А когда я поднимаю его в третий, наконец, в четвертый раз, считается, что это «опять заяц» и «который уже!».

Но старому зайцу, видно, прискучила эта чепуха. Он описывает большой круг и вприпрыжку мчится к первому своему пристанищу. Мои гости довольны:

— Ну и зайцев у вас тут развелось.

— Да, зайцев хоть отбавляй,— ухмыляюсь я.

Воспитание клиентов

Берлинские писатели впервые устраивали майский книжный базар, теперь уже ставший традиционным. Я должен был уговорить Брехтв принять в нем участие. Уговаривать мне его не пришлось, в бвзаре он участвовал.

Писатели разбились на группы, и каждой группе был предоставлен грузовик. Брехту предложили сесть в квбине рядом с водителем. Он отказался, хотя любил ездить с удобствами; ему непременно надо было сидеть с кем-нибудь из знакомых и чувствовать моральную поддержку. Оставшись один, он становился беспомощным, как дитя на чужбине.

Мы ездили по местам народных гуляний и, выгрузив книги на импровизированный прилавок, открывали торговлю. Гуляющие таращили на нас глаза. Нелегко было внушить им, что это **модно** — покупать книги у подножия качелей, да еще под звуки шврманки. Нвш звзывалв сулил возможным покупвтелям автографы писателей — премиальные за покупку.

Наконец кое-кто из гуляющих, видно из милосердия, решился подойти поближе. Те, кому Брехт был знаком по портретам в газетвх, заподозрили, что здесь им смехв ради выдают за него человека в помятом пальто, не слишком чисто выбритого, дв еще в кепке, какую носят спекулянты. И автогрвф они брали разве что для проверки.

Я стоял рядом с Брехтом, чтобы в случае чего прийти к нему на помощь, меня никто не знал, я был еще, так сказвть, свежеиспеченный и совсем недавно выпустил свой первый роман с отпугивающим названием «Бычий кучер». Брехт, однако, задался целью меня прославить и, когда у него просили автограф, говорил: «Разрешите звдержать вас на одну минуту, я только сам куплю книгу».

Людям, конечно, было любопытно, какую книгу собирается купить этот сомнительный Брехт, и они еще больше сомневались в его подлинности, увидев, что он покупает книгу про быков.

Вы думвете, что в конце концов Брехт приуныл? Ничуть не бывало. Мы поехали на другую площадь, где тоже происходили народные гуляния, и опять выгрузили свой товар, и Брехт опять купил мою книгу, и я опять должен был надписать ее, и надпись опять гласила: «С благодарностью...» Моей книги все равно никто не покупал, но Брехт не сдавался. В тот майский день на народных гуляниях он купил, наверно, экземпляров шесть или семь моего романа; это он называл «воспитанием клиентов» и занимался им с неменьшей горячностью, чем воспитанием зрителей в своем театре.

Под конец мы улыбнулись друг другу, как мальчишки после неудачной попытки нвловить рыбы руками.

Теперь, когда я в толчее майских базаров надписыеаю свои книги, я неизменно думаю о Брехте и нашем первом базаре. Но так и не знаю точно, что, собственно, принесло плоды — брехтовское «воспитание клиентов» или то, что он довольно долгое время воспитывал меня.

Окольные пути

Из чащи леса маленькие сосенки выскакивают на пустошь, где наши пони каждый год дочиста объедают сухой пырей. Сначала это были отдельные крохотные деревца, и они походили на карликов, разбежавшихся по степи, но с каждым годом их становилось больше, и мы опомниться не успели, как возник новый лесок.

До того как на пустошь набежали сосенки, там каждое лето на конском навозе росли шампиньоны. Вот и выходило, что пони, помимо своей рабочей силы, обеспечивали нас еще и продуктом питания. Со временем у сосновых корней забелели споры и других съедобных грибов. Сначала это были сыроежки, потом маслята и рыжики, а нынешним летом наш Маттес, отправившийся проведать пони, впервые нашел там белый гриб.

Я ходил поить пони и набрал рыжиков в свою белую панаму. Она покрылась красными пятнами, и все встречные в ужасе шарахались, увидев меня с **окровавленной** шапкой в руках.

Но не над шапкой я ломал себе голову, а над окольными путями, которые выбирает природа, когда она предоставлена самой себе. Для шампиньонов в дополнение к питательным веществам, которые они получают из травы, нужна была только кучка конского навоза, но для рыжиков и белых грибов было необходимо, чтобы пустошь поросла лесом.

Чтобы сделать из травы масло, нужны коровы. Но недавно я прочитал, что ученым удалось вырастить грибы без леса. В другом журнале черным по белому стояло, что ученые намереваются сделать масло без коров, из травы. Очень хорошо; когда наука выбраковывает из нашей жизни окольные пути, я всем сердцем ее приветствую, ведь жизнь коротка, а окольные пути и вовсе ее укорачивают. Но на днях я прочитал, что наука стремится создать литературу без писателей. Это меня очень заинтересовало.

Бабушкина корзина

Вчера, прибирая в погребе, я нашел ее — бабушкину корзину. Это прямоугольная корзина из жестких ивовых прутьев, с ручкой, сужающаяся книзу, с двумя откидными крышками. Я почистил ее, она была покрыта серебряно-зеленой плесенью, и мне вспомнилось, как бабушка в намытой добела корзине несет белые грибы, лисички, чернику или бруснику за пятнадцать километров в окружной город.

Бабушка усталая возвращалась из города, и в корзине иногда оказывалось что-нибудь для меня: лакомство, покуда я был маленький, а потом, когда лакомством для меня стало чтение,— дешевая книжонка.

Я вырос и уехал «учиться стрвху» *, а бабушка стала хранить в этой корзине мелочи, милые моему сердцу: платочек моей первой возлюбленной, аттестат деревенской школы, диковинные камешки, белый василек и засушенное соцветие шиповника. Когда я приезжал домой, бабушка доставала эти мелочи:

— Ты даже не знаешь, что у тебя есть.

Теперь бабушка умерла и не знает, что эта корзина еще существует и стоит в моем кабинете.

Моя кровать

Моя широкая кровать без изголовья и изножья стоит под скосом мансарды. Во время сна я упираюсь ногами в щипец. Снаружи на щипце висит скворечник. По утрам, когда скворцы просыпаются, самочка хлопает крыльями над птенцами. Шорохи, стук, как будто трубочист на крыше. Вся эта трескотня передается стене. Мои ноги просыпаются. Потом просыпаюсь и я. Мой день начинается с вылетом скворцов. Они ищут червяков; я ищу слова.

Гибель одного хутора

Пониже деревни виднеется хутор крестьянина-богатея; он обречен на гибель, хотя и вырастает из земли, как дерево с широко раскинувшимися корнями. Ветры, точно вспугнутые зайцы, носятся над невозделанной землей, и без устали колышатся травы. Три полевых дороги на паучьих ногах ползут от дроковых изгородей вдаль, к горизонту и теряются за буграми вспаханной земли.

Дом, сараи, амбар и конюшни скрыты кустами бузины; квадрат, образуемый этими зарослями, неопровержимо свидетельствует: здесь был двор. За амбаром

* Имеется в виду сказка братьев Гримм «Сказка о добром молодце, не знавшем страха».

косилка умирает трудной смертью железной вещи, выставив на дождь и непогоду свой режущий брус с железными зубьями, которые уже затянуло бархатистой ржавчиной. Тучные травы и непроходимый кустарник обступили старую работягу, и ветер поет ей отходную.

У стены сарая стоят бороны, они тоже заросли ржавчиной, как старые деревья мхом. Из трухлявых провисших ворот несет гнилостным запахом опустелой конюшни.

Фасад дома, хотевший весь век вековать без деревенской улицы, радует своей приветливой и веселой окраской разве что диких пчел и мотыльков. Две липы у крыльца расточают тень. Возможно, с них должна была начинаться аллея вроде той, какую хозяин подсмотрел у помещика. Кто не бывал в этих темноватых залах со стенами из древесных стволов; незваных гостей они отпугивают надписью «Частная дорога», а званых встречают торжественной прохладой дворцовых сеней.

Половина дома спит, опустив веки ставен; другая подслеповатыми белесыми глазами окон уставилась поверх палисадника в неизвестность и, кажется, ждет, что расшалившиеся деревенские мальчишки вот-вот угодят камнем в стекло.

В стене под самой крышей зияет дыра, словно дом, разинув рот, размышляет о давным-давно прошедшем и упущенном.

Ветер обдувает углы дома, но ему скучно. Ветру, как и почтальону, здесь делать нечего. Здесь никто никого не зовет обедать, здесь не ржет жеребец, не мычит корова; не слышно здесь ни собачьего лая, ни квохтанья кур, ни детского смеха — и нечего ветру взять с собой в поле, куда он стремится.

Вдали тракторист словно плывет, покачиваясь на ревущих волнах своего мотора, плывет и перепахивает землю. Материнское тепло деревни породило его.

Хутор крестьянина-богатея, едва виднеющийся за кустами бузины и зарослями полыни,— это кусок, который откололся от матери-звезды и теперь медленно гибнет в одиночестве.

Чертов нож

Ящик в столе деда полон удивительных вещей. Там лежит алмаз для резки стекла, плотницкая веревка, которую чернят сажей, чтобы она прокладывала пиле дорогу по доскам и балкам, припасы для самопала, пакетик чертова помета — этот помет, если его поджечь и оставить тлеть, обращает в бегство любую ведьму,— обрывок веревки, на которой с пьяных глаз повесился некий Саступейт. Но самая страшная вещь — перочинный нож с рукояткой из оленьего рога. Этот нож торчал, не более и не менее, в ноге самого черта. Черт был бледный, молодой и неопытный, словом, новичок в своем деле; по дедовым рассказам мы знали его чуть ли не в лицо, и с годами он стал внушать нам жалость.

По убеждению деда, в каждом летнем вихре, кружащемся над полями, сидит черт. Чем слабее вихрь, тем слабее и черт, который в него звсел и привел в движение предметы, до тех пор спокойно лежавшие на своих местах, например, соломинки в навозе, сухие листья, обрывки бумаги, увядшие цветы и, уж конечно, дорожную и земляную пыль, принимавшую формы воронок и крутней, а в них-то и прятался черт.

Да, если бы побольше было таких храбрых людей, как мой дед, нигде в мире дело бы не дошло до ураганной чертовщины, когда ветер срывает дома, опрокидывает фабричные трубы и подымает людей на воздух.

Все вовеки неповторимое случалось в детские и отроческие годы деда на земле Клейн-Партвиц в округе Хойерсверде, то есть в его родной деревне.

Дед решает сделать перерыв в косьбе и пьет из пузатой глиняной бутылки. Кинув взгляд на мерцающие вдали поля, он вдруг замечает небольшой смерч над полем своего односельчанина Шубейнца; смерч устремляется на деда, вырывает у него из рук платок, в который был завернут хлеб, и кружит его в воздухе, а платок-то — собственность лесничего из Блунова, к этому лесничему дед нанялся в батраки. Дед хватает нож, которым только что отрезал себе ломоть хлеба, и бросает его прямо в смерч. Смерч издает свист, воздух из него выходит, и он пропадает, а на меже остается черт-невеличка, и нож, дедов нож, торчит в его чертовой голени.

Бедняга черт, бледный, перепуганный, молит деда вытащить нож, который, конечно, угодил в положенную всякому черту конскую ногу.

Но дед не расположен плясать под дудку эдакого мелкого черта, он его хватает и трясет что есть силы: «Смотри у меня, и оставь-ка лучше людей в покое».

Черт-невеличка просит пощады, он бледен и весь дрожит, как школьник после первой сигареты. Дед вытаскивает нож у него из голени, и черта как не бывало, только дедов платок воняет так, что работнице лесника приходится три раза его стирать по всем правилам искусства, но он все равно воняет, до того воняет, что его в доме держать нельзя.

— Ах, бедняга черт, значит, нога-то у него была конская, так ведь, дедушка?

— Ш-ш-ш, ш-шш,— шикает дед, притворяясь, что не слышал вопроса; — да,— говорит он,— так обстоит дело с нечистой силой! — и показывает: — Вот по эту зазубрину нож ушел в чертову голень.

Этот-то нож и не позволял нам усомниться в правдивости рассказанной дедом истории, тем более что с тех пор он никогда им не пользовался.

Я вспоминаю эту чертовщину, когда в некоторых западных газетах читаю о моей стране и даже о себе самом. По-моему, кое-кто из тамошних газетчиков преподносит истории о нечистой силе по методу моего деда, немецкого крестьянина.

Но больше всего меня удивляет, что там находятся читатели, не менее наивные и легковерные, чем были мы, деревенские ребятишки из лесов Нидер-Лаузица.

Кабанята

Редко видишь над собою столько неба, как в наших лугах. Стояла ранняя весна, и трава лишь слегка зазеленела, но журавли уже прилетели и расхаживали в поисках пищи. Косули тоже щипали первые травинки, их зима с пожухлой травой, с сухими кустиками вереска и сосновой корою осталась позади. Поглощенные этим занятием, они подпустили меня метров на тридцать. Сначала, правда, козел скакнул в лес и заблеял, но косули продолжали пастись. Им надо было наесться за себя и за своих телят.

Мне хотелось попасть к луговому озеру и посмотреть на весенние хлопоты ворон; чтобы сократить путь, я поехал через самую чащобу. Возле толстых сосновых стволов притулились кусты бука, и ветер шуршал в их прошлогодней листве, как вдруг в десяти шагах от меня выскочила дикая свинья. Моя кобылка шарахнулась, и я повалился ей на шею, не без труда удерживаясь в седле, так как она била копытами и явно намеревалась понести.

Усевшись, наконец, покрепче, я заставил ее двинуться вперед, но она взвилась на дыбы — возникла извечная борьба воли всадника с волей коня,— и когда я уже почувствовал себя победителем, поблизости что-то зашуршало: четыре диких поросенка лежали в сухой прошлогодней листве в ямке под буковым кустом, они прижимались друг к дружке, силясь стать незаметными, скатывались в клубок, словно еж, а когда я шагнул к ним, попытались зарыться в листья.

Русский писатель Пришвин как-то сказал, что охотника прельщает не убийство, а возможность показать другим, что ему довелось увидеть. А так как большинство животных он изловить не может, ему остается одно — стрелять.

Я не хотел ни ловить, ни стрелять, я действовал с помощью ловушки, которая не угрожала жизни кабанят, ибо это была словесная ловушка. Поросята точь-в-точь как бабушкины ночные туфли — подумать только, в лесу под кустом! — надеюсь, моему сыну Маттесу удастся на них поглядеть.

Комар на листе

Пошел дождь, и комар сел на изнанку березового листка. Там он сидел, а дождь шел целый день, целую ночь и еще пол-утра. И все это время изнанка березового листка служила комару домом, и его счастье, что не подул ветер. Ведь он мог перевернуть лист и выгнать комара на дождь, на погибель.

Да, для комаришки это было счастьем, может быть, не меньшим, чем иной раз бывает наше счастье.

Брехтова крапивка

Это было ночью, уже после двенадцати; пограничная полиция задержала нас между Францией и Бельгией. Сюда поступила какая-то бумага, запрещающая нам въезд в Бельгию, а продлить визу, заплатив за это известное количество франков, можно было только утром. Неподалеку от полицейского поста находилась пограничная гостиница, словно специально построенная для нам подобных, то есть для тех, у кого кончился срок визы.

Звонка у двери не было, мы постучали, нам открыла заспанная хозяйка, видимо привыкшая к тому, что ее будят по ночам люди с просроченными визами.

В вестибюле горели тусклые дежурные лампочки, а в гостиной царило бальзаковское настроение. Брехт даже получил свой обязательный ужин — бутерброд с сыром, правда без пива, так что ему пришлось довольствоваться глотком красного вина.

Спали мы хорошо, а утром долго смотрели на залитый солнцем равнинный и довольно убогий пограничный ландшафт.

Сидя в столовой, где молодая девушка подавала нам завтрак, мы оба вдруг взглянули в окно, выходившее на полицейский пост и шоссе, и непроизвольно поднялись со своих стульев: оно было обрамлено своеобразными лиственными растениями с темно-красными стеблями и светло-красными листьями. Сквозь листья светило утреннее солнце, и окно выглядело точь-в-точь как круглое оконце в декорациях к «Фаусту».

Брехт долго всматривался в диковинное растение и наконец произнес: «Удивительно!» Я понял, что ему хочется иметь его, и на своем доморощенном французском языке попросил у девушки несколько отростков. Брехт одобрительно кивал, но не приходил мне на помощь, несмотря на свое хорошее знание французского, он с младенчества привык к аугсбургскому наречию и казался себе смешным, когда ему приходилось «ломать язык», произнося чужеродные слова. В отношении родного немецкого языка он был самым завзятым шовинистом, какого я когда-либо встречал, и голландский называл испорченным немецким. На одном писательском съезде, где заседания шли на английском языке, он начал свой дискуссионный доклад словами: «My English is bad-d-d, а мой родной язык лучше». И заговорил по-немецки не без известного сладострастья, как мне показалось, особенно после того, что ему пришлось пережить с **комиссией по расследованию антиамериканской деятельности.**

Итак, я раздобыл несколько отростков краснолистого растения, мы завернули их в газету, которую дорогой несколько раз смачивали водой, и так провезли их через Бельгию и Западную Германию до самого Берлина. Расставаясь после этого долгого путешествия, мы по-братски поделили отростки.

Не знаю, что он сделал со своими, только я никогда не видел их на подоконнике его квартиры на Шоссештрассе.

Я посадил отростки, но прижился из них только один, да и у того довольно долго было всего два жалких листочка. Тем не менее он стал постепенно набирать силу и покрылся листьями.

Оригинальную разновидность пестрой крапивки мы раздобыли в Бельгии, а семью годами позднее я увидел ее в Сочи на Черном море, там она росла на воле в парке; тысячи кустиков этой крапивки обрамляли клумбы.

Итак, моя крапивка подрастала, и, когда я заходил к Брехту, могло случиться, что он, глядя через уставленное цветами окно во двор с серой кладбищенской стеной, вдруг спросил бы: «А что, существует еще это поразительное красное растеньице?»

И тут ему, наверно, вспомнилась бы наша совместная поездка по Франции, которая была первой триумфальной поездкой его и его театра по странам Западной Европы. Его чествовали в Comédie Française, его, и Вейгель, и всех его актеров. Он обрядил коммунистические идеи в театральные костюмы и двинул их навстречу мятущимся западноевропейским интеллигентам.

Я в ту пору частенько заверял его, что **удивительное красное растение** еще существует, и усердно его рассаживал, чтобы в один прекрасный день поразить Брехта фаустовским окном, таким, какое мы видели на франко-бельгийской границе.

Смерть не ждала, покуда мое окно будет готово, она закогтила Брехта, и случилось это в мой день рождения, самый печальный за всю жизнь.

С тех пор эту пеструю крапивку мы называем Брехтовой крапивкой, и время от времени я раздаю своим друзьям ее отростки, а когда однажды зимой я уехал и мои комнатные цветы померзли, а с ними пестрая крапивка, я взял отростки у друзей, и вот теперь я пишу, а три больших куста Брехтовой крапивки стоят на моем окне.

Настоящая бабушка

Когда я родился, настоящей моей бабушки уже двадцать лет не было в живых. От нее оставался только чепчик, какой носили немецкие крестьянки, и белая шаль в крупных розах, но прежде всего рассказы деда о ней, до того наглядные, что мне и по сей день кажется, будто я знал свою настоящую бабушку.

Она была маленького роста и едва доходила деду до подбородка; щеки у нее были румяные, а на правой еще красовалась ямочка, делавшая ее улыбку необыкновенно милой. Деда чаще, чем это принято в деревне, тянуло прильнуть к этой ямочке своими бородатыми устами. Настоящая бабушка была со всеми приветлива, и даже женщины находили ее красивой, за исключением ее меньшой сестры.

У деда с настоящей бабушкой было множество детей, но все они умирали в младенчестве **от чахотки,** в живых осталась только моя мать. Вскоре после ее рождения на настоящую бабушку напала та же болезнь, скоротечная чахотка.

Дед сидел у ее постели:

— Ханна, дорогая моя Ханна, неужели и ты у меня умрешь?

Бабушка улыбалась ему, словно из уплывающей лодки, и щеки у нее были красные, краснее, чем бывают в жару, а на правой виднелась ямочка, и дед не знал, что делать, зато бабушка знала:

— Когда меня не станет, возьми за себя нашу Лену!

Бабушка умерла, и дед женился на Лене: Лена была бабушкиной младшей сестрой. Она доходила деду только до груди и уверяла, что любила его еще ребенком, когда он сватался к ее старшей сестре Ханне.

Дед не мог позабыть свою Ханну. Она являлась ему в сновидениях и давала советы, эти советы были для него священны. Случалось, что, когда все уже было приготовлено к тому, чтобы на другой день сеять овес, он вдруг заявлял:

— Сеять не будем! Скоро снова выпадет снег, Ханна мне сказала!

Вторая бабушка, Лена, ревниво ворчала:

— Ханна, вечно эта Ханна!

Бабушка Ханна не оставляла деда советами и при покупке лошадей или поросят; ее рук делом было и то, что однажды дед, единственный в деревне, проголосовал за партию центра, а другой раз за коммунистическую партию, так как «трепотня» социал-демократов вывела его из терпения. Только за немецкую национальную партию дед никогда не голосовал. Они были пруссаки, а пруссаков настоящая бабушка не терпела даже в царствии небесном.

— Ханна, Ханна, вечно твоя Ханна,— ворчала вторая бабушка,— что она, всех краше была, что ли?

— Она всех краше, а ты всех меньше,— отвечал дед. Он все еще относился к ней, как к меньшой сестре своей жены, которую надо опекать и можно слегка поддразнивать.

После такого ответа вторая бабушка, Лена, обиженно бродит по дому и, жепая непременно поговорить с дедом, вперяет взор в пуговицы его жилетки; но все-таки она его любит, и, когда следующим утром он сидит на низенькой скамеечке возле печки, уронив голову на руки и уставившись в пустоту, она тревожно спрашивает:

— Что с тобой, Маттес?

— Оставь меня в покое, сегодня день смерти Хвинны.

Тогда вторая бабушка выходит на крыльцо и долго стоит там, бормоча себе под нос:

— Ханна, только одна Ханна на уме.

Могущество слова

Каждый год дед сажал в компост отборную тыквенную рассаду и выращивал на зиму большие желтые тыквы. Куча компоста лежала на поле. А по полю иногда проходили честные люди, которые, если верить слову Библии, не сеяли, но жали; поэтому, когда тыквы начинали созревать, дед уходил ночевать в поле. Он укладывался на свой синий фартук и спал на меже, а так как во сне он храпел, то воры были предупреждены об опасности.

Так продолжалось довольно долгое время, но бабушка была все еще ревнива. Она не хотела мужа, который по ночам, что твой цыган, в поле бродит.

— Подумай о зиме, подумай о своем ревматизме. Я тебя растирать не стану, когда он снова тебя прихватит. В траве валяться — да ты олень, что ли?

Дед взял свой фартук и пошел к бабке в комнату, но прежде чем уйти вынул из кармана нож и нацарапал на каждой тыкве: «Украдено у Кульки».

Тыквы росли. Росла и дедова надпись «Украдено у Кульки». Воры далеко обходили компостную кучу, и тыквы оставались на своем месте. Буквы, вырезанные дедом, действовали, как волшебные руны.

По куньим следам

Каждый день из низко нависших облаков шел снег. В лесу только острия высоких трав торчали над белой пеленой и вздрагивали от восточного ветра.

На опушке заболоченного леса я дважды в летних сумерках видел куницу. В заболоченном лесу много дуплистых деревьев, в них живут куницы, недосягаемые в летнее время.

Но сейчас болото замерзло; зверек проложил узкие дорожки по снегу и весь его исследил, выскребая траву. Мне бросились в глаза объеденные серые травинки.

Для езды по болоту я оседлал легкого на ногу белого жеребца, который в честь Ивана Тургенева носил имя Малек-Адель. Передо мной рысью бежала кобыла Равана, умное животное, она служила мне следопытом.

Не успел я въехать в заболоченный лес, как кобыла насторожилась, стала фыркать и бить копытами. Четыре оленя появились из-за деревьев. Они величаво прошли мимо, ведь лошади делали меня безопасным, делали меня безобидным лесным животным.

Вдруг Равана захрапела. Появился еще олень, огромный, с нее ростом, за ним шестой, седьмой, восьмой; двадцать самцов и самок прошли так близко, что я мог бы дотронуться до них хлыстом.

Я позабыл о куницах. Сердце у меня учащенно билось: возьми то, что перед тобой, помни — два раза одного и того же не увидишь.

Олени скрылись в высоком лесу. Я поехал за ними по путаным следам. Два часа за ними гнался, но больше их не видел.

Ночная гроза

Мое окно было открыто. Стояла ночь. На небе ни звездочки. Безмолвие. Затишье перед дождем.

Где-то за лесами блеснула молния, а вскоре рыкнул гром. Я подумал о сене, сохнущем на лугах.

Что не дает нам управлять погодой?

Война, которую надо одолеть прежде всего.

Резка соломы

Мотор уже подключен к машине. Приводной ремень натянут до отказа. Начинается резка соломы. Старшóй развязывает снопы. Я кладу их в деревянный желоб, Герберт проталкивает солому в отверстие.

Маховик вращается. Кружатся ножи. Кострà дождем брызжет во все стороны. Проникает нам в нос, в глотку. Мои усы становятся черными, куртка покрыта слоем пыли.

Мы лопатами сгребаем кострý. На гумне набиваем ее в мешки. Сын Маттес тоже набивает. Резка соломы — праздник для Маттеса.

Давно прошедшее детство, когда все было праздником: праздник сева, праздник сенокоса, праздник забоя скота! Если бы мы и в зрелом возрасте каждую работу умели превращать в праздник!

Ревность

Однажды в майскую ночь я долго ездил по полям и перепескам, но вальдшнепы, на которых я собрался поохотиться, как в воду канули. Надвигалась гроза. Я укрылся в домишке лесоруба, принадлежавшем старой Паулине, и поставил свою кобылку в сарай. Паулина принесла ей сена, припасенного для козы.

Паулина, Паулина, ей было уже под восемьдесят, она вся усохла, и лицо у нее было коричневатое, как сосновый корень. В пятьдесят лет она потеряла своего первого мужа, он умер от рака. Умирал он медленно, а Паулине еще хотелось любви. Она тайком грешила с Альбертом.

Альберт был на три года ее моложе. Довольно-таки жирный, он смахивал на пузатую бутыпку и ходил в пелерине — одеяние, сохранившееся от кайзерских времен, когда он разносил почту по трем деревням. Отто, лесоруб, наконец умер, и Паулина взяла себе Альберта, Альберт же взял Паулину.

Я вошел в низкую комнатку лесорубова домишка. Альберт встал с постели, чтобы меня приветствовать. Его многоопытная почтальонская рука пошла гулять по моему рюкзаку и немедленно нащупала бутылку с охотничьей водкой. Он отпил из нее глоток и, сидя на кровати в одной рубашке, пустился в рассказы о временах, когда он служил на почте:

— На заказном письме так и пишется «заказное», ты понял? Понял ты меня? — Он глотнул еще раз и стал объяснять мне, что судебные повестки всегда отправляются с нарочным. Когда же он в третий потянул из бутылки, вмешалась старая Паулина:

— Не больше шести глотков, слышишь! После седьмого он начинает меня ревновать,— пояснила она.

Альберт поучал меня, как нужно доставлять бандероли. Молния ослепительно сверкнула, потом долго громыхал гром. Паулина пошла проведать своих коз. Хлынул грозовой дождь. Альберт сделал еще два глотка и подробно изложил мне трудности с доставкой денежных переводов. Молния ударила где-то в лесу, по этому случаю Альберт позволил себе еще два глотка.

Паулина вернулась, промокшая до нитки. Альберт в волнении двинулся ей навстречу.

— Ты рядом с кем велишь себя похоронить?

— Рядом с Отто.

Альберт воззвал ко мне:

— Ну чья она, его или моя?

Я от ответа воздержался.

— Говори, рядом с кем ты велишь себя похоронить, а?

— Заткнись!

Альберт воззвал ко мне:

— Видишь, здесь измываются над человеком!

Этого уж и Паулина не выдержала. Схватила его за рубашку и потащила в спальню, на кровать. А Альберт — тот только беспомощно загребал руками, покуда она не втолкнула его в дверь.

Некоторое время стояла тишина. Я прилег на лежанку и стал слушать, как барабанит за стеною дождь. Молния сверкала уже не так ослепительно, но в спальне вдруг возобновился могильный спор.

— Рядом с кем ты велишь себя похоронить? Ну, говори!

— Рядом с Отто, у меня уж и за место давно заплачено!

Опять загремел гром, и Альберту пришлось кричать, чтобы быть услышанным:

— Даю тебе восемь дней на размышление, поняла? Поняла ты?

Вместо ответа посыпался град пощечин. Я вскочил и бросился их разнимать.

— Убирайся отсюда! — закричала на меня Паулина.— Я же тебя предупреждала насчет седьмого глотка!

Альберт захрапел. Паулина зажала ему нос. Он ловил воздух ртом и бормотал:

— Заказная корреспонденция тоже доставляется с нарочным!

Гроза ушла дальше. Поднялся легкий ветерок. В соснах жалобно заухали филины.

Жеребенок на дожде

Нашему жеребенку было семь дней от роду. Он вертелся около матери на выгоне — воплощенное любопытство на табуретных ножках,— обнюхивал клочок бумаги, оторопев, замирал перед чернотой земляной кучки, нарытой кротом, пугался белья, бьющегося на ветру, ужасаясь своей храбрости, галопом мчался к ограде, ржал, крутился на месте, потом стремглав несся к матери, преследуемый развевающимся флагом своего хвоста.

Стена облаков встала за лесом, расползлась, раздалась вширь, и вот уже упали первые преддождевые капли. Они смочили жеребячью шкуру, и жеребенок вздрогнул: что это? — его похлопывают, дразнят. Он опустил уши, поджал хвост, брыкнулся, обнажил беззубое нёбо, глотнул дождливого воздуха, заплясал в возбуждении.

Ничуть не встревоженная падающей водой, к нему подошла кобылка-мать, прижала жеребенка к изгороди и своим телом закрыла его от непогоды.

Под защитой материнского крупа вглядывался жеребенок в дождь; увидев капли, блестевшие на проволочной ограде, он дотронулся до них губами, капли растеклись по его морде, и жеребенок стоял, как стоим мы, дивясь тому новому, что нам открылось.

Журавли

— Не успел ты уехать, как журавли прилетели,— объявил сосед, и глаза его блеснули по-молодому.

Пятнадцать журавлей пронеслось над нашим хутором. Мы претендуем только на шестерых; эти шестеро из-под самых облаков узнают место, где они вылупились на свет божий, и снижаются, в то время как весь клин летит дальше. Следующие две пары, отделившись от остальных, садятся в буреломе около озера; тянущийся на север треугольник становится меньше, стороны его — короче.

Мы сели на коней и выехали со двора, чтобы услышать первый зов журавлей и поверить в весну. Но погода стояла еще холодная, плотные облака застилали солнце, и мы не нашли журавлей на обычном их месте; там ведь не было еще ни одной зеленой травинки.

На следующий день я занимался обрезкой фруктовых деревьев, как вдруг солнце выглянуло из-за облаков и журавли стали кружить по небу. Их воинственный клич раздавался над нашим хутором, и было их восемь, а не шесть, на которых мы претендовали. Два молодых прошлогодних журавля вернулись вместе со старыми, чтобы угнездиться в наших местах.

Мы были горды, местный патриотизм взыграл в нас, а в районной газете даже было напечатано, что «у нас селится самая крупная континентальная птица».

Поздняя осень

Пламенеющие кусты стоят в лесу. Это буки в своем осеннем уборе. Коричневые и желтоватые умирающие листья, табачно-коричневые и лимонно-желтые. Ночью кусты и деревья тронуло морозом, и теперь листья падают, падают и падают. Тихое «тик», когда они отрываются, тихое «так», когда касаются земли.

Лошади стоят по самые треноги в опавших листьях. Листья пахнут, шуршат. Озера синие. Трава еще зеленая. Мы едим хлеб на краю луга. Мой сын носится по опавшей листве и поет: «Бабье лето, бабье лето, а вернее, осень...»

Сломленная гордость

Тысячи знаков подаввла весна, прежде чем прийти. Лед таял медленно, слишком медленно для рыб, и поверхность его была похожа на застывшую манную кашу.

На крупитчатом льду сидели вороны, они долбили его, расковыривали, а когда я появился на берегу, снялись и улетели на середину озера, чтобы там долбить и ковырять дальше.

Никакая курица понапрасну не скребет землю, и ворона не долбит лед понапрасну. В бинокль я увидел пяток ворон, рвущих на куски килограммового карпа, другие раздирали окуня и линей.

Что-то, видно, нарушилось в последовательности озерной весны: днем лед таял, и тепло пробуждало в рыбах жизненную энергию, но лед не лопался, так как по ночам подмораживало.

«Тут налетели добрые вороны и пробили во льду отверстия для резвых рыбешек...» — так могла бы начинаться бабушкина сказка о зверушках. Одуревшие рыбы скучились у вороньих прорубей, и вороны выхватывали их оттуда. Я насчитал пятьдесят, насчитал шестьдесят, насчитал восемьдесят ворон. Над воронами кружил сарыч, но они не гнали его, как обычно, сарыч медленно опустился на лед и заковылял по нему — точь-в-точь кривоногий господин в брюках-гольф. Вороны каркали на него, удирали от его крючковатого клюва, пробвгали под его хвостом, словом, вели себя негостеприимно, как разбогатевшие мещане. У сарыча клюв не был приспособлен для того, чтобы долбить лед; мучимый голодом, он тыкал им в воздух и, наконец, набросился на то, что оставили ему вороны, быстро все заглотал, правда, с пристыженным видом — знатный господин, у которого руки не созданы для лома и мотыги.

Вороны уже так обнаглели, что нет-нет и долбанут его клювом, а он будто даже внимания не обращает, гордость его сломлена, он тащится по льду от куска к куску.

Почки

Небо было синее, с деревьев падали желтые листья. Ветра не было, но листья все падали. Что сорвало, что бросило их на землю? Уже вонзилась в небо голая ветка. Я пригнул ее, посмотрел и увидел, что каждый слетевший лист оставил на ветке почку— яичко, из которого весной вылупится новый листок.

Маленькая фабрика

Она синяя, эта маленькая фабрика. Когда я месяц назад проходил мимо, онв была еще зеленой. В ней используются солнечные лучи. Человек тоже старается изобрести нечто подобное.

Я раскрываю маленькую фабрику. Сладкий сок льется на меня.

— Дай и мне сливу,— говорит мой сын Маттес.

Ледовая корова

Ночью над полями и над деревней ударил мороз. Размытые дождем дороги окаменели. Утром следы сапог ночного сторожа, точно отлитые в гипсе, виднелись на дорожках и тропинках. След от велосипеда мясника неоспоримо свидетельствовал: он возвращался домой нетрезвым.

День занялся над березовой рощей, закукарекали петухи, вороны полетели в деревню. Жизнь начала выплескиваться из домов и домишек. Люди шли на работу. Животноводческая бригада погнала своих коров к озеру. Бригадир вырубил прорубь, коровы, вытянув шеи, пили воду. Только одна молодая коровенка ступила на лед. Старая корова ее предостерегла: сначала «б-р-уум», потом «му-уу.... ты что, зазнавшийся осел, что ли!»

Коровенка прыгнула, вытянув хвост. Раздался треск, лед подломился, коровенка ушла под воду. Она барахталась, била ногами. Пастухи ринулись за веревками. Они прихватили еще и лестницу, легли ничком и забросили лассо. На берег они вытащили пятнистую глыбу. Что делать?

— Натрите ее водкой!

— Дорогонько встанет!

Кто-то принес денатурата из кооперативной лавки. Четверо мужчин принялись растирать корову. Упарились. Их сменили четверо других...

Наконец, помертвелая корова встала на ноги и, спотыкаясь, поплелась на скотный двор.

Настало лето. По утрам стадо выгоняли в луга. Вечером оно возвращалось в деревню.

— Вон ледовая корова идет,— говорили люди.

Ледовая корова шарахалась от любой воды. Каждая лужица казалась ей озером. Никогда больше не ходила она на водопой. Поить ее приходилось из колодца. Она стала привилегированной коровой. Глупость возвысила ее над другими.

Кресло

Во время эмиграции Брехт видел у своих знакомых в Швеции легкие, элегантные кожаные кресла. Теперь он жил в Берлине и имел свой театр. В Европе больше не шла горячая война, и Брехт мечтал (он и это умел) о шведских кожаных креслах для своего кабинета.

Немало времени ушло на то, чтобы разыскать фирму, изготовлявшую в Швеции эти кресла. Немало его потребовалось и на перевод денег, на пересылку, на улаживание таможенных недоразумений, но в один прекрасный день кресла все же прибыли, и Брехт ласково поглаживал коричного цвета кожу, хвалясь ими передо мной.

В те дни в нашей столице проходил съезд писателей, и было принято, чтобы по вечерам после заседаний иностранные писатели заходили в гости к немецким.

У Брехта среди прочих гостей находился некий литературовед, усевшийся в одно из новых кресел. Когда спор стал жарким, литературовед, жестикулируя, вылил свой ликер на новое кресло — как и следовало ожидать.

На следующий день Брехт выяснил, что пятна от ликера никак не свести с тонкой кожи.

— Вот, пожалуйста,— заметил он,— стоит только затеять спор с философом, и он, доказывая преимущества своей системы, насажает тебе пятен на кресла и на кровать.

Сапожная мазь

Лето только началось. Утренний час, но солнце где-то далеко, серое небо полно водяных паров, эти пары охлаждаются и дождем падают на землю.

Дождь идет с самого рассвета, коровы стоят под деревьями мокрые-премокрые и блестят и пережевывают жвачку.

И всегда вместе с дождем, который ливмя льется над нашими местами, приходит запах дедовой сапожной мази.

В эти летние дни, такие дождливые, что в поле не спасал даже мешок из-под картошки, накинутый вместо плаща, мы варили в черной кухне дедову сапожную мазь. Дед использовал под нее закопченный старый чугун.

Основой этой непревзойденной сапожной мази было прогорклое льняное масло, которое он копил из года в год, второй обязательной субстанцией являлась смола — сосновая, еловая и вишневая. Желательными добавлениями считались: толченый мел, немного селедочного рассола и конская моча — забота о доставке последней неизменно возлагалась на меня. Покуда я сидел в конюшне, ожидая, что какая-нибудь из лошадей выкажет готовность ароматизировать дедову мазь, сам дед выцарапывал сажу из трубы. Ему годилась только беспримесная сажа от свежесожженных дров.

Наконец мы приступали к варке. Дед размешивал содержимое чугуна, я подбрасывал в топку хворост, тотчас же сгоравший. Мы варили три часа, и вокруг распространялся запах то прогорклого льняного масла, то селедочного рассола или конской мочи, в зависимости от того, какая субстанция в данный момент растворялась над огнем.

За варкой сапожной мази дед любил сочинять стишки вроде:

Тот, у кого сапог промокнет,
Раньше времени издохнет.

В воскресенье дед намазывал свежей мазью свои ботинки, голенища сапог, а также верхнюю, кожаную, часть деревянных башмаков. Мы, дети, тоже давали деду мазать свою обувь, к величайшему огорчению матери, ибо башмак, обработанный дедовой мазью, никогда уже не блестел, он до конца своих дней оставался слепым.

«Проклятая вакса», продававшаяся в деревенской лавке, по мнению деда, никакой пользы не приносила, зато его мазь была более чем полезна — кожа, ею пропитанная, не пропускала ни капли воды. В воскресенье вечером мы, на зависть другим ребятам, прогуливались по дну мелкого деревенского пруда, играя в Христа на озере Генизаретском.

Бабушка схватила простуду. Дед утверждал, что она промочила ноги. «Все эта чертова вакса». Он стал искать бабушкины туфли, которые она от него спрятала, нашел их и густо намазал своей мазью.

Бабушка подняла крик и плюнула деду под ноги, когда собралась надеть туфли, чтобы идти в церковь. Дед смеялся и довел ее до того, что она крикнула:

— К старости совсем безбожником стал!

На деда это никакого впечатления не произвело. Безбожник так безбожник. Относительно бога у него ничего нельзя было допытаться, зато он знал уйму историй о черте, с которым, по его словам, не раз имел дело.

Бабушка, как он полагал, ходила в церковь только для того, чтобы почесать язык с другими женщинами, «тары-бары, тары-бары — вот и все ее богослужение».

Возможно, дед был прав: бабушка, собственно говоря, тоже не была религиозна, но надо же задерганной женщине как-нибудь развлечься, вот она и ходила в церковь, главным образом на свадьбы, крестины и отпевания.

В этот день дочка помещика выходит за придурковатого офицера, и бабушке непременно надо идти в церковь.

Дед отправляется в лес наломать веток для метел, поскольку лесник, надо думать, тоже в церкви. Проходя мимо «дома божьего», дед видит: слева перед входом стоят вонючие туфельки. Бабушка присутствует на свадьбе в одних чулках.

Дед поспешил домой, облачился в свой «жениховский» костюм, на голову надел шляпу с пропотелой лентой, взял с паперти бабушкины туфли и вошел с ними в церковь.

Играл орган, бабушка кашляла, прикрывая рот рукой, дед поставил перед нею вонючие туфли и вышел из церкви. Дома он немедленно переоделся.

Бабушка плакала. Ей нередко приходилось плакать из-за старого черта, чья любовь была так сурова и так настойчива.

Летающий луг

Справа и слева от уставленного цветами окна моего кабинета приделаны скворечники. В феврале в них вселяются скворцы, мои лейб-музыканты. Каждую весну выводят они птенцов в этих домиках. Пищу добывают на лугу под моим окном. Это червяки, улитки и гусеницы, которые кормятся там перегноем и травами.

Молодые скворцы разевают рты, свиристят и растут. Осенью они улетают вместе со старыми. Кусочек моего луга улетает, и зимою, нарядившись скворцом, он живет в Вогезах.

Как прав был древний мудрец, говоривший: «О боги, в мире все течет и изменяется».

Лебеди

Девять молодых лебедей было в мае, восемь их было в июне, шесть в сентябре. Кто отнял у озера трех лебедей? Коршун, лунь, большая щука?

Жизнь отняла лебедей у озера. Человек не бросает злых слов вслед жизни. Ее прожорливость он зовет смертью.

Прилет скворцов

Подул теплый ветер, и снег начал таять; два дня продолжалось таяние, и вот уже проглянула земля, и она пахла, и по двору мы ходили, словно по мокрым мешкам.

— Пусть меня назовут Ниврэ Реттамттиртш,— сказал я своим сыновьям,— если сегодня ночью не прилетят скворцы!

Сыновья поймали меня на слове. Я легкомысленно обошелся со своим отцовским авторитетом. Ночью я много раз просыпался, подходил к окну и прислушивался. Небо было затянуто облаками, и ни звука не доносилось до меня. Ранним утром, прежде чем сесть за работу, я опять прислушивался, вглядывался в темноту — возвращающихся птиц не было в воздухе.

— Ну, отец, как там дела со скворцами? — спросил меня за завтраком мой сын Маттес, но в этот момент из конюшни, где он чистил лошадей, вернулся Илья и сказал:

— К сожалению, с этим сумасшедшим именем ничего не выйдет; у соседей на телевизионной антенне сидят два скворца.

Мы выскочили во двор: скворцы сидели на антенне и посвистывали; я с благодарностью смотрел на них — как-никак они спасли мой отцовский авторитет,— но тут Илья спросил:

— А кстати, кто этот Ниврэ Реттамттиртш, клоун какой-нибудь, что ли?

Ну можно ли было признаться, что это я сам, если читать мое имя задом наперед?

Дураки

К дуракам Брехт был беспощаден. Тривиальный оборот: «Возможно, он ошибается, но добрая воля, несомненно, налицо...» — приводил его в ярость. Тех, кто **«по доброй воле»** творил зло, он не терпел. Решающим для него был результат работы, в не **добрая воля.**

Когда на каком-то совещании зашла речь о неудовлетворительной работе некоторых режиссеров и директоров театров в республике, Брехт сказал:

— Гоните их вон!

— Нельзя же выбросить людей на улицу,— заметил некий соглашатель.

— Можно,— воскликнул Брехт,— у нас улицы хорошие.

Роман

Мой роман — большой брат этих маленьких историй. Он ревнив, он толкает меня и теребит: вечно эти малыши!

Шуба

Будучи еще молодым человеком, дед купил на аукционе подержанную шубу из нестриженой овчины. Летом шуба висела у деда в шкафу; бабушка завязывала на ней рукава и до отказа набивала их травой от моли.

Случалось, что мы доставали дедову шубу из шкафа — для игры. Мы надевали ее, она нам была ниже пяток; ходить в ней было невозможно, мы стояли согнувшись, утопали в овчине.

Мы становились старше, старше становилась шуба. Наступали холода, и дед говорил:

— А ну, старуха, залатай-ка мне шубу! — Бабушка клала заплаты. Заплата на заплате — это и был верх шубы. Тому из нас, кто на телеге отправлялся в город, разрешалось надевать шубу. Когда отправлялся дед собственной персоной, он поднимал меховой воротник. Сзади казалось, что у него нет головы. Дедово дыхание ложилось на шубу. От заиндевевшей шубы пахло, как от овец в зимнюю пору.

Дед хвастался своей шубой:

— Ее ни из какого ружья не пробьешь!

— Ну полно, дедушка, полно!

— Если кому-нибудь вздумается по мне стрелять.

— Ну полно, дедушка, полно!

— Дробью, конечно.

Как-то зимой дед упал с высокого воза, груженного бурым углем. Мы испугались:

— Ты ушибся, дедушка?

— Самую малость, на мне ведь шуба надета.

Старик у меня и по сей день на подозрении: уж не соскочил ли он с воза, чтобы лишний раз похвалиться своей шубой?

Беличий хвост

Выпал свежий снег. Я пустился на поиски кабанов и обнаружил их логово, но оно было пусто. На лесной опушке я нашел беличий хвост, хвост без белки; по следам на снегу мне стало ясно, что лиса сожрала белку, а хвост бросила, как человек бросает сердцевину съеденного яблока. Но яблоко не белка. Следовательно, в запушенном снегом **сказочном лесу** разыгралась звериная трагедия.

Я прикрепил к седлу беличий хвост и дома отдал его своему сыну Маттесу. О звериной трагедии я ни словом не обмолвился. Белка просто позабыла свой хвост на опушке, как Маттес иной раз забывает в саду свою шапку.

Маттес провел мягким хвостом по своей физиономии, хвост пощекотал ему носик. Тогда он стал щекотать беличьим хвостишкой братьев, потом мать и, наконец, меня. Смех, визг, чиханье — беличий хвост снова обрел белку, трагедия переродилась в комедию, а я показался себе большим художником.

Гешоннек и я

Черт его знает, почему меня вечно путают с Гешоннеком! Одно время я думал, что все дело в наших бородах. Но Гешоннек сбрил бороду, и единственным Гешоннеком остался я.

Неважно, что я пишу книгу за книгой, пишу романы, стихи, рассказы, пьесы, все равно я остаюсь Гешоннеком. Стоит мне показаться на улицах какого-нибудь маленького городка, как останавливаются прохожие, более того, велосипедисты и даже машины.

— Вы это или не вы?

Я немедленно отвечаю:

— Это я.

— Как мило, что вы оказали нам честь и заглянули в наш город.

— Я знал, что у вас хорошо квасят капусту.

— Вы удивительно сыграли роль Пятерсхагена.

Я спешу заметить:

— А роль Матти в Брехтовом «Пунтиле», скажете, плохо? А богатея в «Кацграбене» Штриттматтера?

Люди пожимают плечами, уж очень давно это было.

В столице на станциях метро и в ресторанах у меня просят автографы. Я на них не скуплюсь и охотно расписываюсь: Эрвин Гешоннек.

Я рассказал об этом Гешоннеку. Он удивился:

— Зачем ты это делаешь?

Я отвечал:

— Мне неприятно разочаровывать людей.

— Но ведь это же подделка документов!

— Только наполовину, меня ведь, кстати сказать, тоже зовут Эрвином.

В Цёрбиге под Биттерфельдом проводилось мероприятие — показ публике артистов и писателей. Я принимал в нем участие, так же как и Гешоннек. **Интимная** часть вечера сопровождалась танцами. Гешоннек сидел у стойки бара, я, к сожалению, нет.

Меня твистили и вальсировали. Какая-то дама потащила меня в зал; немедленно смекнув, что я Гешоннек, я попытался увильнуть и пробормотал:

— Но я ведь, можно сказать, совсем не танцую.

Дама меня оборвала:

— Ах, господин Гешоннек, оставьте! Я, слава богу, видела в кино, как вы танцуете.

Я не сдавался:

— Но в фильме для меня создали особые условия: весь паркет был натерт жидким мылом.

Дама залилась смехом от того, что я был Гешоннек да еще такой остроумный. Ей пришлось убедиться, что я не умею танцевать, но она не придала этому значения, кажется, ей даже понравилось, что я оттоптал ее элегантные туфли.

Некоторое время я носился с мыслью начать сниматься в кино, но один знакомый мне отсоветовал, у нас-де неважно обстоит дело с кинематографией. Он порекомендовал мне телевидение. Но этого уже я не хотел, поскольку на телевидении играй что хочешь и как хочешь — тебя все равно не похвалят в газетных рецензиях. А я нуждаюсь в критике.

Только однажды мне удалось добиться небольшого успеха в качестве Гешоннека. Это было в перерыве одной многолюдной конференции, когда ее участники толклись в коридорах. В одной из групп стояли и мы с Гешоннеком. Две девицы из Союза свободной немецкой молодежи двинулись прямо на нас. Гешоннек заметил их приближение, я тоже, и он тотчас же объявил:

— Сейчас будут просить у меня автограф.

Девицы и вправду подошли к Гешоннеку:

— Разрешите вас побеспокоить, господин Штриттматтер.

Я немедленно скрылся за колонной, пусть Гешоннек хоть однажды побудет Штриттматтером. Прежде чем он успел разъяснить недоразумение, девушки огорошили его вопросом:

— Почему вы так дурно обошлись с женщинами в своем последнем романе?

Я не вмешался. Это была мелкая, грязная месть, месть человека **в тени.**

Но с тех пор прошло много времени, и я привык быть Гешоннеком, а собственное свое имя почти позабыл.

Тем не менее то, чем ты некогда был, злобно и тщеславно вылезает наружу, и я говорю охотникам за автографами:

— Я хоть и не господин Гешоннек, но мне достается самое трудное в его ролях.

— Ах, так это вы падаете за Гешоннека, когда он в фильме скачет на коне.

— Да, что-то в этом роде,— отвечаю я.

И, удивительное дело, они все-таки просят автограф, я пишу: **«С благодарностью, Эрвин Штриттматтер»** и вижу, что они довольны; ведь автограф человека, не сломавшего себе шею при падении с лошади, тоже чего-нибудь да стоит.

Моя деревня

Мне еще семи лет не было, когда я впервые увидел эту деревню, а жили мы за три деревни от нее. Я восседал на одолженной у дяди телеге и правил серой лошадью. Рядом сидел мой дед, и под его усами, похожими на чайку в полете, мерцал огонек сигары.

Телега была нагружена клетками, а в клетках сидели куры и кролики. Куры кудахтали, когда колесо телеги, тащившейся по песчаным рельсам, наскакивало на камень, кролики испуганно водили носами.

Из-под колес телеги непрерывно вырывались облака пыли, рассеивавшиеся над полями. Это были поля картофеля и ржи, ржи и картофеля, изредка мы проезжали мимо пшеничного поля, а не то и овсяного.

Мы оба не знали деревни, в которую въехали; дед не знал, и я не знал деревни, укрывшейся за высокими соснами, деревни, где суждено было протекать моему детству.

И не мог я в тот день предположить, что через пятьдесят лет, когда я с женой и сыновьями буду въезжать в эту деревню, мое сердце забьется еще сильнее, чем билось тогда.

То место, где растут сосны, из которых ни одна не похожа на другую, называется Леманова Жишка; рассказывают, что на этом месте пал в битве предводитель сербов Жишка. Там будто бы лежал некогда и надгробный камень, вернее, неотесанная глыба (возможно, образовавшаяся еще в ледниковый период) с изображением этого самого Жишки, но надгробие свезли в музей, а в какой город — никто не знал, да мы и не спрашивали. Не было нам дела до какого-то серба. У нас было **наше** время и **наша** достаточно пестрая жизнь.

На закраине полей позади Лемановой Жишки пчелы и шмели висли над цветущим вереском, и не было на свете деревни краше этой, когда в августе цвел вереск, когда песок долго и упорно доказывал, что при содействии этого самого вереска он красотою переспорит даже вечернее летнее небо.

В вереске изловил я свою первую ящерку, из-под верескового кустика вырыл первое шмелиное гнездо. В те времена кладбище с его бедной часовней еще не располагалось под соснами, но теперь оно существует, и летом пчелы жужжат над ним, а зимой его овевают восточные ветры, они натыкаются на могильные камни, прежде чем бурей ринуться на деревню, покорно склоняющуюся пред ними, и деду, с его усами, похожими на чайку в полете, который лежит там под геранями и бегониями, удобно поутру первому предсказывать погоду — точь-в-точь как при жизни: «Помяните мое слово, будет дождь».

В те времена мы еще провожали покойников в соседнее село, куда путь был не близкий, и сколько же песен тратили мы на эти проводы! Учитель посылал нас на похороны, чтобы мы пели песни и чтобы люди их слышали, потому что испольщики и жители гор, бедняки и безземельные крестьяне, пели мало и очень тихо — экономили дыхание для своего тяжелого труда.

Чем старше я становлюсь, тем более странное чувство меня охватывает при посещении родной деревни. Наверху, в саду мертвых, нахожу я тех, кто вместе со мною населял мою детскую и отроческую пору, и с каждым годом все больше их собирается под соснами. А внизу все больше становится людей, которых я уже не знаю, и я прохожу по родной деревне, хоть и не освистанный, но и не обласканный; только наверху в саду мертвых, чудится мне, то один, то другой, покачивая черепом, говорит: «Книги пишешь? Истории, которые кончаются убийством? Конечно, подмастерьем у пекаря много не заработаешь, но почему бы тебе не пойти работать в рудники? Книги, больно надо! Я уж стар для книг, и недосуг мне читать, и очки куда-то запропастились!»

По картофельному полю перед кладбищем весною сорок пятого в деревню вкатили советские танки. Они шли с Нейсе и держали путь на Берлин — на Берлин, расположенный от нас в ста пятидесяти километрах. Жители моей деревни, все эти старые социал-демократы, разбежались кто куда, только три или четыре семьи остались в деревне, и среди них мои родители.

Когда танки еще стояли в двадцати километрах от деревни, две пожилые супружеские пары шли по дороге вдоль картофельного поля к старой заброшенной шахте **«Феликс»**, в которой всегда стоит черная вода, черная вода с мерцающим слоем нефти на поверхности. Черная вода глубока, а никто из крестьян не научился плавать на наших песчаных полях и дорогах.

Ни один из этих четырех не был партийным функционером сумасшедшего канцлера, они не взваливали на себя никакой вины, но колченогий министр пропаганды постарался вколотить им в головы **страшный страх** перед советскими солдатами. И вот четверо обезумевших людей, связавшись за руки одной веревкой, стали медленно входить в воду; при этом они пели хорал. Один из двух мужчин был не только социал-демократом, но и руководителем районного оркестра, а также регентом церковного хора. Второй был только социал-демократом и верил в чертей и прочую нечисть. Женщины были преданы своим мужьям, и все четверо глубже и глубже входили в черную воду, покуда крутой уклон дна не увлек их в смерть. До жителей деревни, укрыв-

шихся в лесу в землянках, доносилось пение супругов, все явственное переходившее в бульканье, затем какое-то время еще слышался голос суеверного социал-демократа, и все стихло.

Ох, беда, беда, такой вот или другой, но тоже не стоящей монетой заплатили жители моей родной деревни за войну, предотвратить которую в то время, когда она готовилась, они не сумели.

Удильщики

Мой сын Маттес и его дядя отправились удить рыбу. Дядя никакой не рыболов, зато Маттес знаменитый рыболовный болельщик.

Оба уселись на дощатом мостике, перекинутом через речушку. Дядя забросил удочку, и течение утащило поплавок и леску под мост. Дядя не обратил на это ни малейшего внимания. Он немножко покурил, немножко помечтал, но Маттес, лежа ничком на мосту, не сводил глаз с поплавка.

Дядя все еще покуривал и пребывал в задумчивости, когда Маттес крикнул:

— Подсекай, подсекай, дядя, рыба взяла!

Дядя выудил отчаянно трепыхавшегося линя. Оба были в восторге, и дядя снова наживил удочку, и поплавок снова унесло под мост, а Маттес снова лежал ничком на мостике.

Таким манером они поймали еще линя, потом еще и еще, целую груду линей, и когда мы их ели за ужином, дядя сказал:

— Когда занимаешься делом, в котором ни черта не смыслишь, хорошо иметь под рукой такого проворного племянника.

Поздравительная открытка

Один учитель прислал мне поздравительную открытку. На ней красивыми буквами было напечатано изречение Брехта, щедро орнаментованное золотом. Пожелания счастья к рождеству и к Новому году. Право, можно было подумать, что дело идет о **популяризации рационализации организации** празднований.

Подумать только, Брехт на поздравительных открытках! Выходит, Брехт догнал Гете («старого пьяницу», как он его называл!). Неужто же и он теперь держит указательный палец перед носом, чего никогда не делал при жизни, или же, потешаясь над моим обалделым видом, попыхивает своей сигарой!

Это предрождественское усердие того и гляди принудит меня задуматься: не слишком ли по-приятельски и бесцеремонно я с ним обходился. Ведь он, некогда даривший своим друзьям на елку самодельные советские звезды, с году на год все выше поднимается в небесные, в рождественские сферы. Баю-баюшки-баю. Я слышу, как он там посмеивается.

Дымоглот

Я охотился на бекасов в лесном болоте, а на обратном пути завернул к Вильгельму, лесорубу. Вышло это очень кстати, Вильгельм справлял свой день рождения. Я его поздравил и выпил стаканчик водки. На празднично накрытом столе сидела стеклянная собачонка величиной с небольшую кошку. И до чего же натурально была раскрашена ее стеклянная шкура, до чего правдоподобно выглядели темные завитки, до чего черен был нос и красен язык!

Мы беседовали, выпивали, но больше всего курили. Комната стала сизой от табачного дыма. К столу неслышно подошла жена Вильгельма. Она нажала кнопочку на брюхе собачонки. Собачонка озарилась изнутри, казалось, у нее светящийся рак желудка. Я видел, как дым моей трубки медленно исчезал в собачонкиной пасти. Хозяйка пришла в восторг.

— Смотрите, смотрите, как она его заглатывает!

Вильгельм с презрительной миной оборвал жену:

— Когда я начну курить, ей не справиться.

Обиженная хозяйка ушла на кухню. Вильгельм тихонько тронул меня за рукав.

— Поговорим как мужчина с мужчиной: по-моему, таких собак делают не затем, чтобы они дым заглатывали, а чтобы приучать нашего брата к красоте.

Следы

Небо было дымно-серое. Из низко нависших облаков опустился крапчатый снежный занавес и провисел до рассвета, потом он вдруг разорвался, и через несколько секунд в воздухе парили лишь отдельные запоздалые снежинки. Великая тишь простерлась над землей.

Снег остался лежать. Я набил карманы черствым хлебом, оседлал серую кобылу и поскакал навстречу воскресному дню.

На большом кооперативном выгоне кабаны вдоль и поперек изрыли большую часть луга. Следы их отступления извилистыми путями привели меня на так называемое конское угодье. Шестеро кабанов залегли там и переваривали пищу. Я мог бы выдать их охотникам, но сегодня было воскресенье, рождество, и вдобавок они за ночь очистили кооперативные луга от множества вредителей.

В лесной чаще стояла синеватая тишина. Я заметил след лисицы, понял по нему, что она охотилась за мышами на болоте, но потом устремилась по заячьему следу.

Веточки черники и вереска прокалывали снежную пелену, а годовалые сосенки на лесопосадке, словно белые морские ежи, рядками ползли по заснеженному полю. Снежные покровы на кустах ежевники вдруг засияли — взошло солнце.

Теперь сверкали и могучие сосны на пустоши, называвшейся у нас Большой землей, и солнечный свет хлынул из все разраставшихся дыр в облаках, и снег, приняв в себя этот свет, отразил его, так что мне пришлось закрыть глаза, чтобы нестерпимое сияние не опалило их.

Я снова въехал в лесную чащобу, тишина теперь была темно-синей. Я увидел оленьи кучки в вереске, олени разбросали их ночью во время пастьбы. Множество кучек лежало среди торчащих травинок, и чем больше я оглядывался по сторонам, тем больше их видел.

Немалый путь прошли за ночь олени. Они пересекли буковые леса возле Немицозера и вернулись обратно. Большой олень отпечатал свои следы на свежем снегу. Углубления, оставленные его копытами, были едва ли меньше тех, что оставляла моя молодая кобылка, бежавшая за своей оседланной матерью.

В последнее время я часто встречал это стадо и большого оленя, его вожака, с рогами о двенадцати концах. Он никогда не обращался в бегство при моем появлении на лошади, нет, он величественно уходил, и стадо покорно следовало за ним.

В это утро олени не повстречались мне, но по их следам на снегу я узнал, как они его провели.

Насколько же труднее прочитать по следам людей, что они делают, что оставляют после себя, подумал я, но мне предстоял этот труд, и я был счастлив.

Майский ветер

Посвящается Резо Каралашвили

Иногда, прежде чем заснуть, я слышу, как ветер шумит в саду. Он налетел с юга, облизал горы, разорвал над отстраивающейся столицей дымное небо, связанное на спицах труб, огладил новые высокие дома и насквозь продул коподцы дворов.

Сейчас, чреватый дождем, он пронесся над моей деревней, одним прыжком перемахнул через крепостные валы лесов в зеленеющую травой долину, и я слышу, как там, в плакучих ивах над ручьем — этим тонюсеньким корешком моря — он шепчет о надежной укрытости нашего исторического детства.

И я с радостью прислушиваюсь к этому дуновению из садов ранней юности, которое и в пору старения может подарить тебя доверием мира, ибо невозвратно лишь то, чему мы, страшась усилий, позволяем затеряться в прошлом.

Дрессировка наслаждения

Мы беседовали о курении. Он курил сигары — беспрерывно, но затягивался только, когда был взволнован.

— А разве получаешь удовольствие от курения, когда не затягиваешься?

— Для того чтобы получать наслаждение, надо тренировать нервы вот здесь,— Брехт дотронулся до своих губ.

— Значит, и наслаждение сигарой поддается дрессировке?

— Так же как наслаждение искусством.

По грибы

Мы идем в лес. Маттес нахлобучил «взрослую» шляпу. Шляпа ему велика. Он подвязал ее бечевкой под подбородком, теперь уж она не слетит, даже когда Маттес будет нагибаться.

Лес шумит. Где-то вдали урчит моторная пила. В сером мху стоит большая червивая волнушка.

— Я лучше буду называть тебя обманушка,— говорит ей Маттес.

Мы выковыриваем из земли маслят, Маттес раскладывает их маленькими кучками. Он называет себя «конторой по заготовке маслят». Я очищаю грибы от земли и кладу в корзину. Для Маттеса я — «закупочная контора».

Из-за деревьев выскакивает заяц, наш пес бросается за ним. Заяц смеется. У пса куда как коротки ноги. Маттес морщит лоб:

— Надо бы приделать ему ходули!

Так мы ищем грибы и болтаем, а когда молчим, шелестят деревья, и желтые листья падают на мягкий мох.

Трубка

Все, что дед вычитывал из крестьянского календаря, было для него **чистейшей правдой.** То, что писалось в газетах, было отчасти правдой, отчасти враньем. В книгах рассказывались выдуманные истории, а дед и сам мастер выдумывать. К примеру, сидя на козлах, он распевал под скрип телеги:

Над липою высокой
пчела и шмель жужжат...

Если мы заставали деда за сочинением стихов вслух, он издавал звук вроде «чи-рк, чи-рк, чи-рк», словно все это зачеркивая, смотрел на нас и произносил:

— Да, да, так оно есть, так оно есть!

Деревенские жители считали, что если уж крестьянин-бедняк стишки сочиняет, значит, у него не все дома.

Вечерами, только вечерами, дед курил свою длинную трубку. На ее фарфоровой головке был изображен лесной ландшафт: среди ядовито-зеленых деревьев трубил олень, и дыханье клубами пара вырывалось из его рогов.

Трубка эта некогда принадлежала учителю, и дед гордился ею. Он приобрел ее на аукционе заодно с деревянным креслом. То и другое осталось от учителя из Клейн-Партвица, родной деревни деда. Фамилия учителя была Копецкий, и, по мнению дедв, он был лучшим знатоком птиц во всей Германии. «Он любую птицу умел передразнить, сам, видно, был как птица». Дед выпускал в комнату синеватые облачкв дыма. Курил он всегда табак крупной резки, самый дешевый, который маленькими пучками покупал в районном городе у торговца сигарами. Сестры и я резали табак дедовым охотничьим ножом, до которого в другое время и дотрагиваться не смели.

Готовые спички были слишком коротки для глубокой дедовой трубки, но прежде всего были **вредны,** поэтому мы сами фабриковали серные спички, когда бабушка уходила почесать язык к соседке. Времени у нас на это дело было вдоволь, потому что бабушка любила поболтать, хотя, по утверждению деда, и болтала одну только чепуховину. Охотничьим своим ножом дед откалывал от соснового полена лучинки длиною в два пальца, а в это время на раскаленной плите в старой кастрюле растворялись комочки серы. Сера была **всем полезна,** если верить деду, а мы ему верили, потому что он сам неколебимо верил в то, что говорил. Он откусывал кусочек серы от катышка и съедал его, мы тоже съедали по кусочку, даже не поморщившись.

В лаборатории алхимика, верно, никогда не воняло так, как в дедовой комнатушке, когда закипала сера. Мы окунали кончики связанных пучком лучинок в жидкую серу, и капли ее, затвердевая на воздухе, превращались в желтые жесткие комочки.

Для того чтобы зажечь серные спички, нужен был либо огонь, либо раскаленная плита, поэтому дед мог курить свою трубку только неподалеку от печи.

Нарезанный листовой табак в кисете висел на двери. Моя мать еще девочкой стачала этот кисет из лоскутов ко дню рождения деда и расшила его пестрыми бусинками. «У нашей Лены руки золотые»,— вероятно, сказал дед, разглядывая подарок.

Нам тоже разрешалось курить дедову трубку, если у нас болели зубы. А зубы у нас болели, когда в школе задавали выучить наизусть книги Ветхого Завета — Исайя, Иеремия...

Дед следил, чтобы мы подольше держали во рту дым, выкуривавший зубную боль. Это лечение, как правило, заканчивалось тем, что на лицах пациентов проступала смертная бледность, а потом их рвало. Зато этих явлений было достаточно, чтобы на законном основании пропустить школу.

Каждый год в рождественские дни приходил новый календарь. В нем указывалось, когда в нашем округе будет ярмарка рогатого скота, лошадей или мелочных товаров, там же были и предсказания погоды, заимствованные из **Столетнего календаря.**

Однажды в разгар сенокоса, когда календарь сулил хорошую погоду и сено уже почти высохло, разразилась гроза, и оно погнило. Дед открыл ящик, выхватил оттуда календарь и швырнул его за окно на дождь:

— Что ты наделал, лгун несчастный, пропади ты пропадом!

Бабушка принесла календарь обратно. Худо-бедно, он стоил восемьдесят пфеннигов. И стала за него заступаться:

— С каждым может случиться, что он раз в жизни соврет.

— С тобой может, а со мной нет,— отрезал дед.

Истории, напечатанные в календаре, он за год прочитывал по много раз, некоторые куски из них даже знал наизусть, в первую очередь те, в которых говорилось

о ненавистных ему пруссаках, или о лицах, павших от руки убийцы, или о тех, что сами наложили на себя руки.

Когда безродный приказчик мясника повесился в нашей деревне, дед процитировал следующие строки из календаря:

— «Он не видел больше своей страны, а только злобные людские языки и допустил, чтобы люди травили его. Он стремился к теплу материнских рук, но матери у него больше не было, тогда он взял пеньковую веревку, обвязал шею и ушел из мира...»

Календарь помещал также и объявления, предлагавшие вниманию читателей двусмысленные книги: «Свободная любовь» или «Брак и нужда», «Как научиться японским способам самозащиты» или «Джентльмены курят только сигары «Бремер Кейле».

Объявления деда не интересовали. О них он отзывался: «Дрянцо, и все тут». **Но советы как себя вести в дни хорошего и плохого самочувствия** он читал с превеликим усердием, хотя никогда не был сколько-нибудь серьезно болен. Он поставил себе целью дожить до глубокой старости, во-первых, чтобы увидеть, станут ли его внуки **богатыми людьми**, а во-вторых, чтобы бабушка, которую он считал особой легкомысленной, не растранжирила его наследства.

В год, о котором я рассказываю, календарь напечатал статью **о вреде курения.** Дед с той поры бросил курить и трубку унес в кладовую. Нам он рассказал, что в табаке водятся зверьки, так называемые **никотины,** которые вместе с дымом входят в легкие и в желудок человека и постепенно его убивают. Бабушка от возмущения даже сплюнула.

Без трубки зимние вечера казались деду слишком долгими. Он научил нас играть в карты — в дурака и в шестьдесят шесть. Мы сделались заядлыми картежниками и играли не только в школе, но и в церкви во время проповеди, укрывшись за органом. Так, ни на миг не ощутив тяги к покаянию, которую пытался привить нам пастор, прожили мы зиму.

Не знаю, что произошло за этот год в редакции календаря, возможно, фирмы, в своих объявлениях заверявшие, что сигары **«Бремер Кейле»** и табак **«Черный Кнвстер»** — высшее наслаждение в жизни, пригрозили затеявшей эту антиникотиновую кампанию редакции не давать больше объявлений — так или иначе, но в следующем календаре появилась статья, в осторожных выражениях смягчавшая несколько слишком суровый запрет прошлого года. Курить с оглядкой, разумеется, можно, да, да, так и было написано, в особенности сигары и трубку, важно только держать трубку в чистоте.

Дед тотчас же принес свою трубку из кладовой и снова стал курить, правда, отныне он каждый день длинной проволокой чистил ее во дворе над бочкой для дождевой воды, а потом весь день сушил на печке, чтобы закурить вечером.

Все вошло в колею: мы опять резали табак и, к неудовольствию бабушки, изготовляли серные спички, а дед, чуть попыхивая трубкой, зимними вечерами высасывал из нее множество историй, которые и доныне волнуют меня.

Глазированный войлок

Под седло коню подкладывается потник, как правило, войлочный.

Однажды зимою случилось так, что я должен был оставить потник в лесу. Я закопал его в снег, но прийти за ним смог только через неделю. Я опасался, что лиса найдет его и утащит. Тем не менее я его сыскал, выкопал и убедился, что даже полевая мышь ни кусочка от него не отгрызла для своей норы. Войлок покрылся серебристо-серым слоем инея; мне так и не удалось его скатать и засунуть в рюкзак — слой инея был тверд, как стекло. Я было попробовал опустить его в реку, но вода стекала с глазированного войлока, как с дождевика, не пропуская внутрь ни единой капли.

Раздумывая над этим внезапным открытием, я вспомнил, что о водоотталкивающих свойствах промерзшего войлока читал у русского писателя Пришвина. Пришвин пишет, что его дед Михаил с вечера обливал водой свои валенки и на ночь выставлял на мороз, чтобы сделать их непромокаемыми. Прочитав этот рассказ Пришвина, я подумал, что неплохо было бы и мне таким способом сделать свои валенки непромокаемыми.

Что только не запечатлевается иной раз в памяти из такого вот маленького рассказа, чтобы всплыть при какой-то неожиданной оказии. Или это и есть **постоянно воздействующая** сила литературы, о которой говорят ученые мужи?

Правдоподобие

«Когда я спешился и оставил свою кобылку пастись на опушке леса, мушиная служба связи разнесла следующее сообщение: свежая лошадиная кровь доставлена на опушку».

или

«В воскресенье после полудня я выехал верхом. На опушке леса я оставил пастись свою кобылку. Мухи учуяли лошадиный дух. Они налетели на кобылку и стали сосать ее кровь».

Эту историю я рассказал своему сыну Маттесу в двух редакциях, сказочной и естественно-научной, и когда я спросил, какая из них лучше, он сказал:

— Конечно, вторая. Она больше похожа на правду.

По виду часто не скажешь

Мы говорили об одном режиссере, его ученике.

— Он сын рабочего,— сказал кто-то.

— По его виду не скажешь,— заметил я.

Брехт сказал:

— По виду часто ке скажешь, запомни это.

Он не терпел физиогномических сужденнй и был склонен к нллюзиям. Ученик вскоре ушел от него и стал угождать вкусам наших классовых врагов.

Это опечалило его, мыслнтеля Брехта.

Петушиный шаг

Шестого января, в крещенье, день на петушиный шаг длиннее, чем в рождество, утверждал дед.

Наш петух прусским парадным шагом маршировал по двору: раз-два, меньше десятой доли секунды, вот и весь петушиный шаг. Дед снисходительно улыбался: он имел в виду не время, потребное на петушиный шаг, а его длину в сантиметрах. Мне было предложено в первый день рождества провести на снегу черту в том месте, над которым в полдень стоит солнце, н затем сделать то же самое в крещенский полдень. Обе черты будут отстоять друг от друга на длину петушиного шага.

Шлн годы, жизнь основательно меня потрепала, житейский опыт далеко оттеснил дедовы премудрости, но однажды зимой я измерил **петушиный шаг**. Слова деда не подтвердились, и за полнолунием, вопреки его пророчествам, тоже не последовали морозы, и урожай ежевики не явился признаком грядущей суровой зимы.

С некоторого времени я убедился, что и мы пичкаем своих внуков дедовыми премудростями, например: машины в корне изменяют человека. И давайте не будем улыбаться, если они не очень-то нам верят.

Шляпа

Мы собнрались ехать в Голландию.

— Нам с тобой надо бы пойти купить мне шляпу,— сказал Брехт.— В шляпе лучше переезжать через границу.

Я принял это за шутку и рвсхохотался; он мне ответил улыбкой.

Мы приехали в Ахен.

— Теперь самое время позаботиться о шляпе,— заметил Брехт.

И только тут я почувствовал, что к покупке шляпы он относится весьма серьезно; мне вспомнилось то место из «Тересы Каррар», где фигурирует рабочая фуражка, по которой стреляют реакционеры.

Мы отправились покупать ему шляпу. Магазин был завален шляпами — от «обывательских» котелков до цилиндров. Сначала Брехт примерил шляпу типа «спортивная», подошел к зеркалу и уставился в него широко открытыми глазами, словно удивляясь себе самому. На меня была возложена роль экспертв. Эта шляпа показалась мне не в мвру игривой, такую он не стал бы носить даже в юношескую пору.

Примерил другую, нечто вроде народного головного убора. В этой он выглядел как гангхоферовский бродяга. Нет, и того хуже. Затем он начал примерять серые шляпы всевозможных оттенков. Ни одна ему не подошла, очень уж узкие у них были поля.

Ретивый продавец ке желал упустить покупателя. Он послал на склад. На прилавке появились все виды мягких, а также широкополых «артистических» шляп. Брехт примерял и примерял, таращился на себя в зеркало и требовал моего суждения. Нет, нет, не годится, я не представлял себе Брехта без серой суконной кепки.

— Найти бы такую, как у Валентинв,— сказал Брехт, неутомимо продолжвя примерять шляпы. В мягких шляпах он походил на плохо замаскированного взломщика, в особенности когда таращился на свое отражение в зеркале.

Он уже решил пойти поискать другой шляпный магазии, но я отсоветовал. Мне казалось, что мы пересмотрели модели всех мужских головных уборов на свете, включая пресловутые техасские шляпы.

Не желая, чтобы старания продавца пропали даром, Брехт решил купить хотя бы галстук. Все галстуки в магазине были, однако, пестрые, согласно тогдашней моде. А Брехт любил серые.

Один из продавцов опять пошел на склвд и принес свмые старомодные галстуки, какие только имелись в магазине, среди них даже самовязы. Из всвй этой груды Брехт вытащил один — светло-серый.

— Этот еще куда ни шло, только все-таки пестрый.

Но, увы, все галстуки вожделенного серого цвета оказались самовязами. Я опять ему отсоветовал. Наконец, Брехт из всех светло-серых взял самый темный.

Продавец уже собрался вздохнуть с облегчением, но подавил вздох и откашлялся. Не дав ему завернуть покупку, Брехт схватил галстук и запихал его в карман пиджака. Продавец взглянул на Брехта, как на человека, вздумавшего есть клубнику с ножа.

Мы приехали на границу. Западногерманский полицейский проверил наши документы. При этом он оглядел с ног до головы и с головы до ног Брехта в измятой тужурке и потертых штанах и меня в кожаной мотоциклетной куртке. Затем тоном прусского фельдфебеля вопросил:

— Что, вы писатели? В такой-то одежонке? — Он снова заглянул в документы.— А, из восточной зоны, ну знаем, что вы там пишете.

Я взбесился и запретил ему разговаривать в таком тоне. Брехт весь дрожал от возмущения, но молчал. Нас пропустили через границу, и Брехт, покачав головой, проговорил:

— Да, будь у нас шляпа...

Смерть деда

Дед дожил до девяноста лет, и мне думается, что не старость свалила его, а голод. Когда **наконец окончилась** вторая мировая война, затеянная немецкими **сверхчеловеками,** дед лежал в постели, изголодавшийся, обессиленный, и по часам и календарю — навигационным приборам, которые и прежде вели его сквозь многотрудную жизнь,— определял свой смертный час. Со смертного одра он не глядел в окно на столетние дубы, обступившие деревенскую поляну, потому что дожидался внуков и не спускал глаз с двери, а рядом с дверью висели часы. Без очков дед уже не видел ни циферблата, ни стрелок, но каждые полчаса слышался резкий металлический бой, деливший на малые отрезки оставшееся ему время. Всякий раз, когда чугунные гири в форме еловых шишек опускались ниже буфетной доски, на которой стояла жестянка с хлебом, он кричал: «Подтяни-ка гири, старуха!»

Время от времени дед требовал, чтобы ему принесли календарь из ящика стола. «Календарь!» Он смотрел, долго ли еще до весны, и бушевал, когда подходило время сеять овес, а в соответствующих учреждениях, сбитых с толку послевоенными трудностями, никто еще не помышлял о севе.

Бедная бабушка с ног падала, он то приказывал: «Перестели постель!», то «Картошку сюда!». Иногда дед съедал в один присест целый горшок картошки в мундире, а иногда одну-единственную картофелину. Главное, чтобы еда подавалась в ту минуту, когда он ее требовал. Случалось, дед спрашивал свою сучковатую палку и, тяжело ступая, тащился в кухню, чтобы придать больший вес своим приказам и припугнуть бабушку.

Обычно дед палкой не пользовался, всю жизнь он был статным, подвижным, и волосы у него оставались густыми и темными, покуда он не свалился. Купил он ее, как и некоторые другие вещи, с аукциона. Палка была господская, с маленькой серебряной пластинкой под плоским набалдашником. Дед понимал, что был бы смешон, отправляясь с нею в лес по грибы. Его радовало, что он может **завещать потомству такую роскошную палку.** Как знать, может, один из его внуков станет важным **господином;** в случае, если бы это не сбылось, палка должна была достаться мне, как старшему внуку.

Но однажды в дом явился некий юноша, вознамерившийся унести дедов навигационный прибор — старые часы с чугунными шишками. Это был молодой поляк, во время войны угнанный фашистами в Германию; теперь он держал путь назад, в свое разоренное отечество. Он вошел в дом и, не обращая внимания на больного старика, стал смотреть, чем тут можно поживиться. Затем он принялся распихивать по карманам все, что попадалось под руку, и дед его не останавливал, но когда молодой человек потянулся за часами, дед — откуда только силы взялись — вскочил с постели. Размахивая палкой, он двинулся на незваного гостя. Наверно, в этот миг парню показалось, что все россказни о привидениях, когда-либо им слышанные, вдруг обрели плоть и кровь. Так или иначе, он пустился наутек, хотя мог бы одним пальцем сбить старика с ног.

Дед барабанил в пол, покуда снизу не прибежала бабушка, поначалу куда-то забившаяся со страху, и даже потом немного прихвастнул:

— К часам подбирался, поганец здакий, они еще мне самому нужны.

К смерти дед готовился, словно к большой работе. Он умирал долгие месяцы и постоянно, каждый день, каждую ночь был начеку; время от времени он кричал: «Э-ге-ге, вот уже явилась за мной! Эй, ты, лысая сука, я тебе еще покажу!» Угрожая невидимой гостье, дед размахивал палкой, и эти энергичные движения снова и снова возвращали его к жизни. Он кричал и стонал на весь дом, так что моя мать по ночам затыкала уши ватой. Чашки и плошки, кувшины и тарелки приходилось убирать в безопасное место, подальше от дедовой палки.

Я приехал из Тюрингии, где тогда работал, и еще на крыльце услышал дедову предсмертную ругань. Войти в его комнату я не решился; я умею помогать страждущим животным, но у меня руки опускаются при виде физических страданий человека. Даже слов утешения не находится, на меня словно столбняк нападает, и непонятно, откуда он берется; временами мне кажется, что это просто трусость.

Сгорбившаяся, вконец запуганная бабушка на минутку сбежала вниз, чтобы поговорить с нами о чем-то неотложном, и тут же, вслед за отчаянными чертыханиями деда наверху послышался глухой звук падения. Желая наказать бабушку за краткую отлучку, дед вывалился из кровати.

Мы бросились наверх. Он лежал на полу, лицом вниз, кричал и проклинал бабушку — скелет в белой с голубыми полосками бумазейной рубахе, кожа и кости,— лежал на полу, изрыгая проклятия.

На меня опять напал столбняк. Я смотрел, как мой брат поднимает с пола скелет нашего деда, но когда он уложил его на кровать, живой труп узнал меня:

— Я здесь помираю, а тебя где-то носит, забыл, что я спас тебя, когда ты был капельным мальчонкой!

Дед сказал правду: он выходил меня, когда я, еще грудным младенцем, болел воспалением легких, а мать лежала в родильной горячке; день и ночь сидел он около моей кроватки, покуда я, первый его внук, не выздоровел.

Теперь дед весь свой гнев, все свое разочарование обрушил на меня и громогласно объявил, что мне его палка не достанется. На кой черт бродяге палка с набалдашником? Ее получит мой брат, крестьянин, после земельной реформы владеющий двадцатью моргенами; по мнению деда, он имел наибольшие шансы сделаться господином.

Я стоял возле смертного одра деда недвижимо, безмолвно.

Мне надо было ехать дальше, и я не видел, как умер дед, но его проклятия годами звучали у меня в ушах, когда мне вспоминалось детство — поэтическое благодаря деду. Однажды я начал писать рассказы о нем, и каждый рассказ был просьбой о прощении за мое тогдашнее молчание.

Комиссар

Чего только не пытаются внушить читателям репортеры различных западных газет! После премьеры моей деревенской комедии «Кацграбен», поставленной Брехтом, западногерманский журнал под названием «Шпигель» сообщил, что меня вообще нет и не было, а моя фамилия — псевдоним, под которым Брехт ставит в театре современные восточногерманские пьесы.

Несколькими годами позднее в этом журнале был напечатан разбор моего романа «Чудодей», со ссылкой на критическую статью о комедии «Кацграбен», появившуюся на его страницах несколько лет назад. Итак, если верить журналистам из «Шпигеля», выходило, что и этот роман написал Брехт, хотя его уже давно не было в живых.

Приехав в Амстердам на писательский съезд, мы с Брехтом зашли в книжный магазин. Продавец узнал его, а меня принялся разглядывать. Затем вдруг исчез, возвратился с газетой в руках и попросил Брехта прочитать одну статью. В ней говорилось, что восточногемецкие власти, **против ожидания** разрешив Брехту выехать в Голландию, однако послали с ним комиссара под видом шофера. Продавец, наверно, симпатизировал Брехту, так как за переодетого комиссара принял меня, а я на беду еще был в кожаной куртке.

Брехт расхохотался, прочитав статью, и сказал:

— Ну, на этот раз они у меня попляшут!

Началось заседание. Брехт сидел в президиуме. Съезд оценил его присутствие. Ему воздавались почести, но всякий раз, когда должна была быть принята резолюция, он говорил:

— Повремените немножко! Мне еще надо пойти спросить своего комиссара!

Он, говоря на профессиональном языке, устраивал **большое витре**, подходил ко мне и спрашивал:

— Можно мне?..

Очки

У бабушки стали летать мухи перед глазами. Глаза уже не видели пылинок на воскресной блузке и не видели игольного ушка. Мы, дети, теперь вдевали нитки, когда она садилась шить или штопать.

— Очки, что ли, завести? — однажды сказала бабушка.

— Чтобы язык чесать, очков не требуется,— отрезал дед.

Однажды бабушка вместо перца всыпала в брюквенный суп порох, который дед хранил в кухонном шкафу для весенней охоты. Дед сплюнул, и кусочки брюквы разлетелись по комнате.

— Эта старуха меня отравить задумала! — Кастрюля с супом полетела за окно.

Очки для бабушки стали насущной необходимостью. Дед дал ей свои, ему уже не годившиеся. Очки оквзались ей не по глазам.

— У меня от них голова кружится,— заявила бабушка.

— Ясное дело,— заметил дед,— в очках и головокружение видней.

Бабушка обиделась. С почтовой повозкой она уехала к брату в районный город и пробыла там с неделю. Дед, любивший сутяжничать, написал ей письмо: «Настоящим я, нижеподписавшийся, требую, чтобы ты немедленно возвратилась по месту жительства, в противном случае мною будет вчинена жалоба! Маттеус Кулька, крестьянин». А нвд текстом письма он написал: «Последнее напоминание».

Бабушка приехала с очками. Большие круглые стекла в никелевой оправе блестели справа и слева от ее носа-пуговки. Бабушка, точь-в-точь похожая на маленькую сову, пошла по деревне. Онв заходила ко всем своим приятельницам-кумушкам и рвссматривала их через очки.

— Господи, Берта, до чего же ты старая стала за то время, что я у брата была!

Кумушка, в свою очередь, уставилась на бабушку.

— Господи помилуй, очков целый центнер, а нос — пуговкой.

Бабушка вернулась со своего обхода явно недовольная.

— До чего они все старые и морщинистые, а я какой была, такой и остапась, двже неудобно делается! — В очках она посмотрела на себя в зеркало и приумолкла; потом встала боком, опять себя оглядела и вовсе замолчала.

— Аминь! — сказал дед.

Бабушка тут же сняла очки и с тех пор надевала их только, когда штопвла чулки или готовила обед.

Шерошница

Я писал за своим столом, а в саду играл майский орган. Черные дрозды начали концерт, вслед зв ними вступили скворцы, немного погодя лейтмотив подхватили кукушки и удоды. К полдню в партитуре уже преобладали мягкие пчелиные басы.

По случвю воскресенья я оседлал свою кобылку и, проезжая мимо рябин, с удивлением отметил, что ее серо-серебристый цвет перекликается с пушистым мврцвнивм молодых рябиновых листьев.

Я спешился у озера со своенравно-извилистыми берегами и не увидел там ни одного рыболова. Может, нынче и рыболовы, сидя дома в чудесные майские дни, смотрят через какой-нибудь аппарат на двльние дали, пренебрегая их прекрасной близостью?

Я ехал мимо зарослей шиповника, мимо лугов, цветущих кислицей, и видел, как листья папоротника комочками выкатываются из земли. Две молодые чайки кружили над озером, высматривая добычу; при моем появлении они переглянулись и улетели нв противоположный лесистый берег. Где-то закричал коростель, словно в ответ проскрипел что-то дрозд, а вдали залилась иволга. Стаи лесных скворцов, когда я подходил, взлетали с приозерных лугов, а пахучвя юнвя листва нв бврезах отливала квраМельно-зеленым цветом. Под раскидистыми кронами бука было еще светло. Еще не воцарилась под ними летняя сумеречность.

Я искал растение — запах его я знал и знал вкус его сока, но до сих пор видел его лишь на празднично убранных столах, не в лесу. Каждое лето я искал его, искал не только в родных краях, но в Баварии, в Тироле, в Тюрингии и всегда понапрвсну. Твпврь я пустился на поиски шерошницы в мекленбургских лесах.

Моя кобыла шла шагом, а я, свесившись с седла, продолжал искать: я видел кустики черники, совсем еще низенькие, и земляничные листочки, молодую траву и снова кислицу и шиповник, но шерошницы не нашел. На этот раз еще не нашел.

Может, я и в будущем году не сыщу шерошницу, но стоит ли печалиться об этом? Многого не доведется мне увидеть из того, о чем я мечтал в юные годы: я не увижу твйги и таежных тигров, не увижу ледников Исландии и арабской пустыни, животных, нв ведающих страха перед человеком на Галапагосских островах, и лесов на далеких плвнетах. И чем старше я становлюсь, тем меньше меня это огорчает, ведь и о том, что встречается мне на каждом шагу, я не успеваю толком поразмыслить, нет у меня времени даже досыта нарадоваться тому, что я вижу, нет времени все это претворить в мое слово.

К семидесятилетию Арагона

Поэзия нашего времени

Арагон. Рисунок Анри Матисса (Ницца, 1942 г.)

О своей поэме «Неоконченный роман» Арагон сказал: «...неоконченный, как жизнь, как моя жизнь».

Было бы странно — даже по торжественному поводу — подводить юбилейные итоги этой бурно идущей жизни. Хочется еще раз внимательно вглядеться в ее течение, прислушиваясь к голосу, который немало поведал нам — в поэмах, романах, исследованиях — о судьбе современного художника.

До сих пор есть еще критические работы, в которых творческая молодость Арагона предстает отчужденной от широкого потока литературной жизни, в рамке таких уже далеких течений, как дадаизм, сюрреализм. Столь же узка та рамка, в которую стараются втиснуть творчество Арагона критики, «проскакивающие» дадаизм и сюрреализм, как заминированное поле. К счастью, работы последних лет позволяют нарисовать реальный путь Арагона, весь горизонт творческих его исканий: вспомнить духовную близость шестнадцатилетнего лицеиста с Жан-Кристофом, героем эпопеи Роллана, в котором Арагон признал вдохновляющее новаторство; вспомнить непоколебимую верность традиции, особенно Стендалю, Гюго,— без этого молодой Арагон не мог бы так плодотворно осознать значение поэзии и прозы не признанных казенной педагогикой авторов: Лотреамона, Рембо. Кстати сказать, в приобщении этих поэтов к живой французской литературе была несомненная заслуга молодых друзей Арагона: под крайними лозунгами, весьма преходящими, они работали над обогащением наследия непреходящими ценностями, а также расправились с бескрылой мещанской поэзией.

Творческий путь Арагона шел «поверх барьеров» отдельных школок навстречу мировому движению революционной литературы, которое ширилось в начале тридцатых годов. Участие в этом движении было неразрывно связано с приобщением к советской культуре.

«В 1930 г.,— вспоминает Жорж Садуль,— мы трое — Арагон, Эльза и я — встретились в Москве накануне 13-й годовщины Октября. Арагон был приглашен на 2-ю Международную конференцию революционных писателей, открывавшуюся 6 ноября в Харькове. Конференция памятна многими обстоятельствами и событиями. Я упомяну здесь только о тех, которые непосредственно относятся к поэзии Арагона». И далее Судаль описывает «ноябрьский день на Днепрострое, когда жизнь Арагона... решительно повернулась». «Кажется, еще на Украине,— продолжает Судаль,— Арагон сказал мне, что задумал поэму... что каждая из частей поэмы будет защищать лозунги СССР. Свою поэму он закончил еще в Москве и назвал ее «Красный фронт». Эти слова, сопровождавшие знаменитое приветствие антифашистов, звучали в поэзии паролем.

И так же, как встреча с Днепрострое, по очень верному замечанию Садуля, была событием, непосредственно относящимся к поэзии Арагона, так сама его поэзия, его произведения становились событием в борьбе за коммунизм, за строительство коммунизма. «Красный фронт», как и знаменитая поэма о строителях пятилетки «Ural Ural!», подготовлял грозное цветение поэзии Сопротивления, в которой Арагон был поистине запевалой и вожаком. С тех пор как Арагон — «поэт Родины», по выражению Тореза,— включил в свою поэзию могучие токи народного эпоса, одновременно входя в интернациональную поэзию XX века, все яснее обозначалась синтетичность творческих замыслов Арагона или, если угодно, энциклопедичность. Эпилог прошлого века и четыре десятилетия нынешнего охвачены в двух магистральных и взаимосвязанных циклах — «Реальном мире» и эпопее «Коммунисты».

В последний период характерные черты творчества Арагона — поэта, романиста, мыслителя — особенно полно воплотились в романах «Страстная неделя», «Гибель всерьез» и в поэме «Меджнун Эльзы». Сейчас, как никогда, виден подвиг поэтического труда и вдохновения, соединивший ароматные потоки арабской поэзии — при строгом учете во французском стихе ее законов и обычаев! — и самое современное знакомое звучание поэзии Арагона. Нельзя без волнения слушать в поэме перекличку светловской «Гренады» с арабскими напевами и раздумьями далеких времен... Далеких, но и близких чем-то, ибо это были времена трагических боев, которые вели арабы с войсками испанца Фердинанда. Чувство интернационализма окрашивает собою и поэму «Поэты» и дружескую «Элегию Пабло Неруде».

В романах, названных выше,— снова образы художников, поэтов. Они сосредоточивают в себе идейные конфликты и творческие свершения, рожденные служением самым высоким идеалам, во всей их чистоте. Тем идеалам, ради которых творит и борется писатель-коммунист Арагон.

В трудные годы в ответ на призыв партии «создать памятник» героям и мученикам Сопротивления Арагон создал произведение, вошедшее в золотой фонд современной передовой литературы. Он подписал его словами «Свидетель мучеников».

Быть свидетелем своего времени, чьи показания силою таланта, мужества, правдивости останутся нетленными, получат подтверждение потомков,— это дано лучшим художникам. Это дано Арагону — писателю нового типа, принадлежащему всецело нашему веку, трибуну, борцу, просветителю, партийному деятелю.

Так Арагон-историк пользуется языком поэзии в создаваемой им истории СССР. Тот же голос глубокого знатока советской культуры и свидетеля ее развития слышен в обширном исследовании Арагона «Советские литературы».

Образ Арагона, нашего друга, писателя-коммуниста, друга молодежи, неполон, если не сказать о нем как о вдохновителе важнейшего начинания — перевода и издания во Франции произведений многонациональной советской литературы.

Знаменательно звучат сейчас слова Арагона, сказанные в связи с разработкой величественных планов коммунистического строительства в СССР:

«Теперь, когда вырисовывается перспектива коммунизма, осуществления мечты в ленинском понимании этого слова... достаточно представить себе, что совершено за последний период и что живет в проектах, и станет ясна преемственность советской истории... прочность системы».

Ясные формулы дышат силой мысли, силой таланта, которым отмечено творчество выдающегося писателя Франции Арагона.

Б. ПЕСИС

АРАГОН

ЭЛЕГИЯ ПАБЛО НЕРУДЕ

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

■

Перевод с французского
МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

Речь идет о земле, говорю вам, о том, как она предает.
Предает за мгновение счастья, даже завтрашний день предает,
А не только поэта на том берегу океана, который, как будто в насмешку, называется тихим,
Но целый оркестр тех, кто были крылом ее жизни и криком о будущем в ней.
Как она предает даже песню в истоке ее бормотаний.
Речь идет о земле, всякий раз продающей нас всех на убой, словно стадо, ломовому извозчику, первому встречному, говорящему только кнутом.
Речь идет о земле — полюбуйтесь, прошу вас, как ложится она даже прежде, чем свалят ее,—
А уж ты-то любил ее, ты-то страдал за нее, ожидал от нее уж не знаю какого там чуда.
Что ж, она тебя сделает малым ребенком и в жертву продаст с молотка,
Чтобы кровью твоей расплатиться за песню, как за преступленье.

О земле я толкую, и не вздумайте, право, искать за словами, которые я выбираю, иные какие-то смыслы, и не вздумайте слово «земля» подменять иною какой-нибудь сутью, с вашей вечною манией путать слова и ставить слова по-другому, превращая слова в зеркала, превращая их в ад, принимая и самую землю за нечто другое, чем земля, и, теряясь в догадках, пытаться во мне разглядеть уж не знаю какой там тайник, какую безмолвную драму, рыбу тайных глубин, что скользит между сказанных слов и уходит сквозь пальцы кошмара. О земле я толкую, и этого, право же, хватит, если знать, что такое земля, которой касаются плечи, спина, поясница, широ́ко раскрытые руки, упертые в землю ладони,— земля, это привкус удушья во рту, и, однако...

И, однако, вы твердо стоите на том, чтобы слово одно принимать за другое и за вещь — отражение вещи. Я кричу о земле с этой дамбы последней, стоя к морю лицом, я кричу

о земле, этой гибели наоборот, наизнанку. Я кричу о земле, и кроме земли не значит мой крик ничего.

Эта плоть, эта гаваиь, глубокое ложе, семья наша, род наш — земля, и неужто не хватит с вас слова, которым ее иарекли? И, однако, земля, почему же вам иадо, чтобы стала оиа слезами и пóтом, обломками рук и костьми поколений, сменяющих тщетно друг друга, потому что история — длинный рассказ про людей, обреченных на смерть, а не просто земля, не земля, что зовется землей, почему же...

Почему ж вы меия не хотите понять? — Я твержу о земле, об одном умоляя: нипочем не искать никаких аллегорий других.

О земле, об одной лишь земле, о земле, ии о ком о другом, и ие вздумайте землю ничем подменять, никаким существом, никаким миллионом существ, чью я вижу курчавую гриву, не ьздумайте. право,

Забывать, что молчание зеркалом больше не служит, случка слов невозможна, бокалы не сдвинуты, тостов больше не слышно,— иичего — это есть ничего и ие больше того, и ничто ничего отразить не способно, а уж ежели это сильней вас и если земля в горьком рту моем по разумению вашему зиачит нечто другое, уж ежели так,

Будьте прокляты вы, но не я, но не я, ибо я говорю о земле, лишь о ней, ни о чем о другом, о земле.

Об измене земли говорю я, о предательстве, только о нем, и ие надо, не надо меия загонять, как оленя, в слова мои, словно бы в логово, ибо земля —

Уж она-то готова всегда предавать человека; уж она-то готова всегда повернуться к кромешному мраку, осудить воображенье, учреждая животное царство, суверeиное дикое царство, царство подданных, только глухих, словно скот, и слепых, как Эреб, тираиических древних повадок, царство, чья королева, срывая ярмо, отдает себя в жертву всечасно.

Да, земля,— не глядите глазами сомненья, головой не качайте опять, не ищите метафор — земля!

Да, земля, да, однако, земля моя, видите, как я ногами топчу ее, землю мою, от которой не в силах отречься. Земля моей теии, молчанье мое, земля, из которой я создан, терпеливая плоть, моя мука, земля, что во мне, не узнавшая собственной раны.

О земля слепоты, я ищу для тебя оправданья, ибо ты ничего не скрываешь, земля, для которой творю я слова, что исполнены смутного смысла и яркого света полиы.

Земля, для которой всечасно я высекаю огоиь и сгораю на этом огне, который я сам породил; любимая мною земля, до чего мы похожи с тобой, трепещущая земля, блуждающая земля.

Земля народа во мгле, что враг самому себе,

И жизни не хватит моей, чтоб увидеть: рассеялась ночь.

Ах, земля, человечья земля, вдруг тебя сотрясает дрожь, и ьсегда иаступает ночь, чуть поверишь, что скоро рассвет и что скоро забрезжит заря,

И управившись с нами,

Связав по рукам и ногам, выдает нас земля своему обожаемому ломовому извозчику именно в это мгновенье,
Когда небо далекое — рядом и бледные губы его приоткрыты для нас.

Человечья земля — упираюсь коленями в землю,— человечья земля — перед ней преклоняю чело,— человечья земля без пощады, отчизна моя,
Глухая и к песне моей, глухая и к сердцу и к слову, и любимая мной, как любимые были любимы,
Глухая к любви, что тебе приношу униженно.

Пабло, дай мне скорей свою руку, я теряю дорогу меж слов этих схожих и разных — они, словно тайные двери.
Как ты, Пабло, когда-то сказал о ногах, погруженных в вино?
О ногах, что давили осенние гроздья.

О вине, сотворенном ногами народа.

1966 г.

Критика

РАБОЧИЙ КЛАСС, ОБЩЕСТВО, ЛИТЕРАТУРА

В наши дни, как отмечается в тезисах ЦК КПСС к пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции, рабочий класс и его союзники приобретают все больший политический вес в обществе. «Рабочий в современном обществе и в современной литературе» — этой теме была посвящена очередная творческая встреча, организованная редакцией журнала «Иностранная литература» совместно с Институтом международного рабочего движения и Институтом мировой литературы им. А. М. Горького. В ней приняли участие социологи, литературоведы и критики, специалисты в области разных литератур. В этом номере мы начинаем публикацию материалов дискуссии. Заочное участие в ней приняли зарубежные критики и писатели, в том числе и хорошо известные в Советском Союзе Алан Силлитоу (Англия), Джованни Арпино (Италия), Макс фон дер Грюн (ФРГ), Луис Эирике Дзлано (Чили), Кришан Чандар (Индия), Сембен Усман (Сенегал), Альфред Клейн (ГДР), Александр Баумгардтен (Польша), Джозеф Норт (США).

Е. Амбарцумов

Современный рабочий класс — что это?

I

Ответ на вопрос, поставленный в заголовке, не всегда и не всюду оказывается простым. Ибо если советский читатель воспринимает понятие «рабочий класс» как вполне ясное и определенное, то рядовой западный читатель, воспитанный на тамошней популярной социологии, которая давно уже находится где-то на грани между художественной литературой и журналистикой, счел бы это понятие фикцией. Дело в том, что буржуазная социология на Западе утверждает, будто рабочего класса давно уже не существует.

Известный английский социолог Маршалл заявил на III Всемирном социологическом конгрессе: «Почти все западное общество превращается в огромный средний класс». Другой английский социолог, Т. Б. Боттомор, утверждает даже, что развитые капиталистические страны серьезно продвинулись в направлении «бесклассовости». Американский журналист Макс Лериер, сделавший социологию своей попутной профессией, в книге «Америка как цивилизация» считает вездесущий «средний» класс характерной чертой облика своей страны.

Тема «среднего» класса, который считается таковым не потому, что он находится между буржуазией и пролетариатом, а потому, что он впитал в себя качества буржуазии и пролетариата, типична не только для социологии, но и — в меньшей степени — для политической сферы. К примеру, бывший канцлер ФРГ Людвиг Эрхард выдвинул концепцию «сформированного»—иначе говоря, целостного—общества, социальный смысл которой сводился опять-таки к утверждению о возникновении всеохватывающего среднего класса, что равнозначно отсутствию рабочего класса, исчезновению пролетариата. Правда, Эрхард ушел в отставку, но нынешний западногерманский канцлер Кизингер недавно торжественно засвидетельствовал верность социальной концепции своего предшественника.

За этим словесным отрицанием пролетариата стоит стремление опровергнуть Марксову теорию классов и классовой борьбы.

Но ограничиться этой уничтожающей характеристикой буржуазной социологии означало бы в свою очередь впасть в вульгарный социологизм. Надо разобраться в реальных социальных процессах, которые, часто в искаженном виде, дают основание для таких утверждений.

В середине 50-х годов в США число лиц, занимающихся нефизическим трудом,— впервые в этой стране и вообще в истории человеческого общества — превысило число работников физического труда. Самый распространенный в Соединенных Штатах экономический журнал «Форчун» определил это изменение в социальной структуре как «новую общественную революцию». Поскольку Соединенные Штаты, страна в технико-экономическом отношении наиболее передовая на Западе, прокладывают путь другим капиталистическим государствам, можно сказать, что по истечении ряда лет или десятилетий Англия, Западная Германия, Франция, Италия, Япония явят миру примерно ту же картину. Повсеместно в индустриально развитом капиталистическом мире категория лиц нефизического труда обгоняет по темпам роста традиционные рабочие профессии.

И еще один пример. Известный французский социолог Фурастье, строя экономический прогноз на 2000 год, предполагает, что к этому времени в сфере услуг, иначе говоря, в образовании, здравоохранении, в государственной администрации, в банковском и финансовом деле, в научных учреждениях, будет работать 80—90% самодеятельного населения. Иными словами, традиционным физическим трудом, с которым мы обычно связываем понятие «рабочий класс», будет заниматься ничтожная часть населения.

Но можно ли из тех процессов, которые свидетельствуют о бурном росте числа лиц нефизического труда, делать вывод об исчезновении рабочего класса? Конечно, если, говоря о рабочем классе, представлять себе только молотобойца или землекопа, то такое представление будет относиться скорее к вчерашнему, чем к сегодняшнему или тем более к завтрашнему, дню. Однако стоило бы вспомнить тезис Маркса в «Капитале» о том, что рабочий класс — это совокупный рабочий, элементы которого расположены ближе или дальше от непосредственного воздействия на объект труда.

Если придерживаться этой концепции Маркса, то относить к рабочему классу следует в принципе всякого работника, который или непосредственно обрабатывает продукт труда, или в какой-то форме — пусть даже косвенно — участвует в этой обработке. Иначе говоря, к рабочему классу приходится причислять основную массу служащих, инженерно-технических работников и научных работников Запада. Следовательно, в рабочий класс входят и те, кто занят физическим трудом (чернорабочие и рабочие у машин), и те, кто вкладывает в создание продукта свой умственный труд или же осуществляет вспомогательные функции, являющиеся необходимым условием нормального хода производственного процесса. Именно к этой второй группе относятся отряды инженерно-технических и научных работников, растущие особенно быстрыми темпами. Достаточно сказать, что на долю ИТР и служащих в США, Англии, ФРГ ныне приходится от $^1/_3$ до $^1/_4$ работников промышленности (на рубеже XIX и XX веков в США эта доля составляла всего 7%).

Итак, научное понимание рабочего класса в наше время может быть прежде всего расширительным *. Собственно, это подтверждается и самой практикой. Скажем, если в Англии, классической стране капитализма, полвека назад наиболее характерной рабочей фигурой был углекоп или машиностроитель, то сейчас одним из крупнейших профсоюзов, входящих в Британский конгресс тред-юнионов, является профсоюз чертежников. Этот профсоюз — один из застрельщиков классовой борьбы, он относится к наиболее боевым организациям пролетариата.

Несколько лет назад МОТ (Международная организация труда) задалась вопросом, каковы же различия между рабочими (в традиционном смысле) и служащими (практически теми, кого мы выше отнесли к группе косвенно воздействующих на предмет труда). Выяснилось, что «нелегко определить разницу в ответственности и квалификации, требуемых для работы в бакалейной лавке, переписки цифр на машинке или работы на конвейере на фабрике радиооборудования». Однако лица, занятые первыми двумя видами труда, относятся обычно к категории «работников нефизического труда», тогда как лица, занятые последним видом работы, относятся к категории «рабочих физического труда». Из этих и подобных фактов МОТ делала обескураживающий вывод о том, что даже в тех странах, где установлено законодательное разграничение между рабочими и служащими, «на деле трудно всегда отличить служащих от рабочих».

Как сейчас выглядит, скажем, современная контора?

Несколько лет назад Орсон Уэллес поставил фильм по роману Кафки «Процесс»,

---

* Это понимание утвердилось в нашей марксистской литературе лишь в последние годы. Стимулирующую роль в отбрасывании устаревших схем сыграла, по общему признанию, дискуссия о структуре рабочего класса, проведенная международным коммунистическим журналом «Проблемы мира и социализма» в 1960—1961 гг. Материалы ее были выпущены отдельной книгой («Структура рабочего класса капиталистических стран». Прага, 1962 г.). Среди работ советских авторов следует отметить книгу А. Вебера «Классовая структура общества в Западной Германии» (Москва, 1961 г.), где впервые была разработана новая методология социального анализа, коллективные монографии «Городские средние слои современного капиталистического общества» (Москва, 1963 г.) и «Современный рабочий класс капиталистических стран. Изменения в структуре» (Москва, 1965 г.), наконец, недавно защищенную докторскую диссертацию Н. Д. Гаузнера «Рабочий класс и технический прогресс».

где в форме мрачного гротеска схватил типические черты современной капиталистической конторы. Это огромный зал, в котором за совершенно одинаковыми столиками сидят десятки, даже сотни людей, повторяя монотонно одни и те же операции. Создается ощущение бесконечного повторения одного и того же предмета, как в параллельно поставленных зеркалах. Действительно, такая картина характерна для контор наиболее крупных фирм. По внешнему виду, да и по характеру труда этот процесс напоминает труд рабочих на конвейере, потому что и здесь такая же единая рабочая цепь, построенная по принципу потока, когда работники и их аппараты связаны друг с другом так, чтобы бумага переходила постепенно от одного человека к другому, пополняясь все новыми деталями, подобно, скажем, корпусу автомашины, проходящему по главному конвейеру автозавода. В конторе установлена жесткая, как и на фабрике, дисциплина труда, запрещены все неделовые разговоры и строго регламентированы перерывы в работе. Здесь работники затрачивают не столько умственную, сколько физическую энергию, например, обслуживая счетные и пишущие машины, перфораторы и т. д. Здесь они, будучи наемными работниками, получают по существу такую же зарплату, как и их собратья на заводе (хотя в первом случае она по лицемерной английской традиции называется salary — жалованье, а во втором wage — заработная плата).

Налицо то, что марксисты называют процессом «пролетаризации» и чему буржуазные социологи подыскивают более «приличное» определение (как глава американской школы во французской социологии Раймон Арон, употребивший словечко «саларизация»).

Лишь элита этой интеллектуальной армии имеет реальные экономические и социальные привилегии, обладает пресловутым «общественным престижем». Но в то же время вся эта армия, объединяемая безликим и очень неопределенным термином «служащие», приобретает в целом огромное значение в развитии общества.

Характерен такой пример. Несколько лет назад на одном крупном нефтеперерабатывающем заводе США вспыхнула всеобщая забастовка. Тем не менее большой комбинат смог длительное время функционировать, потому что все функции рабочих выполняли административные служащие, инженеры и техники завода.

Какие сдвиги произошли в социальном происхождении конторских и торговых служащих?

В романах Бальзака, которые отстоят от нас более чем на сотню лет, часто встречается представитель той или иной аристократической семьи, которому пришлось работать клерком в конторе. Судя по романам Синклера Льюиса и Морли, выходцы из зажиточных семей (социолог определил бы их как средне- или мелкобуржуазные), жившие тремя четвертями века позже бальзаковских героев, шли на работу в контору, потому что их семьи обеднели, потеряли прежние источники дохода. А сейчас в Соединенных Штатах большинство служащих, судя по статистике, происходят из рабочих семей. В этом отношении Европа оказалась более отсталой, ибо там основным поставщиком трудовых резервов для служащих остаются мелкобуржуазные слои. Но и в Европе новая тенденция пробивает себе дорогу. Сейчас в странах развитого капитализма в семье квалифицированного рабочего жена, если уж работает, то чаще всего — служащей в конторе.

О пролетаризации ранее привилегированных слоев свидетельствуют изменения, происшедшие в облике инженерно-технических работников. Несколько десятилетий назад инженер мог бесспорно отождествлять себя с руководителем производства: даже на крупных предприятиях таких руководителей были единицы. В последние же годы в труде многократно возросшей группы ИТР преобладает элемент исполнительства. Сейчас даже наиболее конформистски настроенные американские социологи сожалеют об исчезновении творческого начала в труде, причем это сожаление приходится едва ли не в равной степени относить и к массе рабочих, и к массе инженеров и техников.

Кстати говоря, в таком соотношении отражается стремление к оптимальной организации производственного процесса. Поэтому, когда у нас в том или ином учреждении увеличивают число старших научных сотрудников и в то же время экономят на зарплате лаборантов и технических работников, такая экономия превращается в свою противоположность.

В 1905 г. на автомобильном заводе «Рено» трудилось всего 4—5 инженеров (на 1000 рабочих). А в 1960 г. 1800 инженеров и 5 000 техников приходилось там на 40 000 рабочих. Тем более не приходится говорить о привилегированном положении ИТР в новейших отраслях промышленности, например, в атомной промышленности и ракетостроении, где научно-технический персонал составляет более половины занятых.

Изменилось и экономическое положение служащих. Давно прошли те времена, когда они целиком могли быть отнесены к материально привилегированным слоям общества. Проведенное в 1965 г. в США крупное социологическое обследование 1 млн. служащих показало, что средняя зарплата конторского персонала ниже средней зарплаты фабрично-заводских рабочих и что заработок низшего звена ИТР (от техников до младших инженеров) примерно равен зарплате высококвалифицированных рабочих.

Другим показателем пролетаризации ИТР является резкий рост их низшего звена — техников и лаборантов. До второй мировой войны преобладающее большинство ИТР составляли специалисты высокой

квалификации, имеющие высшее образование. Число лаборантов, например, было до войны в США в 10 раз меньше численности так называемых творческих научных работников. Ныне же количество лаборантов и техников превышает число творческих научных работников.

Таким образом, и науку не миновал всесокрушающий процесс пролетаризации. Это неудивительно, ибо наука, как и предвидел Маркс, стала в настоящее время непосредственной производительной силой общества. Типичный научный работник современного Запада — не отшельник, возящийся у себя в мансарде с таинственными колбами и пробирками, а рядовой рабочий «фабрики открытий». Пример такой фабрики можно найти в романе Джея Дайса «Крупная игра», который несколько лет назад был опубликован в «Иностранной литературе» *.

Даже литература, как замечал еще в 1933 г. Генри Кэнби, стала отраслью промышленности. Литературный трест Дюма-отца по сравнению со сценарными конвейерами Голливуда представляется робкой кустарщиной. Нашумевший в Англии памфлет Огилви «Невидимки за работой», где повествуется о своеобразной фабрике, поставляющей при помощи «литературных негров» повести и целые романы видным писателям и журналистам, даже нельзя назвать преувеличением. Многие солидные газетные статьи, как «редакционные», так и подписанные маститыми именами,— всего лишь братская могила неизвестных сотрудников.

Особо следует сказать об изменениях в облике чиновничества, что связано со сдвигами внутри буржуазного государственного аппарата. Классическую формулу Маркса, а затем Ленина о том, что государственная машина — это армия, полиция, тюрьмы и суд, сейчас приходится дополнять, потому что к этой машине прибавились новые части, отражающие прежде всего экономическую функцию государства, роль государства как предпринимателя. В некоторых западноевропейских странах на долю государственных предприятий приходится ныне от $^1/_4$ до $^1/_3$ промышленного производства. К тому же экономический аппарат государства осуществляет сложную задачу по распределению национального дохода в пользу монополий, по смягчению циклических колебаний экономической конъюнктуры и — что развивается лишь в последнее время — по определенному контролю и регулированию хозяйственной деятельности в целом. Если к этому добавить усиление паразитического характера государства и наращивание функций подавления, ясно будет, что для выполнения всех этих целей требуется огромная и многообразная армия.

Ясно, что здесь дело не только в пресловутом законе Паркинсона, о котором в свое время писала «Иностранная литература» * и в соответствии с которым армия чиновников растет независимо от объема работ, но и в объективных тенденциях, определяющих усиление роли государства.

Было бы непростительным упрощением считать всех этих государственных служащих всего лишь покорными и ревностными исполнителями воли существующего режима. Так было прежде, но не теперь, ибо государственные служащие — уже не винтики на один манер. Все чаще Францию, например, потрясают всеобщие забастовки, последняя из которых произошла 17 мая. Инициаторами в них, как правило, выступают лица, состоящие на службе у государства: учителя, железнодорожники, почтовики, газовщики, шахтеры (они ведь тоже, поскольку угольная промышленность национализирована, считаются государственными служащими).

Итак, наемный труд, подобно паровому катку, настильственно нивелирует хаос профессий и занятий. Рабочий и служащий, или, как их нередко называют, «синие» и «белые» воротнички, хотят они этого или не хотят, оказываются частью одного класса — пролетариата. Об этом же свидетельствует нивелировка образа жизни, которую, правда, буржуазные социологи истолковывают лишь как повышение жизненного уровня. Разумеется, нельзя отрицать, что такое повышение произошло и что сейчас приходится отказываться от фетишей, вроде догматически истолкованного «абсолютного обнищания». Но и нивелировка, происходящая по более высокому уровню, не перестает от этого быть нивелировкой со всеми проистекающими отсюда последствиями. Ведь в конце концов пролетаризация населения означает прежде всего изменение отношения к средствам производства, превращение в наемную рабочую силу, обслуживающую эти средства. И вовсе не обязательно оно должно сопровождаться падением заработков.

Всякий, кто бывал на Западе, знает, насколько трудно отличить по внешнему облику рабочего от конторского или торгового служащего, а иногда и от миллионера, так как внешне они могут показаться одетыми одинаково; только наметанный глаз различит их костюмы по материалу и покрою — даже внешний рисунок материала может полностью совпадать. В этом смысле какой-нибудь конторщице Эллочке удается переплюнуть мисс Вандербильт.

Предметы длительного пользования, бывшие ранее свидетельством привилегированности,— автомашины, радиоприемники, телевизоры, стиральные машины и т. д. стали объектом массового потребления. Родился даже термин «цивилизация потребления». Макс Лернер прав, когда пишет о «демократическом эффекте массового потребления, означающем, что рабочий и его семья имеют теперь доступ ко многим вещам, от которых они ранее были отрезаны».

* См. «Иностранную литературу» №№ 1—3 за 1960 год.

* См. «Иностранную литературу» № 6 за 1959 год.

«Цивилизация потребления» привела к известной нивелировке и в области досуга. В начале 60-х годов 37 млн. человек занимались в Соединенных Штатах греблей и парусным спортом, 20 млн. человек играли в крикет, 4 млн. человек — в гольф. Иными словами, виды спорта, которые традиционно считались аристократическими, сейчас превратились в массовые. Таким же образом и туризм, в том числе и зарубежный, стал массовым явлением.

В связи с этими процессами происходит в массовых масштабах своеобразное «самоотрицание» пролетариата. В повести о рабочем классе, опубликованной недавно «Иностранной литературой», западногерманский писатель Макс фон дер Грюн* замечает: «Пролетариата больше нет, рабочий, если его так называют, чувствует себя оскорбленным». Пусть это не относится, скажем, к Франции или Италии, где остались в силе революционные традиции и где рабочий класс находится под преимущественным влиянием организаций, гордо провозглашающих свое пролетарское первородство, однако в целом это «самоотрицание» приняло явно бо́льшие масштабы, чем до второй мировой войны.

И все же это явление не опровергает, а, наоборот, доказывает наличие процесса пролетаризации. Рабочий рассматривает себя таким же представителем «среднего класса», как и его сосед — мелкий служащий, но ведь и тот незаметно для себя уже давно оказался в положении пролетария. Если апологетически настроенные американские социологи считают 80% населения своей страны «средним классом», то следует спорить не с этой цифрой, а с ее определением. Ибо на самом деле речь идет все о том же пролетариате, ведущем мелкобуржуазный образ жизни.

Распространение «цивилизации потребления» на широкие массы трудящихся означает, что рабочий класс преодолел свое прежнее положение «коллективного неприкасаемого» буржуазного общества. Достаточно сравнить главных действующих лиц старых «рабочих романов» с героем современного романа Барстоу «Любовь... любовь?»**. В отличие от своих старших литературных братьев (например, из «Углекопов» Уэлша или «Мне 20 лет» Булапже) юноша из романа Барстоу чувствует себя в современном обществе как рыба в воде. Он считает себя его частью, а отнюдь не парией. Золотой дождь современной цивилизации коснулся и его своими брызгами. Впрочем, даже он при всей своей политической инфантильности смутно ощущает, что является объектом какого-то подавления со стороны общества. В конечном счете это то же чувство угнетения, которое испытывали его старшие литературные братья, угнетения, существо которого не меняется независимо от того, находится ли пролетариат «на краю» общества или «внутри» его.

Нивелировка образа жизни, порождаемая пролетаризацией, проявляется в характерной для большинства современных произведений литературы и кино анонимности ситуаций. Конечно, это не означает, что герой фильмов Антониони или Алена Рене — обязательно пролетарий. Скорее наоборот. Но разве неопределенность многих их сюжетов, невозможность определить их во временном и пространственном смысле не связана с ощущением безликости человека, с чувством «винтика», что характерно для умонастроений трудящихся современного капиталистического предприятия? Кстати, «винтик» — излюбленный термин американских специалистов по социологии труда.

Наиболее непредвзятые исследователи на Западе приходят, по существу, к тому же выводу о широкой пролетаризации. Крупнейший американский социолог, не так давно умерший Райт Милз в своей книге «Белый воротничок — американские средние классы» писал, что «положение массы «белых воротничков» становится все более схожим с положением наемных рабочих. И те, и другие, конечно, не имеют собственности, и уровни их доходов все более сближаются».

Впрочем, в другой своей книге Райт Милз оговаривался, что «сложный и диверсифицированный слой «белых воротничков» просто не укладывается ни в схему стратификации, предлагаемую классическим марксизмом, ни в какую-либо другую схему, считаемую марксистской; само их существование противоречит предполагавшейся поляризации на два класса в современном капитализме».

Принимая анализ Милза, никак нельзя согласиться с его выводом. Ибо подлинный марксизм далек от упрощения процесса пролетаризации. Выше мы говорили о расширении самого понятия «рабочий класс», о превращении широких масс конторско-торговых служащих и инженерно-технических работников в составные части пролетариата. Но эта метаморфоза не есть нечто законченное, а противоречивый и сложный процесс.

Данная статья проиллюстрирована главным образом американскими материалами не из-за особой склонности авторв к этой стране, а просто потому, что там указанный процесс зашел далее всего и потому виден особенно отчетливо. Но в то же время Соединенные Штаты — лишь один конец весьма длинной лестницы социального развития капитализма, на другом конце которой находятся слаборазвитые страны. И в этих странах развивается рабочий класс, но по облику, структуре и экономическому положению он резко отличается от американского. В США, например, деревенские пролетарии-батраки давно по-

* См. «Иностранную литературу» №№ 3—4 за 1967 год.

** См. «Иностранную литературу» №№ 11—12 за 1965 год.

глощены промышленностью и сферой услуг, а их место заняли сезонные иммигранты — мексиканцы; в слаборазвитых же странах батрачество — один из растущих и передовых отрядов рабочего класса. Несмотря на несравненно более низкий уровень жизни, образования, культуры, рабочий класс этих стран может быть политически гораздо более развит, чем пролетариат США, поглощенный «цивилизацией потребления». Было бы догматической ошибкой видеть либо в том, либо в другом полюсе воплощение всего мирового процесса общественного развития.

Между этими полюсами — множество переходных стадий. Скажем, в таких, например, развитых странах, как Италия и Япония, в недавнем прошлом отягощенных прямо-таки средневековыми институтами, реальный социальный разрыв между фабрично-заводским рабочим и, например, инженером, все еще велик. Хотя в тенденции последний — это пролетарий, на практике там он чаще всего входит в привилегированный класс, поскольку он нередко обладает частной собственностью, например пилчным пакетом акций, и действует не только как наемный работник, но и как капиталист

Поэтому только диалектическое понимание пролетариата в условиях капитализма, учитывающее всю многоликую реальность и не упускающее из вида тенденцию его развития, может быть правильным и эффективным.

2

Итак, современный пролетариат на Западе далеко ушел от своего деда и отца, которые были описаны Э. Золя в «Жерминале», Э. Синклером в «Короле Угле», Г. Фалладой в «Что же дальше, маленький человек?». Про него, рабочего и служащего 60-х годов XX века, уже не скажешь, что ему нечего терять, кроме своих цепей.

В 1790 г. маркиз де Фуко мог еще заявить с трибуны Учредительного собрания, что нет никакой необходимости уметь читать и писать, чтобы быть хлебопашцем. Потребности фабрично-заводского производства, в соответствии с интересами не только нормального функционирования, но и простой сохранности оборудования, вскоре заставили буржуазию говорить совсем другим языком. Стадии крупного машинного производства не может не соответствовать, как минимум, всеобщая грамотность работников. А приближение к новой стадии производства — комплексной автоматизации,—которое совершается в странах Запада только сейчас, обусловливает дальнейшее развитие народного образования. «Для рабочего, занятого у станка или на конвейерной линии, требовались в основном физическая выносливость и умение читать и писать,— замечает советский социолог Н. Д. Гаузнер.— Современная техника требует от рабочего знания элементов математики, а в некоторых случаях физики, химии, сопротивления материалов, умения читать чертежи, понимания принципов действия механизмов. Образование становится фундаментом квалификации нового типа».

При приеме на работу даже у человека, не имеющего специальной подготовки, предполагается определенный уровень культуры, без которой производственное обучение не пойдет впрок. Действительно, в США в 1962 г. средняя продолжительность обучения для лиц в возрасте 18—24 лет составляла 12,4 года. Стоит при этом напомнить, что школа для американского ребенка начинается с 6-летнего возраста.

Происходят заметные сдвиги и в отраслевом, и профессионально-квалификационном составе пролетариата не только в широком смысле, что мы уже видели выше, но и в узком его понимании, среди фабрично-заводских рабочих. Ведь современная техническая революция вызывает к жизни новые отрасли и обрекает на медленное умирание старые. Всего несколько десятилетий назад бурный рост железнодорожной сети в США давал драматические сюжеты Фрэнку Норрису и Теодору Драйзеру, Эптону Синклеру и Синклеру Льюису. Железнодорожники считались — по уровню и образу жизни — «элитой» американского пролетариата, частью рабочей аристократии. А современный американский писатель обратится к «железнодорожной» теме разве для того, чтобы показать трагедию людей, теряющих работу. В связи с ростом удельного веса автомобильных и авиационных перевозок и закрытием ряда железных дорог за последние годы в США было уволено более половины работников железнодорожного транспорта. По размерам среднечасового заработка железнодорожники занимают ныне лишь 18-е место в официальном перечне ведущих отраслей промышленности. Такая тенденция, поразившая и другие, в прошлом привилегированные профессии, демонстрирует агонию традиционной рабочей аристократии.

С другой стороны, только в такой отрасли промышленности, как электронная, которая до войны и не существовала, ныне в США занято более 300 тыс. человек. Эти новые группы фабрично-заводских рабочих совместно с инженерно-техническими работниками и оказываются теперь в роли рабочей аристократии. С той только разницей, что привилегированность их положения весьма кратковременна — до тех пор, пока она не будет подорвана выдвижением на ключевые позиции новых отраслей и профессий, что в наше время происходит весьма быстро.

Действительно, не только отрасли, но и профессии переживают взлеты и падения, рождения и смерти. В выпускаемом министерством труда США «Словаре наименований специальностей» (1965) появилось, по сравнению с изданием 1949 г., 6 432 новые профессии. Одно только ракетостроение породило около 300 профессий. Зато более 8 тыс. специальностей (среди которых — дровосек, коногон в шахте, искатель жем-

чуга и т. д.) исключены из словаря. Резко сокращается численность портных и меховщиков, столяров и плотников, кузнецов и слесарей. Эти специальности, ведущие свою родословную еще от эпохи ремесленного производства, заменяются машинами.

Стадии механизации, определявшей облик промышленного производства во всей первой половине нынешнего века, соответствовал определенный тип работника — так называемый «обученный» рабочий (средней квалификации).

Обучение такого рабочего продолжается, как правило, очень недолго — от нескольких часов до нескольких недель — и сводится к усвоению нескольких довольно элементарных приемов обработки предмета труда, которая оказывается одним из многочисленных звеньев длинной цепи производственного процесса. Наиболее наглядное воплощение подобного производственного процесса — автосборочный конвейер, а лучший, хотя и гротесковый, символ «обученного» рабочего — Чарли Чаплин, завинчивающий гайки в фильме «Новые времена».

Высокая квалификация ремесленного типа, понимаемая как виртуозность во владении орудием труда, такому рабочему уже ни к чему. Единственно, что от него требуется,— четко и быстро повторять те приемы, которым его обучили. Соответственно уменьшается значение трудового опыта. Все это приводит к тому, что, во-первых, сокращается «ценность» рабочего стажа, который находит все меньшее отражение в зарплате (порождаемые этим изменением конфликты дали сюжет некоторым современным «рабочим романам» японских писателей); во-вторых, меняется характер функций мастера как низшего администратора, должность которого замещается все чаще не опытным рабочим, а техником или инженером. Характерные для труда обученного рабочего механическая правильность и угнетающая монотонность «заводной куклы» вытравляют из него всякую индивидуально-человеческую окраску, поскольку она может лишь нарушить стройную и холодную последовательность поточного производства. Токвиль, бывший, пожалуй, первым проницательным аналитиком «американского образа жизни», еще в прошлом веке следующим образом характеризовал воздействие такой «парцеллизации» труда на рабочего: «Он с каждым днем оказывается все более ловким и все менее предприимчивым; так что по мере того как работник в нем совершенствуется, человек в нем деградирует». Неудивительно, что, как подчеркивал французский социолог Фридман, рабочим более всего не по душе монотонные трудовые операции, характерные как раз для поточного, механизированного производства.

Эти настроения подмечены и художественной литературой. Американский писатель Гарвей Сводос в романе «У конвейера» («At the Line») рассказывает о группе молодых людей различного происхождения, разных вкусов и способностей, которых судьба сводит у одной автосборочной линии. Едва ли не все они рассматривают свою работу как зло — она угнетает их именно своей нивелирующей безликостью.

Но хотя сейчас в основной массе промышленных предприятий капиталистических стран, в том числе и США, преобладает стадия комплексной механизации, научно-техническая революция уже поднимает мир на стадию автоматизации, объединяющей «парцеллированное» производство при помощи контролирующей его электронной техники в единый технический комплекс. Это бывает трудно заметить, потому что обе стадии, оба уровня развития на практике переплетаются и дополняют друг друга, затемняя тем самым свои принципиальные различия. Но уже сейчас переход к автоматизации серьезно меняет содержание квалификации и труда рабочего. Характерного для предшествующей стадии обученного рабочего вытесняет оператор автоматической линии. Для эффективного контроля за работой линии он должен обладать общей культурой и техническими знаниями, следовательно, иметь определенное техническое образование. Ему уже не грозит монотонность заученных механических приемов: наоборот, он должен быть готов к непредвиденным ситуациям. Он отвечает уже не за звено потока, а за определенный производственный процесс в целом. Возможно, уставать физически он будет меньше, но зато его нервное напряжение возрастает многократно. Нужно добавить, что наряду с рабочими-операторами растет число рабочих-модельщиков и представителей низшего звена ИТР, участвующих в создании все чаще меняющихся и совершенствуемых автоматических машин и линий.

В то же время автоматизация наносит смертельный удар по немногим оставшимся в живых профессиям традиционной рабочей аристократии. Примером могут служить американские типографщики, которые, проводя многомесячные стачки, заключая трудовые соглашения, тормозящие введение новой техники, лихорадочно цепляются за остатки своего монопольного положения. Но символом неизбежной гибели для рабочих-печатников возвышаются сейчас новейшие фотопечатные машины.

Уже из сказанного видно, что современное развитие рабочего класса означает его усложнение. Социальное нивелирование масс населения капиталистических стран сочетается с развитием у тех или иных слоев рабочего класса таких черт и особенностей, которых лишены другие его слои. По экономическому положению и облику средний рабочий автомобильных заводов Форда сегодня гораздо ближе к служащему крупного банка (причем близость эта все нарастает), чем, скажем, к кровельщику, ремонтирующему крыши фермерских домов где-нибудь в штате Айова. Пусть зарабатыва-

ют они примерно одинаково, зато место последнего из этих трех в процессе производства совсем иное, чем у его детройтского собрата по классу, он не чувствует себя колесиком общего механизма и соответственно лишен присущих детройтцу социальных связей.

Итак, современный рабочий класс — это сложный, многослойный организм с многими ипостасями, а отнюдь не повторяемый миллионократно пролетарий-блузник. Пролетариат не исчез, а, наоборот, охватил четыре пятых населения развитых капиталистических стран. Отсюда и аберрация зрения: пролетариат повсюду, как воздух, поэтому и невидим.

Только современное понимание рабочего класса может парализовать направленный против марксистского тезиса о растущей пролетаризации населения контраргумент, имя которому — «социальная мобильность». Этот аргумент, по существу, сводится к тому, что «социальная элита», иначе говоря правящие группы, порождается самими трудящимися классами. Вернер Зомбарт, один из столпов буржуазной политэкономии XX века, утверждал даже, что американские рабочие настроены в своей массе антимарксистски и антисоциалистически — в отличие от своих европейских собратьев — потому, что имеют широкие возможности социальной мобильности. В начале века, когда Зомбарт это писал, биографии выбившихся в люди Форда- и Рокфеллеров-старших придавали видимость реальности мифу об «Америке — стране равных возможностей».

Чтобы оценить тезис о социальной мобильности так, как он этого заслуживает, следует сказать, что марксизм не отрицал и не отрицает возможности известного взаимного перелива классов. Ведь это реальные общественные категории, сталкивающиеся на каждом шагу и отделенные друг от друга не китайской стеной, а расплывчатой массой промежуточных мелкобуржуазных форм. Буржуазия как класс формировалась не только из старых привилегированных слоев, но и из нуворишей, выбивающихся из «низов» общества. Это элементарная историческая истина.

Но в нынешнюю эпоху, по сравнению с периодом домонополистического капитализма, социальная мобильность пролетариата не выходит, как правило, за его классовые рамки. Этот факт определяет сущность процесса социальной мобильности в современном буржуазном обществе, как бы он ни затемнялся переливом населения из одних профессиональных групп в другие. Если, как подчеркивают американские социологи Липсет и Бендикс, от четверти до половины детей рабочих физического труда в развитых капиталистических странах обретают «нефизические посты», то ведь, новый нефизический характер труда отнюдь не перемещает работника, как мы видели, в другой, эксплуататорский класс.

Кстати, наиболее внимательные наблюдатели за рубежом давно уже пришли к выводу, что социальная мобильность в буржуазно-пропагандистском понимании — миф. Питирим Сорокин, деятель русской эсеровской партии, ставший американским социологом, известный тем, что Ленин, решительно критикуя его теоретические воззрения, высоко оценивал его политическую смелость, еще в 1927 г. после внимательного изучения данных американской статистики отбросил тезис о том, будто США являются более «открытым» обществом, чем западноевропейские страны. Другой американский социолог, Миллер, считает, что в Англии, например, 40% детей лиц нефизического труда становятся работниками физического труда. Ту же тенденцию Миллер констатирует и в Соединенных Штатах.

В то же время сама постановка проблемы социальной мобильности оказывается полезной, ибо она отражает определенную реальность: стремление людей в современном обществе — и трудящиеся здесь не составляют исключения — к продвижению по социальной лестнице. По мнению американских социологов Вейсса и Рисмана, одна из главных претензий, предъявляемых рабочими современных предприятий,— невозможность «продвижения». Переходу в более высокую социальную группу препятствует и недостаточное образование (сейчас даже для получения должности курьера в крупной нью-йоркской конторе требуется, как говорят, свидетельство об окончании средней школы), и практика американских профсоюзов, пытающихся ограничить доступ молодым рабочим к некоторым высокооплачиваемым профессиям, и конечно же, в первую очередь, общий характер этого классового общества. Этот тупик Вейсс и Рисман определили как «состояние блокированной мобильности».

Чтобы найти выход из этого состояния, внушить рабочему ощущение свободы выбора, крупная американская оптическая фирма «Полароид корпорейшн» создала для рабочих, при условии успешного обучения их в заводских школах, возможность продвигаться по службе: из цеха в лабораторию на должность, аналогичную нашему младшему научному сотруднику, в конторский персонал и даже в число администраторов. Эта система кажется попыткой «по-своему» перенять советский опыт,—только у нас «выдвиженчество» естественно проистекало из сущности строя, тогда как в рационализированной буржуазной Америке система «Полароид корпорейшн» неизбежно выродится в фикцию, продемонстрирует свой чисто демагогический характер. Ибо в девяти случаях из десяти выдвиженца-рабочего будет обходить в административной карьере юноша из буржуазной семьи, получивший систематическое «менеджерское» образование.

3

Те качественно более высокие требования, которые предъявляет к рабочему современное производство, революционизированное новой техникой, означают, что интеллект и психология рабочего выдвигаются в один

ряд с другими производственными факторами, наряду, скажем, с качеством сырья. Теперь на состоянии бухгалтерских книг сказывается такой сугубо нематериальный момент, как эмоции рабочего, его настроения.

С уходом в прошлое «чистого» потока, когда производственный процесс был раздроблен на серию простейших механических операций, современный фабрикант уже не может считать идеалом рабочего «дрессированную гориллу» — образ, авторство которого принадлежит американскому инженеру Тэйлору, создателю системы организации труда, характерной для первых этапов механизации. Теперь буржуазные социологи вводят другой термин — «удовлетворение от работы», который и рекомендуют учитывать современному фабриканту. С этой целью в штаты крупнейших предприятий введены должности заводских психологов — специалистов по «человеческим отношениям», которые должны анализировать психологические причины «узких мест» на производстве, устранять конфликты между администрацией и рабочими, снимать любые проявления социальной напряженности. Заводской психолог практикует приглашение рабочих к себе в кабинет, чтобы помочь им советом в возможных семейных неурядицах, подбодрить в случае душевной депрессии, а чаще всего просто дать возможность выговориться. Работая в контакте со специалистом по технической эстетике, заводской психолог дает рекомендацию — в каком цехе перекрасить стены в светлый цвет, а где пустить через динамик музыку Баха. Ту же цель — установление «классового мира» на предприятии и повышение производительности труда — преследуют всякого рода льготы для работников того или иного крупного предприятия: дешевые заводские столовые, дома отдыха и детские сады для семей, туристские группы и кемпинги. Разумеется, с благотворительностью это не имеет ничего общего. Просто строительство жилого дома для рабочих, где получение квартиры будет обусловлено «лояльностью» фирме, обойдется последней дешевле, чем потери от забастовки. А развоз рабочих заводскими автобусами по домам сразу после окончания смены окажется лучшим средством срыва профсоюзных собраний.

Поэтому сколько бы современная американская наука об управлении ни хоронила «дрессированную гориллу», новая техническая стадия не устраняет прежней ориентировки на вытравление из рабочего всего того, что должно быть присуще независимой человеческой личности. Не случайно американские профактивисты презрительно именуют буржуазную «науку человеческих отношений» «социологией сытых коров» (contented-cow sociology).

Некоторое время назад в «Известиях» был напечатан восторженный очерк Мариетты Шагинян о заводах «Фиата». Советская писательница с полным основанием восхищалась рациональной организацией производства, которое ей довелось увидеть. Но между тем очерк произвел крайне отрицательное впечатление на итальянских читателей, точнее говоря, на тех из них, кто близок нам по духу, на демократов, начиная от коммунистов и кончая левыми католиками. Зато принадлежащая «Фиату» туринская газета «Стампа» — одна из крупнейших буржуазных газет страны — перепечатала очерк, сопроводив его таким, примерно, комментарием: «Напрасно коммунисты возмущаются порядками «Фиата». Видите, они пришлись по вкусу даже советской писательнице».

Вся эта история произошла из-за того, что за стеклом и алюминием автор очерка не увидел реальных социальных отношений, царящих на «Фиате». Элегантное обличье неокапитализма может, как оказалось, ослепить не только жителя Запада.

Между тем подавление личности рабочего на «Фиате» принимает самые разнообразные формы.

Взять, скажем, регламентацию времени рабочего. На заводе «Фиат» несколько лет назад были введены унизительные правила, по которым рабочий может отлучиться от своего места за время смены по естественным надобностям не более чем на десять минут. Или другой пример. Заводская квартира для рабочего «Фиата» обходится по крайней мере в пять раз дешевле, чем если снимать такую квартиру в городе. Но зато человек, уволенный с «Фиата», скажем, за участие в забастовке, будет моментально выброшен из занимаемой им квартиры. Как видно, к пряннику добавляется хорошо скрытый кнут. А всего несколько лет назад на «Фиате» существовал так называемый ссылочный цех, куда на очень низко оплачиваемую работу, не связанную с основным процессом производства, переводили — в порядке репрессий — многих профсоюзных и партийных активистов. Только подъем рабочего движения заставил руководство «Фиата» отказаться от этой вызывающей практики.

Год назад автору статьи довелось побывать на французском предприятии, схожем с заводом «Фиат»,— на автосборочном заводе фирмы «Рено». С идеальной рациональностью размещен там главный конвейер. При заводе — роскошный корпус для приема иностранцев со всеми необходимыми атрибутами вплоть до экзотических растений и книг, в которых расписываются иностранные гости. На заводе — прекрасная столовая. Едва ли не в каждой галерее, связывающей цехи,— буфет-автомат, откуда, стоит нажать кнопку, выскакивает бумажный стаканчик и наполняется горячим ароматным кофе или какао.

После окончания экскурсии мы попросили — довольно настойчиво — провести нас в помещение профсоюза. Тогда сопровождавший нас гид моментально охладел к нам и выпроводил нас с завода.

Далеко не сразу удалось нам найти это помещение. Им оказался заброшенный ба-

рак, где несколько профсоюзных активистов готовили скромные подарки для детей рабочих к Новому году. Когда я не скрыл своего удивления по поводу нищенской обстановки, в которой работает профорганизация такого богатого завода, активисты ответили, что все это — пустяки, лишь бы им давали возможность заниматься на заводе профсоюзной деятельностью. Пока что эта деятельность преследуется, а председателя местной организации Всеобщей конфедерации труда сначала уволили, а потом вообще запретили пускать на завод.

Так политическая независимость рабочего оказывается объектом насилия со стороны администрации государственного предприятия. Что же говорить о частных фабриках, где хозяйский произвол принимает гораздо более разнообразные и архаичные формы. Поскольку в современной конторе труд организован по промышленному образцу, личность служащего подавляется ничуть не меньше, чем его собрата на фабрике. Читатель «Иностранной литературы» уже познакомился с современным Акакием Акакиевичем — героем романа итальянского писателя Паризе «Хозяин» *, маленьким служащим, становящимся безвольной игрушкой в руках главы фирмы. При всей внешней сюрреалистичности ситуаций автор нисколько не погрешил против истины. Райт Милз в своем исследовании о служащих писал: «Когда «белые воротнички» получают работу, они продают не только свое время и энергию, но в такой же степени свою личность». А вот заявление образцового бизнесмена, приводящееся для поучения студентов, обучающихся «менеджменту» — науке управления: «Я часто говорю моим подчиненным, что мне нужны не люди, работающие для меня, а люди, подчиненные работе. Мне нужно, чтобы работа получала человека, а не человек — работу». Повторяю, это заявление — не объект для социологической критики, а образцовый пример из учебника для будущих бизнесменов.

Когда на трудящегося — будь то рабочий или служащий — смотрят как на придаток машины, на бессловесный «винтик», вполне объяснимым становится прямо-таки фантастическое отвращение героев многих современных литературных произведений к труду, хорошо выраженное в одной из ремарок Перека («Вещи»**): «Кто не работает, тот не ест — это точно, но тот, кто работает, перестает жить». Сейчас куда труднее, чем прежде, найти на Западе произведение, которое звучало бы как «гимн труду». Парадокс заключается в том, что труд, поднявший человека к высотам современной цивилизации, стал ныне прижимать его, придавливать к земле.

Но труд вполне определенный — подневольный, зависимый. Именно от этих его качеств человек стремится освободиться, часто бросаясь к иллюзиям в поисках выхода. Проведенное недавно на крупном американском заводе социологическое обследование показало, что почти все опрошенные — точь-в-точь как герои упомянутого выше романа «У конвейера» — мечтают покинуть завод и завести собственный, пусть скромный, бизнес — лавчонку, мастерскую, гараж. Они, следовательно, хотят продолжать трудиться, но лишь если будет устранен механический, обесчеловечивающий ритм жизни, а независимость мелкого буржуа займет место зависимости рабочего на крупном капиталистическом производстве. Было бы упрощением сводить причину такого ответа к преобладанию мелкобуржуазных ценностей в том, что называется «американским образом жизни». Многие из опрошенных не могут не отдавать себе отчета в призрачности мелкособственнической независимости. Но в собачьем мире мертвый лев представляется куда привлекательнее живой собаки. Может быть, он только кажется мертвым?

А вот другой пример. Социологи Нэнси Морзе и Роберт Вейсс задали большой группе американских трудящихся вопрос: «Продолжали бы Вы работать, если бы это не было для Вас экономически необходимо, а если да, то сменили бы Вы работу?» Подавляющее большинство — как фабрично-заводских рабочих, так и лиц нефизического труда — ответило утвердительно на первую часть вопроса. Но зато если лица нефизического труда в своей массе предпочитают продолжать работу по прежней специальности, то большинство рабочих хотело бы сменить ее на более «чистую». Только шестая часть опрошенных неквалифицированных рабочих согласилась бы заниматься прежним делом. Причины, видимо, не столько в материальных моментах, сколько в эмоциях, вызываемых у рабочих обстановкой современного процесса производства, от которой лица свободных профессий, например, ограждены. Польский социолог Хохфельд, говоря о капиталистическом производстве, определил эти эмоции как «беспомощность и бессилие». Точно такие же выражения используются социологами других наций. Ральф Дарендорф, наиболее известный западногерманский социолог, употребляет слово «Ohnmacht», американский социолог Перлин — «powerlessness». Трудящийся, этот современный Самсон, создавший благодаря своей неисчерпаемой силе целую индустриальную Вселенную, неожиданно для себя оказывается обманутым, жалким и бессильным. И, как Самсон, увеселяющий своих мучителей игрой на лютне, «он не ощущает в себе никакого оправдания своих стараний».

Эта фраза Жоржа Фридмана и меткое словцо другого французского социолога, Навеля, «рабочая печаль» (tristesse ouvrière) отражают процесс отчуждения личности, осуществляемый современным капиталистическим производством. Отчуждение продолжается и за воротами предприятия, даже в часы досуга. Достигнутый рабочим определенный уровень образования в сочетании с материальным достатком позволяет ему вступить в контакт — через средства массо-

---

* См. «Иностранную литературу» № 8 за 1966 год.

** См. «Иностранную литературу» № 2 за 1967 год.

вых связей (радио, телевидение, кино, печать) — с современной культурой. Но и культура эта тоже приобретает иллюзорный характер. Иссушенный рабочим днем интеллект, ищущий успокоительной разрядки, оказывается в состоянии воспринимать лишь суррогат подлинных культурных ценностей, откуда вытравлено все их сложное существо,— воспринимать то, что А. Грамши называл «массовой культурой»; она воспроизводится в массе вариантов, отличие которых друг от друга оказывается чисто внешним.

И если эта псевдокультура окружена эффектным голубым ореолом от телевизора новейшей марки, она от этого не перестает быть дурманом весьма низкого пошиба. В «массовой культуре» есть, разумеется, элемент полезной информации, но он в конечном счете лишь облегчает дело удручающей нивелировки массового сознания трудящихся. Показательны следующие цифры, приводимые в одном французском социологическом исследовании. Продажа книг по «общей культуре» с 1955 по 1959 г. сократилась во Франции на 4%. В то же время тираж распроданных полицейских романов вырос на 116%, а объем так называемой «душещипательной литературы» — на 123%.

«Массовая культура» — лишь один из аспектов общества «массового потребления». Когда рабочий выступает как потребитель, происходит наиболее убедительная демонстрация отчуждения его личности. Не приходится отрицать изобилия товаров в обществе «массового потребления», но оно, чтобы обеспечить свое беспрепятственное функционирование, порождает массу мнимых, спровоцированных потребностей. В результате погоня за вещами становится подоплекой работы и самой жизни трудящихся. Чтобы приобрести автомашину, или радиоприемник, или телевизор новейшей марки (хотя старая едва ли хуже, но реклама новых вещей ее уже уничтожила морально), рабочий соглашается на сверхурочные часы, или подыскивает себе вторую работу, или же запутывается в расставлениых на каждом шагу сетях «жизни в кредит». Почти одухотворенная сила вещей дает импульс человеческим поступкам. Вещь при всей ее внешней привлекательности становится господином человека.

Эту филиппику автора настоящей статьи не следует воспринимать как отрицание важности вещей в современном мире. Отнюдь нет. Но разве не представляет социальной опасности тот факт, что растущий интерес к вещи чаще всего сопровождается усиливающимся безразличием и подчеркнутой непричастностью к политическим событиям, к судьбам общественного прогресса?

Современно-точным ощущением этого «святого беспокойства» проникнут недавно вышедший на пражский экран блистательный фильм Веры Хитиловой и Ярослава Кучеры «Маргаритки», который в гротесковой, почти раешной форме озорных похождений двух чешских «диамнсток» ставит серьезные проблемы истинных ценностей современной цивилизации.

Нивелированное «массовое потребление», происходящее во всех сферах, придает жизни при возможном ее разнообразии отупляющую монотонность по существу. В этом смысле нет разницы между образом жизни героев английских «рабочих романов» и вполне интеллигентных персонажей повести Перека «Вещи». И в то же время такая нивелирующая пустота и бессодержательность только усиливают разобщенность людей во враждебном и угнетающем их мире. Социальное одиночество становится массовым явлением. Этот парадокс отражен в заголовке книги американского социолога Рисмана об образе жизни в США — «Одинокая толпа».

Это не единственные проблемы, принесенные XX веком рабочему классу в странах капитализма. В условиях господства культа вещей рабочий или служащий оказывается вынужденным выбиваться из сил, чтобы сохранить свой «стэндинг», свой индивидуальный образ жизни на должном уровне, то есть в соответствии с рекламируемым прессой и общественным мнением мнфическим уровнем «среднего гражданина». Но стремление уподобиться такому идеалу чревато новыми расходами, все большей «жизнью в кредит» и означает, следовательно, лишь растущую неуверенность в завтрашнем дне. Зыбкость существования, и материальная и духовная,— на это ощущение обратили внимание многие социальные психологи Запада, исследующие умонастроения трудящихся. Опасение за будущее многократно усиливается возможными социальными последствиями автоматизации. Было бы упрощением ставить знак равенства между автоматизацией и безработицей, поскольку автоматизация не только ликвидирует рабочие места, но и порождает их, и все же она вызывает все большую озабоченность американских экономистов, социологов, политиков. Причина, в конечном счете, заключается в несоответствии принципов социального устройства потребностям технического прогресса. Выше мы говорили о растущих требованиях, предъявляемых новой техникой к образованию и культуре рабочего. Однако на практике общественные расходы на образование рассматриваются как непроизводительные, и даже если государство берет их на себя, то оно организует народное образование тем, мягко выражаясь, неэффективным образом, который нашел столь трагическое воплощение в книге Бел Кауфман «Вверх по ведущей вниз лестнице»*. Пусть общество достаточно богато, чтобы обеспечить физическое существование всем своим членам, в том числе и тем, кого оно не может использовать из-за низкого

* См. «Иностранную литературу» № 6 за 1967 год.

уровня их культуры, отсутствия специальности или просто из-за непригодности по возрасту и высокому темпу работы,— сам отказ общества от использования естественной потребности человека трудиться порождает такие мрачные и безысходные конфликты, как негритянские восстания в американских городах. Юноши, громящие магазины, вступающие в схватку с полицией, внешне не выглядят нищими. У них в распоряжении есть, возможно, элементарные атрибуты «великой американской цивилизации потребления», начиная от автомобиля и кончая бутылкой виски. Однако их стремление состоит в том, чтобы вырваться из «гетто непригодности», куда они оказались загнаниыми этой цивилизацией.

Верно, что за последние десятилетия капитализм не переживал такого упадка производительных сил, такой чудовищной безработицы, как во время «великого кризиса» 1929—1933 гг. Но те безработные, что есть сейчас — а среди негров в США их число достигает четверти,— по верному замечанию Вейсса и Рисмана, оказываются в еще более тягостном положении именно потому, что общество в целом процветает.

Эта проблема «изгоев промышленного чуда», существующая в различных формах во всех странах капитализма, становится все более серьезной по мере прогресса общества. Совершенствуются производительные силы, развивается техника — и растет число людей, отбрасываемых на обочину, в разряд «ненужных». Эжен Декан, глава второго по величине профцентра Франции, Демократической конфедерации трудящихся, католической по своей окраске, взволнованно говорил однажды автору этих строк, что он, как верующий, считает первостепенной моральной задачей своего профцентра развернуть борьбу за достойное социальное обеспечение этих «ненужных» — пенсионеров, инвалидов, рабочих, не сумевших приобрести квалификацию, соответствующую потребностям века. Возможно, относительная численность таких людей, живущих «на обочине» общества, и сокращается, однако за несколькими процентами или десятыми процента низов самодеятельного населения стоят миллионы людей, бедствующие в условиях величайших научно-технических открытий и расцвета «цивилизации потребления». И эту свою язву капитализм не в состоянии замаскировать никакой косметикой.

4

Но остается ли в этих условиях место для революционности рабочего класса на Западе? Ответ на этот вопрос не столь прост, как может показаться. Верно, что, хотя первоисточником революционного движения пролетариата был Запад, революции победили не там, а в более отсталых странах, тогда как Запад остался цитаделью капитализма. Верно, что именно на Западе получил основную питательную среду социал-реформизм, под влиянием которого находятся широкие массы пролетариата, особенно — надо это сказать — новые его слои. Верно и то, что в ряде стран — в Соединенных Штатах, Западной Германии, Японии, Австралии — многие рабочие поддерживают даже не социал-реформистские, а консервативные партии, традиционные партии буржуазии.

Все это верно, но важно не просто констатировать факт, а искать ему объяснение, которое заключается в гораздо большей степени развития капитализма на Западе, большей его эффективности, гибкости, умении не просто приспосабливаться к новой обстановке, но использовать ее в своих интересах. Это, конечно, препятствует развитию революционного движения; но в то же время сама постоянная модернизация капиталистического общества расширяет предпосылки социализма, вплотную подводит к нему. То самое капиталистическое предприятие, которое вселяет в рабочего «беспомощность и бессилие», собирает тысячи таких рабочих под одной крышей, и, как бы ни действовали силы разобщения, они не в состоянии отменить чувства локтя, неизбежно и закономерно порождаемого социальной общностью.

Это диалектическое переплетение «за» и «против» социализма подметил Ленин. Исходя из степени развития капитализма, он подчеркивал, что на Западе труднее начать революцию и легче ее продолжить и довести до конца. Тот или иной момент в рабочем движении, представляющийся как противовес социализму, по мере своего развития неожиданно меняет свой отрицательный знак на положительный.

Взять, скажем, экономические требования, под флагом которых проходят основные рабочие выступления на Западе, подавляющее большинство стачек. В конце 40-х годов, когда коммунисты и левые социалисты развернули во Франции, Италии и других европейских странах широкую кампанию против американской экспансии, используя для этой цели все массовые организации, в том числе и профсоюзы, именно ссылкой на первостепенность экономической борьбы и на неуместность политических требований оправдывали реформистские лидеры тот раскол, который они осуществили в профсоюзном движении Запада. А сейчас оказывается, что в силу самой обстановки, из-за повсеместного развития государственно-монополистического капитализма, экономическая борьба обретает политическую окраску. Любое широкое требование о повышении зарплаты в условиях, когда буржуазное государство взяло на себя обязанность сдерживать ее рост, принимает характер вызова всей социально-экономической политике правящей группировки. Такой характер приняла, например, полуторамесячная забастовка моряков, парализовавшая торговый флот Англии в мае—июне прошлого года. Хотя требования стачечников были обращены к частным арматорам, премьер-министр Вильсон лично предпринял немалые усилия по предотвращению забастовки, так как она грозила сорвать провозглашенную им «политику регулирования доходов». А что уж

говорить о трудовых конфликтах в постоянно растущем государственном секторе экономики? Ясно, что здесь забастовки прямо принимают политический характер.

Другой пример — это сама стачка как социальный феномен. Многие американские социологи труда считают грандиозные забастовки первой трети века, потрясавшие основы американского капитализма, давно прошедшим явлением и говорят об «институционализации» стачки, превращении ее в элемент «нормального» капиталистического развития. Действительно, американский капитализм сравнительно легко «переваривает» последствия забастовок, и иногда даже ставит их себе на службу, например для рассасывания товарных запасов. Но что произошло бы, если бы стачечное движение в США вышло из-под контроля приверженных капитализму профсоюзных лидеров? Ведь уже сейчас буржуазная социология с явным беспокойством пишет о «диких», неконтролируемых забастовках. Что случилось бы, если бы американские профсоюзы обрели новое руководство, проникнутое антиконформистским духом? И, наконец, если бы американский рабочий класс сомкнулся в своей борьбе с западноевропейским рабочим классом, предпринял согласованные с ним действия?

Эти предположения не относятся к разряду чистых утопий, ибо каждая из указанных тенденций проявляется в той или иной, пусть поначалу зачаточной, форме.

Еще один пример — проблема рабочего контроля. Требования о контроле рабочих коллективов над всеми сторонами производства стали выдвигаться уже десятилетия назад, однако рабочий контроль оказывался реальным и эффективным только после завоевания пролетариатом политической власти. Из работ так называемых «австромарксистов» — О. Бауэра, К. Реннера и других,— относящихся к 20-м годам, можно было сделать вывод, что рычагом рабочего контроля удастся свергнуть власть буржуазии, но все оказалось наоборот: правящая буржуазия без труда ликвидировала так и не затронувшие сердцевины капиталистической системы органы рабочего контроля над производством там, где они существовали, а затем и вообще привела дело к полному уничтожению демократии, к воцарению фашизма. После второй мировой войны возникшие повсеместно в странах Западной Европы, на волне антифашистского движения Сопротивления, органы рабочего контроля над производством были либо ликвидированы, либо выхолощены буржуазией и поставлены ею себе на службу. Но сейчас складывается, может быть впервые, такое положение, когда борьба за рабочий контроль над производством приобретает то здесь, то там массовый характер. Это требование оказывается наиболее привлекательным для массы трудящихся крупных предприятий и в то же время — наиболее угрожающим для их владельцев. Может быть, именно эта цель станет узлом, который сплетет воедино экономическую борьбу трудящихся и политическое движение, направленное к ликвидации капитализма.

Крайне левые критики капитализма опасаются, что рабочий класс и его требования полностью «интегрируются» буржуазной системой и что таким образом шансов на ее революционное преобразование изнутри не осталось. Эта позиция характерна в особенности для многих левых социалистов, которые, устав от ожидания социальной революции, связывают свои надежды с Востоком. Было бы упрощением объяснять эти взгляды воздействием китайской пропаганды, тем более что в искренности этих «революционных пессимистов» сомневаться не приходится. Дело скорее в неумении увидеть историческую перспективу, в отсутствии глубокого понимания того факта, что общественный и научно-технический прогресс, с которым рабочий класс связан двусторонней причинной зависимостью, расширяет предпосылки революции. В этом смысле, перефразируя известное замечание Маркса, можно сказать, что атомная энергия является куда большим революционером, чем участники китайской «культурной революции».

И когда упомянутые левые критики сетуют по поводу способности капиталистического общества «поглощать революционный потенциал и задушить необходимость качественного изменения существующей системы» (цитата из доклада известного американского социолога Герберта Маркузе), ответить им можно было бы словами Ленина из его письма М. Горькому от 3 января 1911 года: «Международный пролетариат тесинт капитал... тем, что из октябристского (сегодня синонимом явились бы слова «отсталый» и «архаичный». — *Е. А.*) превращает его в демократический... А это расширяет базу капитала и приближает его смерть». *

События последних лет подтверждают точку зрения Ленина, а не Маркузе. В Италии, охваченной бурным развитием капитализма, произошли июньские события 1960 года, когда вышедший на улицу народ (в основном это была молодежь, как выражались буржуазные газеты — «дети итальянского экономического чуда») добился отставки реакционного правительства и обеспечил сохранение буржуазно-демократических институтов. Недавно во Франции на парламентских, а затем на кантональных выборах около половины избирателей проголосовало за блок левых сил, в котором главной является коммунистическая партия. Тем самым коммунисты практически утвердили свою кандидатуру на участие в завтрашнем руководстве страной. Эти факты явились полной неожиданностью для «революционных пессимистов», поскольку никак не вязались с презумпцией «интегра-

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 13.

ции» рабочего класса капиталистическим обществом.

Могут сказать: эти факты — еще не революция. Верно, конечно, но при этом не следует представлять себе грядущую революцию только в старых, привычных нам формах. Кто знает, какую форму примут следующие этапы революционного прогресса? Форму ли всеобщих стачек против сохранения в силе Северо-Атлантического пакта? Или контрудара против фашистского переворота типа того, который произошел в Греции? Только будущее сможет дать ответ на этот вопрос. А для ориентировки в революционном будущем стоило бы, может быть, вспомнить высказывания Маркса и Энгельса последнего периода их жизни, когда они говорили о длительности революции, о революции как процессе, продолжающемся годы и десятилетия.

Предпосылки революции есть и в умонастроениях, которые характерны для широких, в особенности новых, слоев рабочего класса. Основное заключается в том протесте, который порождает «цивилизация потребления». «Ну и обкрутили они нас!» — восклицает герой повести Гейслера «Холодные времена» *. Конечно, в этой фразе есть и признание собственного поражения, и беспомощность перед анонимностью и вездесущностью врага. Но в то же время нельзя здесь не увидеть и заявки на борьбу. Изучая трудовые отношения, социологи проанализировали новое и неожиданное явление, так называемое «торможение», которое заключается в том, что рабочий искусственно притормаживает темпы своей работы и, следовательно, всего производственного процесса в целом. Следовательно, отвращение к работе сопровождается определенным социальным протестом. Пусть этот протест неосознан, пусть он приобретает примитивную окраску, когда враг видится в самой технике. Такой рабочий — что-то вроде современного луддита. Это те «дремлющие силы революции», о которых писал Ленин еще в начале века и которые не увидишь с первого взгляда. Они скрыты в глубинах капиталистического производства, но они в любой момент могут вырваться наружу.

Бывает и более определенный адрес социального протеста. Герой романа Силлитоу «Ключ от двери» **, молодой рабочий Брайн говорит о хозяевах своего предприятия: «Лучше этих сволочей прежде перестрелять, и все переменится». Примерно такие же мысли приходят в голову герою другого «рабочего романа» — итальянцу Бруно из «Постояльца разума» Пратолини ***. Социальный порох налицо. Дело за «малым» — придать взрывчатой силе верное направление. И здесь нельзя не вспомнить ту гигантскую и кропотливую работу, которую повседневно ведут коммунистические партии в странах капитала, перевоспитывающие антикапиталистические инстинкты в революционную сознательность, разрабатывающие стратегию социалистической революции в новых условиях, вырабатывающие социалистический идеал, учитывающий достигнутый уровень развития цивилизации.

■

Все сказанное выше относится к пролетариату в условиях капитализма. Рабочий класс Советского Союза и других социалистических стран, разумеется, также ощущает стимулирующее воздействие научно-технической революции, однако коренное различие социальных условий снимает одни и порождает другие проблемы. Развитие и облик рабочего класса в обстановке социалистического строя — особая и необычайно широкая тема; я ограничусь здесь лишь тем, что попытаюсь привлечь внимание к двум-трем специфическим проблемам.

Превращение рабочего класса нашего социалистического государства в многосложный и современный социальный организм демонстрирует непригодность старого общественного деления, отраженного и поныне в наших паспортах терминами «рабочий» и «служащий» (причем второй термин придается всем лицам умственного труда). Взять, скажем, машиниста шагающего или многоковшового экскаватора, у которого нередко имеется высшее образование. Он — рабочий и в то же время интеллигент — и по характеру труда, и по социальному статусу.

Забота социалистического общества о просвещении своих членов привела не только к тому, что рабочий класс стал образованным (более половины рабочих промышленности СССР имеют высшее или среднее — считая незаконченное среднее — образование), но и к тому, что высокий уровень культуры рабочих стал важным стимулом развития производительных сил. Из результатов опроса, приведенного в исследовании коллектива ленинградских социологов «Человек и его работа», видно, что у тех рабочих, кто разочарован своим трудом, причина этого заключается в несоответствии уровня образования содержанию и характеру труда. Это — сигнал, побуждающий наши хозяйственные и плановые организации задуматься над тем, чтобы придать труду рабочих более творческий, привлекательный характер, что, усложнив его, в то же время повысит отдачу от него. И вместе с тем каким великолепным источником сюжетов для наших писателей может явиться это противоречие, порождаемое развитием социализма!

Другое социологическое исследование, проводящееся сейчас в Таганроге, показывает, что в отличие от молодого американца, стремящегося покинуть школу в поисках работы (вспомним хотя бы «Вверх по ведущей вниз лестнице»), советские юноши и девушки стремятся прежде всего к получению образования. В обеих общест-

---

* Публикуется в этом номере журнала.

** См. «Иностранную литературу» №№ 5—7 за 1963 год.

*** См. «Иностранную литературу» №№ 5—6 за 1964 год.

вениых системах технический прогресс порождает рост образовательного уровня трудящихся, но как по-разному выглядит образование в системе социальных факторов там и здесь!

Или взять вопрос, как выражаются социологи, мотивации труда. Одним из важнейших стимулов к труду, имеющихся у советского рабочего, является ощущение общественной пользы этого труда. В советском обществе трудно найти рабочих, которые не видели бы связи между производственным процессом и своим вкладом в него. А в Соединенных Штатах рабочих эта связь просто не интересует.

Даже «узкие места» развития советского рабочего класса свидетельствуют о быстроте этого развития. Вероятно, первое место среди таких «узких мест» занимает проблема работников сферы обслуживания. Сравнительно слабое ее развитие, низкая культура обслуживания объясняются недостаточным вниманием общества к этой сфере. Но такой недостаток внимания имеет свое историческое объяснение, поскольку советскому государству необходимо было сосредоточивать все силы на строительстве крупной промышленности, следовательно, на развитии индустриальных отрядов рабочего класса. Только в последние годы появилась возможность решать проблемы развития сферы обслуживания. Однако улучшить здесь работу невозможно без повышения социального престижа ее работников, который у нас весьма низок. В обществе, которое будет все большую долю людей направлять в этот так называемый «третичный сектор», низкий социальный престиж работников является препятствием для его развития. Чтобы «поднять» этот престиж, стоит обратиться к зарубежному опыту, хотя бы соседней Чехословакии, где старшеклассники незадолго до окончания средней школы направляются на «трудовую практику» не только на стройки и заводы, но и в трамваи — кондукторами, в рестораны — официантами. Прилив молодых культурных сил сразу оздоровляет атмосферу.

Сфера обслуживания — почти необъятная область приложения той резервной рабочей силы, которая у нас не используется или неэкономно растрачивается, например в домашнем хозяйстве. Развитие этой сферы даст возможность обеспечить довольно широким слоям населения производительную и прилично оплачиваемую работу, следовательно, повысить их жизненный уровень, наконец, устранив «узкие места», резко повысить культурность нашего народного хозяйства, его «коэффициент отдачи». Конечно, это потребует немалой гибкости, учитывая целесообразность привлечения, например, домохозяек на сокращенный рабочий день, но проводимая сейчас экономическая реформа порождает это важное в организации общества качество.

Сегодняшние проблемы рабочего класса привлекают все большее внимание социологии — науки, только в последние годы завоевавшей себе право на самостоятельное существование, которое, впрочем, время от времени подвергается запоздалому сомнению. Однако работы социологов, если не считать их поневоле усеченных выступлений в газетах, все еще остаются доступными лишь сравнительно узкому кругу читателей. В связи с этим стоит вспомнить, что на Западе социология уже довольно давно стала не только областью науки, но и видом массовой литературы. Чаще всего среди бестселлеров фигурируют книги, подвергающие социологическому анализу те или иные черты образа жизни современника. Думается, что если у нас появятся книги, доступные массам, написанные «живым и образным языком», как принято говорить в аннотациях, освещающие особенности социального облика наших трудящихся, это будет полезно не только для социологов и литераторов, плодом содружества которых смогут явиться такие книги, но и прежде всего для читателей. И — кто знает! — может быть, этот жанр окажется своеобразным возрождением «рабочего романа», которое, повторив успех «Цемента» или «Гидроцентрали», будет лучшим образом соответствовать потребностям современности.

В. Скороденко

Судьба «рабочего романа» в английской литературе

Англия, самая старая из капиталистических стран, первой осуществившая промышленную революцию,— одновременно и страна десятилетиями складывавшихся рабочих традиций. Рабочий класс впервые оформился — экономически и политически — как к л а с с именно в Англии. Изменения в положении рабочего класса, своеобразные сдвиги в классовом сознании, вызванные радикальными переменами в структуре современного капиталистического производства,— то, что проанализировано в статье Е. Амбарцумова,— в первую очередь характерны для США, а также

РАБОЧИЙ КЛАСС,
ОБЩЕСТВО, ЛИТЕРАТУРА

ФРГ, Италии, Франции. Но и к Англии все это имеет прямое отношение. В силу известной консервативности традиций в Великобритании реакция английского рабочего на весь комплекс экономических и социальных новшеств бывала более острой, более болезненной, чем, скажем, в США или ФРГ. И английская литература с отзывчивостью сейсмографа зарегистрировала различные формы этой реакции. Так к концу 50-х годов в Великобритании возникло интереснейшее явление, получившее название «рабочего романа».

В британской критике иногда проводилась прямая линия литературной преемственности: от так называемого «рабочего романа» 20-х годов к произведениям Силлитоу, Чаплина и других авторов конца 50-х—начала 60-х годов. Действительно, в 20-е годы в Англии выступили такие писатели, выходцы из рабочей среды, как Стэн Хайд или Джеймс Уэлш, автор переведенного у нас романа «Морлоки» (1924), чьи произведения трактовали тему рабочего класса. Однако говорить о традиции или хотя бы наследовании здесь вряд ли уместно — настолько «рабочий роман» последнего десятилетия был нов и принципиально отличен от книг Уэлша, Хайда или Пэтрика Мэкгилла. Речь идет не только о разном уровне дарования, но об иной исторической действительности и, следовательно, об ином подходе к жизни, об ином «угле зрения».

Современные «рабочие» романисты не разделяют иллюзий о «христианском социализме» и «классовом мире», характерных для авторов 20-х годов; для них рабочий, трудящийся — не безликая частица «темной», «забитой» массы (Уэлш, Корри) и не полубиблейский мученик-страстотерпец (Мэкгилл). Герой «рабочего романа» — человек из плоти и крови, чувствующий, думающий, стремящийся определить свое место в мире, ошибающийся, действующий или сознательно уклоняющийся от действия (как Вик Браун в романе Барстоу «Любовь.. любовь?»), но неизменно живая, неповторимая индивидуальность. Симптоматично, что если в книгах «рабочих» писателей 20-х годов с фотографической точностью воспроизведено описание трудовых процессов, то Силлитоу, Чаплин, Уильямс почти полностью воздерживаются от изображения труда. Их произведения отмечены тяготением не к поверхностному натурализму, а к углубленному психологизму. И уж если говорить о традициях и преемственности, то авторы «рабочего романа» 50-х годов идут никак не от Уэлша или Корри, но, скорее, от классика английской литературы XX века Дэвида Герберта Лоуренса. Ведь именно Лоуренс в таких романах, как «Белый павлин» (1911), «Сыновья и любовники» (1913), «Радуга» (1915) и «Любовник леди Чаттерлей» (1928), впервые в английской литературе показал рабочего и фермера людьми, наделенными богатой внутренней жизнью, психологической, эмоциональной и духовной.

«Рабочий роман» 50-х годов отличается и от книг о рабочем классе, принадлежащих таким современным английским писателям, как Джек Линдсей или Герберт Смит. Произведения Линдсея серии «Романы о британском пути», написанные в 50-е годы (с 60-х годов писатель работает в новой и, думается, более плодотворной манере), рисовали рабочий класс Великобритании как пролетариат, находящийся едва ли не на грани абсолютного обнищания. Не говоря уже о смещении акцентов (к середине 50-х годов рабочие слои населения в Англии уже жили в обстановке относительного благосостояния), образ рабочего человека у Линдсея получался, как правило, схематичным и внутренне обедненным.

«Рабочий роман» конца 50-х годов социологичен в широком смысле слова, поскольку проблема классовой психологии и классового сознания — проблема социологическая. Такой феномен современной жизни, как сокращение общего числа людей, занятых непосредственно в сфере физического труда, и возрастание числа тех, кто относится к профессиям «белого воротничка» (хотя, безусловно, косвенно занятых в производстве материальных благ, потому что сегодня даже «чистая» наука превратилась в неотъемлемый сектор производства), самым непосредственным образом влияет на положение и психологию рабочего класса. «Рабочие» романисты исследуют различные формы психологической реакции современного рабочего в условиях «общества нового типа», как западная социология часто определяет капитализм 50—60-х годов.

Первая весьма распространенная форма отношения английского рабочего к новым условиям жизни — пассивное приятие происходящего. То есть приятие характерной для Запада тенденции к материальному и социальному «выравниванию» между профессиями рабочего и служащего. Это ведет к тому, что рабочий стремится вырваться из своего класса, стать человеком «чистого дела». Подобное стремление всячески афишируется и поощряется обществом. Такая форма социального приспосабливания прослежена Барстоу («Любовь... любовь?», 1961) и — в ироническом ключе — Уотерхаузом («Лгунишка Билли», 1959).

В ином, гротесковом плане она была исследована еще Джоном Брейном в романе «Путь наверх» (1957). Конечно, Джо Лэмптон на первый взгляд — полная противоположность Вику Брауну. Но в сущности оба они идут одним и тем же путем — путем «выламывания» из своего класса. С той только разницей, что Вику не приходится для этого переступить через труп любимой женщины. Роман Брейна был задуман как откровенная пародия на распространенные в США и Англии сенсационные «боевики». Поэтому и случай, взятый автором, должен был бы трактоваться как исключительный: простой рабочий становится посредством марьяжной махинации совладельцем капиталистического предприятия. «Путь наверх» — психологически заост-

рений роман о пошлом «герое», роман-памфлет. Но пошлый «герой» оказался т и п о м, а сама книга — весьма отличной от задуманной схемы (схема, пожалуй, сохранилась лишь в некоторых поворотах сюжета). Необычный и неожиданный успех романа показал, что Брейн — сам, возможно, того не желая — коснулся больного места, дал художественную интерпретацию некоего с о ц и а л ь н о г о явления, которое давно уже требовало к себе внимания.

В романе Барстоу (кстати, при хорошем переводе самой книги на русский язык очень неудачен перевод заглавия, при котором полностью утрачен его подтекст; точный перевод названия - «Любить можно и так») цель Вика Брауна, паренька из потомственной рабочей семьи, - получить профессию «белого воротничка». Причем мечта героя осуществляется без особых усилий со стороны молодого человека — логикой самой действительности. Основной принцип Вика — принцип, которому он неуклонно следует во всем, даже в любви, таков: жить как живется, работать как работается, любить как любится. Фактически юноша существует в рамках предписанных ему желаний, в рамках идей, которые и не принадлежат ему, а восприняты им из окружающей среды. Он плывет по течению и не пытается активно противостоять увлекающему его потоку. За это общество благосклонно к Вику и позволяет ему обрести желаемое.

Продолжение романа, опубликованное Барстоу в 1966 году («Наблюдатели на берегу»), подтверждает такую трактовку книги. Вик Браун показан здесь человеком, пришедшим из-за своей пассивности к нравственному и духовному кризису, к безразличию, погружению в «скуку жизни» — уделу всех, кто порывает с «корнями». Симпатии автора, безусловно, на стороне его молодого героя (Вик Браун действительно хороший парнишка и остается таким в восприятии читателя). Но Барстоу показывает пути и следствия психологической капитуляции и делает это без «нажима». Он сочувствует герою — соблазн был слишком велик, общество «приручило» Вика не лутыми обещаниями земного рая, а вполне ощутимым благополучием и гарантией спокойного существования,— но и осуждает его.

Барстоу, в отличие от Брейна, сознательно избегал любой сенсационности, даже в пародийно переосмысленном виде. И в замысле, и в его воплощении Вик Браун отнюдь не проекция «злодея» из бульварного романа. Не только с любовью выписанный и тщательно мотивированный в психологически-бытовом и социальном плане характер героя, но даже нарочито неторопливое, свободно текущее почти бессюжетное повествование как бы подчеркивает обыденность Вика, закономерность существования в современной Англии таких «средних» ребят из рабочих слоев, как он. Своеобразная «перекличка» между Брейном и Барстоу, по-разному подошедших к одному и тому же явлению, лишний раз свидетельствует, что само явление приобрело признаки характерного.

Тенденции, отмеченной Барстоу и Брейном, противостоит другая тенденция — абсолютное непринятие рабочим современной действительности, крайний нонконформизм. Тема нонконформизма остро звучит в английской литературе сегодняшнего дня, причем далеко не в одних произведениях «рабочих» авторов, но и в таких, например, книгах, как философские романы-притчи Уильяма Голдинга. Герой-нонконформист «рабочего романа» впервые предстал перед читателем в образе Артура Ситона, главного действующего лица книги Силлитоу «В субботу вечером и в воскресенье утром» (1959) — книги, положившей начало «рабочей» теме в английской литературе конца 50- начала 60-х годов. Молодой герой романа, как, впрочем, и герой новеллы того же автора «Одиночество бегуна на длинную дистанцию» (1959) юный правонарушитель Смит, получил в британской критике ярлык «бунтаря». Его позиция — позиция неприятия всего нового, что несут с собой современное производство и социальные отношения в Англии. Чем больше ему платят, тем ожесточеннее становится его ненависть, тем более странные и извращенные формы принимает его стремление «насолить», «напакостить» многочисленным боссам — от мастера в цехе до людей, представляющих государство,— доказать, что он не попался «на удочку».

Некоторые британские рецензенты характеризовали отношение Ситона к жизни как «стихийный социализм». Правильнее, пожалуй, говорить не о социализме (от которого Артур далек), но о стихийном бунте, стихийном неприятии. Для Ситона его эскапады — психологическая разрядка, уродливая форма манифестации своей классовой принадлежности, точно так же как регби для Артура Мейчина и некоторых его товарищей из романа Стори «Такова спортивная жизнь» (1960). Но и стихийный бунт лучше безвольного смирения или наглого цинизма, тем более что в благоприятных условиях этот бунт может перейти в сознательные формы протеста, как показал Силлитоу в романе «Ключ от двери» (1961).

Известна полемика, развернувшаяся в английской печати вокруг романа «В субботу вечером и в воскресенье утром». Пытаясь отразить упреки отдельных критиков, доказывавших, что автор нарисовал искаженный образ британского рабочего, Силлитоу утверждал, что он всего лишь показал одного человека, которого хорошо знает, и отнюдь не стремился к созданию обобщенного характера. Но широкий общественный резонанс, который был вызван романом на родине Силлитоу,— доказательство того, что Артур Ситон — фигура характерная, с о в р е м е н н ы й рабочий парень, поставленный в условия послевоенно-

го экономического процветания Великобритании.

30-е годы для английского рабочего класса — «славное десятилетие», и в «рабочем романе» закономерно проскальзывают нотки ностальгии по этому периоду. Для современности «тридцатые» — живая традиция. Не допустить того, чтобы она прервалась,— такова форма сознательного классового сопротивления искусу послевоенной стабилизации. О том, насколько трудно и ответственно для английского рабочего занять такую позицию, беспристрастно и честно сказал Уильямс в романах «Пограничный край» (1960) и «Второе поколение» (1964).

«Путь к себе» современного рабочего, его стремление следовать классовым традициям в новых условиях, то есть почувствовать себя наследником дела отца и деда вопреки обстоятельствам, которые приказывают, убеждают, соблазняют рабочего пойти по линии наименьшего сопротивления и продать право первородства за немалые материальные выгоды,— этот «путь» прослежен Сидом Чаплином в лучшем его романе «Стражники и заключенные» (1962). Человеческое и классовое достоинство Тима Мейсона, добытое в нелегком для двадцатилетнего парня поединке с самим собой,— социально-этический итог этой сложной, сильно написанной, горькой и в то же время внутренне просветленной книги.

В 1964 году журнал «Иностранная литература» поместил интересную монографическую статью о «рабочем романе» конца 50—начала 60-х годов.* С того времени положение несколько изменилось. Сейчас «рабочий роман», судя по всему, сходит со сцены, а его создатели обращаются к иным темам.

Силлитоу в последнем своем произведении «Смерть Уильяма Постерса» (1965) не столько пишет о рабочем, сколько ставит в широком общефилософском плане дилемму «эскепизм—нонконформизм». Уотерхауз написал полуфантастический гротеск «Джабб» (1964), а Стори пришел к уже и вовсе, казалось бы, не характерному для него жанру — метафизическому философскому роману («Рэдклифф», 1963).

Чем вызван спад интереса к непосредственно «рабочей» теме? Думается, не тем, что эта тема потеряла актуальность, и подавно не тем, что в Англии исчезает рабочий класс (как утверждают некоторые теоретики на Западе) и, таким образом, «рабочим» романистам становится не о чем писать. В разговоре с одним советским литературоведом Сид Чаплин на вопрос о том, почему он изменил своей теме и в последнем романе «Утро Сэма» (1965) сосредоточил внимание на психологии потребительства, ответил: «Мне казалось, что сегодня это важнее».

Действительно, в западной социологии все чаще и чаще появляются тревожные данные о том, что происходит переориентация общества из сферы производства на сферу потребления, что на первое место в экономике выходит потребитель материальных благ, оттесняя их творца. Возникает вопрос: что же все-таки определяет социальную функцию рабочего? Рабочего заставляют забыть о своей классовой принадлежности, всемерно вовлекая его в сферу потребления. Ему внушают, что его ценность в глазах общества состоит не в том, сколько и что он производит, а в том, сколько и что он приобретает.

В появлении романа Сида Чаплина «Утро Сэма» сказалось стремление ответить на встающие здесь вопросы. Вероятно, следует ожидать, что в английской литературе возникнут какие-то новые разновидности жанра, способные отразить проблему сегодняшнего дня: рабочий-производитель и рабочий-потребитель в условиях высокоразвитой капиталистической цивилизации английского типа.

Н. Новиков

* Д. Шестаков. «Пятнадцать миллионов героев». «Иностранная литература» № 11, 1964.

Образ рабочего в американской социологии

В статье Е. Амбарцумова сделано немало точных замечаний о процессах, идущих в современном рабочем классе развитых капиталистических стран. Представляет интерес также взгляд на стереотип рабочего, складывающийся в сознании самих агентов буржуазного общества. Этот стереотип лежит в области того, что можно было бы назвать обыденным, житейским сознанием, и именно в соответствии с ним, а не «строгими истинами» науки статистический «член общества» устанавливает отношение к рабочему и его проблемам. Складывающийся в обыденном сознании «образ» рабочего в какой-то степени для самих рабочих фигурирует в качестве «самосознания» — с этими представлениями о себе рабочий действует в качестве элемента наличной социальной структуры (например, как член профсоюза в тот или иной период).

Американская социология фиксирует штампы обыденного, практического сознания в виде концепций «сущности рабочего», «сущности труда», «сущности промышленных отношений» и т. д.

«Образ» рабочего в американской социологической литературе прошел через несколько этапов. Первый этап (с конца XIX века приблизительно до 30-х годов XX века) — это представления о рабочем как о так на-

зываемом «экономическом человеке». Рабочий в этой концепции мыслился по аналогии с буржуазным дельцом эпохи свободной конкуренции. Считалось, что мотивация рабочего как «экономического человека» носит сугубо своекорыстный характер, а эмоционально-психологическая сфера его жизнедеятельности подчинена цели получения выгоды. Это была идеология, в соответствии с которой «каждый чистильщик может стать миллионером», а рабочий в его «возможностях» самостоятельной экономической инициативы равен предпринимателю. Иллюзорность такого видения рабочего вовсе не мешала этой системе взглядов «работать». Наниматель и нанимаемый в общественном сознании выступали в качестве «конкурентов», борьба их интересов представлялась нормальным, естественным элементом общественной жизни. Забастовки в США в начале века, вплоть до 20-х годов, не расценивались в качестве «антиобщественного поведения», ибо они стояли где-то в одном ряду с поджогом фирмы конкурента или всякого рода иным экономическим гангстеризмом, то есть явлениями из области приемов борьбы за свою выгоду. Этот же «образ» рабочего нашел себе практическое применение и в политике тэйлоризма. Характерной чертой тэйлоризма как системы организации труда является попытка определить ту сферу, в которой «конкуренция» предпринимателя и рабочего может вести к взаимной их выгоде. Тэйлоризм выступал исторически в качестве первой попытки «рационализировать» представление о рабочем как агенте конкуренции, содержащееся в доктрине «экономического человека»: пусть рабочий конкурирует с предпринимателем в области продажи своей рабочей силы — своих способностей и умений,— а уж дело предпринимателя бороться за то, чтобы меньше платить и больше выжимать из купленного. «Научное руководство» той поры не терпело у себя на предприятиях профсоюзы не просто в силу автократических склонностей, а потому, что исходило из идеи «индивидуальной конкуренции», не стесненной «организационными рамками»: рабочий — это рабочая сила, предприниматель — это капитал. Тэйлоризм как политика был, пожалуй, наиболее последовательным выражением понимания члена общества как «экономического человека» в XX веке.

Начиная с конца 20-х годов в США представление о рабочем как социальном типе изменяется. Десятки современных американских социологов с нескрываемым презрением говорят о биологизме тэйлористских методов и об их ненаучности. Что касается более широкой концепции «экономического человека», то тут для современного социолога в США вопрос тоже решен: «экономический человек» как реальность ушел в безвозвратное прошлое, стал мифом. На его место пришел «социо-психологический» человек. «Социо-психологический» человек характеризуется следующими чертами: в отличие от своекорыстного «экономического человека» центр тяжести его интересов лежит в области морально-психологических отношений с другими людьми; погоня за материальной выгодой является всего лишь «превращением» стремления человека к высокой морально-психологической позиции в обществе. Эти представления по отношению к рабочему породили целую систему фраз, иногда явно лживых. Ложью является то, что рабочий якобы потерял интерес к материальному вознаграждению, а ищет только престиж. Ложью является то, что система социальных отношений на предприятии смеяется системой «человеческих отношений» (human relations), в рамках которых решаются все возникшие конфликты — путем «воспитательной работы» начальства с персоналом, совершенствования процессов коммуникации между ними и т. д. В действительности, конечно, противоречия между различными группами на капиталистическом предприятии имеют гораздо более глубокую — социально-экономическую — природу. Этот «образ» рабочего, созданный в американской социологической литературе последнего тридцатилетия, фиксирует лишь новые представления буржуазного дельца о самом себе и о наиболее эффективных в изменившихся условиях капитализма путях преследования выгоды.

На самом деле ситуация в американском бизнесе в течение последних тридцати-сорока лет изменилась довольно существенным образом. После кризиса 1929 года и рузвельтовской политики принудительного картелирования эпоха «свободных возможностей» окончательно канула в прошлое, главную роль стали играть системы гигантских бюрократизированных корпораций. Свершилось нечто вроде термидора в истории американского бизнеса: на место дельцов, чья хищническая деятельность, не знавшая границ ни в общественном мнении, ни в праве, революционизировала хозяйственную жизнь общества, пришли «серые люди в серых фланелевых костюмах», как называл их Милз, — служащие, многочисленный и растущий все время количественно «средний класс». Эти люди при всей их неизбежной в условиях капитализма настроенности на преследование выгоды, никак не могли и не могут сейчас идти путем самостоятельной экономической инициативы — «места заняты». Конкуренция от этого между ними не уменьшилась, но она неизбежно приняла новые черты — форму «крысиных бегов в закрытой комнате» (П. Гудмен). Наилучшим способом достижения выгоды стал сознательный конформизм — создание уверенности у начальства и окружающих в своей лояльности, преданности «делу», ориентация на подхалимаж, улавливание настроений босса.

Эти черты реальной практики современного буржуазного индивидуалиста, наиболее эффективные с точки зрения достижения выгоды, и были представлены американ-

ской социологией в качестве новой «социально-психологической» сущности «человека вообще», в том числе и рабочего. Новая сравнительно с тэйлоризмом политика предпринимателей по отношению к рабочим была разработана целиком и полностью на основе этого «знания» о рабочем, являющегося на деле сгустком житейского миросозерцания современного буржуазного индивидуалиста. Этой новой политикой стали «человеческие отношения». Их цель — выработка эффективной трудовой мотивации рабочего, обеспечение мер по своего рода «охранительному» влиянию коллектива на личность, то есть воспитание конформизма; большое внимание в политике «человеческих отношений» уделяется изобретению всякого рода заменителей демократии на производстве и искусственных стимуляторов повышения интереса к труду. Все эти и десятки подобных мероприятий дают предпринимателям калькулируемый в прибыли результат, и энтузиазм сторонников «человеческих отношений» рос в США от десятилетия к десятилетию. Социальная наука (прежде всего социология, социальная психология и психология) приняла деятельное участие в выработке «образа» рабочего как идеальной модели, приведение к которой его человеческих качеств считается «гуманизмом в действии».

Третий этап начался совсем недавно, можно сказать, он только начинается, но признаки его очевидны. Подобно концепции «экономического человека» и «социо-психологического» человека, этот «образ» рабочего отражает не какие-то существенные социально-экономические изменения в рабочем классе, а изменения в области предпринимательской идеологии.

Новый «образ» рабочего фиксирует следующие черты: рабочий функционирует в системе организаций, и потому успешность его деятельности, и прежде всего повышение производительности труда, находится в прямой связи со знанием и соблюдением им предписаний и инструкций: не морально-психологическая настроенность, не ориентация на удовлетворение в труде своего эмоционального интереса (как все это предполагается в «человеческих отношениях»), а жесткий принцип знания на основе четко фиксированных формальных предписаний — вот что составляет «идеальную модель» рабочего согласно этим взглядам. Необходимо отметить что эта новая концепция сейчас в США лишь пробивает себе дорогу. Однако она уже прочно заняла место ведущего современного направления в рамках так называемого «неорационализма». Основой для разработки «неорационалистических» взглядов на работника современного капиталистического предприятия (в том числе и рабочего) явились представления современной технической элиты, выросшей за последние десятилетия в США. Эти представления характеризуют индивидуалистические, предпринимательские стремления этого нового слоя, но в буржуазной социологии фиксируются как выводы научного знания о природе человека вообще. В отличие от руководителей американской индустрии (особенно на средних ее уровнях), слой которых сформировался в виде «серых людей в серых костюмах», сейчас вырастает слой высококвалифицированных специалистов, имеющих в своем активе конкурентоспособное университетское образование, знание, умение. Это «техники-интеллигенты», которые, приходя на современное предприятие, становятся на самые ответственные производственные участки. Но они не имеют власти. Власть — в руках «некомпетентных ветеранов» у «безграмотной старой гвардии» (так техники-интеллигенты называют руководство корпораций — не только правление, но и средние ступени иерархии). Техники-интеллигенты весьма неуютно чувствуют себя в системе налаженных «человеческих отношений»: для них желательным полем для достижения выгоды — продвижения по службе, дохода — выступают как раз не личные отношения, а система четких правил, к выполнению которых они готовы. Тут они готовы конкурировать, ибо знают свою силу. Но систему «человеческих отношений» они характеризуют как социальную несправедливость. Сложившаяся элита, выросшая на принципах «общего руководства», характеризуется ими как вид коррупции. Техники-интеллигенты стоят за принцип знания в руководстве, а не эмоционального «проникновения» в существо дела.

В работах, выражающих идеологию этой новой технической интеллигенции или так называемой «элиты без власти», не выработаны еще принципы политики руководства по отношению к рабочему на основе новых представлений об «идеальной модели» работника, как это сделано в доктрине «человеческих отношений». Иными словами, нет еще конкретных предписаний на этот счет. Очевидно, и таковые скоро будут разработаны.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что эта эволюция концепций рабочего в американской социологической литературе от «экономического» к «психо-социальному» и «бюрократическому» (назовем ее так условно) отражает этапы эволюции общественного сознания в США в целом. Ее нетрудно обнаружить и в американской художественной литературе. При этом использование «образов» рабочего или воссоздание их средствами литературы в качестве «реалистических портретов» данного социального слоя характерно для наиболее плоского конформистского направления в литературе и драматургии США. В начале века, вплоть до 20-х годов, в такой литературе рабочий обычно рисуется в виде полноправного конкурента капиталиста — «независимого» в области продажи своей рабочей силы «предпринимателя». Начиная с 30-х годов в литературе насаждается образ рабочего-«коллективиста», полного симпатий к боссу и друзьям, «своего парня» для которого «чувство локтя» ценнее всех иных благ в мире. Крупные американские художники (У. Фолкнер, Т. Уильямс, А. Миллер и немногие другие) ставили своей задачей сознательное ниспровержение этих шаблонов-мифов.

«Обращение к реальности», которое составляет условие социальной ценности художественного произведения, неизбежно означает также и отказ от господствующих обыденных, житейски-практических представлений об окружающем мире.

Ю. Замошкин

Коллективизм истинный и ложный

Общеизвестно, что идея исторической миссии рабочего класса в учении марксизма была органически связана с научным анализом основных проблем, поставленных историческим развитием общества. И опиралась эта идея не столько на личные симпатии основоположников научного социализма к определенной социальной группе трудящихся (а именно эту сторону выдвигают на первый план современные антикоммунисты, рассматривающие марксизм лишь как идеологическую проекцию, определяемую склонностями его творцов), сколько на данные исследовательской работы в области политэкономии, социологии, философии — работы, выявляющей назревшие потребности и тенденции общесоциального процесса.

Когда К. Маркс говорил о рабочем классе как о силе, способной разрешить главнейшие социальные проблемы, вставшие перед человечеством, то он исходил прежде всего из объективного положения этого класса в системе общественных отношений, из его связи с наиболее передовыми формами индустриального производства. Именно поэтому практическое осуществление миссии рабочего класса зависит от того, насколько его члены усвоят научный взгляд на социальные процессы, насколько последовательно этот взгляд воплотится в рабочем движении. В этой связи рассматривалась роль коммунистической партии в рабочем движении, соотношение деятельности интеллигенции и стихийного движения трудящихся.

Поэтому марксистская литература о рабочем классе прежде всего включает работы, содержащие научный анализ общеисторического движения и его объективных задач. Типичные, классические образцы такой литературы — «Немецкая идеология», «Капитал», «Критика Готской программы», «Что такое «друзья народа» и т. д.

Вот почему, как нам кажется, и художественная литература о рабочем классе и рабочем движении в той или иной мере не может не быть литературой об осиовных социальных процессах и проблемах современной истории. И наоборот, литература, посвященная таким процессам и проблемам, есть одновременно и литература о рабочем классе и рабочем движении, если эти понятия брать в их марксистском истолковании, а не узко, в духе тред-юнионизма или политического сектантства. Такую литературу никак нельзя сводить к работам, эмпирически описывающим непосредственное материальное положение или наличное сознание тех или иных слоев промышленного пролетариата, к работам, отражающим лишь специфические внутренние тактические задачи рабочего движения как относительно самостоятельного политического процесса, вырванного из общего многосложного социального развития всего общества.

Отстаивая мысль, что проблемы рабочего класса и рабочего движения в конечном счете неотделимы от социальных проблем, вставших перед человечеством, мы одновременно хотели бы подчеркнуть необходимость рассматривать эти проблемы на подлинно *современном* уровне. Что греха таить, мы сегодня иногда еще склонны рассматривать положение рабочего с позиций 30-х годов, с учетом тогдашней обстановки, тогдашних задач.

Мы живем в эпоху, когда в сфере производства, экономики, социальных и политических отношений стремительно совершаются весьма существенные социальные сдвиги. Достаточно сослаться на научно-техническую революцию и ее разнообразные социальные последствия.

В этой связи огромное значение имеет учет социальных изменений, которые за последние десятилетия произошли в высокоразвитых в индустриальном отношении капиталистических странах, таких как США, Франция и т. п. Здесь сегодня возникают социальные процессы и проблемы, отличающиеся большим своеобразием и сложностью. (К сожалению, не все они стали предметом *всестороннего, развернутого и конкретного* марксистского научного анализа — социологического, экономического и философского.) А между тем от правильной оценки этих процессов, от решения этих проблем во многом зависят судьбы будущего развития истории, а значит, и судьбы рабочего движения.

Данные процессы и проблемы, возникающие и складывающиеся в сфере производства, в сфере управления хозяйственной жизнью, в сфере практической и политической организации общества и, наконец, в сфере науки, культуры, идеологии и социальной психологии, пока еще не всеми слоями осознаются и переживаются в равной мере. Иногда в наиболее четкой форме они выступают перед теми слоями, чья деятель-

РАБОЧИЙ КЛАСС,
ОБЩЕСТВО, ЛИТЕРАТУРА

ность связана с наиболее развитыми участками современного производства, непосредственно соединяющегося с наукой, связана с функциями управления социальным организмом. Иными словами, кардинальные социальные проблемы современности могут на первых порах более четко осознавать слои, действующие как бы на стыке материального и духовного производства, а не те социальные группы, которые мы, в соответствии со стандартами прошлых лет, привыкли прежде всего относить к рабочему классу (рабочие низкой и средней квалификации).

Поэтому данные процессы и проблемы пока еще более непосредственно выражаются не в массовом движении этих групп (в тред-юнионистском движении), а в социальных движениях, включающих преимущественно интеллигенцию, студенчество, служащих и т. п.

Для пояснения высказанных здесь мыслей мы хотели бы остановиться на некоторых подобных процессах и проблемах.

Сегодня общепризнанным является тот факт, что госмонополистические организации в индустриально высокоразвитых капиталистических странах, и прежде всего в США, принимают все более ярко выраженный бюрократический характер. В наиболее четких формах процесс бюрократизации происходит в корпорациях, в армии и государственных учреждениях, хотя он охватывает все стороны социальной жизни, является всеобъемлющим. Он находит свое выражение в профсоюзном движении, в системе средств массовой коммуникации и пропаганды (телевидение, радио, пресса, кино, издательская деятельность и т. п.), в организации образования и научной работы. Словом, нельзя не согласиться с Е. Чиноем, известным американским социологом, что «бюрократия стала во все возрастающей степени характеризовать современную жизнь... Все возрастающее число людей становятся служащими бюрократии, и миллионы имеющих другую работу оказываются объектами бюрократического контроля».

Для бюрократии все более характерной становится тенденция к обезличиванию человека, который здесь выступает лишь как средство для обеспечения интересов какой-либо организации. В системе бюрократии рабочие являются простым придатком производственных процессов, а служащие (число которых сегодня, естественно, возрастает) — придатком административно-финансовых процессов, машины управления. Социальные связи выступают как связи функциональные, отчужденные от человека. Десятки миллионов людей (в США — $^5/_6$ населения) превращаются в объекты авторитарного принуждения, в объекты бюрократического контроля, распространяющегося на поведение и сознание человека. Регламентация индивидуального поведения становится постоянной, все более детализированной и мелочной. В производстве, в гражданской жизни человек все чаще встречается со всякого рода организационными нормами-рамками, казенными и обезличенными, пронизанными духом функционализма и утилитаризма.

Процессы эти оказывают большое влияние на умы и чувства миллионов людей. Бюрократия стихийно и сознательно порождает психологию приспособленчества, конформизма, социальной апатии. Бюрократии сопутствуют настроения цинизма, нравственного нигилизма. С ней в той или иной мере связан рост социальных болезней личности (душевные расстройства, алкоголизм, наркомания и т. п.).

Коммунистические партии США и стран Западной Европы сегодня придают огромное значение борьбе против госмонополистической бюрократии. Поэтому художественные произведения, так или иначе включенное в такую борьбу (а таких произведений сегодня очень много, и число их растет), оказываются объективно связанными с современными задачами, стоящими перед рабочим движением в его глубоком марксистском пониманин.

Проблема госмонополистической бюрократии имеет и другую очень важную сторону. Процесс производства в странах развитого капитализма принимает все более последовательно выраженный общественный характер. Сотни тысяч людей все теснее объединяются в единые производственно-хозяйственные образования — своеобразные «коллективы». Однако эта коллективность оказывается мнимой коллективностью; если пользоваться выражением Маркса, она противопоставляет себя рядовым членам как нечто самостоятельное, поскольку является объединением одного класса против другого и для подчиненного класса представляет собой не только иллюзорную коллективность, но и новые оковы.

Эта коллективность оказывается бюрократическим суррогатом коллективизма, ибо подчиняется не только потребностям рационального ведения обобществленного индустриального производства, но и классовым интересам правящих слоев, осуществляющих управление вещами и людьми. И поэтому по отношению к рядовым рабочим и служащим она нередко выступает как сила отчужденная, равнодушная к их личным потребностям и мотивам поведения.

Вместе с тем авторитаризм, выступающий в форме бюрократической коллективности, сегодня всячески старается изобразить себя в глазах общественности как подлинную коллективность. В этих целях осуществляется массовая идейно-психологическая обработка населения, проводится политика «человеческих отношений», пропагандируется лозунг единства интересов личности и организации, членом которой она является (достаточно вспомнить лозунг «Что хорошо для «Дженерал моторс», хорошо для каждого ее члена»). Конформизм рекламируется как основная добродетель современного человека.

Таким образом, сегодня социально-классовое (политическое и идеологическое) размежевание идет не только по линии «коллективизм — традиционный буржуазный ин-

дивидуализм», но и по линии противопоставления подлинного коллективизма, носителем которого является сознательный пролетарий, бюрократическому псевдоколлективизму, к тому же маскирующему свою природу.

Эта последняя линия приобретает сегодня все большую значимость, тем более что в результате смешения, отождествления подлинного демократического коллективизма, к осуществлению которого стремится научный коммунизм, и суррогатов коллективности возникают превращенные формы осознания, иллюзии, стихийные настроения и движения, дезориентирующие борьбу за прогресс и лишающие ее перспектив. Так, протест против псевдоколлективизма иногда выступает как борьба за реставрацию индивидуализма, как анархический бунт или даже используется антикоммунизмом (сознательно направляющим этот протест против носителей идей подлинного коллективизма).

Перед рабочим движением сегодня стоит задача — повернуть массы, протестующие против госмонополистического коллективизма, к сознательной борьбе за реализацию идеалов социалистической коллективности, предполагающих создание таких форм организаций, в которых личность получила бы возможность для гармонического развития, проявления инициативы и творчества.

Сегодня противоположность бюрократической коллективности и коллективности подлинно демократической осознается часто общественным мнением в странах капитала как противоположность различных социальных типов личности. Стандартизованной личности бюрократа, конформиста (эта личность в социологической литературе США обычно обозначается: «ритуалист», «человек одного измерения», «массовый человек», «хорошо обструганный человек» и т. п.) противопоставляется личность активная, способная на социальное новаторство, на творческий, самостоятельный подход к окружающей реальности, личность, имеющая своеобразный иммунитет по отношению к моде и идеологическому манипуляторству и т. п.

Это противопоставление занимает все больше места не только в социологии, но и в искусстве и литературе. Здесь нет необходимости перечислять крупные произведения во всех видах искусства и литературы, так или иначе осуществляющих это противопоставление и ведущих борьбу за один из этих типов личности. И хотя эти произведения непосредственно, казалось бы, не связаны с темами рабочего движения, тем не менее объективно они имеют огромное значение в деле развития движения пролетариата в современных условиях. Ибо рабочее движение сегодня крайне заинтересовано в воспитании личности, не только преодолевающей традиционные привычки и иллюзии буржуазного и мелкобуржуазного индивидуализма, но и способной противостоять мощному давлению идеологии и психологии бюрократического псевдоколлективизма. Человек, его личность, его разум и чувства являются тем объектом, в связи с которым развертывается сложнейшая социальная борьба, борьба за социалистическое и вместе с тем гуманистическое и подлинно демократическое преобразование общества.

А. Зверев

Не угасание, а обновление

Есть немало фактов, свидетельствующих, что в последние годы «рабочий роман» на Западе начал заметно сдавать свои позиции. С первого взгляда положение выглядит парадоксальным: литература многих ведущих капиталистических стран, всеми корнями своими связанная с индустриальной цивилизацией, поднимает, кажется, всевозможные философские, интеллектуальные, социальные проблемы, только не те, которые имеют прямое отношение к жизни подлинных творцов этой цивилизации – рабочих.

Выразительный пример — литература США. За последние годы американские писатели не создали ни одного сколько-нибудь значительного произведения, в котором непосредственно изображались бы жизнь современных рабочих, макрокосм современного производства. А ведь после войны «индустриальное общество» достигло в Америке высокой ступени развития; ведь специфическим мироощущением «индустриального века» проникнуто все творчество лучших американских драматургов, поэтов, романистов наших дней; наконец, американская литература имеет давнюю традицию постоянно обращаться к мыслям и настроениям пролетариата. И тем не менее в последние годы о рабочих в Америке почти не пишут.

В чем же дело? Почему социальные изменения, внесенные в жизнь рабочего класса на Западе последним двадцатилетием, привлекают самое пристальное внимание социологов, историков современной эпохи, публицистов — только не писателей.

Вплоть до 60-х годов группа близких по своим убеждениям к марксизму американских писателей оставалась верной рабочей тематике; их книги, однако, воспроизводили историю борьбы американского пролетариа-

РАБОЧИЙ КЛАСС.
ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА

та, но не его сегодняшний день. При этом и эпопея покойного Ларса Лоренса «Семена», и большой роман Филипа Боноски «Волшебный паноротник», и книги Александра Сакстона «Большая среднезападная» и «Паутинка, светящаяся во тьме» во многом уступали довоенному роману о рабочих, представленному такими именами, как Стейнбек, Колдуэлл, Дос-Пассос, Шервуд Андерсон, Альберт Мальц.

Такие книги 30-х годов, как «Гроздья гнева» Стейнбека, «42-я параллель» Дос-Пассоса, «Табачная дорога» Колдуэлла, рассказывая о рабочих, становились в то же время эпосом социальной и духовной жизни всей Америки. Этого, к сожалению, нельзя сказать о немногочисленных книгах о рабочем классе, появившихся в США после войны, произведениях сугубо «пролетарских» и далеких от актуальных проблем времени.

Между тем после войны в положении американского пролетариата произошли весьма значительные перемены. Главная из них состоит, видимо, в том, что практиковавшийся ранее метод экономического подавления рабочего класса был признан на новом этапе неудовлетворительным и заменен обширной системой средств, направленных на духовное порабощение рабочего, превращение его в безопасный, нерассуждающий автомат. Пожалуй, лучше всего охарактеризовал этот новый этап известный американский социолог Дж. Джиллиспай: «В промышленности человек превращается в экономический атом, который пляшет под дудку столь же атомистического управления. Вот твое место: вот так ты будешь сидеть; твои руки будут двигаться на *x* дюймов в радиусе *y*; время движения — столько-то долей минуты. По мере того как плановики, хронометристы, ученые-экономисты все больше лишают рабочих права свободно мыслить и действовать, труд становится все более однообразным и бездумным. Рабочему отказывают в самой жизни: всякая попытка анализа, творчества, всякое проявление любознательности, всякая независимая мысль тщательно изгоняются, и вот неизбежно рабочему остается либо бегство, либо борьба; его удел — безразличие или жажда разрушения, психическая деградация».

Собственно, это не только Америка — характеристика Дж. Джиллиспая могла бы относиться к любой высокоразвитой капиталистической стране. Вспоминается английский фильм «В субботу вечером и в воскресенье утром», сделанный по роману Алана Силлитоу: велосипедисты на шоссе, десятки почти неотличимых друг от друга людей; аккуратные ряды станков; монотонные согласованные движения — поворот, нажатие кнопки, еще поворот; драка в пивной вечером; новенькие дома для рабочих, шахматный рисунок застройки; охваченный яростью герой швыряет в них камнем — бессильный жест, пройдет несколько лет, и жажда разрушения сменится безразличием, тупой подавленностью.

Но не только природа современного производства порождает в рабочем те черты, о которых выразительно сказал Дж. Джиллиспай: «рабочему отказывают в самой жизни». После войны на Западе, а особенно в Америке «народного капитализма» произошло еще более важное по своим социальным последствиям изменение: стерлись различия между пролетариатом и так называемыми «средними классами», в широких масштабах началась и продолжается до сих пор социальная нивелировка, о которой пишет Е. Амбарцумов. Выиграл ли рабочий класс от этой перемены? Бесспорно, материальное положение американского пролетариата стабилизировалось. Но никогда раньше американский рабочий не подвергался такому интенсивному и не прекращающемуся ни на минуту воздействию обывательской философии, примитивной «массовой культуры», играющей на амебных инстинктах пропаганды, никогда не предпринималось такой развернутой атаки на искони присущие передовым рабочим чувство социальной справедливости и самостоятельность мышления, никогда не делалось так много, чтобы привести пролетариат к психической и социальной деградации, как в Америке послевоенных лет.

Все это не прошло бесследно. В 60-е годы, когда развернулась кампания за гражданское равноправие и раздались массовые протесты против вьетнамской войны, пролетариат США фактически остался в стороне от этих движений. Духовная приниженность «среднего» рабочего эпохи «процветания» сделала эту фигуру неинтересной для крупнейших американских писателей. В новых условиях традиционный для Америки тип романа о рабочих, романа, изображающего пролетарскую среду, тяжелые условия труда, забастовки, голод, интеллектуальную придавленность, медленный, мучительный рост классового сознания, утратил под собой почву.

Но ведь еще в те времена, когда полная автоматизация производства и телевизионная система управления были делом будущего, в Америке нашелся художник, создавший вещь, на удивление созвучную самым современным «производственным» проблемам. Сегодня особенно поражает прозорливость Чаплина, выпустившего в 1936 году «Новые времена», эту «повесть об индустрии и личной предприимчивости и о человечестве, мечущемся в погоне за счастьем». Об отчуждении написаны сотни книг; Чаплин сказал о нем буквально несколькими — но незабываемыми — кадрами: вращение громадного количества больших и малых колес, в которых белкой крутится одетый в комбинезон утлый человечек; придуманная для сокращения простоев «кормящая машина», которая исправно вливает в рот поглощенного работой Чарли ложку за ложкой суп, а в следующую секунду обрушивает на него град ударов. И хотя «Новые времена» формально нельзя назвать произведением о пролетариате, в этом фильме было глубочайшее художественное проникновение в тайное тайных «индуст-

рии», в самую суть социального механизма современного капиталистического общества.

В послевоенные годы лишь немногие американские писатели пытались поставить такую задачу. Почти по-чаплински звучали эпизоды на большом машиностроительном заводе в романе писателя негра Ральфа Эллисона «Невидимка»: загнанный, запуганный, шарахающийся от людей негритянский юноша по иронии судьбы оказался чуть ли не инициатором стачки, ловко сорванной провокаторами, и навлек на себя безобразную в своих проявлениях ярость высокооплачиваемых белых рабочих. «Психическая деградация» рабочего, о которой писал Дж. Джиллиспай, нашла сильное художественное выражение в известной драме Артура Миллера «Вид с моста». Безнадежный пессимизм другой своей пьесы, «Воспоминание о двух понедельниках», объяснил сам Миллер: «Люди живут такой жизнью, так как вынуждены служить аппарату промышленности, дающему им хлеб насущный и оставляющему на собственное их усмотрение поиски пищи духовной».

Несомненно, появятся и новые произведения о трагической судьбе, которая — при всем внешнем благополучии — постигла американский пролетариат после войны. Какими они будут? Во всяком случае, сегодня о рабочем классе не рассказать старыми средствами, «рабочая специфика» уже не спасает произведения. В книгах о пролетариате появляются мало им свойственные раньше аллегория, иносказание, миф. Любопытный пример — повесть английского писателя Питера Брауна «День Смолкрипа» (1965). Произведение это не отличается особенными художественными достоинствами, но оно очень показательно для складывающегося у многих писателей Запада нового подхода к изображению труда, производства, взаимоотношений между работодателем и исполнителем.

Повесть Питера Брауна можно назвать «производственной антиутопией». В ней традиционный «вопрошающий» герой — рабочий-токарь Пинкуин Смолкрип, отправившийся однажды утром на склад деталей и заблудившийся в лабиринте большого современного предприятия. Девять глав книги — как девять кругов ада. В каждом из кругов Смолкрипа встречает новый герой — идеолог, в повествовании которого вскрывается еще одна грань темы. Книга Брауна — нечто среднее между беллетристикой и социологическим трактатом, сказка по форме, исследование структуры отчуждения снизу доверху, от расточника до руководителя громадного завода — по существу. В разных своих проявлениях такой жанр становится на Западе популярным; можно вспомнить «Вещи» Жоржа Перека. Там исследовалась капитуляция перед фетишами; замысел Брауна шире: тут и превращение человека в машину, и «смерть в душе», и пробуждение разрушительных инстинктов в сознании рабочего, окруженного ватными стенами отчуждения. Порабощенность и несвобода, одиночество среди безликой, утомленной толпы и равнодушных поработителей — станков, сама фабрика — жернов, перемалывающий души,— таков мир книги Брауна.

Конечно, «День Смолкрипа» — только эксперимент, один из многих опытов писателей Запада, стремящихся исследовать проблему рабочего класса и современных условий его существования. Быть может, эта проблема найдет в других книгах не столь пессимистическое решение. Но такие произведения, как повесть Брауна, заслуживают внимания, в них есть поиск нового. Не угасание «рабочей темы», а ее давно необходимое обновление и расширение несут литературе стран Запада 60-е годы.

Джованни Арпино

(ИТАЛИЯ)

Направлять свет на трудящегося и его душу

Я живу в очень древней стране, где труд достаточно редко сочетался со справедливостью и где человек труда вынужден терпеть приказы, решения, требования, капризы своих хозяев, директоров, начальников, глав предприятий.

Первое время, когда я только начинал писать рассказы и романы, трудовой мир интересовал и волновал меня потому, что здесь шли поиски свободы и справедливости — как в самом труде, так и вне его. Я знал рабочих, крестьян, ремесленников, служащих, которые с помощью труда стремились стать свободными, уважаемыми, независимыми людьми. Эти мужчины и женщины, отцы и подростки вели трудную битву, но это была их единственная настоящая битва. Я был их близким другом не потому, что они интересовали меня как литератора, но потому, что я был их единомышленником.

Сейчас я знаю, что одного труда недостаточно, даже если он может приблизить к свободе и дать выход твоим умственным

силам. Сейчас я вижу, что мечта освободиться с помощью одного труда психически деформирует человека, лишает его здоровья, он перестает быть самим собой. Теперь я понял, что человек должен «пользоваться» трудом в какой-то мере как инструментом, подобно шоферу, который пользуется своим грузовиком, не преклоняясь перед ним.

Моя земля — родина людей старой крестьянской породы. Конечно, итальянские крестьяне принадлежат к лучшим в мире крестьянам. Никто не умеет обрабатывать виноградник так, как они. Однако, собрав виноград, они не умеют делать хорошее вино. Тут они работают кое-как, все путают, прибавляют сахару, смешивают хорошее сусло с плохим. Иначе говоря, не умеют использовать разумно и толково, соблюдая верные пропорции, то, что далось им после трудной работы в течение целого года.

И я уяснил себе как писатель, чтобы сегодня говорить о трудящемся, нужно знать не только его среду и особые обстоятельства, в которых он работает, но также интимные, скрытые отношения между этим трудящимся и тем, как он использует время, то есть его работой.

Кроме того, трудящийся ныне изменился: это уже не труженик прежнего времени, это человек, который борется с самим собой. Индустриальный труд анонимен. Рабочий не видит конечного продукта своего труда, он видит только ничтожную часть его. Утрачено любовное отношение к работе, она стала и точнее, и отрешеннее. Больше не существует рабочего, который год строил бы почти один и почти вручную, пригоняя деталь к детали, внесерийный автомобиль, а закончив работу, мог бы заплакать от радости.

Сейчас рабочий — это звено в огромной цепи; это самый одинокий и изолированный человек, и труднее всего проникнуть в тайники его сердца.

Как писателя, меня интересует сердце рабочего, а не только, как прежде, его труд. Меня интересует реальность человека и окружающего его мира, но только если за нею открывается определенная косточка — подобно тому, как в мякоти вишни есть косточка, из которой может вырасти новое дерево.

Я чувствую, что мой долг как писателя — обогатить своей выдумкой человеческую реальность трудящегося, не искажая ее контуров и не приписывая ему невозможных чувств. Я стараюсь направить свет на трудящегося и на его душу, подобно спелеологу, который зажигает во тьме пещеры электрический фонарь, разбрасывая вокруг пучки света.

Т. Балашова

Между Сциллой нищеты и Харибдой приобретательства

В современном мире рабочий и как личность и как единица огромного трудового коллектива играет несравненно большую роль, чем в литературе.

Это очевидно, бесспорно. Пожалуй, так же как очевидно то, что не все проблемы, волнующие современную интеллигенцию, отражены искусством и не во всей полноте представлены им многогранные социально-политические конфликты, потрясающие мир. Действительность всегда будет более колоритной, изменчивой, богатой, чем самое многоплановое из многоплановых произведений.

Положение и психология рабочего заметно меняются в нашу эпоху. Социологи, экономисты, философы справедливо ищут для изменившейся ситуации новых определений. Литература определений не ищет, но перемены отражает, о них свидетельствует.

Пролетарий современного капиталистического мира очень далеко ушел от «углекопов» Э. Золя. С него чаще всего уже сняла страшная забота, как бы не умерли от голода дети, его не назовешь больше «темным», и, как любой гражданин сегодняшнего цивилизованного мира, он получает гигантскую массу информации — кино, газеты, радио, телевидение. Ему, казалось бы, легче, чем его дедам, разобраться, где правда, где фальшь, самому определить свой стиль жизни, сделать выбор — что чему предпочесть. Сегодня в странах Запада общественное мнение — это во многом мнение рабочего класса, оно влияет на некоторые решения правительства, а иногда и на общий внутренний или внешний курс государства: мы помним громкоголосое эхо стачек французских докеров, отказавшихся грузить оружие для войны во Вьетнаме, мы знаем, чем в конечном счете было вызвано прекращение войны в Алжире.

И, если мы присмотримся к героям Ж.-П. Шаброля «Мятежные» (1965—1966)*, то почувствуем в них огромную внутреннюю силу, достоинство, умение выбирать путь для своего коллектива так, чтобы он помог и всей нации пробить дорогу к ис-

* См. рецензию в журнале «Иностранная литература» № 8 за 1966 год.

тинной Свободе. Герои Шаброля (они особенно колоритны в первой части цикла) — крестьяне, спустившиеся в шахты Севенн, относятся к своим предшественникам — героям Бальзака, Гюго, Мопассана, Золя — как умудренные жизнью дети к родителям, научившим их человеческой порядочности, цельности, но не умевшим глядеть далеко вперед. Ассоциации с «Отверженными», «Жерминалем» и т. д., постоянно возникающие в книге, подчеркивают сознательный характер переоценки опыта отцов. Шабролю удалось то, что редко удается и более последовательным в своих симпатиях к коммунизму художникам,—создать человечный, обаятельный образ вожака масс (мэр-коммунист, прозванный Жоресом).

Во второй части цикла с ним рядом появляется депутат Фертан Бедель. Как и для Жореса, для него точный факт, ясное знание, конкретное решение важнее любых пространных объяснений преступной политики верхов (роль «говоруна», топящего любую живую истину в потоке отвлеченных комментариев, отведена иронически выписанному образу другого коммуниста — Меффи).

«Знать, детально знать про спекуляции, которые совершаются за нашей спиной, знать, во что господа анонимы превращают деньги, украденные у нас... Нет, мы не против того, чтобы драться, но мы хотим точно знать, против кого, видеть лицо врага. Директор?.. Инженеры? Но они только служащие, оплачиваемые компанией, как и мы. Метить надо прямо в голову, а эта голова должна иметь лицо».

Нащупывая мишень, выбирая тактику пролетарской борьбы, шахтеры Шаброля вовсе не приходят в столкновение с интеллигенцией, у которой есть свои специфические проблемы. Дружба шахтера Жореса с учителем Дуареном, абсолютное взаимопонимание между Фернаном Беделем и писателем Шершмидт, общая позиция, занятая ими по отношению к Народному фронту,— один из штрихов той бесспорной истины, что классовое необыкновенно тесно соединено в XX веке с общенациональным. Горько, говорит Шаброль, если «одни обращаются к народу, а другие — к Франции, в то время как решается судьба н а р о д а Ф р а н ц и и» (подчеркнуто автором). Именно потому, что пролетариат — это н а р о д Ф р а н ц и и, в романах, ему посвященных, преломляются многие художественные тенденции, относящиеся к современному реалистическому роману вообще.

Роман, избравший героем человека труда, как правило, сочетает сегодня социальную фреску общества с постановкой острейших моральных проблем, тесно связывающих главного героя с иными общественными сферами, стремится к максимальной психологической детализации. От очевидного, бросающегося в глаза контраста нищеты и роскоши роман идет к исследованию более сложных форм конфликта, когда именно материальная обеспеченность, погоня за «новинками» нейлонового века порабощают труженика, убивают в нем человека. Ведь движению личности ввысь — к осознанию себя силой, от которой многое зависит,— часто сопутствует потеря собственной индивидуальности. И нередко книги, воссоздающие процесс отрицательный — деградацию личности среди механических чудес ракетного века,— способом «от противного» прививают читателю иммунитет от этой болезни. Таким был в свое время роман Р. Вайяна о 325 миллионах франков, доставшихся рабочему вместо крепких рук, ясной головы, хорошего настроения; таковы многие сюжеты книги А. Стиля «Над крышей — небо», отмеченной популистской премией 1967 г., а также одна из его лучших новелл «Как тебе подсказывает сердце», где намечен путь, избрав который человек убивает самого себя. Таковы некоторые рассказы Жоржа Арно, автора знаменитой «Платы за страх», и романический цикл Э. Триоле, названный «Нейлоновый век».

Где-то существует все-таки грань между железной необходимостью зарабатывать на жизнь и, так сказать, самоэксплуатацией, когда возможность пожертвовать еще часом, еще вечером, еще одним выходным днем ради поездки на шумный модный курорт или покупки новой марки телевизора постепенно, незаметно убивает в индивидууме привычку п о л ь з о в а т ь с я вещью и приучает с л у ж и т ь в е щ и — начинается абсурдное накопительство, гораздо более изящное, чем у Плюшкина или Гобсека, но не менее страшное для личности. Против этой болезни не нашло надежной вакцины и социалистическое общество. Недаром французские критики часто сопоставляют «Большую руду» Владимова с новеллами Арно и Стиля; Виктор Пронякин тоже ищет себя, тоже пытается увидеть грань, за которой труд становится не вдохновением, а самоэксплуатацией.

Против опасной привычки оперировать лишь категориями своей квартиры, своего холодильника, в лучшем случае своих симпатий и антипатий предостерегал в статье, оказавшейся предсмертной, писатель большого, но сложного дарования Роже Вайян. Он назвал ее «Хвала политике», потому что способность широко, «политически» мыслить пробуждает в человеке всегда лучшие качества натуры, подавляя темные инстинкты, которые легко торжествуют, едва только он начинает жить исключительно «для себя». Чем шире диапазон бескорыстных забот, волнующих человека, тем победнее цветет в его душе прекрасное. Книги, утверждающие эту древнюю, как мир, истину применительно к нашей эпохе, к решениям, которые надо принять гражданину XX столетия, можно без преувеличения назвать современной классикой.

Макс фон дер Грюн

(ФРГ)

Литература и мир труда

Один словацкий литературовед из Братиславы, выступая на писательской встрече в Руре, говорил о том, что литература станет скучной, если она обратится к темам из мира труда, темам, начинающимся от фабричных ворот, ибо сам процесс труда настолько уныл и однообразен, что для художественного воплощения он почти ничего не дает — ведь напряженность сюжета возникает лишь благодаря конфликтам...

Я с ним не согласен. Я очень хорошо знаю и убежден в том, что и в романах, посвященных исключительно миру промышленных рабочих, можно создать напряженные моменты, но при одном важном условии: если автор не ограничится поверхностным описанием этого мира, если он увидит в нем не только вещи, а разглядит за вещами и в силовом поле вещей человека. Я никогда не мог понять, почему в современной литературе (не только западногерманской) человека не показывают на работе, то есть там, где он проводит более трети жизни. По-видимому, все дело в эстетических критериях, в предрассудке, будто сюжетом литературы не может быть то, что происходит в мире маленького человека,— его жизнь в силосных ямах современных предприятий.

Вопрос о человеке на производстве наиболее важен потому, что в наше время не столько человек воздействует на свой труд, сколько труд формирует самого человека; и это вопрос не чисто человеческий, гуманитарный, а в первую очередь общественный. Вопрос о человеке на производстве — это вопрос о достоинстве и о будущем человека.

Я понимаю, что писатель, задумавший художественно отобразить проблемы современной жизни рабочих, неизбежно сталкивается с почти неодолимыми трудностями, и в результате у него нередко опускаются руки. Ведь, во-первых, он должен знать рабочего, его чувства, образ мысли, его чаяния и мечты, во-вторых, должен вникнуть в процесс производства, узнать вещи, с которыми рабочий имеет дело изо дня в день, а кроме того, понять и проследить внутренние и внешние связи, ведущие от субъекта к объекту, то есть к экономике и тем самым к обществу в целом.

Это, мне кажется, не всякому писателю по плечу, особенно тем, кто родился и вырос в буржуазной семье или в среде потомственной интеллигенции. Вообще надо сказать, что наша литература все еще несет на себе налет академичности, слишком часто еще оперирует запылеиными идеалами, которые никак не подходят XX веку. Во всех областях современного знания, будь то в технике или философии, ежедневно совершаются революции, к литературе же предъявляют критерии, порожденные идеалом, который давным-давно перестал котироваться. И невольно спрашиваешь: откуда взялись эти критерии? На дискуссии какой-нибудь юноша заявляет вам: я знаю, что Шекспир — это литература, а Ремарк — нет. Откуда ему это известно? От учителя? А учителю — от кого? Я убежден, что наше непрерывно меняющееся время нуждается в новых критериях, и особенно литература.

Если я пишу романы и рассказы о мире труда, я должен знать этот мир, по крайней мере, какую-то часть его, и я склонен думать, что в недалеком будущем писателям придется точно так же специализироваться, как это сделали и продолжают делать представители науки и техники.

Человек, пишущий о мире труда, должен приобщиться к этому миру, сродниться с его людьми, характерами, он обязан это сделать, ибо в противном случае все останется эстетской болтовней.

По-моему, мало чего стоит писатель, который, подобно судье теннисного матча, восседает на вышке-лестнице, наблюдая, как где-то там, внизу, двигаются фигурки, и хотя он заставляет их передвигаться, но, в сущности, не испытывает к ним никакого интереса. А интерес должен быть. Ведь почему я пишу, почему я выбрал именно мир рабочих? Да потому, что он меня интересует, потому что опасность деградировать и превратиться в безликую массу существ, утративших человеческое достоинство, угрожает людям на фабрике гораздо больше, чем в любом другом месте. Именно эта безликость превращает сегодня человека в предмет, с которым проделывают всевозможные манипуляции. Так что ж, принимать это как нечто должное, раз и навсегда предопределенное? Я думаю, писатель обязан поступать, как хороший врач: не воспринимать как раз и навсегда данное то, что оскорбляет или может оскорбить достоинство человека.

Так ли в самом деле художественное изображение мира труда ничего не дает? Мой личный опыт подсказывает мне обратное: интерес к этой проблематике у общественности очень велик, как на Востоке, так и на Западе, несмотря на различные формы проявления. Это же нелепо, когда в литературе одну сферу жизни переоценивают сверх всякой меры, а другую попросту игнорируют!

И вот что еще важно, по-моему: современный писатель должен изучать и знать не только Гомера, Гете и Толстого. Он обязан осведомлять общественность о том, какие убеждения царят в той или иной социальной области, какая судьба ждет там человека.

Я верю — пусть это не покажется слишком смелым утверждением с моей стороны,— что мы уже вплотную подошли к тому, чтобы ввести в литературу, пробудив к нему всеобщий интерес, мир труда, который многие годы непонятным образом замалчивался. Насколько это удастся — зависит от мастерства писателя, от его умения перевоплощаться, отождествлять себя со своими героями и от его «завербованности» Зависит от того, насколько писатель сумеет сродниться с этим миром, проникнуться его чувствами и, быть может, даже заглянуть в его будущее. Для меня человек у станка не менее ценен, чем тот, кто, как говорится, «вершит судьбами», человек у стаика представляет для меня даже большую ценность и интерес, потому что он — частица безымянной массы, издавна окруженной завесой молчания. Разорвать эту завесу вот задача писателя.

Разумеется, у меня нет готовых рецептов, а если б и были, я не отважился б их предложить. Как писатель, я всегда чувствую себя очень неуверенным, я полон сомнений и страхов и каждодневно сражаюсь с ними до изнеможения. Но, может быть, я сумел кое-что проанализировать, и результаты анализа пригодятся для лечения. Путь, который избрал я, ие обязательно повторять, иначе будет скучно.

Тот писатель, который запасется любопытством и отправится в мир труда, откроет для себя невиданное обилне материала и самые неожиданные конфликты, он увидит отношения рабочих друг к другу, к технике, к бюрократическому аппарату. И место у станка вдруг представится ему трибуналом.

И. Млечина

Обвинение «сформированному обществу»

Правомерно ли в наше время говорить о рабочей теме в литературе? Не устарела ли сама проблема в век автоматизации, невиданного развития техники, наложившего отпечаток на облик и структуру современиого общества? Или разговор действительно пора перевести в сферу «общечеловеческих проблем»? Быть может, и в самом деле аитиисторично специальио выделять в литературе тему труда, тему рабочего класса, поскольку характер ныиешнего «индустриализованного» общества заведомо исключает такую постановку вопроса?

Разумеется, серьезные изменения в общественной структуре требуют нового подхода к встающим здесь вопросам. Сейчас художнику необходим тонкий, чувствительный набор инструментов, чтобы вскрыть суть классовых различий в капиталистическом обществе, чтобы разобраться в системе классового угнетеиия, усложненной и замаскированиой бесчисленными лозунгами о «равных шансах для всех», доступностью товаров широкого потребления, изменившимися условиями досуга и т. д.

Одиако холодильник не устраняет бедности, стиральная машина не гараитирует от безработицы, изменились лишь форма, лишь проявления социального процесса— суть эксплуатации, обусловленная классовым характером капиталистического общества, осталась неизменной. Проблему стало труднее разглядеть, сложнее осмыслить.

События, развериувшиеся в Западной Германии в ныиешнем году, подтверждают, что классовая борьба и эксплуатация в современном капиталистическом обществе ие исчезли, как уверяет пропагаида,—они лишь меняют форму «Экономическое чудо» резко пошло на убыль, угроза кризиса превратилась в настоящую злобу дня. Закрытие шахт, массовые увольнения в Рурской области, «велнкое переселение» с насиженных мест на Руре в поисках работы и новых источников существования — все эти события последнего времеии мало пригодны для иллюстрации сконструированного тезиса о «всеобщем благополучии» и «народном капитализме». На страницах иллюстрированных журналов изображения царин экрана и моды слегка потеснились, уступив место фотографиям совсем другого рода — очереди перед биржами труда, опустевшие поселки горняков, классические снимки многодетных семей на фоне трущоб, шахтерские жены с угрюмым выражением рано постаревших лиц, очереди за пособием для безработных — все почти как в «добрые старые» времена, в эпоху «классического капитализма», еще ие знавшего ни «рабочих-акционеров», ни лозунга «все в одиой лодке», ни льстивого призыва Шпрингера «Будьте милы друг к другу».

Когда года два назад известный западногерманский писатель Рольф Хохгут выступил со статьей, утверждающей, что в ФРГ существуют классы, классовая борьба и социальное неравенство, это вызвало ярость канцлера Эрхарда, обрушившегося на Хохгута и других писателей, которых он обозвал «шавками», невеждами, посягнувшими на недоступные для них сферы. Спустя короткое время, вслед за Хохгутом, четко сформировал ту же мысль другой известный писатель — Кристиан Гейслер. В речи «Блуждаиия и пути к миру» он сказал: «Пускай понятие «господствующий класс»

РАБОЧИЙ КЛАСС,
ОБЩЕСТВО, ЛИТЕРАТУРА

называют старомодным и смешным; оно тем не менее сохраняет свое важное общественное значение. Да, оно делается тем актуальнее, чем больше становится предметом забвения у тех, над кем осуществляется это господство, то есть у нас». И не случайно в послесловии к вышедшему недавно сборнику репортажей молодого писателя Гюнтера Вальрафа Гейслер прямо заговорил о господствующей в его стране «системе принуждения и подчинения, приказа и повиновения, угрозы и страха, подавления и подавленности» — системе «эксплуатации человека человеком».

Показать положение современного рабочего в современном мире — такова цель, которую поставили перед собой западногерманские писатели, связанные с дортмундской «Группой 61». Смысл своей деятельности участники этой группы видят в том, чтобы открыть для литературы «рабочего, это неизвестное существо», как выразился один из инициаторов и организаторов группы, Фриц Хюзер.

Многие участники группы рабочие или вышли из рабочей среды Самый известный среди них — Макс фон дер Грюн — бывший забойщик. Его роман «Светляки и пламя» — первая книга о труде горняков, о тяжелой жизни шахтеров — принес широкую популярность автору во многих странах. Другие участники: Йозеф Бюшер — служащий в шахте, Артур Границки — плотник, Курт Кютер — забойщик, Гюнтер Вестерхов — слесарь в шахте. Но не профессия и не социальное положение определяют характер их творчества, хотя и не могут не накладывать на него свой отпечаток. Главным, по признанию Фрица Хюзера, являются «тема и умение художественно отразить ее».

Книги этих писателей открывают для западногерманской литературы новые сферы жизни, исключавшиеся до сих пор из круга ее интересов, приковывают внимание общественности к проблемам, связанным с миром и людьми труда. И если, как говорит в послесловии к «Альманаху «Группы 61» и ее гостей» Вольфганг Промис, «они делают это в литературном отношении и не совершенно, то уж безусловно честно». Они касаются многих проблем, которые до них почти не затрагивались в западногерманской литературе: рабочий и автоматизация, разобщенность людей на современном предприятии в анонимном трудовом процессе и как результат — крайний индивидуализм, обуржуазивание части высокооплачиваемых рабочих, находящихся в привилегированном положении, и вместе с тем крайне тяжелое, бесперспективное существование других, занятых изнурительным физическим трудом; чудовищное угнетение, полная бесправность иностранных рабочих, которых до недавнего времени было в Западной Германии около двух миллионов, невозможность творческого развития, духовного роста, боязнь потерять место, потерять трудоспособность. Они разоблачают античеловеческую систему, при которой, по словам В. Промиса, «машина обладает большей индивидуальностью», нежели тот, кто ее обслуживает Писатели эти не предлагают решений, не дают ответов. Намерения участников «Группы 61» коротко выразила поэтесса Хильдегард Вольгемут в строчке, ставшей эпиграфом «Альманаха»: «Мы мешаем? Но в этом наша цель!»

Произведения этих писателей в какой-то мере восполняют пробел в западногерманской литературе, которая последовательно и упорно на протяжении десятилетий избегала рабочей темы, неизменно выбирая в герои один и тот же социальный тип — обывателя, мелкого буржуа, человека с «усталой философией» мещанина.

Писать о рабочих почиталось немодным, более того, провинциальным. Известный писатель Ганс Эрих Носсак выразился скептически: «Если бы писатель в качестве примера взял среду и проблемы рабочего населения, из этого бы ничего не вышло, кроме идиллии».

Пробел этот настолько бросался в глаза, что даже профессор Вальтер Йенс, известный литературовед, автор тезиса о «гомогенном мире» и «исчезновении социально-критической литературы», констатировал, что «мир труда вообще не попал в поле зрения» литературы. «Где портрет рабочего, — писал он, - где фигура каменщика, где действуют фабричные девушки, где все эти роботы, следящие за красными сигнальными лампочками?.. Работаем ли мы еще? Разве наш повседневный труд так уж незначителен? Разве действительно ничего не происходит между заводскими воротами и монтажным цехом?..» И далее: «Возникает впечатление, что писатель двадцатого века исключает настоящее время и сознательно оставляет белое пятно между прошедшим и будущим... Или настоящее слишком угрожающе, неустойчиво и хаотично? Или нет инструмента, чтобы расшифровать казавшуюся еще вчера зыбкой возможностью, а ныне осуществившуюся эру автоматизации? Или индустриальное общество раскрывает свои тайны только социологам, чтобы еще решительнее скрыть их от вмешательства литературы?..»

В произведениях Макса фон дер Грюна, Гейслера, Вальрафа и других предстает конкретный, живой мир, в котором люди показаны в труде, в отношениях с другими людьми, мир, полный неразрешенных вопросов, трудных поисков, горестей, переживаний, страхов и надежд. Наконец, мир, в котором есть действие, в котором бушуют грозы реальной жизни. Как сказал Макс фон дер Грюн, читателям прискучила литература, в которой ничего не происходит, литература, в которой на протяжении долгих страниц описывается, как подыхает на стекле муха. И хотя герой их книг тоже несет на себе отпечаток «усталой философии», в нем все же заключено действенное и потому оздоровляющее начало. Писатели «Группы 61» показывают, что современного рабочего волнуют не только «новые», «общие для всех» проблемы современной индустриализации — шум, атмосфера промышленного города, организация досуга,— но и «ста-

рые», извечные, порожденные самой сущностью капитализма: страх безработицы, ужас бессмысленного труда, отнимающего у людей силы и здоровье, способность мыслить, парализующего духовную энергию, волю, инициативу.

«Я все больше тупею от монотонной работы... Впряженный в ритм меняющихся смен, я существую теперь только для того, чтобы работать. Есть, пить, спать — все это для восстановления рабочей силы. А все, что сверх этого, — роскошь, которую не часто позволишь себе при такой работе...» Это тягостное признание о положении рабочего, взятое из книги Гюнтера Вальрафа, стоит многих социологических исследований, проводимых с намерением доказать, что эра автоматизации сняла многие проблемы, когда-то тревожившие рабочих.

Мужественная откровенность Вальрафа не раз делала его предметом самых злобных нападок со стороны предпринимателей, не раз его обвиняли в том, что он затаптывает в грязь «доброе имя фирмы». Не случайно первым «резонансом» на репортажи Вальрафа, появившиеся в газетах, был судебный процесс, затеянный против него одним промышленником, который требовал «скромного» возмещения убытков в сумме ста тысяч марок. Характерно, что Вальраф в этом смысле повторил биографию Макса фон дер Грюна, литературная жизнь которого тоже началась с судебного процесса, возбужденного против него фирмой «Вестфалия», с увольнений, угроз, шантажа.

Кристиан Гейслер, по происхождению, воспитанию и интересам весьма далекий от рабочего класса человек, специально пошел простым рабочим на строительство шоссейных дорог, чтобы точнее и глубже узнать и понять жизнь людей труда. (Потом он говорил об этом: «Я обратил внимание на значение рабочего в нашем обществе».) Тема показалась ему настолько первостепенной, что он вернулся к написанной несколько лет назад телевизионной пьесе «Вильгельмсбургская пятница» и переработал ее в повесть. («Так как тема этой пьесы для меня очень важна, я попытался написать то же самое в прозе» — так возникли «Холодные времена».)

В чем-то Гейслер пошел дальше Макса фон дер Грюна, хотя оба они изображают сходные проблемы. Человеческая пустота и обособленность, душевные конфликты, порождаемые стремлением к благополучию, огрубление чувств, националистические настроения по отношению к иностранным рабочим, холод одиночества, отсутствие друзей, неприязнь к окружающей действительности — все это показано еще обнаженнее, откровеннее, безжалостнее. Поистине холодные и, как назвал их сам автор, опасные времена изображены в этой повести. Когда-то, примерно четыре десятилетия назад, герой Ганса Фаллады, «маленький человек» Пиннеберг, спасаясь от леденящего холода инфляции, безработицы, нищеты, искал и находил приют в семье, возле искренней, хранящей душевную чистоту Леммхен. Герои Гейслера и Макса фон дер Грюна блуждают по холодной пустыне среди сверкающего великолепия техники XX века, среди стандартных атрибутов современного благополучия, не находя тепла, духовного пристанища нигде, даже в семье. Им негде отогреться — они загнанные, сбитые с толку люди, сидящие в неугомонной, бешено мчащейся карусели, живущие в разладе с окружающим миром и порой не отдающие себе отчета в причинах этого разлада.

Исполнено глубокого смысла аллегорическое виде́ние героя в заключительной сцене «Холодных времен». Ян Алерс испытывает ощущение, что он в темнице. И хотя окна не зарешечены, дверь не заперта, вокруг дома нет стены, нет надсмотрщиков — ощущение, что он заперт, закован, его не покидает. Как выбраться из этой темницы — герой не знает.

Миллионы Алерсов не знают ответа на этот вопрос. Воспитанные на шаблонных представлениях о действительности, внушаемых им радио, прессой, телевидением — средствами «массовой коммуникации», — они чувствуют себя полностью освобожденными от необходимости размышлять. Штампованное мышление — вот угроза, против которой предостерегает Гейслер. Он сигнализирует об опасности состояния, при котором «целое общество бодро мчится куда-то без ориентации и цели».

Гейслер считает необходимым говорить об этом, ибо убежден в силе и огромной общественной роли рабочих. Именно потому он и сказал недавно, комментируя свою повесть: «Если бы я захотел сегодня снова описать Алерса, он не был бы таким слабым, таким несознательным, каким он показан в моей повести. Он был бы не таким несознательным потому, что я за это время видел здесь у нас рабочих, объединившихся в группы, рабочих, которые отчетливо осознают свое положение».

Луис Энрике Дэлано

(ЧИЛИ)

Отражать основные тенденции эпохи

Во все эпохи литература вдохновлялась героями, наиболее характерными для своего времени. Так, в период средневековья основным литературным персонажем обычно был рыцарь и очень редко героями книг становились простые горожане. Последние стали появляться в романах и пьесах европейских авторов

РАБОЧИЙ КЛАСС.
ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА

лишь тогда, когда идеи Возрождения завладели умами писателей.

В наш век рабочий класс продемонстрировал свою созидательную мощь и неистребимую жизненную силу. Он радикально изменил социальные системы в ряде стран Европы, Азии и Америки, одержал победы в самых тяжелых и жестоких войнах, какие когда-либо знало человечество, добился неслыханных успехов в покорении природы, сделал первые шаги в освоении космического пространства. Теоретически и практически рабочие показали себя самым передовым классом общества. Что же удивительного в том, что человек труда стал одним из основных литературных персонажей? И это характерно не только для тех стран, где у власти стоят трудящиеся.

В Европе, США, в Латинской Америке написано много романов и стихов, где главные герои — рабочие. На моей родине, в Чили, первая книга о рабочих, которых автор изобразил как в психологическом, так и в социальном плане, вышла в 1904 году. Это «Под землей» Бальдемаро Лильо, сборник рассказов о шахтерах, переведенный на многие языки, в том числе и на русский.

Как же мы, писатели, не занимающиеся физическим трудом, можем изобразить настоящего рабочего, который не покажется читателю переодетым в рабочую робу интеллигентом с тяжелым молотом в руках? Этот вопрос наводит на размышления.

Иногда для того, чтобы описать рабочего, недостаточно одного художественного мастерства или скрупулезного изучения документации, которым пользовался Золя, в частности, когда писал романы «Жерминаль» и «Земля». Ведь подобные исследования лишь с трудом и не всегда позволяют писателю проникнуть в сознание рабочего и узнать, что думает рабочий об окружающем его мире.

Возможно, что подобная задача не так сложна и трудна для тех писателей, которые думают то же самое, что и рабочие, хотя бы по поводу основных жизненных проблем — например, социальной проблемы. Мне духовно ближе рабочий, чем буржуазный писатель, потому что вот уже много лет, как идеология рабочего класса стала моей идеологией.

Когда мне нужно описать рабочего (а я это делаю довольно часто), я изучаю многих рабочих и стараюсь зафиксировать общие всем черты, следуя принципу типичного в литературе, потому что цель писателя, на мой взгляд,— не изобразить какого-либо определенного человека, а создать тип. Кроме того, я стараюсь познакомиться с работой своего героя и описать ее тоже. По собственному опыту я знаю, что недостаточно одеть героя в комбинезон, чтобы он стал похож на рабочего. Этот герой должен трудиться, думать, действовать как рабочий. Приведу один маленький пример из моего романа «Ольга»*. В одной из глав основной персонаж романа, прежде чем отправиться на любовное свидание, важное для него, должен у себя на фабрике закончить сборку мотора для автомобиля. Я ограничился сначала лишь беглым упоминанием о его работе, но в последней корректуре почувствовал, что чего-то не хватает в этом описании, и решил, что даже здесь надо посвятить две-три страницы изображению сборки карбюратора; для этого мне самому пришлось сначала научиться проделывать описанную операцию.

Современная литература не может игнорировать нового героя, играющего все большую роль в современной жизни. Он не только на производстве, он везде — на улицах, в полях, на шахтах, в аудитории на лекции, в театре, там, где говорят о политике, о науке, о культуре. Этот герой тесно связан с обществом, в котором живет. Там, где он строил это общество собственными руками, он будет беречь и защищать его. Там, где общество враждебно ему, новый герой будет бороться за то, чтобы изменить его, улучшить, сделать более справедливым. Сделать рабочего героем литературного произведения — значит идти в ногу с действительностью, ибо трудящиеся — главные действующие лица истории.

Писатель, который не замечает этого, слеп или пребывает в блаженном неведении. Он не может быть истинным свидетелем своего времени, ибо не отражает в своем творчестве основные тенденции эпохи.

---

* Опубликован в журнале «Иностранная литература» № 12 за 1960 год.

Сембен Усман
(СЕНЕГАЛ)

Человек Африки сегодня

Для каждого художника — писателя, поэта, кинематографиста, музыканта — главное в его творчестве связано с человеком, его радостями, печалями, победами, поражениями, мечтами. Великие произведения искусства, составляющие богатство человечества, это произведения, в которых человек является не только главной пружиной действия, но и конечной осознанной целью. Следовательно, человек составляет сущность культуры, которая в свою очередь есть отражение человека в его превращениях.

Сказанное выше имеет отношение ко всем людям, живущим под любыми небесами, в любом уголке земного шара. Люди делятся не по цвету кожи и не по языку, а по своему социальному положению.

Бросим внимательный, хотя и мимолетный, взгляд на Черную Африку.

Несколько десятков лет назад так называемая франкоязычная негроафриканская литература подавала большие надежды, обещая познакомить мир со всем своеобразием жизни африканца: с его социальными проблемами, традициями, с его исконной культурой. Авторы этих произведений, сразу же показавшие себя одаренными романистами, поднимали завесу над условиями жизни человека Африки, порабощенного колониализмом. Эти писатели, шедшие вместе с трудящимися массами, свидетели и защитники их наследия, принимали и непосредственное участие в освобождении своих народов.

Но с наступлением политических перемен, вот уже десять лет, эти писатели, оказавшиеся, к сожалению, лишь попутчиками борющихся африканских народных масс, как мне кажется, предпочитают молчать. Начиная с 1960 года не было опубликовано почти ничего, если не считать одного-двух довольно слабых романов. Таким образом, урожай не принес того, что сулила пора цветения.

А ведь именно тогда африканский труженик, вступивший в новую схватку с неоколониализмом, со своими древними обычаями и традициями, со своим социально-политическим отчуждением, начал ощущать, как медленно, но верно распадается привычный уклад жизни.

Если бы об этом человеке и о его связях с прошлым, от которого он уже отрекается, писали лишь для того, чтобы яснее видеть будущее! Вчера еще имело глубокий смысл то, что человек Африки оберегал свое прошлое, свои традиции перед лицом наступления культуры захватчиков. Однако исподволь, словно диффузия, обволакивало его влияние нового, порой плодотворное, а порой тлетворное. С применением машин во многом изменились его привычки: так люди теперь предпочитают покупать одежду в лавке, вместо того чтобы заниматься трудоемкой работой ткача; домашняя утварь — глиняные горшки, калебасы, украшенные выжженным рисунком, яркие, тонкой работы плетеные изделия, чаши резного дерева — начала уступать место привозным товарам.

Местные религии, которые рассматривались как препятствие на пути прогресса, вынужденные маскироваться, потеряли свою силу, а следовательно, и свою роль вдохновителя художественного творчества. Африканское искусство, которое, как известно, изначально было главным образом функциональным, выросло из местных ремесел. Оно родилось и развивалось в зависимости от религиозных нужд и практических потребностей людей, а не как «чистое искусство»

С переменами, наступившими после прихода независимости, старые структуры — клан, племя — перестали соответствовать жизни, вступившей в полосу стремительного движения. Утопично утверждение некоторых африканских деятелей и африканистов на Западе, что человек Африки должен держаться за свое прошлое.

Новая ситуация изменила жизнь. Конечно, некоторые элементы прошлого будут сохранены, и они заслуживают того, чтобы их защищали, но это в большой мере будет зависеть от того, как человек Африки распорядится своей независимостью в политике и экономике. Эти серьезные перемены, влияющие на отношения между людьми, со всей силой сказались на общественной жизни негроафриканца и на образе его мышления. Так, например, размах профсоюзного движения в различных африканских странах, борьба профсоюзов, их понимание событий в различных частях земного шара освещают путь всему народу.

Если вчера человек Африки был замкнут в своем трейбализме, если еще и сегодня империалисты используют в своих интересах племенную идеологию, как, например, в Нигерии и Конго (Киншаса), то мы все-таки видим, что постепенно, по мере роста национального самосознания, исчезает понятие племени. Это складывающееся национальное самосознание порождает другое, более высокое и сильное самосознание — классовое. Потому что день ото дня труженику живется все труднее, нищета его растет, в то время как богатеет горстка людей, которые вчера были рядом с ним в борьбе против колониализма, а сегодня наживаются на его труде.

Несмотря на все возрастающее засилье неоколониализма и на появление национальной буржуазии, пособницы империализма, рабочий класс в африканских странах осознает свою роль и готовится исполнить свою историческую миссию. Роль профсоюзов в свержении первых президентов Конго (Браззавиль) и Верхней Вольты, события в Дакаре в декабре 1963 года — все это достаточно наглядно свидетельствует о новом самосознании, и для каждого писателя, поэта, словом, для каждого деятеля культуры, стремящегося к прогрессу, этот новый этап становится источником вдохновения.

Новый человек Африки, бьющийся в сетях противоречий, сражается сам с собой в поисках внутреннего равновесия. На Западе, где ведутся споры о том, «каким будет африканец», есть тенденция превозносить «самобытность» негра. Повсюду в этих странах существуют «философы», которые уверяют, что африканцы должны сохранить свою оригинальность, и даже советуют им это. Но «философы» даже не способны дать определение этой оригинальности. Они пишут: «Оставайтесь сами собой». Не значит ли это: «Возвращайтесь назад»? Такие мыслители, либо по невежеству, либо выполняя заказ своих хозяев-империалистов, которые экономически все еще подавляют африканские страны, вступают в противоречие с диалектикой.

РАБОЧИЙ КЛАСС,
ОБЩЕСТВО, ЛИТЕРАТУРА

Что касается национальной буржуазии, нарождающейся приспешницы международного капитала, то она играет охранительную роль, какую некогда играли сенегальские стрелки в странах, боровшихся за независимость,— в Индокитае, Марокко, Алжире, Тунисе, на Мадагаскаре. Вот почему ряд африканских правительств не спешит поддержать героическую борьбу вьетнамцев. Куда уж больше — правительство Сенегала запрещает любое проявление солидарности с народными республиками Севера, а на Береге Слоновой Кости приговаривают журналиста к шести месяцам тюрьмы только за то, что он выступил за прекращение американцами бомбардировок Северного Вьетнама.

Этот краткий обзор современного положения в Черной Африке показывает, что человек Африки, постепенно вступающий в современную эпоху, вынужден расстаться с тесными рамками своего клана. Для каждого деятеля культуры Африки положение его народа, чаяния миллионов людей есть дело первостепенной важности. Говорить о литературе и искусстве — значит говорить о людях, значит помогать своему народу идти к взаимопониманию с другими народами.

Новая сила, которая поднимается в Африке, уже давно вышла на авансцену истории под другими небесами. Если слово «социализм» стало сегодня привычным в народном языке, это значит, что, несмотря на его искажение, несмотря на то, что слово это узурпировала национальная буржуазия, для простых людей оно означает надежду, их конечную цель. Африканский социализм, который проповедуют некоторые государственные деятели, лишенный своего научного содержания, остается тем не менее для всего народа идеей, укрепляющей силы.

Для человека Африки «социализм» — это понятие, которое выходит за пределы его личности, его клана, племени или страны. Подсознательно это слово распространяется на нечто, может быть, не очень ясное для него, но содержащее в себе веру в грядущее счастье, и он знает, что ключ к этому счастью — в его трудовых руках.

Таковы в общих чертах некоторые особенности человека Африки в 50-ю годовщину Октябрьской революции.

Империалистическая пропаганда весь этот год ведет наступление на те произведения, которые в той или иной мере показывают человека Африки в борьбе против любого гнета — векового (со стороны племени) или нового (со стороны неоколониализма). Для каждого африканского художника нынешняя ситуация тем богаче, чем смелее он смотрит в будущее. Без современного человека не сможет родиться новая африканская культура. И само собой разумеется, эта культура возьмет многое от прошлого, но далеко не все прошлое.

Эти разбросанные мысли о современном человеке Африки, возможно, удовлетворят не каждого. Но ничто новое не сможет родиться без научного понимания особенностей Африки в связи с общей ситуацией в мире. Я отказываюсь рассматривать африканца как нечто отличное от других людей. Особенности человека Африки рождены не цветом его кожи, не его обычаями, а прежде всего его экономическим, социальным и политическим положением.

Кришан Чандар
(ИНДИЯ)

Смотреть на жизнь глазами рабочих

Начну с того, что положение рабочего класса в Индии очень мало изменилось за последнее время. Поэтому определение, которое когда-то Карл Маркс дал рабочему классу, в условиях Индии применимо и сегодня и все то, что писал Маркс о рабочем классе Индии, существует и сегодня.

Рабочий класс нашей страны не пришел к власти, и поэтому не изменились ни его психология, ни условия его жизни и труда. Даже те машины, на которых работает рабочий, те станки и оборудование, которые применяются в промышленности, принадлежат скорее XIX веку, нежели XX. Если взять металлургическую и текстильную промышленность, и даже такую новую отрасль, как химическую, то оборудование на этих предприятиях безнадежно устарело по стандартам XX века. Поэтому, говоря о рабочем классе Индии, следует помнить, что это совсем не то, что, скажем, рабочий класс социалистических стран, в первую очередь Советского Союза.

Условия жизни рабочих описать трудно. Рабочий в Индии живет постоянно на грани нищеты. В целом рабочий класс неграмотен, психология рабочих отягощена феодальными пережитками, и особенно пережитками и предрассудками религиозными. Все эти обстоятельства мешают рабочему классу занять должное место в борьбе за улучшение жизни в Индии.

Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что Марксово определение рабочего класса и роли пролетариата для Индии остается совершенно верным и сегодня. И то, что Маркс говорил о люмпен-пролетариате и о среднем классе,— тоже остается верным для условий Индии. Хотя Индия и живет в

XX веке, наряду с некоторыми новинками — я имею в виду новое промышленное оборудование — существует не только устарелое оборудование, но и устарелая психология и существует старый изживающий себя жизненный уклад.

Я не могу сказать, что у индийского рабочего класса нет классового сознания; оно есть, и это классовое сознание растет. Но, поскольку по условиям исторического развития Индия осталась пока слаборазвитой страной, процесс ее индустриализации идет очень медленно и не захватывает глубокие слои, как в развитых капиталистических странах. Рабочий класс в Индии численно гораздо меньше, чем в развитых странах Запада, и рабочий класс в Индии не сумел сыграть решающей роли в нашей стране. И все же за последнее 50-летие влияние индийского рабочего класса очень четко ощущается на тех процессах, которые происходят в индийском обществе. Пожалуй, больше всего подвергаются влиянию идеологии рабочего класса нижние слои среднего класса. Мы не можем назвать эту прослойку населения пролетариатом в полном смысле слова, но тем не менее влияние рабочего класса на ней ощущается. Боюсь, что я себе противоречу, но факт остается фактом, и интеллигенция, вышедшая из среднего класса, испытала на себе значительное влияние рабочей идеологии.

В Индии, как и во многих других странах Азии, большинство рабочих лидеров — выходцы из среднего класса. Многие из них являются подлинными марксистами. Это люди, которые отдали все, что у них было, служению делу рабочего класса. Из этой же среды вышли лидеры таких либеральных партий нашей страны, как Национальный конгресс и Народная социалистическая партия.

Если проанализировать структуру левых сил Индии, то мы очень легко убедимся, что все левые партии в Индии состоят из представителей рабочих и среднего класса и что за последние годы левые силы оказали значительное влияние на политическую жизнь страны. Я бы хотел только подчеркнуть, что это влияние не всегда бывает прямым, чаще оно бывает опосредованным, но вся политическая жизнь в значительной степени находится под этим влиянием. Как показывает нынешняя политическая ситуация в Индии, левые партии занимают в ней место не меньшее, чем правые, а в некоторых случаях и превосходят их по силе. И тем не менее существует четкое классовое различие между индийским рабочим классом и индийским средним классом. Средний класс отличается характерной для него двойственностью. Он готов одним плечом поддерживать рабочих, а другим — высшие классы общества. Эта двойственность особенно заметна в психологии, и естественно, что она находит свое отражение и в литературе.

В Индии есть значительная литература, созданная писателями левых взглядов. Развивается эта литература под сильным влиянием писателей социалистических стран и Советского Союза, начиная с Горького. Но, к сожалению, у нас почти нет или совсем нет писателей, которые вышли бы из рядов рабочего класса и писали бы о классе, породившем их.

Существуют отличные рассказы о жизни рабочих. Жанр рассказа вообще в Индии развит, но даже в этих рассказах, которые я считаю хорошими, в изображении рабочего класса не хватает глубины, знания деталей. Я бы сказал, что в Индии есть произведения, которые правдиво изображают отдельные аспекты жизни рабочего, но у нас нет широкого ее изображения, нет ни одного романа, который был бы целиком посвящен жизни рабочих. У нас нет произведений, отражающих борьбу рабочего класса и вводящих в литературу героев-рабочих. И первой причиной этого является происхождение большинства наших прогрессивных писателей — они все выходцы из среднего класса.

Даже те из нас, кто близок рабочему классу, недостаточно хорошо знают быт, не знают психологии рабочих, не знают их жизни ни на заводе, ни на улице, ни в семье. Это очень мешает развитию прогрессивной литературы Индии. Но ситуация именно такова.

Я написал несколько рассказов из жизни рабочих. Но мне лично кажется, что я не сумел пока изобразить ее со всей необходимой глубиной. Я в основном пишу о тех, кто живет в городе, в меньшей степени я пишу о крестьянах. Но я все-таки могу написать о крестьянах, потому что мои детство и юность прошли в деревне. Иной раз я вывожу в своих произведениях низы, люмпен-пролетариат. Но я чувствую, что недостаточно хорошо знаю рабочих, чтобы быть в состоянии дать настоящий образ героя из этой среды. Я все время думаю о рабочей теме, и, может быть, в будущем мне удастся к ней подойти.

Я хочу написать трилогию о жизни текстильщиков Бомбея. Дело в том, что бомбейские рабочие, и в первую очередь рабочие-текстильщики, сыграли большую роль в формировании классового самосознания. Это представители боевого авангарда рабочего класса, это подлинный пролетариат, и, если мне удастся, я напишу эту трилогию. Будем надеяться, что я сумею это сделать.

Я отдаю себе отчет в том, что для этого мне понадобится минимум два года прожить в тесном контакте с моими героями. Мне надо пожить среди рабочих, мне надо научиться понимать их психологию, я должен посмотреть на жизнь их глазами. А это я смогу сделать, только живя в их среде, и только тогда, может быть, я сумею написать роман о них.

М. Саланик

Общество изобилия и география голода

На нашей планете, которая с развитием средств коммуникации стремительно «убывает» в размерах, размещается некий конгломерат. Мы привычно зовем его человечеством, не всякий раз задумываясь над тем, что человечество живет подчас одновременно в разных столетиях, в разных исторических эпохах. В одно почти время и одинаково закономерно появляются «Общество изобилия» Гэлбрета и «География голода» Жозуэ де Кастро.

Сегодня жена французского рабочего в новенькой стандартной квартире, может быть, не знает, куда себя деть от бесцельной погони за все новыми техническими игрушками быта, а в Индии — десять Франций по населению — еженедельник «Блиц» печатает заметку хроникера: двойное самоубийство, клерк (так называет его газета) 26 лет и его жена — 23 лет лишили себя жизни. У них должен был появиться ребенок, и они понимали, что им его не прокормить. Муж — сотрудник Индийского центра ядерных исследований, жена работала в министерстве. Не помню, сколько они зарабатывали, да это и не важно — они наверняка подсчитали свои ресурсы точнее меня. Это юная техническая интеллигенция страны, цвет нации.

В разных исторических эпохах может жить и личность. Для иллюстрации этого положения незачем обращаться к экзотическим примерам, допустим, из романа Р. К. Нарайана «Бакалавр искусств», где молодой человек перед университетскими экзаменами сверяется со своим гороскопом. Можно взять английский еженедельник с картинками и полюбоваться королевой ведьм с микрофоном у прелестного ротика.

Вот рассказ писательницы хинди Виджай Чаухан — молодой человек эмигрировал в Америку, сумел выучиться, стать техником, получает приличную зарплату. Он женится на негритянке и решает вернуться в Индию. Индии безразличен цвет кожи его жены, но небезразлична ее каста. Молодой же человек очень скоро обнаруживает, что дело не в его технической квалификации, а в том, есть ли у него связи в среде бюрократии, стремительно растущей во вчерашних колониях. Семья снова уезжает за границу.

Это рассказ не о рабочем. Может быть, его герой и считался бы рабочим в Соединенных Штатах, в Индии же это уже, пожалуй, техническая интеллигенция. Страна нуждается в ней и отвергает ее.

Всегда рискованно выступать с широкими обобщениями. Но все же — романы о жизни рабочих пишутся чаще всего выходцами из этого класса или, во всяком случае, людьми, хорошо знающими рабочую среду,— а это вещь для Индии пока почти немыслимая. Назову лишь две из причин, которые объясняют огромный культурный разрыв между интеллигенцией и массами. С незапамятных времен Слово, особенно написанное Слово, было священной прерогативой высшей из индийских каст — брахминов. Позднее к Слову прикоснулись еще одни кастовые руки — появилась каста каястхов, переписчиков. Прошли столетия, пришли мусульмане, но и они сильно ощутили на себе влияние кастовой системы. Видимо, собственная кастовость помогла англичанам избежать этого влияния, но естественно, что та местная интеллигенция, которую начали культивировать англичане, составилась по преимуществу из представителей высших индусских каст (и, конечно, мусульманской аристократии).

Среди рабочих сегодняшней Индии преобладают люди из низших каст. Рабочий же класс Индии, крайне неоднородный по своему составу, в массе своей неграмотен — или полуграмотен в лучшем случае; поэтому ожидать появления писателей из рабочей среды пока не приходится. Я думаю, что индийские писатели будут счастливы, когда у них, наконец, появится читатель-рабочий. Пока его еще нет.

Что такое рабочий класс Индии и из кого он в основном состоит? О рабочем классе можно говорить применительно к текстильной промышленности — она была прославлена еще до английского завоевания страны. Все, должно быть, еще помнят, как англичане отрубали пальцы ткачам Дакки, чтобы помешать им соперничать с манчестерскими мануфактурами, все знают, что названия многих тканей — муслин, кашемир и т. д.— индийского происхождения. Рабочий класс существует в громадных портах Бомбея, Калькутты, рабочий класс существует на железнодорожном транспорте. Рождается индустриальный пролетариат на современных предприятиях новой Индии. А рядом — полтора миллиона плантационных рабочих, людей, условия труда и жизни которых еще не скоро сделают их пролетариатом. А рядом — с необычайной быстротой растущее мелкое предпринимательство: до двадцати рабочих в полукустарной мастерской. А рядом — ремесленники, без которых невозможно представить себе индийский базар.

Эти группы индийского населения, которых объединяет одинаковое отношение к орудиям и средствам производства и которые в разной степени, но еще не в полной мере осознали себя классом, правильнее называть «предпролетариатом».

Индийский предпролетариат остается в очень значительной степени продуктом деревни. В деревне живет восемьдесят процентов индийского населения. О живучести деревенского уклада писал еще Маркс в «Хронологических выписках по истории Индии». С деревней теснейшим образом связа-

на вся страна, ее интеллигенция и ее рабочий класс. В деревне сохраняется в неприкосновенности патриархальная семья, там корни кастовой системы. Индусская концепция касты по самой своей природе исключает понятие не только классовой борьбы, но и какого бы то ни было протеста вообще. Нерушимая причинно-следственная связь проходит через все бесчисленные жизни индуса. Ведь это очень просто — если живется тяжело, если человек рожден низкокастовым, значит, в прошлом рождении он не был чист действием или помыслом. Наступила расплата за зло. То, что отдельной личности может показаться несправедливостью, есть по сути торжество справедливости универсальной и для индуса вневременной. Концепция кармы — неумолимого наказания зла и воздаяния за добро — и кастовая система, философски связанная с ней,— одна из важных социо-психологических причин, повинных в замедленном темпе, которым индийский рабочий класс вырабатывает массовое сознание и приходит к пониманию своей силы и роли, сужденной ему. На первый взгляд воздействие кастовой системы и религии может показаться преувеличенным. Мне кажется, что прав д-р С. Радхакришнан, определяющий индуизм как нечто большее, чем просто религия.

«Для нас,— писал он,— религия означает душевное состояние, отношение к действительности, образ жизни».

Именно о предпролетариате писали и Яшпал в «Ложной правде», и Мулк Радж Ананд в «Большом сердце», и Кришан Чандар в «Пятидесяти двух картах», и другие. Ананд написал роман о чайных плантациях «Два листа и почка», роман Куррат уль-Айн Хайдар так и называется «Чайные плантации». Психология предпролетариата, его духовный склад ближе и понятней писателю, вышедшему из среднего класса, чем психология рабочего, для которой он не находит параллели в привычном ему мире. С другой стороны, предпролетариат привлекает внимание писателей тем, что, как в линзе, фокусирует в себе и преломляет весь спектр противоречивых, иной раз взаимоисключающих влияний современности и прошлого. Здесь наглядней всего видно, как под натиском индустриализации дробится патриархальная семья, как трудно, с появлением новых профессий, скрипит и ломается кастовая система, как формируется — пусть медленно, но неотвратимо — ощущение принадлежности к тому, что выходит за рамки касты и даже за рамки этнического единства, принадлежности к тому огромному, что называется Индия.

Но даже в книгах о предпролетариате он почти никогда не становится их героем в полном смысле этого слова. Рабочая среда в них не более, чем фон, чем театральный задник, а действуют на сцене герои из привычной писателям среды — интеллигенция, профсоюзные работники, ремесленники, учителя. Хотя мы говорим сейчас о литературе, хотелось бы привести пример из другой области — кино. Бенгальский режиссер и драматург, коммунист Утпал Датт сделал фильм «Песня, которую предали». Редкий для Индии фильм, где различимы все внешние признаки рабочей темы, включая натурные съемки на заводе. Но герой фильма — это юноша из рабочей семьи, мечтающий стать музыкантом, и отчетливей всего запоминается его страх перед заводом и отвращение к физическому труду. И здесь тоже и заводская панорама, кстати великолепно выполненная операторски, и рабочие—только фон. Мы видим, как рабочие уходят на завод, как они возвращаются, но что для них завод, мы так и не узнаем; герой по положению, казалось бы, рабочий, но он интересует автора потому, что он музыкант; поданный крупным планом, он заслоняет все.

Прогрессивная литература Индии, вызванная к жизни широчайшими антиколониальными движениями, сделала близость к народу своим лозунгом. Неоспоримо, что именно близость к народу дала прогрессивной литературе Индии яркость и жизненность, но этот лозунг привел и к известной романтической идеализации образа человека из народа (в частности, рабочего). Априорно признавалось, что тот, кого жизненные обстоятельства провели через заводскую проходную, уже одним этим фактом становился носителем самых передовых духовных качеств. Я думаю, что именно слабое знание рабочей среды, неумение понять сложный процесс формирования классового сознания способствовали этой идеализации.

У Кришана Чандара есть два рассказа, сопоставление которых может быть любопытным. «Калу-Бханги»—пронзительно-трогательный, без малейшего привкуса сентиментальности рассказ о подметальщике, человеке, жизнь которого проходила перед глазами Кришана Чандара,—это одно. Совсем другое — рассказ «Цветы красные», романтически-сентиментальная история о слепом мальчике, который поет забастовщикам и гибнет при расстреле забастовки. Мальчик-певец — образ, условный до символа, да и может ли он быть иным? Кришан Чандар полон сочувствия к горькой жизни рабочих, но черты этой жизни он различить не в силах. Он разочарован в жизненном потенциале хорошо ему знакомой индийской буржуазии, он видит, как индустриализация, как бешеный рост городов разрушают понятную ему традиционную сторону жизни городских низов, и он наделяет полумистическими характеристиками добра то рабочего, то девушку-цыганку («Девушка и тысяча влюбленных»).

Кришан Чандар говорит о своем намерении пожить в рабочих кварталах и увидеть жизнь глазами рабочих. Стремление получше узнать собственный народ, обрести собственную родину, так проступившее в названии книги Дж. Неру — «Мое открытие Индии», объединяет сегодня прогрессивную интеллигенцию Индии.

Кстати, растет интерес не только к рабочему классу, но и к жизни кочевых племен, которых много на территории страны. Известно, что новое — это не что иное, как хорошо забытое старое. Писатели Индии, как их собратья в других странах до них, пытаются разглядеть в первобытности жизни стройность и целесообразность, которую не видят вокруг себя. Трактовка темы «естественного» человека некоторым образом перекликается с темой рабочего класса.

Бенгальский критик Шаши Бхушан Дасгупта правильно отмечает: «Симпатии к угнетенным и обойденным судьбой, симпатии к эксплуатируемому трудовому народу... стали сегодня чем-то вроде религии». Дальше он говорит о том, что интерес, как к жизни кочевых племен, так и к жизни трудящихся носит часто неоромантический характер, в котором «стремление к неповседневному странным образом смешивается с духом современного гуманизма».

Но даже этот романтизированный интерес к жизни простых людей — явление прогрессивное: литература не может долго ограничиваться разглядыванием издалека, и писатели будут подходить все ближе и ближе к сути явлений, все глубже понимать их смысл, а это, безусловно, придаст литературе бо́льшую объемность и сообщит ей ту «беспощадность мышления», о которой много пишут в Индии сегодня. В свою очередь и появление полнокровных произведений о жизни рабочих с постепенным ростом количества читателей из этой среды поможет рабочему классу вырабатывать классовое сознание.

Недавно газеты заговорили о молодых литераторах из рабочей среды — явление для Индии новое. Фабричный рабочий из Бомбея Бабурао Багул опубликовал свои первые рассказы. Индийская критика положительно отзывается о стихах Нараяна Сурве. Иными словами, тенденция к сближению прогрессивной интеллигенции с рабочими, еще вчера едва намеченная, приобретает четкость так же закономерно, как происходят социальные перемены в стране.

Александр Баумгардтен

(ПОЛЬША)

Герои простые, трудолюбивые, честные

Недавно я прочел стихотворение одного молодого польского поэта. В этом стихотворении автор неоднократно обращался к читателю, призывая его принять философию одиночества. По его утверждению, оно, это одиночество, представляет собой преобычное состояние человека. Оно передает его привычное настроение и определяет его место в мире. «Учитесь одиночеству»,— неоднократно призывал в своем стихотворении молодой поэт. К кому он обращался? Вероятно, ко мне, к читателю.

Ну нет. Я никогда не буду учиться одиночеству. Какие бы красивые слова мне ни говорили. Я считаю, что одиночество не может быть исходным пунктом какого-либо рода человеческой деятельности. Особенно творческой деятельности.

Эта проблема — главная. Призыв молодого поэта — наверняка не просто риторическое обращение, красиво звучащий литературный прием. Он в какой-то мере выражает если не убеждения, то духовное состояние значительной части нашего молодого поколения, выражает его настроения, его пренебрежительную позицию — молодые люди, засунув руки в карманы, поглядывают со стороны на большие дела наших дней. В этом много от позы и бравады, и, при всей безответственности такой позиции, в ней много горечи. Именно отсюда эта тяга к одиночеству. И именно это меня больше всего беспокоит.

Скажем прямо: сегодня молодому человеку в Польше не слишком трудно вступить в жизнь. Боюсь, не слишком ли легко. Так или иначе, перед ним раскрыты все большие и малые двери. Молодых ждут школы и курсы, учеба и работа. Достаточно иметь желание и свидетельство о рождении.

А они — нет. «Учатся одиночеству». Им нужны эти курсы и занятия, как правило, неплохо оплачиваемые, потому что им, видите ли, не к лицу профессия работника радио, референта городского Совета или руководителя клуба. Они хотят в одиночестве писать этюды, горько улыбаться перед зеркалом либо просто «разрушать существующий порядок мира». Разумеется, мира, который не соответствует их блестящей самоизоляции, их понятиям о жизни. Для кого предназначена эта псевдофилософия? Для нормальных живых людей, которые искренне смеются и так же искренне бранятся, если у них что-то не выходит? Действительно ли им нужны эти разговоры об одиночестве? Нет. Это только лозунг, удобный для таких, как та молодежь, «одинокая», «не понятая обществом».

Увы — двадцать первый век не будет благоприятствовать таким людям. Это не эпоха романтических вопросов, вроде: «Одиночество? Что же после людей?» Все, что в нашей стране хорошо, делается людьми и для людей. Наивысшая цель любых человеческих усилий — в их общественной пользе. Сегодня любая позиция «в стороне» — явление, в высшей степени достойное сожаления и осмеяния.

Об этом должны помнить молодые романтики, бегущие в одиночество. Мы знаем, что не они определяют мнение большинства

мыслящих молодых людей, знаем, что не только статистика, но и наши собственные глаза свидетельствуют против всеобъемлющего характера этого явления, но знаем также, что именно молодых сильнее всего тянет выделиться из общей массы, а следовательно, отмежеваться от всех проявлений общественной жизни. А это уже намного более важное дело. Ведь оно касается и старших поколений.

В мире распространено мнение, что поляки — индивидуалисты. Можно согласиться и с этим, но при условии, что индивидуализм не равнозначен эгоизму. Что ж, народ — не армия, любой гражданин имеет право на собственное мнение, но мы должны признать, что существуют проблемы, в отношении которых у нас есть гражданский долг. Иначе и быть не может. Жизнь народа, его благосостояние, цели, к которым он стремится,— вот самые общие названия этих проблем.

Многие из них выходят далеко за пределы нашей страны и все чаще — за границы Европы. Но от них никуда не деешься, а те, кто стремится от них уйти, невольно переходят в состояние «внутренней эмиграции».

Мы не любим, очень не любим вмешиваться в эти дела. Мы считаем их лишними в нашей жизни, обычно стараемся их не замечать, не желая признать простого факта, что, появившись на этом свете, мы включаемся в круговорот общественных событий. Чаще всего мы выкручиваемся: «Это уже политика, а я, знаете, в политику не вмешиваюсь».

Все это напрасно. Политика «вмешивается» в нашу жизнь. В наши мелкие, житейские дела, в наши разговоры и шутки, в нашу работу и развлечения, в быт города и села, в которых мы живем. Как убежать от того, что нас окружает?

Именно поэтому я начал свою статью о роли человека труда в литературе, о ее специфике и современном профиле — с рассуждений об одиночестве. И еще потому, что полагаю: именно труд является главным фактором, определяющим место человека в обществе. Только в труде, в совместной, сознательной, полной страстности и личной «ангажированности» деятельности проверяется все, что есть человеческого в человеке. Вероятно, в этом заключается причина, заставляющая писателей изучать общественную роль человека труда, его жизнь и все то, из чего состоит эта жизнь. Потому что это не только социологическая или бытовая проблема, но прежде всего — психологическая.

И здесь мы вступаем в сферу литературы. Литература, главная цель которой — изображение всех достижений человека на земле, всего того, чего добилось человечество: от изобретения колеса до полетов в космос. Эти достижения — не следствие одиночества. Они возникли не в отрыве от человечества.

В переводе на мой собственный литературный язык все это звучит, конечно, намного более скромно. Я живу и пишу в Силезии, в промышленном сердце нашей страны — и это определяет направление моей творческой деятельности. Я пишу книги о людях труда, о людях шахт и сталелитейных заводов, и, возможно, поэтому у меня остается мало времени на то, чтобы выслушивать призывы к одиночеству. Так, например, в одной из моих новейших книг я старался показать жизнь рабочего городка в Силезии. Я писал об этой книге, что в мои намерения входило изобразить жизнь рабочих-сталелитейщиков из этого городка — во всех ее типичных и характерных проявлениях. Я не собирался, разумеется, писать репортаж о жизни рабочих. На карте Силезии нет города Михаловицы, точно так же, как нет сталелитейного завода под названием «Юлиан». Однако здесь много городов, живо напоминающих Михаловицы, и много сталелитейных заводов, похожих на завод «Юлиан». У этих городов своя история, особенно общественная и экономическая, история, о которой до сегодняшнего дня никто ничего путного не написал. С другой стороны, именно эта история хранит богатые рабочие и народные традиции Силезии. И эта история прежде всего определяет будущую картину общественной жизни этих земель, насущные проблемы, связывающие эти земли с жизнью всей страны. Не только распоряжения и законы, но повседневная жизнь *всех* жителей городка — мастера плавки или литейщика, а также парикмахера, который его бреет, или учителя, который занимается с его детьми,— определяет формы развития Михаловиц.

Но прежде всего эти формы определяет сам «Юлиан»—старый, развивающийся вместе с Михаловицами завод, производящий железо и сталь. Именно этот завод — настоящий герой книги, хотя в ней нет описания производственных процессов. Замысел был иной. Я старался вместо этого показать как людей «Юлиана» — коренных жителей, деды и прадеды которых трудились здесь,— так и пришельцев со всей Польши, показать, *в какой степени* их личные, семейные, жизненные дела зависят от завода, каким образом развитие завода влияет на их жизнь. Потому что именно они, рабочие, так же определяют жизнь завода, как он определяет их жизнь.

На основе личных наблюдений, *проверок* я пришел к убеждению, что в такого рода рабочем городе-поселении (а в Силезии их множество) коренные жители находятся под постоянным влиянием сталелитейного завода. Он крепко связан с этой землей и с сознанием рабочих, для них он самое важное в жизни. Он в каком-то смысле всегда формировал и формирует сегодня единственный, естественный и общепринятый пример или образец поведения. Завод влияет на их жизнь не абстрактно, надуманно, но конкретно и зримо. Он определяет стиль жизни, манеру говорить, одеваться.

РАБОЧИЙ КЛАСС.
ОБЩЕСТВО, ЛИТЕРАТУРА

Он организует развлечения и культурную жизнь. Он не только определяет выбор профессии (разумеется, прежде всего профессии литейщика), но и помогает встать на ноги людям, семьям, поколениям, связывающим с заводом свою судьбу, вверяющим ему свою жизнь.

Вот каких людей я стараюсь показывать в моих книгах. Не знаю, делаю ли я это хорошо или плохо, знаю только, что добросовестно. Потому, что именно таковы герои этих повестей: простые, трудолюбивые и честные. И наверняка у них нет времени «учиться одиночеству».

И. Бернштейн

Период поисков?

Ослабление интереса к непосредственному изображению рабочего наблюдается не только в литературе тех социалистических стран, которые были до сих пор странами по преимуществу аграрными, но и в высокоиндустриальных государствах с мощным рабочим классом, как Чехословакия. Очевидно, тут речь идет о более общих закономерностях, в которых следует разобраться.

В какой-то мере, видимо, те общие изменения в положении рабочего класса, определяющиеся повышением уровня механизации и современными формами труда,— о которых пишет Амбарцумов в связи с условиями капиталистических стран — сказываются и здесь. Но в то же время отход от рабочей темы датируется в чехословацкой литературе последними семью-восемью годами, поэтому трудно предположить, что причиной явились именно эти изменения. Вместе с тем можно сказать с уверенностью, что рабочий класс не уменьшился численно, что общественные процессы, связанные с переустройством системы управления, ставят на повестку дня многие вопросы, касающиеся прежде всего рабочих. При этом речь идет о сложных проблемах не только экономического, но и культурного, и этического планов. Недаром на страницах прессы так много внимания уделяется, к примеру, высказываниям социологов по вопросам трудовой этики, материальной заинтересованности, по комплексу проблем, связанных с возросшей технической культурой и общим культурным уровнем рабочего класса. А с другой стороны, привлекает внимание и проблематика, связанная с пережитками мещанской психологии. Таким образом, специфически рабочие проблемы отнюдь не стали менее острыми и менее важными для общества в целом, чем несколько лет назад. И в то же время литература не откликается на них или откликается в несоразмерном их значительности масштабе. Очевидно, ответ на вопрос, почему это произошло, надо искать прежде всего в обстоятельствах, связанных с развитием самой литературы, в частности, в том, что уменьшился интерес вообще к теме современности в ее социально-психологическом аспекте. Думается, это явление связано, с одной стороны, с реакцией на недостатки литературного развития прошлых лет, а с другой — с определенными эстетическими теориями, получившими в последнее время известное распространение.

Подход к литературе с точки зрения тематической актуальности,— например, призыв писать романы, посвященные той или иной отрасли промышленности, вульгаризированное понимание общественной значимости художественного произведения, от которого ждали непосредственного разрешения многих организационных и даже хозяйственных вопросов — все это подверглось справедливому осуждению. Было преодолено прямолинейно-социологическое понимание человека, которое давало себя знать у ряда писателей конца 40 — начала 50-х годов в социалистических странах. Это дало благотворные результаты: более глубокий подход к человеку, к его неповторимой индивидуальности, обострение интереса к философской и этической проблематике. Но наряду с этими позитивными результатами возникли идеи о том, что литература вообще должна чуждаться общественных проблем времени и задача писателя — сосредоточиться на неких абстрактных, «экзистенциальных» проблемах человеческого существования.

По своему характеру тема рабочего класса связана главным образом с развитием жанра романа. Ибо сама эта тема требует широкой «эпической базы», так как большое значение приобретает изображение обстановки и социальных условий. И «отступление» рабочей темы обусловлено в некотором смысле отходом на задний план жанра романа, уступившего место повести и рассказу, более отвечающим требованиям «частичного исследования на узком участке», которые так часто провозглашались в чехословацкой критике в конце 50 — начале 60-х годов.

Были еще дополнительные причины в виде неуспеха так называемого «производственного романа». Надо сказать, что этот роман, занявший главенствующее место в чешской и словацкой литературе конца 40—начала 50-х годов, отнюдь не возник на пустом месте, он продолжил богатую традицию. Достаточно вспомнить великолепный роман Карела Чапека «Первая спасательная», рассказывающий о героизме и солидарности рабочих-горняков, которые пришли на помощь товарищам, попавшим в шахте в беду. В 30-е годы, в период наи-

большего развития в чешской и словацкой литературе романа как значительной эпической формы, тема рабочего класса привлекает особое внимание писателей. Среди лучших романических произведений 30-х годов можно назвать романы М. Пуймановой «Люди на перепутье», М. Майеровой «Сирена». И Майерова и Пуйманова дают обстоятельную картину жизни капиталистической фабрики, основанную на знании богатейшего материала. Но они показывают своих героев-пролетариев таким образом, что производственная обстановка не превращается в мертвые кулисы, что отношение человека и среды остается динамичным. Они рассматривают судьбу героев в перспективе определенного исторического развития (с этим связано то, что Майерова дает историю нескольких поколений рабочей семьи Гудецов, а Пуйманова чрезвычайно внимательно прослеживает духовную историю своего героя — рабочего паренька Онджея Урбана). И у Майеровой, и особенно у Пуймановой специфически пролетарская тема поднимается до уровня общенациональной. Многие сходные черты проявляются в словацкой литературе этого же времени в романах П. Илемницкого.

В «производственных романах», которые появились в 40—50-е годы и создавались преимущественно молодыми и неопытными писателями, подробнейшим образом изображенная производственная обстановка иногда оттесняет на задний план людей и их судьбы. Некоторые авторы пытаются преодолеть утомительную описательность путем введения элементов приключенческого романа. Таким образом создавались схемы, уводившие художника (несмотря на всегда присутствовавшее в романах обилие технических деталей) от реальной действительности и ее конфликтов.

Это не значит, что «производственный роман» в Чехословакии не содержал в себе ничего положительного и не имел никаких удач. Ряд острых общественных проблем поставлен, например, в таких произведениях, как «Широким шагом» Я. Отченашека, «Горячие дни» И. С. Купки. В романе Т. Сватоплука «Ботострой без шефа» рассказано о драматических обстоятельствах перехода на новые рельсы бывшего обувного комбината Бати и создан значительный по своей проблематике образ директора Ланги; избранный рабочими и сам в прошлом передовой рабочий, Ланга, придя в кабинет шефа, не мог не поддаться соблазну применить ту же политику кулака и окрика по отношению к рабочим. Но, несмотря на отдельные достижения, «производственный роман» как особый жанр оказался мало пригодным для отображения современной действительности во всей ее сложности.

И первый роман с производственной темой, который вышел после некоторого перерыва, носил полемический характер. Это был «Позвоночник» Л. Бублика (в русском переводе «Становление»). Здесь была сделана попытка по-новому подойти к теме труда и к проблематике рабочего класса. Характерен сам подзаголовок «Записки неизвестного строителя». Если большинство «производственных романов» было написано так, как будто автор сидит в директорском кабинете и озирает оттуда стройку, то в романе Бублика стройка увидена, так сказать, «снизу», глазами рядового строителя. Если в производственном романе герои были, как правило, сознательные, передовые рабочие, то здесь фигурируют бродяги, бывшие уголовники, люди, попавшие на стройку не бескорыстно, а с целью улучшить свой «кадровый профиль». Герой, Карел Кратохвил, поступает на стройку простым землекопом, будучи несправедливо обвинен и снят с руководящей должности. Таким образом, в центре внимания автора оказываются специфические конфликты, связанные с проблемой доверия к людям и разжигания недоверия карьеристами и демагогами. С другой стороны, тема труда раскрыта также в аспекте пробуждения достоинства у людей, по разным причинам оказавшихся на дне общества. Главы, названные автором «Бетонным интермеццо», принадлежат к лучшим в чешской литературе картинам захватывающего и напряженного труда. Производственные успехи Кратохвила — это эпизоды на пути распрямления человека, подавленного и выбитого из колеи несправедливостью. Герой обретает сознание ответственности за судьбы товарищей, начинает успешно бороться против демагогического искажения великих идеалов.

После романа Бублика значительных произведений, посвященных жизни рабочего класса, в Чехословакии до последнего времени не появлялось. Мы встретимся с образом рабочего-подпольщика Мелихара в последнем романе Я. Отченашека «Хромой Орфей» *. Здесь образ внешне грубоватого, но беззаветно мужественного рабочего-подпольщика, противопоставленный растерянности «тотально мобилизованных» юношей, пытающихся организовать своими силами группу сопротивления, напоминает многие образы чешской литературы — он стал уже своего рода традицией.

Для современных тенденций литературы характерно появление образа рабочего человека еще в одном обличии. Не так давно начал публиковать свои произведения чрезвычайно талантливый писатель Богумил Грабал, которого в Чехословакии часто называют наследником Гашека. Любимый герой этого блестящего рассказчика — человек, которому его профессия позволяет держаться как бы на периферии общественной жизни: служитель морга, сборщик утильсырья, рабочий в театре, сторож в психиатрической лечебнице и т. д. В таком выборе есть свой умысел. Грабал стремится показать человека «как таково-

* Опубликован в журнале «Иностранная литература» №№ 1—4 за 1965 год.

го», раскрыть какие-то первичные основы народной этики, народного юмора, народной фантазии, поэтому он предпочитает людей, не прикрепленных ни к месту, ни к дому, не связанных определенными социальными отношениями. Грабал обогатил современную чешскую литературу мастерским изображением народного языка, народного юмора, особенностей национального характера. Истории, которые рассказывают его герои, сидя за кружкой пива, действительно напоминают бесконечные повествования бравого солдата Швейка. Но заменить художественные произведения, претендующие на конкретный социальный анализ и на изображение человека в центре активной жизни, а не на ее периферии, такие произведения, естественно, не могут.

По-видимому, литература социалистических стран переживает сейчас определенный период поисков новых художественных возможностей воплощения большой социальной проблематики. От этих поисков зависит судьба темы современности в литературе и, в частности, тема жизни рабочих (это все взаимосвязано). Видимо, отход от этой тематики определен более общими причинами социального и эстетического порядка, и, надо полагать, это — явление временное.

О. Россиянов

Исчезла ли материя?

Если сравнить 60-е годы с 40-ми — началом 50-х, то число произведений о рабочих в венгерской литературе явно уменьшилось. Уменьшение бросается в глаза: за то время можно составить целый список названий, а теперь их — считаные единицы.

При этом о рабочих пишут не так, как прежде. Еще недавно в Венгрии — и не только в Венгрии — изображение рабочих часто подчинялось нескольким очень суммарным и общеизвестным политическим тезисам, которые сплошь и рядом превращались в некую общую, внешнюю схему, а из нее дедуктивно-иллюстративным путем выводились литературные ситуации и характеры. Схема волюнтаристски накладывалась на живую действительность и заслоняла, обедняла ее. Обычная ситуация в романе о рабочем классе, да и вообще о современности была такая: руководящий работник убеждал рядового, коммунист — рабочего, рабочий — крестьянина, и все «росли». Убежденне между тем — лишь одна и не самая психологически богатая грань человеческих отношений (особенно, если оно к тому же обычно сводилось к изложению все тех же простейших политических истин, которые — опять-таки, к вящему упрощению — действовали с силой чуть не божественного откровения).

И вот в 1962 году в Венгрии появилась книжка Эндре Фейеша «Кладбище железного лома», где никто не «рос». В ней показывалась жизнь одной пролетарской семьи на протяжении нескольких поколений, почти до наших дней,— жизнь, в которой за все это время почти ничего не меняется. В других семьях, где-то там, за пределами повествования, что-то изменилось, а в этой — нет: ни сколько-нибудь заметно материально, ни «морально», в мироощущении, интересах.

Что это, могут спросить, за освещение «рабочей темы»? Не клевета ли тут на передовой исторический класс?.. Но такое суждение было бы, по меньшей мере, несерьезно. Венгерская литература коснулась не затронутой прежде, упущенной из поля зрения области жизни. Она показала, что рабочий класс, даже в народно-демократической, социалистической стране, неоднороден. Есть слой, и немалый, который вовсе не чувствует себя передовым классом, не участвует в управлении страной, а живет, «как живется», на отшибе, своим замкнутым, домашним, даже не уличным, а самое большее «дворовым» мирком, далеко не привлекательным ни в бытовом, ни в духовном отношении. А что касается страны, государства, политики — там кто-то без них управляется, не очень-то о них и думая, почти на замечая.

Словом, Фейеш и некоторые другие, писавшие в сходном ключе, открыли и среди рабочих некую разновидность «маленького человека» (я не стою за этот термин, он имеет свое специфическое содержание, но известное подобие тут есть). Это злободневный и горячо обсуждаемый сейчас в Венгрии практический вопрос — о людях, в том числе и в особенности рабочих, находящихся на периферии государственной и общественной жизни, пассивно участвующих или вовсе не участвующих в ней.

Могу сослаться на недавнюю статью Золтана Молнара «По ступенькам демократии» в венгерской писательской газете «Элет эш продалом». Эпиграфом он берет строки из отчета ЦК Девятому съезду ВСРП, где говорится, что обеспечиваемые социалистическим строем возможности развития и углубления демократии до сих пор недостаточно используются. И затем пишет о собраниях, на которых приглашают выступать после доклада, но следует томительное молчание; наконец, находятся два-три человека, галочки ставятся, и все как будто довольны. И даже те, кто просиживает такие формальные собрания, не очень протестуют: что ж, приходится пожертвовать часиком-двумя — а как быть, раз оно так устроено.

И я, рассказывает писатель, не раз говорю об этом с друзьями — теми, кто имеет обыкновение сидеть в президиуме, и теми, кто в зале, и, если уж очень допытываюсь, откуда, почему такая пассивность, один от-

вечают: «А что ты хочешь? Это естественно. Демократических традиций у нас не было, а в 50-е годы и вовсе охоту отбили от собраний — созывали больше формально. А теперь, сам видишь, все-таки есть результаты: ходят люди, выступают, надо это развивать, убеждать их, агитировать». Другие же попросту отрезают: «А на кой черт мне языком трепать? Все равно проку никакого. Очень им нужно наше мнение! Попробуй вон кого-нибудь покритиковать — знаешь, что получится? Ну вот и сиди себе лучше, помалкивай».

Периферийность, общественный «провинциализм» некоторой части народа считают в Венгрии реальным злом и всячески ищут — в очерках, статьях, отчасти в художественной форме — способы его излечения. Повесть Фейеша и была первой врачебной разведкой этого зла, если и не открывшей нужного лекарства, то по крайней мере очистившей поле для операции или терапии.

Причем Золтан Молнар, например, совершенно справедливо не считает такой терапией простое уговаривание. Но не встречает у него сочувствия и вызываемое всяким пустословием ожесточение, хотя тоже понятное, по-своему даже типичное и находящее отголосок в литературе. Так, в отдельных стихотворениях М. Ладани и некоторых других поэтов порой ощутим оттенок известной бравады своей, так сказать, рабочей «особостью» и обособленностью,— грубовато-вызывающее утверждение братства с обездоленными в пику «верхам» — будь то какие-нибудь бюрократы или в особенности интеллигенты. Конечно, это всего лишь полемическое превращение недостатка, беды в добродетель — слепое бунтарство навыворот, и дела им не поправишь. В Венгрии это ясно большинству литераторов, и З. Молнар в своей статье как противоядие выдвигает ленинское требование — более активно вовлекать трудящихся в управление страной: ставить на определенные места и давать конкретные государственные, хозяйственные поручения, чтобы они чувствовали, что выполняют важное дело, и отвечали за него.

Пафосом такого государственного участия в делах проникнута, между прочим, лирика Михая Вёри — весьма интересное явление современной венгерской литературы. Интересное именно тем, что резкое антимещанство, антибюрократизм и большая требовательность к жизни, к социалистической власти вообще, жадное стремление к человеческой полноте органически сливаются у него со зрелым, я бы сказал, «рабочим» самосознанием (хотя Вёри ни по происхождению, ни по положению не рабочий); с чувством особой, родственно-деятельной ответственности за каждого, за все кругом происходящее. Это чувство (несомненно «рабочее», в духе лучших лирических традиций тех лет, когда рабочий впервые стал хозяином страны) вместе с тем показывает Вёри представителем здорового, вдумчивого, энергичного отряда новой трудовой интеллигенции, в том числе развитых, одаренных рабочих, которые стоят на уровне новейшей культуры и образования и обращают их достижения на благо социализма.

Именно поэтому и критицизм Вёри — не отвлеченно-витийствующий, хватающий «влево», а требовательно-деловой (при всей страстности). И в то же время мужественно-деловое участие в строительстве новой жизни — интеллектуальное и эмоциональное, литературное и общественное — служит поэту достаточным противоядием против экзистенциалистско-апокалипсических настроений, которые и в Венгрии подчас возникают под дамокловым мечом атомной бомбы.

От Вёри, который отнюдь уже не «рабочий» поэт в старом понимании, а скорее поэт народный (в новом смысле, в смысле Венгрии трудящихся), можно было бы протянуть нить и ко многим другим, которые пишут не только о рабочих. Это и естественно: за темой «рабочий в современном обществе и литературе» вырисовывается другая, главная: человек в современном обществе и литературе. Поэтому (обращаясь к «технологии») от «сырых» фактов венгерская литература, в сущности, идет к более осмысленным, «обработанным» обобщениям. Ее выводы, рекомендации и наблюдения (в этом, думается, вопрос вопросов и лирики Вёри) — как «маленькому человеку» стать и как он становится Человеком с большой буквы.

Итак, «рабочая» литература в связи с дальнейшим развитием социалистического общества и самого рабочего (который даже в нем не «исчезает», как не исчезла материя после революционных открытий в физике) претерпевает качественные изменения. Из «рабочей» она все больше становится литературой общества трудящихся, народной литературой в современном, социалистическом смысле слова «народ».

У этой литературы свои проблемы — проблемы социалистического общества. Иногда они обнаруживают сходство, хотя больше внешнее, с противоречиями капитализма (таковы в социалистических странах явления бюрократизма, формальной демократии, «омещанивания» и отчуждения; тревога, порождаемая атомной угрозой и диспропорцией между технической и «нравственной» вооруженностью человечества, и т. п.). Но главное в этой литературе, придающее ей совершенно новый исторический облик,— другая, отражающая иные, более человечные общественные отношения внутренняя суть. Это — сознательное, во всенародных интересах и вовлекающее в эту работу весь народ овладение действительностью посредством ее активного и требовательного познания, отметающего любые упрощения, утопические и панические иллюзии. Познания для нового движения вперед, для устранения всяческих диспропорций и болезненных противоречий, которые мешают социализму и человечеству.

РАБОЧИЙ КЛАСС.
ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА

Т. Мотылева

Человеческий аспект темы труда

В ходе нашей дискуссии речь чаще идет о жизненных процессах, которые литература еще не сумела или не успела отразить. А может быть, все-таки кое-что и отразила? Наш разговор постоянно возвращает к мысли о больших познавательных возможностях художественной литературы.

Социологи говорят о новых формах «социальной интеграции» или патернализма — о предпринимателях, которые строят для рабочих дешевые жилые дома, школы, столовые, подчиняя себе таким образом все сферы их жизни. Где мы уже давно читали об этом? Вспомните роман Марии Пуйманновой «Люди на перепутье», который вышел в Чехословакии тридцать лет назад. В свое время у нас некоторые очень ортодоксальные критики упрекали писательницу, что она показала такого умного капиталиста. Говорили, что образ Казмара — буржуа не только хищного, но и по-своему гибкого, умеющего выставить себя благодетелем рабочих, образ не вполне типичный. А действительность показала, что современный капитализм весьма и весьма способен маневрировать, применяться к обстоятельствам, находить новые способы социальной мимикрии. Роман Марии Пуймановой отразил и предвосхитил процессы, которые имели не только национальное, но и международное значение.

Возьмем пример хронологически более близкий. В свое время наша критика не уделила должного внимания роману Эльзы Триоле «Розы в кредит», а читатели этим романом очень заинтересовались, немало о нем спорили: многих увлекло изображение женской судьбы, иным не нравились черты литературной условности в этой книге, романтические розы или натуралистические крысы. Теперь очевидно, насколько важную жизненную тему затронула Эльза Триоле. Она едва ли не первая написала о порабощении трудящегося человека властью вещей, о призрачных и опасных идеалах потребительской цивилизации. В сущности, та же тема — в более концентрированном выражении — взята и в повести Жоржа Перека «Вещи». Но ведь «Розы в кредит» появились на много лет раньше.

Что такое рабочий на Западе сегодня? Всегда ли он в плену потребительской цивилизации? Художественная литература помогает подойти к социальным процессам с человеческой, психологической стороны. Меня очень заинтересовала судьба западногерманского рабочего, о которой рассказал Макс фон дер Грюн в романе «Светляки и пламя». Жизнь Юргена Формана предстает на протяжении ряда лет, мы можем сопоставить его «вчера» и «сегодня». Форман не чувствовал себя ни счастливым, ни свободным, когда он орудовал отбойным молотком под землей. Но он еще менее свободен сейчас, когда он в чистеньком халате работает в цехе, похожем на лабораторию, и сверлит восемь часов подряд одни и те же отверстия в пластине, сам не зная, для чего она предназначается. Он неплохо зарабатывает, есть даже перспектива приобрести машину — но счастья все равно не будет. В финале романа Юрген Форман испытывает некоторое подобие радости, когда ему удается на собрании сказать что-то неуважительное в адрес начальства. Так на современном материале подтверждается старый марксистский тезис: только в борьбе может рабочий обрести свое человеческое достоинство.

Наши идейные оппоненты за рубежом то и дело говорят, что в современном обществе, столь высокоорганизованном — или, напротив, столь хаотичном,— жизнь человека вообще недоступна реалистическому художественному познанию: слишком в ней много иррационального, того, что ускользает от анализа. Практика писателей-реалистов опровергает такие утверждения.

В новой повести Генриха Бёля «Чем кончилась одна командировка»* в основе сюжета — странное происшествие. Два столяра, отец и сын Грули, подожгли автомашину, принадлежащую бундесверу. Зачем, спрашивается? Если это и борьба против политики вооружений, то в очень необычной, вызывающе-чудаческой форме. Романист дает этому происшествию рациональное объяснение, очень тонко проникая в своеобразную психологию своих героев. Эти люди предельно далеки от всякой политики, от классовой борьбы. Их возмущение господствующей неправдой и злом реализуется в нравственном плане, как стихийное, очень искреннее возмущение. Помните Отто Квангеля, героя романа Фаллады «Каждый умирает в одиночку»? Этот старый немецкий ремесленник, тоже далекий от политики, вступил в отчаянное, причудливое по форме единоборство с фашизмом. Отец и сын Грули — люди того же склада. Это кустари, ремесленники, у которых нет и не может быть чувства коллективизма, но очень развито чувство рабочей гордости, уважение к своему труду и презрение ко всяким тунеядцам. Очень точно мотивировано решение молодого Груля сжечь машину, на которой его заставляли по чьей-то бюрократической прихоти совершать порожние пробеги: выполнение этого воинского приказа было для него, рабочего человека, неприемлемым и унизительным.

Повесть Бёля, если к ней подойти с точки зрения социальной психологии, очень любопытный экскурс в душевный мир так назы-

* Опубликована в журнале «Иностранная литература» №№ 11 и 12 за 1966 год.

ваемых средних слоев — непролетарских слоев трудящихся. Те, кого сектанты иногда третируют как «мелких хозяйчиков», таят в себе большие резервы общественной энергии и могут, при правильном к ним подходе, стать союзниками передовых сил современности. Может быть, Генрих Бёль не имел в виду такого вывода, но этот вывод напрашивается при чтении новой повести Бёля, юмористической по манере, очень серьезной по своей общественной проблематике. Тут перед нами один из многих примеров — как произведение художественной литературы подкрепляет, по-своему обогащает выводы социологов.

Взаимодействие социологии с литературоведением сказывается на Западе, конечно, очень по-разному. Иногда и в таких формах, которые не могут вызвать сочувствия.

«За социологию романа» — так называется книга французского автора Люсьена Гольдмана, которая привлекла к себе внимание в последние годы. Гольдман весьма прямолинейно выводит жанр романа из природы буржуазно-рыночных отношений. Характеризуя современное индустриальное общество, неоднократно ссылаясь притом на Маркса, он приходит к выводу: это общество обесчеловеченное, в нем господствует «овеществление», или, как он говорит, «реификация»; такому обществу может соответствовать только литература обесчеловеченная, без героя, без образа человека — такая литература, где человек вытесняется образом вещей. Получается прямой путь от вульгарно понятого Маркса к «шозизму» Роб-Грийе!

Эта попытка подкрепить современный модернизм «социологическими» аргументами вызвала справедливую критику со стороны французского марксиста Клода Прево. В большой, очень интересной статье о современном романе («Решерш зитериасьональ» № 50) он спорит с Люсьеном Гольдманом, отчасти опираясь и на опыт своей отечественной литературы, и вообще литератур Запада. Вместе с тем главная линия его аргументации такая: нельзя анализировать современный литературный процесс, не принимая во внимание того, что происходит в литературах социалистического мира. В этом плане он говорит о писателях советских и писателях ГДР, напоминая, что литература стран социализма не подвластна пресловутой «реификации», содержит сильное противоядие против тенденций обесчеловечения. (Прево называет книги советских писателей разных поколений — от автобиографического цикла Паустовского до «Большой руды» Владимова.)

В ходе нашего разговора встает вопрос: почему некоторые писатели стран социализма в последние годы отошли от рабочей темы? Ведь нельзя все, что в этой области было создано в первое послевоенное десятилетие, просто списать, как неудачи. В первых книгах польских, чешских писателей о начале социалистического строительства в их странах было, по крайней мере, первоначальное накопление нового жизненного материала. Но понятно, что уровень многих из этих книг сегодня уже не удовлетворяет ни читателей, ни самих авторов.

Отход писателей от темы труда нередко связан с потребностью заново продумать, более самостоятельно исследовать весь путь, пройденный их страной, их народом за последние десятилетия, заново найти свой художнический угол зрения, чтобы иначе, глубже, чем прежде, подойти к проблемам современности.

Мне вспоминается разговор с Яном Отченашеком в Праге в 1957 году. Редакция «Иностранной литературы» поручила мне найти там хороший новый роман на современную тему, такого романа не нашлось. Ян Отченашек работал в то время — после «Гражданина Бриха» — над повестью «Ромео, Джульетта и тьма». И он сказал мне, имея в виду не только себя, но и товарищей по перу: «Мы хотим понять наше прошлое глубже, чем понимали раньше, многих наших писателей сейчас по-новому заинтересовал период войны и оккупации, а потом мы на новой основе вернемся к нашей современности и напишем о ней лучше, серьезнее, чем писали».

А с другой стороны, вспоминаются разговоры с Анной Зегерс, которая работала над своим романом «Решение» именно тогда, когда в ряде социалистических стран писатели отходили от темы рабочего класса.

Я не считаю роман «Решение» абсолютно бесспорным успехом. Но невозможно не оценить сегодня в этом романе остроту и новизну постановки больших психологических вопросов, связанных с социалистическим трудом и строительством новой жизни.

Анна Зегерс прекрасно отдавала себе отчет, за какую сложную задачу она взялась. Объясняя замысел своего романа, она говорила приблизительно так. Если на месте капиталистического предприятия возникло народное предприятие, это еще вовсе не значит, что все проблемы решены,— напротив, они только возникают. Легко сказать: «от каждого по способностям». Но как трудно добиться, чтобы каждый трудящийся действительно давал то, что он может дать по своим способностям! Надо задуматься над тем, что сделать, чтобы каждый человек в нашем обществе мог найти себя как труженик.

Именно эта человеческая, психологическая и вместе с тем социальная проблема лежит в основе романа «Решение». Понятно, что художнику не так легко захватить читателя такой темой. Можно взволновать читателей рассказом о том, как антифашист бежал из фашистского концлагеря и, избежав многих опасностей, спасся. Но несравненно труднее увлекательно рассказать о том, как этот антифашист после крушения фашизма приходит на свой родной завод, ищет себе работу по душе — и не может взяться за это дело, то ли по недостатку

знаний и культуры, то ли потому, что сталкивается с невниманием, равнодушием. Все это материал исключительно неподатливый и невыигрышный для романиста. Но судьба рабочих Коссницкого завода, о которых пишет Анна Зегерс в «Решении», заключает в себе, по-своему, не меньше драматизма, чем судьбы немецких антифашистов в лучших ее романах «Седьмой крест» и «Мертвые остаются молодыми». И тут у Анны Зегерс были свои открытия, которыми сумели воспользоваться немецкие писатели, начавшие свой путь уже после войны,— например, Криста Вольф, автор «Расколотого неба»*.

Теперь Анна Зегерс продолжает свою глубокую разведку жизни и психологии немецких рабочих в условиях социалистического строительства: в журнале «Форум» уже объявлено начало публикации ее романа «Доверие», действие которого происходит в 1952—1953 годы.

Мы можем наблюдать, как писатели социалистического мира заново осваивают тему труда, решительно преодолевая соблазны иллюстративности, схематизма, парадности — внимая в человеческий, нравственный смысл тех жизненных процессов, которые они изображают. Писателям хочется не только отображать новое, но и взыскательно — как завещал Ленин — проверять, насколько коммунистично это новое.

Я высоко ценю роман Л. Бублика «Становление», уже известный нашим читателям, и роман Эрика Нейча «След камней», к сожалению, у нас не переведенный. И в этих, и в некоторых других новых книгах заметна тенденция отмежевать подлинно социалистические характеры, нравы, поступки от того, что маскируется под социализм, а на самом деле чуждо ему. Превращение вчерашнего обывателя и «винтика» в подлинного хозяина жизни — процесс длительный и протекающий не беспрепятственно. Тут возникают разнообразные противоречия и конфликты, подчас весьма острые. Чем с большей откровенностью, смелостью будут писатели исследовать эти конфликты, тем более убедительно удастся им показать преобразующую силу новых общественных отношений.

---

* См. «Иностранную литературу» № 1 за 1964 год

(Окончание публикации в следующем номере)

И. ТЕРТЕРЯН

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ ИСПАНСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

Его зовут Альваро Мендиола, он принадлежит к очень богатой и многолюдной когда-то, а теперь просто состоятельной и сильно поредевшей за несколько войн и революций испанской буржуазной семье. После десяти лет эмиграции он приехал домой, в Барселону, где его родные занимают видное положение и владеют еще несколькими поместьями. Он устал ждать решительных перемен, никак не наступающих на его родине. Ему кажется, что за эти годы, оторванный от корней своих, он утратил все — способность работать, любить, смысл и вкус жизни. Три дня (три дня, вмещающие в себя тридцать лет) ведет он процесс над самим собой и — сам себе прокурор и судья — одно за другим предъявляет свидетельства: воспоминания, письма, документы. От приговора зависит жизнь. Для него, человека, одержимого рефлексией, интеллигента не только по роду занятий, но и по всему душевному складу, понять — значит убедить самого себя. Возможность действия зависит от ясности понимания цели, от интеллектуальной ориентации во времени и окружающей среде. А без действия — алкоголь, апатия, может быть, даже самоубийство.

Судит себя Альваро не за всякие личные грешки. Он судит свое отношение к классу, к народу, к национальной истории.

Таков герой нового романа Хуана Гойтисоло, к которому автор часто обращается на «ты», как повседневно делаем мы в безмолвном разговоре с самими собою. Многие биографические факты объединяют писателя и героя: оба родом из Барселоны, обоим гражданская война принесла сиротство, оба живут сейчас в Париже, побывали во многих странах мира, в том числе на Кубе. Но не будем отождествлять их — Хуан Гойтисоло уехал из Испании сложившимся писателем и прожил последние годы не так, как Альваро. Тому не удалось снять задуманный фильм об Испании, а Гойтисоло написал около десяти книг, и дневники его путешествий по испанскому югу «Земли Нихара» и «Чанка» — это то самое жестоко правдивое документальное свидетельство о жизни испанских бедняков, каким хотел сделать свой фильм Альваро. Не исповедь, но анализ духовной ситуации человека того же поколения, сходной судьбы — вот что такое «Особые приметы» * для Гойтисоло.

Новый роман разительно отличается от его прежних книг. Повествовательная манера, выработанная им и несколькими другими испанскими писателями, его сверстниками и единомышленниками, получила название «объективной прозы». Хуан и Луис Гойтисоло, Хуан Гарсиа Ортелано, Рафаэль Санчес Ферлосио виртуозно пользовались ею, когда нужно было раскрыть пошлость и выморочность испанского общества. Тщательная выписанность быта, суматошное и вместе с тем однообразное мельканье передвижений и реплик как раз подчеркивали давнишнее внутреннее омертвение. Момент прозрения, разлом душевного мира доступен «объективной прозе» (на этом строится «Остров» Х. Гойтисоло). Но вот медленное и трудное движение мысли, видимо, потребовало иного стиля. Конечно, «объективная проза» никогда не была примитивно описательной, она включала и подтекст, и ассоциативные связи. Но этого оказалось недостаточно, когда речь зашла о герое чувствующем — но больше думающем, страдающем — и анализирующем свои страдания.

Отказавшись от принципов «объективного письма», Гойтисоло ищет новые способы. Многое заимствует (монтаж цитат и внутреннего монолога в конце книги), многое изобретает сам (голоса «общественного мнения»). Структура книги громоздка, временами она подавляет читателя.

* См. «Иностранную литературу» №№ 8, 9 за 1967 год.

Может быть, слишком много приемов? Может быть. Но, вчитавшись, мы обнаружим строгую последовательность в сцеплении разнородных кусков, целеиаправленность каждой части, как бы эксцентричиа и экспериментальна она ни казалась.

Важно сразу уяснить: все, что происходит в романе, дано таким, каким увидел это герой, человек определеиного склада, определеиной формации. Это не значит, что реальиость как-то деформирована или искажена. Но отбор фрагментов действительности, которыми оперирует сознаиие Альваро, определен границами его опыта. Строение романа обусловило и особый подход к человеческим характерам. Они тоже даны такими, какими их видит и воспринимает герой: по большей части уже сложившимися, статичиыми во внешних своих проявлеииях. Все, кто появляется в романе, это ие просто люди, которых встречал Альваро, ио, кроме того, персоиификации идеи, сталкивающихся в его сознании и определявших его формирование. Самые иезначительиые и «проходные» персоиажи воплощают иллюзии, опасения, угрозы духу героя. Вот краснобай из каталонских автономистов, к которому приходят студенты, ищущие веры и убежденнй, чтобы освятить свою бунтующую эиергию. Скрытая параллель ему — ораторреспубликанец иа эмигрантском собрании в Париже. Там фразеология отвратительиа, здесь — старомодна, но привлекательиа. В восприятии Альваро они чем-то объединены, это что-то — заучеиность, отсутствие движения, движения мысли и воли. Одни окостеиел в гнусном крохоборческом политиканстве, другой мумифицирует округлую, давио отработаиную (пусть искреинюю) латетику. Еще и еще одна юиошеская иллюзия распадается и отбрасывается Альваро. Вот полицейский чин, ловко потрошивший чемодаи и одиовременно ласково уговаривавший иностранца фотографировать кафе в новых районах и моиументы вместо голодных детей и трущоб,— самая мягкая и отеческая политика, на которую способен фраикистский режим. И вот писатель Фериаидес — образчик провинциальиой пошлости и невежества, порождение культурной изоляции фраикистского государства и поощряемого им казеииого патриотизма. Образы судьбы Альваро, если бы он остался в Испании, ие воюя с режимом, а включившись в него.

Другой полюс, притягивающий мысль Альваро в ранний период его становления, тоже обозначеи персонажем, о котором, как о человеческом характере, мы узнаем очень мало, но символическое значеиие которого велико. Это профессор Айюсо. За его скромной фигурой, лекциями по истории средиевекового права с прозрачиыми рассуждеииями об эпохах свободы и эпохах тираиии, решительиой поддержкой студенческого движения, фотографией Америко Кастро с сердечной надписью на письменном столе — за всем этим вырастает целая традиция испанской мысли, целая плеяда ученых, демократов и патриотов в подлинном смысле этих слов, таких, как Рамон Менендес Пидаль, Америко Кастро, Клаудио Санчес Альборнос, как пожизненно отстраненный от преподавания в университете за резкие аитифраикистские выступления профессор Эирике Тьерно Гальваи. Если бы ие лекции, не книги таких ученых, как профессор Айюсо, академически сдержаиные, ио противопоставляющие иаучную честиость и глубину трескучей пропагаиде, что сталось бы с испанским студеичеством в долгие годы изоляции и острого духовиого голодаиия!

Большая часть перссиажей в этом романе обрисована ие действием, ие психологической питроекцией, но моиологом. Монологи полицейского, адвоката, врача-фалангиста, пьяиицы, наконец, моиологи общества, этого безлнкого и безличиого «говорят». Мозг Альваро иаполиеи фаитомами из слов, в словесных коиструкциях отлиты идеи, фетиши, черты иациоиального характера. Фраза — интоиация, лексика, штампы — лепит ие только человеческий характер, ио и самые общие понятия. Словесиая стихия гораздо важиее, чем сюжетиая привязка, повод для ее введения. Так, объясиеиия арестоваиного пьяницы появились вроде бы только потому, что он в коридоре кефатуры столкнулся с избитым Эирике. Но так ли уж важио это свидетельство? Зато косиоязычный, пересыпаиный руганью рассказ пьяницы воссоздает какую-то дремучую, полуживогиую стихию, где темперамеит, иациоиальная гордость, удаль растрачиваются бессмысленно и уродливо. Это то же самое, что терзает Альваро во время боя быков и энсьерро, ярмарок и праздников. Здесь в слове запечатлены потемки народного сознания.

Имея в виду эти особеииости повествоваиия, попытаемся проследить и понять ход того судебиого процесса, который происходит в уме Альваро, пока он бродит по родному дому, слушает Моцарта, разговаривает с друзьями и женой.

Первое, что вспоминается, когда возвращаешься домой, это, коиечио, детство. В картииах прошлого есть своя стройиая законченность и красота старых открыток или киноленг. Мужчины в белом, с жесткими отогнутыми воротиичками, старииные усадьбы с площадками для гольфа, чистенькие и добрые монашки, церковные процессии... Какую ностальгию может все это вызвать, когда предстает в семейном альбоме на корнчневатых дагерротипах или в пожелтевших, пахиущих лавандой письмах! А ведь пятьдесят с лишним лет, которые листает Альваро,— это растянувшаяся иа несколько актов гибель семьи, от испаио-америкаиской войны до кубиископ революции, отнявшей у Мендиола сахариый заводик и особняк в Сьенфуегосе. И ие только потеря доходов, особняков, пакетбота «Флора». Гибнут и люди: дяди, кузены, отец, расстрелянный, бог весть, по суду или без суда. К пониманию хода истории иадо продираться ие только через сентиментальную ностальгию, но и через

самые естественные человеческие чувства. И Альваро смог. Конечно, ему хочется купить такую же книжку «История младенцев-мучеников», как та, что шестилетним мальчиком он рассматривал, замирая от ужаса и восторга, рядом с бонной — слащавой кликушей сеньоритой Лурдес. И он с жалостью вспоминает чудаковатого дядю Эулохио, запугавшего близких и самого себя вторжением фантастических киргизов (бедный маленький испанский форрестол). Но поверх всякой нежности и грусти Альваро способен безоговорочно признать справедливость суда истории над его семьей, так долго наслаждавшейся неизвестно за что доставшимися ей привилегиями.

С этой отходной по детству, по семье Мендиола начинается тема разрыва со своим классом, с общественным порядком, созданным классом для своей выгоды и спокойствия. Это главная битва, которую ведет Альваро всю жизнь. На родине и в Европе, убегая от франкистского государства в «обетованную землю» свободы и цивилизации, и потом, чувствуя себя чужим и неуместным в тоскливой механичности и расчетливости этой цивилизации. Они, чьи родные ликовали при известии о победе франкистской армии, последовательно и непримиримо отвергает франкистское государство. Ни поток туристов, ни поверхностное процветание, по-обезьяньи названное уже «испанским чудом», не заслоняют от его глаз нищих рыбаков, лесорубов, плотогонов, эмигрантов, растекающихся по всей Европе, крестьян, готовых на любую работу, лишь бы уехать из родных мест, где надо «вилять хвостом перед господами». Пресловутая «либерализация» режима не вытесняет из его памяти избиений в полицейских участках, обысков и конфискаций, повсюду маячащих фигур «серых». Это бескомпромиссное отрицание франкизма — первое и главное, что делает Альваро интересным для нас, а его душевную драму — значительной.

Эта борьба нелегка и изнурительна. Общество противопоставляет твоей единичной воле тысячеустое и монолитное давление — от убеждения до угроз. Социальная демагогия разоблачена в романе детально и убедительно. В предыдущих своих романах (например, в «Прибое») Гойтисоло часто сталкивал лбами реальность и слова: нищую, безвыходно трагическую жизнь испанских бедняков и безостановочно льющийся из репродукторов поток официальной пропаганды. Отвратительное бахвальство победителей, высокопарный елей дешевых проповедников — все было предназначено, чтобы оглушать, одурманивать, оглуплять. Монологи общества в «Особых приметах» сделаны тоньше. Гойтисоло, видимо, очень точно воспроизводит и систему аргументации, и стиль современной демагогии защитников франкизма. Журналист из ГДР Гастон Ренар, побывавший в Испании как раз в том же 1963 году, передает разговор с каким-то испанским коммерсантом — тот почти дословно повторяет гойтисоловский монолог*. В романе уловлены и изменения в концепциях и формулах официальной пропаганды. То, что говорят об Альваро и его друзьях в 1952 или даже 1956 году, не похоже на то, что говорят в 1963. Появляются новые понятия и интонации — то рассудительные, то вкрадчивые. «Экономическое будущее страны», «справедливость распределения благ», «сегодняшняя конъюнктура враждебна тоталитарным режимам», «мир в душах и желанное крепкое рукопожатие» — это уже не совсем то же, что истошные вопли о крестовом походе, благодетеле, великой миссии охраны национальных устоев и религии. Грубая, топорная фразеология первых десятилетий франкизма уже не годится сегодня, в эпоху «либерализации» и «европейской интеграции» Испании (того и гляди, в Общий рынок примут). Режим приспосабливается к новым обстоятельствам, проявляя известную гибкость. Это отмечают многие наблюдатели, побывавшие в Испании за последние годы. Меняется и система идеологических штампов — схем, вбиваемых в головы испанцев. Гойтисоло чувствует, как эта новая липкая пелена обволакивает сознание его соотечественников, она обволакивает, душит Альваро,— но, к чести своей, он ее разрывает. Убийственная сатиричность интонации, с которой Альваро повторяет про себя эти штампы, подчеркивая лицемерие и злобную агрессивность обкатанных формул,— очевидна.

Однако не все так просто, когда речь идет о разрыве с обществом, с его социальными, моральными и религиозными догмами. Бывает ведь бунтарство, являющееся незаконным, но тем не менее кровным сыном буржуазного общества. Анархическое и эстетизированное, неразлучное с эпатажем и богемным беспутством, освященное именами великих поэтов. Это бунтарство представлено в разных обличьях. Прежде всего — и в самой безобидной для общества форме — в лице Серхио и его матери с их скучливой развратностью и лозунгом «Рабочий или буржуа, раз он работает, значит дерьмо». Обаяние этого жалкого цинизма проходит, как детская болезнь.

Гораздо важнее, чем Серхио, для судьбы Альваро образ дяди Нестора, участника республиканских заговоров и игрока, повесившегося в 35 лет из-за безвыходности и исчерпанности своего бунта. Буржуазное общество рождает таких бунтарей одновременно со стяжателями и охранниками, в каждом гнезде есть «гадкий утенок», в каждой солидной семье — отщепенец, которого стыдятся и о котором, как о сказочном разбойнике, грезят дети. Альваро хорошо знает, что он наследник дяди Нестора, «яблоко от яблo-

* Г. Ренар. «В тени Альгамбры». М., «Мысль», 1967, стр. 7—8.

ни», что в его бегстве от семьи и общества много от красивого, но бессильного бунта дяди Нестора. В самый тяжелый момент, когда он ближе всего подходит к духовному банкротству, в Женеве, он неотвязно думает о дяде Несторе и его конце. Дело, конечно, не только в алкоголе и неврастении. Дело, прежде всего, в отсутствии цели и программы бунта. Сам по себе отказ ведет к тупику. Слава богу, что Альваро способен к самоанализу и самооценке. Поэтому он понимает, что погибнет, как дядя Нестор, если не придаст своему бунтарству четкую и определенную форму.

В 1952 году, юношей, он об этом еще не думал. Он убежал из Испании, надеясь, что в Париже все придет само собой — свобода, идеи, творчество. Все оказалось не так — европейская свобода не столь уж привлекательна, образ жизни бездушен и механичен (даже интеллектуальная элита напоминает автомат, периодически выщелкивающий новые увлечения), вместо творчества — высокооплачиваемое фотографирование принцесс и кинозвезд. Правда, сколько угодно книг и кинофильмов, запрещенных в Испании. Но это духовное потребление, а он мечтал о действии, о помощи своей Испании.

Эмиграция всегда трудна, все великие изгнанники, от Данте до Герцена, видели тяжесть и гибельность эмиграции. Лишь очень сильные души не поддаются и проходят через это испытание. Альваро не довелось узнать, «как горестен устам чужой ломоть». Но «общенье глупых» стало и для него худшим гнетом. Ясно, что Альваро видит вокруг себя лишь часть испанской эмиграции. Именно здесь горизонт его видения особенно сужен личным опытом. Во-первых, это парижская эмиграция. Париж — вековая и всесветная столица неприкаянных и изгнанников — позволяет легче всего жить тем, кому трудно пустить новые корни. А во-вторых, это те люди, что не заняты в эмиграции практическим делом и могут проводить дни в кафе мадам Берже в повторяющихся воспоминаниях и спорах. Но есть ведь и другие, совсем другие эмигранты. Для них Париж, Брюссель, Рим — города, где печатают книги, журналы и воззвания, готовят передачи для радиостанции «Свободная Испания», готовятся к смертельно опасным путешествиям за Пиренеи. От Хесуса Ларраньяги и Кастo Гарсиа Росы, казненных за руководство партизанским движением в первые послевоенные годы, до совсем недавно осужденных франкистским судом Хусто Лопеса и Рамона Ормасабаля пробирались испанские коммунисты на родину из эмиграции, чтобы продолжать невидимую войну. Из дневника полицейской слежки Альваро узнает о таких людях. Но в Европе он далек от них. Сам он эмигрировал наполовину случайно, не будучи вынужден ничем, кроме неопределенного недовольства и протеста, и очутился в среде людей, остановившихся, застывших на прошлых победах и поражениях, прикладывающих к сегодняшнему дню мерки позавчерашнего. Поэтому, отняв у него еще несколько иллюзий (сила эмигрантского братства... поддержка французских друзей-интеллигентов... неограниченные возможности творчества... и т. п.), эмиграция не дала ему чаемой идеи и задачи.

Годы жизни в Европе отягчились личной драмой Альваро. На первый взгляд, отношения Альваро и Долорес — самая банальная линия романа. Трудно ведь найти современное произведение — роман, драму или кинофильм, — где не умирала бы в медленной агонии любовь, где двое не ощущали бы вот так же, что необъяснимая коррозия разъедает связующие их звенья. Лет двадцать—тридцать назад у героев Хемингуэя и Олдингтона, Ремарка и Марселя Карне было совсем по-другому. Тогда любовь бросала людей друг к другу, спасала от одиночества и отчаяния. То была любовь незаконная, не признанная людьми, любовь вопреки быту и моральным запретам. Та любовь тоже погибала, но ее убивали общество, войны, догмы. Теперь союзу любящих ничто не мешает, и соединила их самая полная телесная и духовная близость. И все же они приходят к уничтожающему выводу — они не в силах помочь друг другу. Гойтисоло не прибегает ни к каким фрейдистским объяснениям. Они не страдают от моральных ограничений, ибо не ставят их себе, да и что значат случайности рядом с их любовью, которая была «необходимостью и судьбой»? Не ложь, не пресыщение, не непонимание — что же тогда?

Гойтисоло часто воспроизводит как будто банальную, истертую уже схему, но пытается найти ей более конкретное объяснение. Так, в «Острове» он искал национально-конкретные причины того душевного распада, который мы обычно называем «сладкой жизнью». Понятно, что, когда человек утрачивает способность любить, отвечать на любовь, чувствовать счастье, происходит отчуждение самой человеческой сущности. Но это общее и абстрактное понятие, а ведь происходит это по-разному у богатого и бедного, победителя и побежденного, творца и потребителя, приспособленца и бунтаря. Каждого век настигает на его особом пути. Персонажей из «Острова», интеллигентов, уютно устроившихся во франкистском порядке, настигало возмездие за службу неправому делу, за хорошо осознанную продажность. С Альваро и Долорес происходит другое, хотя некоторые внешние приметы быта совпадают: ежевечерние хождения из бара в бар, разламывающаяся с похмелья голова. Все это повторяется из романа в роман и несколько надоедает. Но суть драмы в другом.

Неосуществившееся материнство Долорес — первый удар по их любви. Нежелание Альваро иметь детей — страх не столько за маленькое существо, сколько за себя: что дать ему, куда повести? Еще один долг, еще одна ответственность. Недаром именно в тот момент, когда он не находит сил сохранить жизнь своему ребенку, он думает о дяде Несторе, окончившем свой мятеж, ничего не оставив на земле.

Для героев Хемингуэя и Олдингтона любовь была спасением и убежищем, пусть хрупким, отрадой и единственной ценностью, возмещающей потерю всех остальных. Герой 60-х годов трезвее, мирная жизнь научила его тому, чему не могли научить войны. Любовь — это только любовь, только часть того, что нужно человеку. Когда человек ощутит цельность и полноту своего существования, когда все его возможности раскроются в действии, в связях с природой, обществом, нацией, тогда, наверное, прекрасна и счастлива будет его любовь. Но нельзя заменить любовью бесконечно богатую жизнь, нельзя надеяться, что страсть к женщине возместит тебе все, чего ты лишен. Любовь не выдерживает этого непосильного груза. Если нет тебе места и нет тебе дела в мире, если ты утратил цель и веру, то сможет ли спасти тебя самая прекрасная любовь? Станет ли она смыслом и оправданием твоей жизни? Гойтисоло (да и не только он) считает, что нет.

Так и случилось с Альваро. Потеряв родину, цели и надежды, с которыми он эмигрировал, лишившись фильма, к которому готовился всерьез, не принимающий данного мира и не знающий другого, он хочет, чтобы любовь, как в первую их с Долорес ночь, чувствовалась бы предназначением, с которым они пришли в свет. Но порванные связи не заменить. И тогда Альваро обвиняет любовь в том, что она бедна. «Мы ничего не можем дать друг другу». На самом деле Долорес может дать и дает ему очень много (и он это знает, потому и возвращается к ней, когда судит себя), но не все. И ни одна женщина не сможет.

Отношения с кубинской девушкой Сарой уже ничего не добавляют и не доказывают — обусловленность любовного краха общим духовным состоянием здесь выглядит прямолинейной, порой до карикатурности. Единственное сюжетное оправдание поверхностности и невыразительности кубинских глав — душевная апатия, с которой Альваро приехал на Кубу. Ему явно не под силу не то что участвовать, но даже вглядываться в кубинскую реальность, и он замечает лишь внешне кипучие ее проявления. Поездка Альваро на Кубу подтверждает только, что революционность и энергию нельзя взять взаймы, как нельзя ввести извне, наподобие инъекции витаминов. За решимостью действовать не обязательно отправляться за океан — правильнее будет перетряхнуть самого себя.

Когда же Альваро отправится в это, самое важное в его жизни, путешествие — в глубь самого себя,— он будет сопоставлять историю своих друзей со своей собственной. Их судьбы — это варианты его судьбы (если бы он остался в Испании), их опыт мог стать и потому должен стать и его опытом. А их опыт — это неудавшиеся и разогнанные демонстрации, допросы и истязания, трусливые отказы недавних кумиров подписать петиции и протесты. Альваро все время ощущает себя не единственным, а одним из поколения. Юноши, стареющие не уэиав ответственности за страну, юноши, опоздавшие родиться, чтобы вкусить романтику революций и войн, и завидующие отцам, которые в их годы командовали полками и становились под пули. Не первое такое поколение выросло в мире. В их положении можно стать очень разными — такими вот, как Энрике, фанатик по потребности, нуждающийся в доктрине, чтобы слепо в нее верить, и обязательно ультрареволюционной, какая только известна ему.

Но самое важное и ценное, что дает опыт друзей Альваро, это рассказ о ссылке Антонио. Ссылка под постоянный надзор полиции — одно из самых частых наказаний в Испании; там имеется, по приблизительным подсчетам, несколько сот тысяч таких ссыльных. Смысл истории, рассказанной Антонио, в том, что человек, начавший бороться, уже не может вернуться к тупому и безмятежному состоянию подъяремной скотины. Свобода — это не возможность посидеть в баре и не расположение местных заправил. Один жест сопротивления, простой отказ занять любезно тебе предложенное место в режиме возвращает тебе достоинство. Альваро проживет с Антонио год ссылки, мысленно перенесет унижения, тоску, пустоту и поймет его радость от того, что он занял свое настоящее место в ряду преследуемых, пытаемых, подавляемых. Измученный, Антонио все же знает, что будет снова и снова вступать в эту игру. Он станет таким, как Горилла, Сойка, Синий — подпольщики, за связь с которыми он был арестован. И этот вывод Антонио войдет в конечный итог, который подведет Альваро своему разбирательству у крепостной стены Монтжуича.

Но есть «болевая точка» в мыслях Альваро о борьбе против режима, о цели и смысле борьбы.

Альваро часто употребляет слова «свобода», «достоинство», «человеческое существование». Постепенно, из разрозненных картин и воспоминаний встает и зримый образ того состояния мира, которое являет собой идеал Альваро. Первая за годы франкизма крупная забастовка в 1951 году в Барселоне, вызванная повышением платы за городской транспорт, град камней, летящий с тротуаров в окна пустых, бойкотируемых трамваев. Документальные фильмы Ивенса и Кармена. И еще раньше — захват общинных земель крестьянами Иесте, впервые на этой земле свободный и радостный труд. А потом сопротивление жандармам, когда «по горным дорогам и тропам, ориентируясь по звездам, на помощь товарищам стекались плотогоны, крестьяне, угольщики, дровосеки». Альваро мечтает о взрыве народного гнева, об активных и самостоятельных действиях масс. Но есть нечто, парализующее его. Ядро идейной коллизии всего поколения Альваро — отношение к историческому опыту Испании, к республике и гражданской войне.

И. ТЕРТЕРЯН

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ ИСПАНСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

Это эпоха в жизни народа, которая не может еще стать достоянием историков и школьников. Дата рождения не избавляет от ответственности выработать свое отношение к тому, что произошло четверть века назад. Судьба каждой семьи определена этим прошлым, решение отцов передается тебе и, если ты не коптишь небо или не наслаждаешься самодовольно благополучием, купленным твоими родителями, ты испытаешь необходимость понять и самому судить об их правоте или вине. Ни один испанец XX века, сколько бы ни было ему сейчас лет, серьезно вдумывающийся в судьбу родины, не уклоняется от необходимости установить правду о гражданской войне.

Альваро, сыну человека, расстрелянного республиканцами, с детства была преподана «истина» о том времени. Она совпадала с впечатлениями из окна детской: горящие церкви, суровые бородатые люди, наводившие ужас на мать и гувернантку. Однако в зрелости он не удовлетворился простой и удобной версией о кровожадной черни и рыцарях-освободителях. И здесь путь Альваро типичен для большой группы испанских интеллигентов. Мы можем судить об этом по статье прекрасной испанской писательницы Аны Марии Матуте «Гражданская война и писатели моего поколения» *. В этой статье ярко и точно сформулирован тот духовный процесс, что раскрывается в безудержном потоке мыслей и воспоминаний Альваро. Ана Мария Матуте и сама (как и Гойтисоло, и другие молодые испанские писатели) принадлежит к этому поколению — детей из «хороших» буржуазных семей, увидевших в годы войны, как «та действительность, которая рисовалась нам прочной и неизменной, внезапно дала трещину сверху донизу», подростков и юношей в года глухие, когда диктатура отгородила Испанию от остального мира. И она рассказала, как «великий урок войны» научил их думать по-своему, как все они возвращались к войне, чтобы осмыслить в пронзительном свете детских воспоминаний свою взрослую жизнь.

Альваро также ищет и вырабатывает свое представление об истории. Чтобы понять его, надо учесть некоторые реальные обстоятельства.

Альваро вырос в Барселоне, столице Каталонии. Здесь расстановка сил в годы Республики и войны была особой, не такой, как в других областях Испании. В рабочем движении Каталонии еще с начала нашего века ведущие позиции занимали анархисты. После победы Народного фронта «весь северо-восток страны фактически перешел в руки НКТ—ФАИ. Она намного превосходила компартию по широте влияния на массы...»**. Поэтому мы не встретим в размышлениях Альваро известных нам имен героев Республики. Именно в Каталонии анархисты пытались на практике осуществить свою программу «либертарного коммунизма» путем «прямого действия масс». Они создавали вооруженные отряды не для фронта, а для республиканского тыла, для подавления инакомыслящих и колеблющихся. Террор настигал не только явных или подозреваемых фалангистов, но и республиканцев — коммунистов и социалистов. Анархисты пошли даже на массовые расстрелы крестьян и рабочих из социалистического профсоюза. Так можно ли считать невероятным, что без тщательной проверки вины были расстреляны землевладельцы, среди которых оказался отец Альваро?

Конечно, не надо представлять все упрощенно и относить трагический облик гражданской войны только за счет анархистских бесчинств. В потоке воспоминаний Альваро могилы расстрелянных франкистами республиканцев сопоставлены с могилой его отца. А помимо права сердца, есть ли у героя — и писателя — право на такое сопоставление?

Трагизм заключен в самом характере гражданской войны. Из миллиона погибших во время войны в Испании большая часть — жертвы бомбардировок и расстрелянные. Понятна веками копившаяся ненависть крестьян, бушующая в сцене казни фалангистов в романе Хемингуэя «По ком звонит колокол», но человеческая гекатомба все равно страшна. Сент-Экзюпери не сомневался, на чьей стороне справедливость в испанской войне, но увидев, что там «расстреливают, как лес вырубают», признался: «Я коснулся здесь противоречия, которое мне, конечно, не под силу разрешить». «Испания, да минет меня чаша сия»,— взывал замечательный перуанский поэт Сесар Вальехо. Уже в наши дни испанский историк-марксист Хосе Гарсиа говорит: «На испанской земле никогда не лилось столько крови, как в эти три года войны... Репрессии, убийства, месть и ненависть достигли ужасных форм и размеров» *. Политика «национального согласия»,** выдвинутая испанской компартией, направлена на ликвидацию существующего режима, и она находит поддержку в стране.

В памяти Альваро гражданская война осталась братоубийством, кровавым потопом. Напряженность и болезненность его мыслей об участи правых и виноватых открывается в монтаже сцен и частей. Энсьерро и коррида и рассказ о расстреле крестьян в долине Иесте. Рабочего заставили выйти из машины по той лишь причине, что на нем красная рубаха, и он

---

* «Иностранная литература» № 9, 1966.

** К. Л. Майданик. «Испанский анархосиндикализм в первый период национально-революционной войны 1936—1939 гг.», сб. «Из истории освободительной борьбы испанского народа» М., АН СССР, 1959. НКТ — Национальная конфедерация профсоюзов, находившаяся под контролем анархистов ФАИ — федерация анархистов Иберии.

* Хосе Гарсиа. «Испания XX века». М., «Мысль», 1967, стр. 223—224.

** «Мы исходим из перспективы осуществить весь этот процесс вплоть до победы без гражданской войны путем решительной борьбы масс в сочетании с политическими действиями внутри демократических организаций, когда они будут созданы». (Сантъяго Каррильо. «После Франко — что?». М., 1966, стр. 71.)

умирает под пулями. Красный плащ тореро, служащий сигналом к бойне. Платки парней, которые они торжественно окунают в кровь быка. Потом расстрел дяди Лукаса с его злосчастными лягушками. В этих стыках вырывается темная стихия жестокости, привычки к крови, равнодушия к боли и страданию. По мысли Альваро, эта стихия таится в испанском народе и прорывается, меняя обличья, во время мятежей и празднеств. Она рождена вековым угнетением, голодом, невежеством, но как часто служит угнетателям...

И снова Альваро идет дальше и глубже, не застывая в ужасе перед общей картиной гражданской войны. Вопрос об исторической справедливости он решает однозначно и недвусмысленно. «Мы дорого заплатили за проигранную гражданскую войну». «Мы» — это Альваро, его друзья, вся Испания. Это его война. В юности, только что бежавшие в Париж, он и Долорес могли со смехом говорить: «Нам-то что до этой войны?» Теперь, через десять лет, взрослый, много передумавший, он ищет опоры у мучеников республики. Очень важно, какие имена всплывают в его памяти, у чьих могил он останавливается на барселонском кладбище (ни одно имя не названо в романе случайно. Все имена — символы). Имена — ориентиры, вехи мысленного пути. Сальвадор Сеги — организатор единых профсоюзов, глава объединительного крыла анархистов, сторонник единства с Коминтерном. Он и убит был накануне отъезда в Советскую Россию. Буенавентура Дуррути и Франсиско Аскасо представляют как раз то крыло анархизма, которое стояло за союз с другими республиканскими силами, за дисциплину и организацию во имя победы над франкистами. Особенно Дуррути — пылкий и убежденный революционер, предательски убитый своими, когда под Мадридом он пытался задержать отступающих анархистов. И наконец, Луис Companис, лидер каталонской эскерры — партии левых республиканцев, самый непримиримый антифашист среди каталонских буржуазных республиканцев. Альваро, выросший в Каталонии, конечно, не мог остаться чуждым стремлению к национальной автономии и самоопределению. Companис воплощает то решение национального вопроса (исключительно острого в современной Испании *), которое предложила Республика. Судьба Генералидада, автономного правительства, возглавленного Companисом, была слита с судьбой Испанской республики, и гибель Companиса кровью скрепила связь между самостоятельностью Каталонии и свободой всех испанцев.

На кладбище терзает Альваро мысль о забвении, ему чудится трагическая гримаса истории, сделавшая бессмысленной и бесполезной мученическую смерть. Но ведь на самом деле забвения нет! Разве память обязательно связана с пышными ритуалами и славословиями? Букетик полевых цветов, которые кто-то кладет на могилы людей, погибших тридцать лет назад, их имена, названные шепотом, как только был замечен удивленный взгляд приезжего, брошенный на безымянные плиты, старик в Монтжуиче, понявший взгляд Альваро и показавший ему место расстрела Companиса,— разве это не память? А сам Альваро, сын казненного этими людьми, человек другого класса, другой эпохи, в решающий момент своей жизни приходящий к ним, расстрелянным в крепостном рву Монтжуича, разве движение его сознания — не свидетельство смысла их самопожертвования?

А память о деле еще сильнее памяти об именах. Вот мальчик, сын старого республиканца Хосе Бернабеу, пробравшийся из Франции в Испанию с литературой и схваченный во время облавы. Из протокола полицейской слежки встают десятки людей под нелепыми кличками, выдуманными шпиками, людей, не раз и не два судимых, отсидевших годы в тюрьме и снова возвращающихся к делу своей юности. Они встречаются в барах, автобусах и на перекрестках, передают чемоданы, папки, записки, вяжут сеть, которую разорвут жандармы из бригады социальных расследований, но можно точно знать, что они начнут связывать эту сеть снова. Вслед за Херонимо, партизаном, ставшим эталоном человеческой ценности для Альваро, вырастают эти фигуры перед мысленным взором Альваро. Ему уже не отречься от них.

Подвести черту, забыть, что была война, как забыты мертвецы, что лежат теперь рядом на заросших кладбищах... Повторяясь, этот призыв проходит через весь роман. Что же, он понятен в устах Альваро. Социальные процессы, идущие в сегодняшней Испании, создают новые водоразделы. Делением испанцев на победителей и побежденных многого уже не объяснишь. Это реалистический взгляд на основную проблему Испании второй половины XX века.

Некоторые политические силы, поддерживающие франкистский режим, уже начали понимать необходимость для себя окончания «холодной» гражданской войны. Советский журналист В. Кудрявцев, посетивший Испанию в нынешнем году, отмечает повсеместное, в прессе и в быту, изменение тона, когда речь идет о гражданской войне: «Бог рассудит, кто был прав, а кто виноват, ибо обе стороны воевали за Испанию»,— такова приблизительно формулировка, изобретенная высшей католической иерархией» *. Но с историей нельзя обращаться, как с бессловесным камнем: либо насмерть придавливать им

* В 1960 году большая группа молодежи была арестована и подверглась зверским избиениям в полиции за то, что на концерте запела каталонский гимн на слова выдающегося каталонского поэта Марагаля.

* В. Кудрявцев. «Испанские впечатления». «Известия», 17 апреля 1967 года.

И. ТЕРТЕРЯН
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ ИСПАНСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

сегодняшнюю жизнь, либо отшвыривать, не глядя, в сторону. Покончить с прошлым — не значит забыть, игнорировать его уроки. К этому выводу, по существу, и приходит Альваро. История — тема последнего его внутреннего монолога, завершающего книгу. История, окаменевшая в зданиях, в зазубренных словах гидов и путеводителей,— и история, кровью пульсирующая в казематах и рвах Монтжунча, хоть нет там мемориальных досок и никто не вспоминает вслух о тех, кого там убили. Здесь и говорит себе Альваро, что нельзя допустить надругательства над прошлым, даже если не в твоих силах изменить что-либо в настоящем. И окончательный приговор, который он себе выносит,— пока жив, свидетельствовать, работать, чтобы запечатлеть правду о своем времени и своей стране, чтобы помочь тем, кто, пусть годы спустя, возвратит жизнь родины и народа в нормальное русло.

Книга прочитана. Это не эпопея, не синтез испанской истории XX века. Это исследование духовной ситуации одного социального слоя — буржуазной интеллигенции, но исследование глубокое и бесстрашное. Драма лучших людей из этой среды, как она предстает в романе, напоминает драму русских интеллигентов эпохи русского безвременья. Душевное состояние героя романа, пожалуй, вернее всего определить стихами Александра Блока:

> В голодной и больной неволе
> И день не в день, и год не в год.
> Когда же всколосится поле,
> Вздохнет униженный народ?

Может удивить тон некоторых страниц романа. Такая ненависть к своей земле, такой горький и озлобленный скептицизм по отношению к нации, ее характеру? Национальная самокритика — общая и наиболее заметная черта испанской мысли XX века. «Где же бомба, что взорвет проклятую землю Испании?» — кричал в одной из своих пьес еще сорок лет тому назад Рамон дель Валье-Инклан. Ненормальность, уродливость развития Испании во все века новой истории настолько очевидна, что мыслящему испанцу не просто отрешиться от горечи и злости при виде живучести и неколебимости всего старого. Нужен очень глубокий и критический анализ социальной и психологической структуры испанского общества, чтобы обнаружить подлинно живые силы за уродливой, застывшей личиной. Такой анализ — задача испанской интеллигенции.

Будет ли способен участвовать в решении этой задачи герой романа Гойтисоло? Думается, что да, что достанет у него смелости ума и нравственных сил. Ведь и в течение тех трех дней, что длилось его путешествие в глубь своей памяти, он проявил способность к честным, бескомпромиссным оценкам и к нелегким решениям. Барчук, которому достался в наследство готовый, но оказавшийся неприемлемым для него мир, он сумел переоценить и отбросить все, что ему дали: религию, веру и ненависть своих родителей, их классовые пристрастия и предрассудки, их привилегии. Его окружало густое варево слов, ко всему прошлому и настоящему было приколото узаконенное и окончательное определение. Ложь лезла в глаза и уши со всех сторон. Он сумел отринуть эту ложь, пренебречь угрозами и клеветой. Полицейская деспотия уничтожила его фильм, но в конце книги мы оставляем его на пороге какой-то новой работы. Он сохранил листочки с исповедями рабочих-эмигрантов, он еще расскажет о простом горе бедняков. Из круга словесных фантомов он ушел в мир реальных людей и вещей, узнал, как живет народ его страны. Чувство вины и долга постепенно разрастается в нем. От отдельных людей, в которых он увидел нечто новое и неведомое его классу, от Херонимо и двух испанок в вагоне поезда, от батраков Йесте и бедняков в парижской больнице, от рабочих, совавших ему адреса и рассказы о своих мытарствах, Альваро идет к выводу: «Только в них и у них, в том темном и безвестном мире, где живут они, найдешь ты спасение...»

Отчаяние и озлобленность, которые звучат то и дело в голосе Альваро, не должны скрыть от нас главное — его постоянные размышления о родине. Он «болеет Испанией», и уже поэтому он не человек без корней, хотя кажется себе таким в тяжкие минуты. В его восприятии Испания предстает не страной, потихоньку движущейся к среднему европейскому стандарту, и не сонной, навсегда застывшей средневековой крепостью. В тех эпизодах романа, где действует народ, явственно ощущается неспокойная напряженность. Испания чревата переменами — и переменами решительными. Недаром чудятся Альваро взнесенные знамена на улицах провинциального городка.

Конечно, итог его духовных поисков, так же, как препятствия на пути к этому итогу, не всеобщи. Альваро не рабочий и не крестьянин, для которых борьба — это, прежде всего, каждодневный кусок хлеба, которым не приходится решать, принять в себя народную жизнь либо отвернуться от нее. Он не профессиональный революционер, которому нужна строгая теория, политический прогноз. Поэтому и в конце романа мы не найдем политических рецептов или предсказаний. Пока еще Альваро не знает, каким будет испанское общество. У него, как и у любого испанского художника, есть сейчас непосредственная цель: разоблачение, отрицание нынешнего общества, «разрушение огнем», как говорится в эпиграфе к роману, взятом из стихов Луиса Серпуды, испанского поэта, умершего недавно в эмиграции. И это разрушение, это приготовление умов и душ к грядущему переустройству становятся в определенной исторической ситуации (какой является испанская ситуация) первейшей и неотложной задачей. Осознание этого возрождает Альваро к творчеству: «...Пускай грядущего не видя,— Дням настоящим молвив: нет!»

Из путевого альбома

АЛАРИК ДЖЕЙКОБ
и ПОЛЬ ХОГАРТ

СНОВА В РОССИИ

ОТ СУЗДАЛЯ ДО САМАРКАНДА

Аларик Джейкоб.

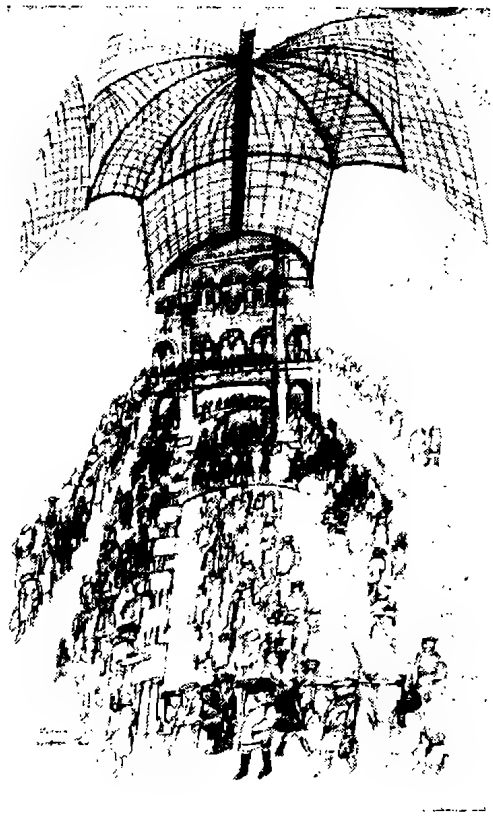
Поль Хогарт.

Мы с Полем Хогартом собирались совершить путешествие по Советскому Союзу еще за много лет до того, как это стало возможным благодаря некоторому ослаблению «холодной войны». Впервые я приехал в Москву в 1943 году, вскоре после Сталинграда. За плечами у меня был двухлетний опыт работы военного корреспондента при 8-й британской армии в египетской пустыне. Несколько позже, но еще во время войны, я вновь вернулся в Россию, на этот раз — с одним из конвоев, доставлявших военные грузы в Архангельск. Немецкие подводные лодки потопили много судов вокруг нас, и мы все, включая даже тех, кто не испытывал большого расположения к советскому строю, были счастливы, когда ступили на русскую землю. Но вскоре после начала «холодной войны», в 1947 году, я уехал из Москвы, и вот возвращаюсь вновь после двадцатилетнего отсутствия.

Для тех из нас, писателей и художников, кто мог безоговорочно и искренне причислить себя к друзьям Советского Союза, эти 20 лет не прошли гладко. Никому не были нужны наши книги и статьи, потому что наши взгляды не пользовались популярностью, а наши мнения вызывали подозрения. Однако мы верили, что погода изменится. Для меньшинства в Англии «холодная война» с самого начала представлялась бессмысленной. Теперь, наконец, большинство тоже стало разделять эту точку зрения. Наступили лучшие времена.

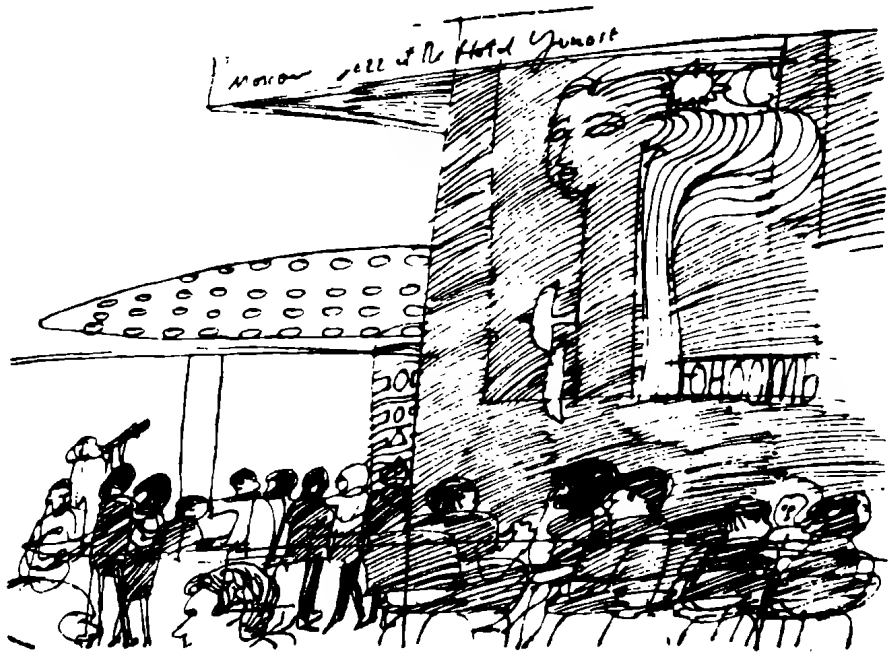
Когда мы с Полем в холодную, снежную весеннюю ночь, проделав длинный путь от аэропорта, въехали в Москву, первое, что я ощутил, была растерянность. Город так

Отрывки из книги, которая готовится к печати в Лондоне, Нью-Йорке и Париже с текстом А. Джейкоба и иллюстрациями Поля Хогарта.

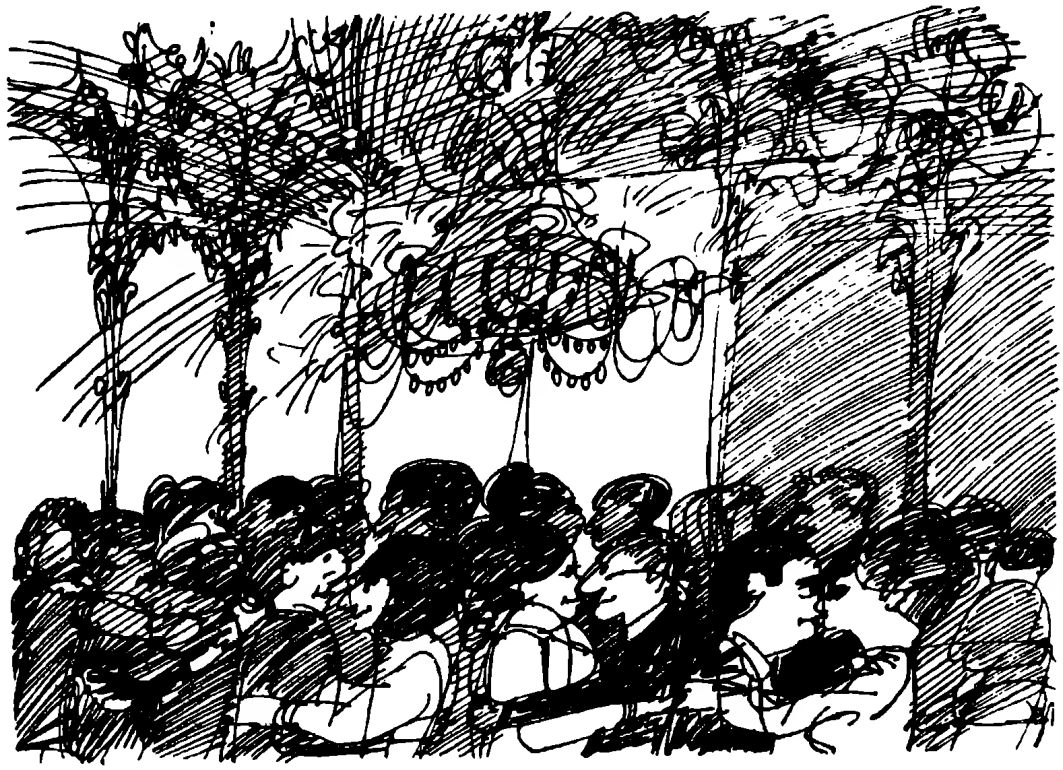


изменился, что я не узнавал его. Огромные кварталы жилых домов и широкие проспекты напомнили мне верхний Манхэттен, а когда шофер сказал нам, что мы проезжаем Химки, я начал тщетно искать глазами деревушку и пруд, где я бывал летом 23 года назад. И когда на следующее утро мы объехали город, нам стало ясно, что ни одна столица в мире не перестраивается в таком темпе и с таким размахом. Неприкосновенным остался лишь центр, где господствуют три отличных друг от друга стиля. Во-первых, стиль ампир, присущий старым дворянским особнякам на Арбате и на бульварном кольце. Эти дома были построены после 1812 года, а некоторые еще в XVIII веке. Во-вторых, стиль модерн (Art Nouveau), в котором построены Ярославский вокзал, гостиницы «Метрополь» и «Берлин», дом Рябушинского, где жил Горький, и московский Художественный театр, настоящий храм того периода, да еще несколько творений Гропиуса и Ле Корбюзье. В-третьих, монументальный стиль сталинских лет, который вышел теперь из моды, но не исчез из виду, так как в то время строилось много зданий и даже были возведены небоскребы в стиле готики. Из этих архитектурных стилей самое большое впечатление произвел на нас стиль модерн, и, когда мы впоследствии осматривали Тбилиси, Киев и Ленинград, мы убедились в том, что архитектура этого стиля представлена в России шире, чем во всех других европейских странах. Будем надеяться, что

ГУМ.



Джаз в гостинице «Юность».



Субботний вечер в ресторане «Берлин».

она сохранится. Дворец съездов, гостиница «Юность» и новые высотные здания на проспекте Калинина свидетельствуют о том, что новому поколению архитекторов удалось создать строения четких и привлекательных контуров. Но маленькие ампирные московские особняки, а также здания во вкусе Леона Бакста, Обри Бёрдсли и Оскара Уайльда придают городу особое звучание, и, поскольку к ним относятся с уважением, Москва никогда не превратится в нечто вроде Нью-Йорка.

С первого дня приезда я начал принимать меры для того, чтобы восстановить связи с теми, кого я знал 20 лет назад. Некоторые из моих старых друзей уже умерли, другие вступили в новый брак или уехали из Москвы. Но когда мы пошли в Большой театр на репетицию, я встретил там прелестную Гердт, которая несмотря на возраст руководит балетным классом, Асафа Мессерера, ведущего другой класс, и Марину Семенову, которая во время моего последнего пребывания в Москве как раз завершила свою блестящую карьеру, а сейчас репетировала «Шопениану» с самой юной звездой балета Натальей Бессмертновой.

Мы побывали у Кукрыниксов в их студии на улице Горького и видели там огромную написанную маслом картину «Нюрнбергский процесс», которую художники сделали для выставки, посвященной 50-летию революции. Потом мы поехали в Дом ветеранов сцены — красивое современное здание, довольно удачно расположенное на шоссе Энтузиастов. Пока я беседовал с пожилыми дамами и мужчинами, имена которых некогда были знамениты, Поль рисовал их портреты. Лидия Нелидова-Февейская в последний раз танцевала у Фокина в Нью-Йорке в 1940 году. Ее муж был дирижером труппы русской оперы, которую создал в Америке Шаляпин. Ее небольшая комната увешана портретами дам с нитками жемчуга на шее и в шляпках с низкими полями, фотографиями времен расцвета Чарли Чаплина. В комнате напротив живет Геннадий Уваров, все еще красивый в свои 79 лет. Когда-то он участвовал в создании многих фильмов, а теперь страдает тяжелым сердечным заболеванием. Узнав о нашем приезде, он поднялся с постели, чтобы позировать Полю, и, пока сестра делала ему укол, а Поль продолжал рисовать, беседовал с 85-летним Владимиром Горденинным, учеником Станиславского, некогда игравшим Гамлета и Ромео в Художественном театре.

Дом ветеранов нельзя назвать печальным местом. Столетним старикам, которые живут там, есть о чем вспомнить, и, если бы

Суздаль. Глотова церковь.

я на старости лет оказался один, без семьи, я, вероятно, предпочел бы жить среди людей своей профессии, а не в обычном приюте для престарелых.

Поль и я решили начать свое путешествие с осмотра Владимира и Суздаля, чтобы составить себе представление о местах, где зарождалось русское государство. Суздаль с его пятьюдесятью церквами и монастырями в настоящее время восстанавливается, и эти работы ведутся в более широком масштабе, чем восстановление древнего города Вильямсбурга в Соединенных Штатах, основанного еще голландскими колонистами. Этот «город-музей», несомненно, в самом ближайшем будущем будет привлекать туристов из всех европейских стран, хотя он представляет интерес лишь в чисто архитектурном отношении, поскольку ни одна из его церквей не является «действующей». И тем не менее этому городу стоило бы посвятить отдельную главу как самому, быть может, богатому религиозно-архитектурному ансамблю, который нам когда-либо приходилось видеть. Но больше всего нас поразил в своем символическом значении московский Кремль, который мы увидели теперь в его новом обличье. Мы слушали оперу во Дворце съездов, а в Кремлевском театре тоже шел спектакль, и в этот вечер восемь тысяч людей прошли через узкие крепостные ворота Кремля. Двадцать лет назад ничего подобного нельзя было бы себе даже представить. За четыре года, которые я провел в России, я был в Кремле только один раз — на сессии Верховного Совета. Когда же теперь я увидел, как в антракте тысячи москвичей сплошным потоком поднимались на эскалаторах в ресторан на верхнем этаже Дворца съездов, мне пришли на память пышные празднества в Зимнем дворце во

Москвичи, пьющие квас в районе Арбата.

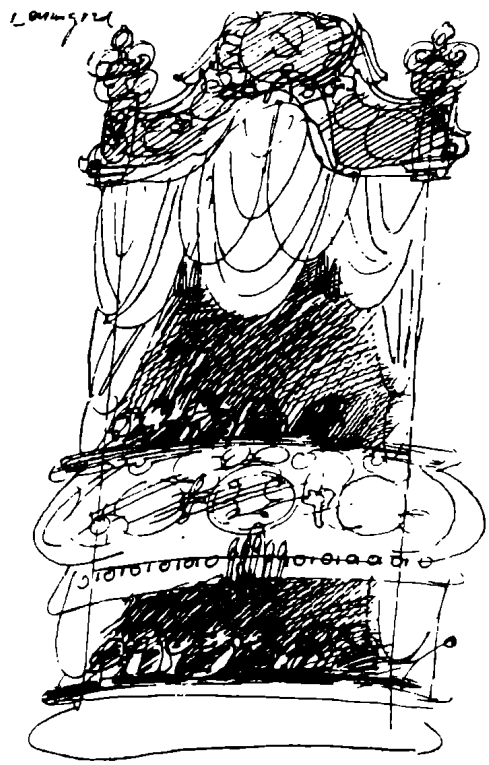
времена царизма, о которых мне приходилось читать. Это была крепость, не доступная ни для кого, кроме правителей и духовенства. К строгой крепостной постройке, воздвигнутой Юрием Долгоруким, с годами добавлялись все новые и все более роскошные дворцы и церкви, и Кремль постепенно превращался в храм, являющийся символом русского народа. Как мы помним, в XIX веке славянофилы мечтали превратить Москву в «новый Иерусалим», центр славянства, подобный Риму по своему мировому значению, но свободный от скверны разврата и меркантилизма. А Кремль должен был стать центром православной веры. Разумеется, эти мессианские мечты давно забыты, но еще до недавних пор Кремль оставался своего рода твердыней власть имущих. А теперь он открыт для всех.

Грузия

Грузины очень гордятся своим национальным поэтом Руставели. Профессор тбилисского университета как-то сказал мне: «О нас говорят, что мы любим хвастать своим Руставели, но, если бы мы не кричали о нем во весь голос, кто бы нам поверил? Он непереводим. Мы утверждаем, что его можно поставить в один ряд с Шекспиром».

Мы познакомились в Тбилиси с немолодым уже американским поэтом Стэнли Кюницем. Он совершал поездку по Советскому Союзу и в разных городах читал свои собственные стихи и переводы Пастернака и Вознесенского. В Тбилисском университете послушать его собрались 400 студентов, изучающих английский язык, и они долго стоя аплодировали ему. Вместе с Кюницем и грузинским поэтом Нонешвили мы совершили далекую поездку в маленький городок Сигнахи в Кахетии, где Нонешвили был только что избран депутатом Верховного Совета. Мало кто из членов парламента может похвастать таким красивым избирательным округом. Городок стоит высоко на горе над широкой долиной, а на горизонте, словно облака, сияют белизной вершины Кавказского хребта, до которого отсюда 60 километров. Долина утопает в виноградниках, и, когда мы спустились в нее, чтобы пообедать в одном из колхозов, нас угостили вином, которое нам нацедили из огромного чана в подвале. Мы пили из деревянных кубков, и наше пиршество с многочисленными тостами носило поистине гомеровский характер. Спрос на грузинские вина и коньяки колоссален не только в Советском Союзе, но и за границей, и колхозники, у которых мы были в гостях, уже очень зажиточны и в скором времени непременно станут богаты. У них в клубе играет свой хорошо оснащенный театр, а на примыкающем к клубу футбольном поле я разговорился с мальчишками, которые

Крестьянин.



В Малом театре.

Киев. Печерский монастырь.

смотрели по телевизору матчи на розыгрыш международного кубка, передававшиеся из Англии, и назвали свои команды в честь английских футболистов Бобби Чарлтона и Мура.

Мы с Полем очень полюбили Тбилиси. Гуляя по бульвару Руставели, залитому ярким солнечным светом, или разглядывая старинные здания на берегу Куры, мы невольно сравнивали этот город с Бухарестом или Софией, но тут же сознавали, что это сравнение не подходит. Грузия не похожа ни на одну страну. Ее веселых, жизнелюбивых жителей можно, правда, назвать «гасконцами» Советского Союза, но они не терпят никаких компромиссов ни в чем, что касается их национальной самобытности, и с глубочайшим уважением относятся к науке и искусству. Я познакомился со студентом-филологом, который в свободное время переводит на грузинский язык огромный труд Джеймса Джойса «Улисс». Я спросил его, сколько времени это займет. «Вероятно, лет пять,— ответил он.— Но если я посвящу какую-то часть своей жизни тому, чтобы сделать это сложное произведение доступным для нашего народа, быть может, когда-нибудь какой-нибудь гениальный ирландец откроет Руставели людям, говорящим по-английски. Это можно сделать. Посмотрите, как перевел на английский язык Фитцджеральд Омара Хайяма».

Ленинград

Последний раз я был в Ленинграде сразу после снятия блокады в 1944 году. Немцы отступали по всему фронту, но финны упорно стояли всего в 24 километрах от города. Разрушенные дома были завалены снегом, градусник показывал 12° ниже нуля по Фаренгейту, а в окнах гостиницы «Астория» почти не оставалось стекол. Продовольствия все еще не хватало, лица прохожих были блёдными и изможденными. Я писал тогда: «Весь Ленинград являет собой зрелище, при виде которого трудно удержаться от слез. Он опустошен, как Фландрия во время первой мировой войны. На много миль не видно ни деревца. Птицы не поют, им негде сесть. Вокруг торчат только обгорелые пни — стволы деревьев срезало артиллерийским огнем — остались одни пни. Все исторические памятники разрушены. Петергоф уже никогда не поднимется из руин. От другого великолепного дворца Растрелли в Царском Селе остался один остов. Гатчина сожжена дотла. Когда Гитлер устремился к Ленинграду, шедевры Растрелли и Камерона оказались у него на пути, и они были стерты с лица земли. Главный архитектор города говорит, что «со временем все будет восстановлено», но кто воссоздаст агатовые покои Екатерины Великой или спальню царицы Марии Александровны с фиолетовыми стеклами и перламутровыми инкрустациями на полу? Где найти еще одного Растрелли?»

Что же, должен сказать, что я глубоко ошибался. Второго Растрелли не нашлось, но рядовые советские мастера изучили все секреты и приемы своих предшественников XVIII века, и в результате Петергоф выглядит сейчас почти в точности так же, как и раньше, Павловск восстановлен, и даже огромный Екатерининский дворец встал из развалин. Все это, очевидно, связано с колоссальными затратами времени и денег. По всей вероятности, только осуществление программы космических полетов обходится стране дороже, чем этот выполняемый с такой любовью труд. И, чтобы довершить его, потребуется, как мне кажется, еще лет двадцать. Восстановление Ленинграда было наиболее впечатляющим из всего, что мы видели за время нашего путешествия. В Ленинграде есть метро, которое по своей красоте и разветвленности уступает только московскому, а план реконструкции города столь же смел, как и план перестройки Москвы, но восстановление всех архитектурных ценностей царской России поражает больше всего, и я не думаю, чтобы нечто подобное оказалось возможным в какой-либо другой стране. Если бы у нас в Англии во время войны были разрушены Вестминстерское аббатство, Виндзорский замок и здание Хемптонского суда, едва ли общественное мнение поддержало бы проект восстановления этих памятников старины, а правительство, несомненно, отвергло бы подобный проект как чрезмерно расточительный. Чтобы осуществить то, что было проделано в Ленинграде, требуется огромное мужество.

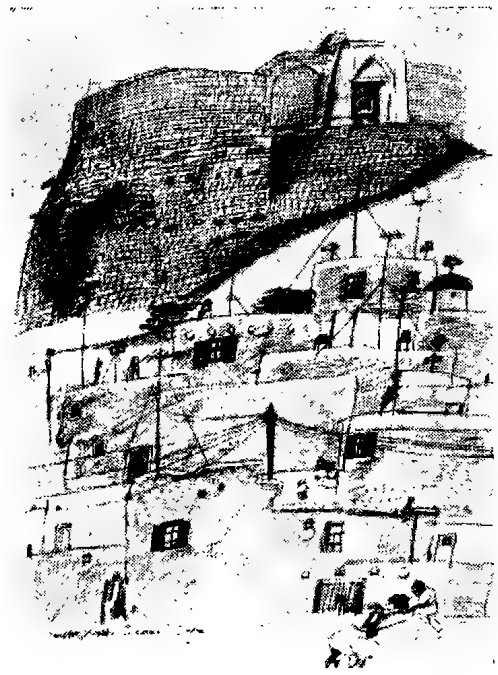
Уметь строить космические корабли очень хорошо. Но когда люди в то же самое время овладевают художественными и ремесленными навыками двухвековой давности — это является свидетельством высокой культуры.

Самарканд и Бухара

Мое желание увидеть Самаркаид основывалось на впечатлениях, полученных еще в детстве. Во-первых, в двадцатых годах в Лондоне я видел поэтическую драму Джеймса Эльроя Флекера «Хассан», лейтмотивом которой была «золотая дорога в Самарканд». Во-вторых, когда я учился в кентерберийской школе, я сидел в том же классе, где всего двести лет назад Кристофер Марло получил свои первые сведения по истории, позволившие ему впоследствии написать «Тамерлана». Во время войны мне чуть было не удалось попасть в Среднюю Азию, но в последнюю минуту я получил телеграмму от своего лондонского редактора: «На что вам Бухара, когда Берлин уже у вас в руках?»

Слушают оперетту Штрауса.

Самаркандские колхозники.



Бухара.

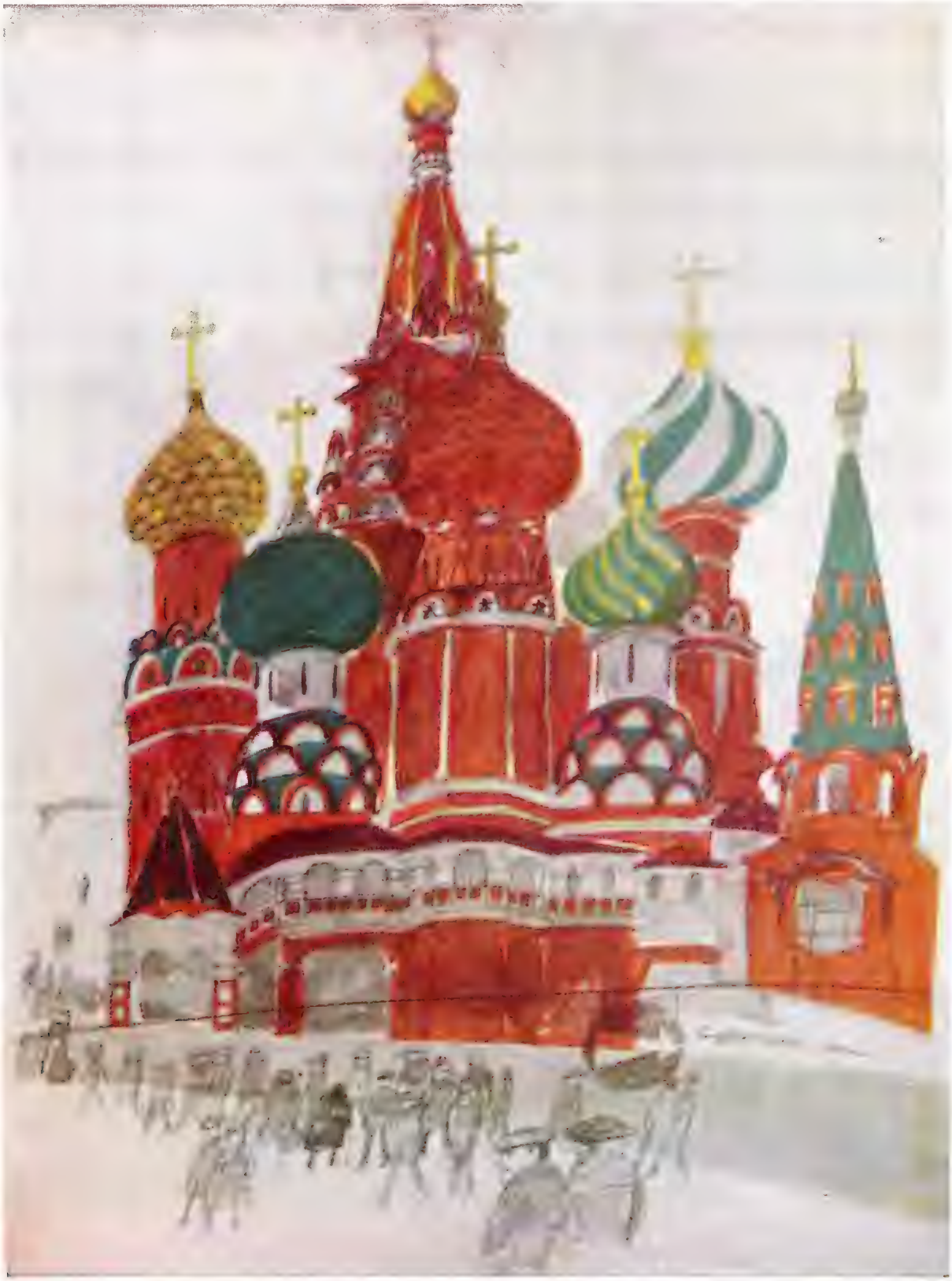
Ступив на асфальтовую дорожку аэропорта после ночи, проведенной в самолете Москва—Самарканд, мы сразу вдохнули чистый воздух азиатской весны. В глаза нам бил яркий свет, отражавшийся от снежных вершин Зеравшанских гор. Русские пришли сюда всего сто лет назад, но они освоили этот край не так, как англичане Индию — на несколько сот километров к югу от горного хребта,— потому что они собирались осесть здесь и в отличие от англичан, которые не переставали тосковать по Девонширу или Кенту, не считали дни до того времени, когда смогут наконец выйти на пенсию и вернуться в европейскую часть России. И все же Самарканд чем-то напоминает английское поселение в Северной Индии — те же обсаженные деревьями улицы и уютные домики с верандами, построенные еще при царизме. Говорят, что соотношение русских и узбеков в Самарканде составляет 10% к 70%, а остальная часть населения, четверть миллиона,— евреи, греки и другие нацменьшинства. Знаменитые самаркандские памятники навевают грусть, потому что почти все они посвящены умершим, и чаще всего не героям, а людям, стяжавшим дурную славу. Удивительно, что памятники вообще сохранились — ведь город разрушали одни завоеватели за другими: Александр Македонский, арабы, Чингизхан. Самый красивый из всех памятников — мавзолей Тамерлана с его великолепным голубым куполом, хотя по богатству и пышности оформления первое место занимает главная площадь,

Кремлевская стена со Спасскими воротами

Дом М. Ю. Лермонтова в Тбилиси.

Владимир. Успенский собор.

Собор Василия Блаженного.



Бухара. Зиндан.

Ленинград.

Регистан. По одну сторону этой площади стоит мечеть Биби-Ханым, построенная женой Тамерлана, китайской принцессой, в честь завоеваний Тамерлана в Азии, а по другую — медресе, мусульманское училище, в котором, по преданию, преподавал Улугбек, внук Тамерлана. Улугбек был величайшим астрономом своего времени, но муллы возненавидели его за передовые взгляды, и по их наущению он был схвачен на дороге и обезглавлен.

Неподалеку от площади Регистан помещается чайхана, куда мы зашли и где некоторые из посетителей любезно предоставили Полю возможность нарисовать их. Все они говорили только по-узбекски или по-таджикски, так что нам пришлось объясняться с ними жестами. Но их лица не могли не привлечь к себе художника, и одеты они были очень красочно.

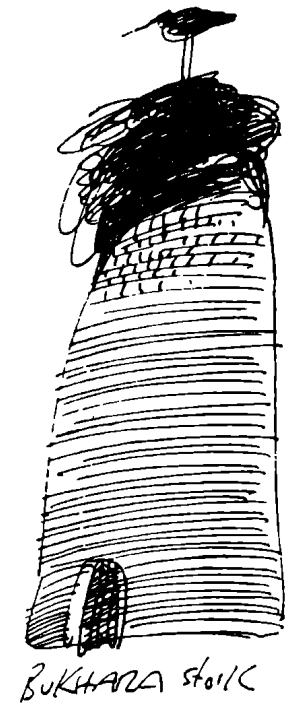
Некоторое время спустя в чайхану зашел солдат, говоривший по-русски, и он объяснил нам, о чем здесь шел разговор. Оказалось, что в этом году празднуется 2500-летие основания Самарканда, и на празднование приглашены мэры всех древних городов мира. «Только древних?» — спросил я. «Да,— ответили мне с гордостью,— только такие города, как Рим, Дамаск и Афины, могут сравниться с Самаркандом». Очевидно, Тамерлан придерживался того же мнения, потому что построенные им вокруг Самарканда селения до сих пор сохранили такие названия, как Багдад, Париж и т. п.

От Самарканда до Бухары всего сорок минут лету. Самолет летит над зеленой, хорошо орошаемой долиной. Бухара больше, чем Самаркаид, походит на арабский город: глинобитные дома встречаются куда чаще, чем здания, облицованные изразцами, и повсюду чувствуется, что всего лишь сорок пять лет назад здесь властвовали самые жестокие и косные правители, каких знала история,— бухарские эмиры. Дворец эмира, Арк, является сейчас своего рода музеем жестокости: восковые фигуры изображают узников, заключенных эмиром в темницы, а на самом видном месте висит огромная плеть — символ эмирской власти. Но наиболее жуткое впечатление оставляет глубокое подземелье, в котором по приказу эмира в течение многих месяцев томились полковник Стоддарт и капитан Коноллн, эмиссары королевы Виктории, посланные ею в Бухару в 1842 году. В подземелье кишели скорпионы и змеи, которых эмир разводил там для того, чтобы усугублять муки своих жертв. Впоследствии оба англичанина были казнены — как говорили тогда, за то, что они отказались принять мусульманскую веру. Однако узбекские историки, с которыми мне приходилось беседовать, полагают, что посланцы королевы Виктории явились жертвами тайной борьбы царской России и Великобритании за сферы влияния. Хотя Бухара была в то время нецивилизованным государством, ее эмиры владели колоссальными богатствами, потому что им было известно месторождение золота, которое они разрабатывали, используя для этой цели исключительно труд узников, чтобы никто не мог проведать, где находится золотой рудник. Если бы эмир заподозрил, что англичанам с помощью подкупа или какими-либо другими средствами удалось раскрыть тайну, он ни за что не выпустил бы их живыми. Царскому правительству расположение рудника, разумеется, не было известно.

В Бухаре вы на каждом шагу встречаете напоминание о смерти и о боге. На центральной площади возвышается Башня Смерти, с которой некогда сбрасывали преступников, приговоренных к казни, но с этой же башни муэдзины созывали верующих на молитву, а кроме того, она была и маяком: на вершине разводили костер, который служил ориентиром караванам в пустыне, направляющимся в Бухару.

Самое приятное впечатление за время пребывания в Бухаре оставила у меня встреча с преподавателем городского педагогического института литературоведом Саидом Алиевым. Я побывал у него в доме. На его книжных полках я увидел произведения Шекспира, Бериса, Байрона и Бернарда Шоу. Господин Саид познакомил меня с двумя узбекскими поэтами, Ташпулатом Хамидом и Мурадом Халилом, которые пришли к нему, узнав о визите английского гостя. Несмотря на ранний час нам устрои-

Бухарский аист.



ли роскошное пиршество — было подано мясное национальное кушанье маиты, а также груши, гранаты, орехи, халва и хлеб разных сортов, который наш хозяин торжественно разламывал и раскладывал вокруг моей тарелки. Оба поэта читали свои стихи, а господин Саид прочел несколько строф из Омара Хайяма на фарси. Они рассказали мне, что в первые годы после революции изучение узбекской литературы требовало огромного труда, так как до 1929 года узбекский язык знал только арабскую письменность. Позднее был введен латинский алфавит, а с 1940 года узбеки пользуются кирилицей. «Но первый бокал,— сказал господин Халил, с нескрываемым удовольствием оглядывая стол, который ломился от угощения,— я поднимаю не за литературу и даже не за нашего английского гостя, я хотел бы предложить благодарственный тост за то, что мой народ избавился от болезней. Это я ценю превыше всего. В нашей семье было одиннадцать детей, и девять из них умерло от разных заболеваний. Мой отец был писцом, он переписывал коран и этим зарабатывал себе на жизнь. Мы жили в доме без окон и без печи, хотя зимой у нас иногда выпадает снег. Представлений о санитарии не было и в помине, и люди заболевали от того, что пили загрязненную воду. Еды всегда не хватало. А при эмире до последнего времени в Бухаре было всего несколько врачей и больничных коек. Мы были не просто отсталым народом, надо прямо сказать — мы жили как нищие. Вы бывали уже в нашей стране, и сейчас вы объехали города, которых я никогда не видел, и, может быть, кое-что вас разочаровало, но для нас здесь, в Средней Азии, о разочаровании не может быть и речи: у нас произошли коренные перемены, впервые за всю нашу историю мы стали жить как люди».

■

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ПОПЫТКА С НЕГОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

«Иностранная литература» уже сообщала (см. № 9, 1967) о разоблачении связей журнала «Куадрант» с Центральным разведывательным управлением США. Руководство журнала предприняло неуклюжие попытки оправдаться. В частности, один из редакторов — Джеймс Макоули выступил в печати с уверениями, что журнал получает субсидии не от ЦРУ, а... от Фонда Форда.

Известный писатель Джуда Уотен в ответ на это написал в еженедельнике «Трибюн»: «Доверчивые люди могут подумать, что если журнал получает деньги от Фонда Форда, то все как будто в порядке. Эта организация, как полагают некоторые, вне всяких подозрений. Между тем хорошо известно, что Фонд Форда, как и некоторые другие подобные организации, являются каналами, по которым ЦРУ финансирует нужных ему людей».

Мнение Уотена подтверждается английским журналом «Лондон мэгезин» — в статье «ЦРУ и интеллигенция» приводятся весьма красноречивые факты о закулисной политической деятельности Фонда Форда: «ЦРУ и Фонд Форда давно организовали и финансируют кампанию идеологической обработки интеллигенции в духе холодной войны против коммунизма. Основная цель заключалась не в том, чтобы подкупить и привлечь на свою сторону отдельных писателей и ученых, а в создании постоянной, замаскированной системы субсидирования таких людей в разных странах, в продвижении их на руководящие и редакторские посты. Фонд Форда главным образом содержит на свои средства «Конгресс свободы культуры». А через «Конгресс» уже много лет средства ЦРУ идут на финансирование многочислен-

---

В предыдущем номере «Иностранной литературы» (см. № 9, 1967) мы писали о постановке пьесы «На сцене Вьетнам» в сиднейском «Нью тиэтр». Успех пьесы настолько велик, сообщает печать, что труппе приходится давать дополнительные представления сверх обычной программы. Принято также решение организовать гастроли в городах Ньюкасле, Парраматте и Марубру. На снимке: сцена из спектакля, в которой выступает американский президент. На заднем плане — изображение статуи Свободы с завязанными глазами.

(Еженедельник «Трибюн»)

ных зарубежных изданий, конференций и «культурных мероприятий» в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке и Австралии.

АЛЖИР

«ЗАРЯ ПРОКЛЯТЬЕМ ЗАКЛЕЙМЕННЫХ»

Таково название вышедшего на экраны Алжира документального фильма известного режиссера Ахмеда Рушди. В нем рассказана история колонизации Африки и борьбы ее народов против империалистов разных стран.

В фильме широко использованы архивные кино- и фотодокументы. Авторы фильма подчеркнули историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции для борьбы народов Африки за освобождение. «Это событие,—пишет рецензент журнала «Жён Африк», дающий высокую оценку фильму «Заря проклятьем заклейменных»,— умело проиллюстрировано большими фрагментами из фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь».

Победу вьетнамского народа над французским империализмом под Дьен-Бьен-Фу авторы фильма считают началом нового этапа освободительной борьбы народов Азии и Африки. «С этого момента,— пишет рецензент «Жён Африк»,— уже ничто не может остановить африканцев — ни разрушенные деревни, ни казни, зафиксированные кинокамерой во всей их чудовищной жестокости, ни кровавые злодеяния карателей, ни лагери для интернированных, ни выборы под дулами пулеметов...»

Фильм завершают кадры, рассказывающие о завоевании независимости народом Алжира.

«Этот фильм потрясает своим революционным духом и эмоциональной силой,— пишет рецензент.— Исключительно удачен монтаж — зритель смотрит фильм затаив дыхание».

АНГЛИЯ

«НЕДЕЛЯ ГНЕВНОГО ИСКУССТВА»

«Неделя гневного искусства», организованная английскими деятелями культуры в Лондоне против американской агрессии во Вьетнаме, вызвала широкий резонанс в стране. Еженедельник «Трибюн» в связи с этим писал:

«Это наиболее значительная из всех имевших до сих пор место попыток деятелей культуры содействовать художественными средствами прекращению войны во Вьетнаме. Они призывают включиться в политическую кампанию за изменение британской политики поддержки интервенции США во Вьетнаме и к выводу всех американских войск из Вьетнама».

В постоянно действующий инициативный комитет «Недели» входят Пол Скофилд, Джон Арден, Питер Брук, Дэвид Мерсер, Гарольд Пинтер, Питер О'Тул, Ванесса Редгрейв и др.

Пол Скофилд в интервью для печати заявил относительно войны во Вьетнаме следующее:

«Поистине, это ужасающая война. Я считаю, что обязан выражать личный протест против этой войны... С возрастом я начинаю острее чувствовать свою ответственность». Об ответственности художника говорит и Джон Арден, автор нескольких острых антивоенных пьес. Он выражает глубокую тревогу за судьбы мира, вызванную агрессией США в Юго-Восточной Азии.

Инициативный комитет «Недели гневного искусства», пишет корреспондент «Трибюн», занят организацией группы докладчиков, которые будут постоянно ездить по стране и выступать на митингах и собраниях с лекциями о войне во Вьетнаме.

«ИСПОВЕДЬ» ЭМИСА

Имя Кингсли Эмиса в последнее время можно часто встретить на страницах печати (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 8, 1967). Недавно в еженедельнике «Санди телеграф» он решил исповедаться перед всем миром. «Почему Счастливчик Джим поверил вправо, исповедь бывшего радикала» — так он это назвал.

Многое не нравится Эмису в современном мире, многое его раздражает: антивоенные марши протеста, осуждение апартеида в Южно-Африканской Республике, протесты против накопления ядерного оружия.

Он не желает замечать грандиозных достижений Советского Союза за пятьдесят героических лет, прошедших со времени победоносной Октябрьской революции.

Эмис рекомендует отбросить как ненужный хлам «...всякие там идеалы, идеи братства и пр. Все это должно быть выброшено вон...»

«Исповедь» Эмиса вызвала возмущение даже у бывших его друзей. Так, писатель и публицист Ален Брайен опубликовал открытое письмо Эмису в еженедельнике «Нью стейтсмен». Никогда нельзя было с уверенностью сказать, подчеркивает Брайен, чью сторону держит Эмис, и далее, применяя морскую терминологию, пишет: «Всегда казалось, что он идет под несколькими флагами, а это то же самое, что идти без всякого флага... Эмис покинул социализм, когда это стало ему выгодно».

Эмис обиделся на Брайена и прислал письмо в редакцию «Нью стейтсмен», в котором доказывал, что быть антикоммунистом чуть ли не почетно. Ведь среди противников коммунизма — имена Черчилля и Трумэна...

Пожалуй, слово «исповедь» не очень подходит к последним высказываниям Эмиса на политические темы, можно предложить более точное слово: «автонекролог».

МЕТАМОРФОЗЫ

Можно ли сделать так, чтобы плохой фильм привлекал зрителей? Можно — и с большим успехом, пишет обозреватель газеты «Морнинг стар» Нина Хиббин. Об

этом красноречиво свидетельствует практика многих английских кинокомпаний. Нужно только придумать для фильма хорошее название.

В качестве примера Нина Хиббин приводит недавний случай со шпионским фильмом «Моритури». Под этим названием он широко рекламировался не только в Англии, но и за рубежом. Тем не менее зрители на него шли довольно неохотно. Кинобоссы начали доискиваться причин неудачи. Было высказано предположение, что название это напоминает зрителям о неизбежности смерти. Буквально «на ходу» название фильма было изменено на «Диверсант — тайная кличка Моритури». На новую рекламу были потрачены колоссальные средства и... зритель пошел на этот фильм, пишет Нина Хиббин.

Бывают случаи, когда название фильма меняется дважды, причем, если его продают за границу,— это делают с учетом страны, в которой он будет демонстрироваться. В этом деле практика английских и американских кинокомпаний примерно одинакова.

Так, продолжает Нина Хиббин, считается, что англичане чувствительны ко всему, что касается королевской фамилии. Поэтому американский фильм «Королевская постель» шел в Англии под названием «Муж королевы», а «Скандал в королевском семействе» получил вполне благопристойное название «Царица».

Все, что связано с сексом на экране, всячески «приглушается» в названиях зарубежных фильмов, демонстрируемых в Англии, и, напротив, подчеркивается в тех случаях, если они предназначены для США. Например, английский фильм «Лето семнадцатилетней куколки» шел в США под названием «Время страсти», а «Сказка пяти городов» превратилась в «Сказку пяти женщин».

Считается, отмечает Нина Хиббин, что американцы вообще клюют на слово «женщина», поэтому «Сага о Форсайтах» превратилась в «Эту женщину Форсайта», а «Леди Гамильтон» — в «Эту женщину Гамильтона». Все эти интересные факты, пишет обозреватель, приведены в книге Лесли Халлиуэлла «Спутник киозрителя», которая недавно вышла в Лондоне вторым, дополненным изданием (первое появилось в 1965 г.).

БОЛГАРИЯ

К ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ

Издательство «Блгарски писател» выпустило к 50-летию Октября три книги: репортажи Филипа Панайотова «В Стране Советов 30 лет спустя», а также сборники «Октябрь» и «Поэзия Октября».

Автор первой книги рассказывает о городах и селах Советского Союза, которые тридцать лет назад посетил видный болгарский общественный деятель и ученый Асен Златаров, и о произошедших в СССР грандиозных преобразованиях.

«Панайотов не скрывает своего волнения и гордости,— пишет рецензент газеты «Народна култура»,— когда рассказывает о встречах с известными поэтами, учеными, композиторами — людьми, чьи имена давно или совсем недавно стали известны миру. С интересом читаются страницы об Илье Эренбурге, Евгении Евтушенко, Александре Пахмутовой, Андрияне Николаеве — об этих искренних друзьях Болгарии».

В сборнике «Октябрь» опубликованы рассказы тридцати семи болгарских авторов разных поколений, начиная с таких известных прозаиков, как Людмил Стоянов, Гьончо Белев, Георгий Караславов, и кончая самыми молодыми литераторами — Генчо Стоевым, Иваном Остриковым и Ладой Галиной.

«Цель сборника,— пишет рецензент,— с помощью отдельных рассказов воссоздать панораму жизни Болгарии с того памятного Октября 1917 г. до наших дней, показать события, затронувшие судьбы миллионов людей. Некоторые рассказы тематически непосредственно связаны с революцией в России и ее героями, другие показывают ее глубокое влияние на борьбу болгарского народа против капитализма и фашизма, на социалистическое строительство в Болгарии».

Иллюстрации Петра Рашкова к сборнику «Поэзия Октября».

(Газета «Народна култура»)

Сборник «Поэзия Октября», талантливо оформленный художниками Кыичо Кыневым и Петром Рашковым, включает 109 стихотворений болгарских поэтов разных возрастов. «Сборник охватывает все поэтические творения, посвященные Октябрю,— от первых восторженно-патетических стихов Димитра Полянова до творений самых молодых поэтов,— отмечает рецензент.— В нем представлено все самое лучшее, что только создали эти вдохновенные певцы Октябрьской революции о ней, о партии советских коммунистов, о бессмертном вожде Ленине».

ГДР

«ИНТЕРГРАФИКА-67»

В берлинском «Альте музеум» Союзом художников ГДР была организована международная выставка — «Интерграфика-67», в которой приняли участие 459 художников из 38 стран.

«...Доминирующей темой выставки «Интерграфика-67» была война во Вьетнаме,— пишет рецензент гамбургского еженедельника «Ди андере цейтуиг».— Это в равной мере относится и к работам западных и восточных художников. На тему «Вьетнам» прислали свои рисунки и гравюры А. Фернандес (Аргентина), Каршовский (Болгария), Ф. Кремер (ГДР), Уве Витт (Западный Берлин), Н. Бисвас (Индия), А. Боргонцони (Италия), Мун Хак Джу (КНДР), Л. Ван-Дюмуа (Куба), Э. Уэрта (Мексика), А. Лескошек (Австрия), Ф. Кривац (Румыния), Е. Шандор (Венгрия), М. Самсонов (СССР), А. Рефрежье (США) и многие другие. Шире всего эта тема, естественно, была представлена у восемнадцати вьетнамских художников в их цветных гравюрах на дереве...»

Многие работы японских графиков, сообщает рецензент, были посвящены страшным последствиям атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Ужасы второй мировой войны и фашистских концлагерей отразили в своих впечатляющих рисунках и гравюрах польские художники старшего и молодого поколения — И. Куран-Богуцкая, М. Маевский, И. Наперач, Г. Плоценник и М. Васовская.

«Огромной критической силы исполнена графика художников Латинской Америки, бескомпромиссно показывающих социальное неравноправие...— продолжает рецензент.— Взгляните на линогравюры мексиканца Хесуса Альвареса Амайи, на офорты колумбийца Альфонсо Кихано или на гравюры на дереве аргентинца Дидиа Брандолина. Какой революционной мощью веет от них! Крестьяне в поле, бездомные, нищие, голодные дети в лохмотьях. Уверенной подачей материала и ясностью формы художники достигают того, что их графика становится политическим и социальным документом, звучащим как страстное обвинение современности...»

«Динамизм, чувство юмора, ощущение полноты жизни и верность натуре,— пишет далее рецензент,— характеризуют советскую графику. Концентрированность формы, высокая техника рисунка и сильно развитая интуиция — вот средства, с помощью которых советские художники достигают выдающихся результатов. Особенно хочется отметить серию иллюстраций Дмитрия Бисти «Владимир Ильич Ленин».

Среди бельгийских художников видное место занимает Франс Мазереель, приславший на выставку три гравюры: «Беспокойный мир», «Радость» и «На улице» (1966).

«Интерграфика-67, — заключает рецензент,—носящая, по словам Леа Грундиг, как предыдущая выставка графики в 1965 г., «характер страстной демонстрации», внесла весомый вклад в дело дружбы и взаимопонимания народов, в дело мира и социального прогресса».

О РОМАНЕ ЭДУАРДА КЛЕЙНА «АЛХИМИКИ»

Литературная печать ГДР много пишет о новом романе Эдуарда Клейна «Алхимики», недавно вышедшем в издательстве «Нейес лебен».

Еженедельник «Зоннтаг» поместил большую статью Маргот Гёрниш о романе и об обсуждении его на литературном вечере, организованном «Культурбундом».

Главный герой романа — секретарь партийной организации завода электрооборудования Хербель, которому приходится бороться с рутиной и косностью на производстве. «Хербель — натура творческая, беспокойная. Таких героев любит читатель. Они не ведут аскетический образ жизни. Они много требуют и от себя, и от других, но умеют жить и радоваться жизни»,—пишет Гёриш. Она называет роман Клейна «ярким литературным свидетельством нашего бурного времени».

«Мысли, чувства, ожидание, надежды будит этот роман у читателей,— пишет в журнале «Нейе дейче литератур» Гейнц Плавиус.— Роман Клейна продолжает традиции биттерфельдского пути».

Читатели, принявшие участие в обсуждении романа «Алхимики», высказали предложение присудить Клейну премию Свободных немецких профсоюзов. К этому предложению присоединился и еженедельник «Зоннтаг».

Плакат выставки «Интерграфика-67».

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

Антивоенная карикатура Уве Витта «Идолопоклонство». (См. сообщение в «Иностранной литературе» № 8, 1967).

(Еженедельник «Ди андере цейтунг»)

ГРЕЦИЯ

РАССКАЗЫВАЮТ ВЫРВАВШИЕСЯ ИЗ АДА

Греческая реакция, совершившая государственный переворот, один из первых своих ударов нанесла по национальной культуре. Правда о страшной действительности Греции наших дней доходит постепенно, окольными путями.

Недавно в итальянском еженедельнике «Ринашита» было опубликовано интервью с тремя греческими писателями, которым удалось вырваться из ада военно-фашистской диктатуры,— Василисом Василикосом (о нем см. сообщение в «Иностранной литературе» № 6, 1967), Костасом Котзиасом и Титосом Патрикиосом.

В ночь переворота, рассказали они, был арестован Яннис Рицос, который долгие годы провел в концлагерях на островах Лимнос, Макронисос и Агиос-Эвстратиос. Брошен в тюрьму восьмидесятилетний поэт, переводчик Шекспира Василис Ротас. Арестована поэтесса и журналистка Элли Иоаниду, близкий друг Никоса Белояниниса, которая во время процесса над ним была также приговорена к смертной казни (была помилована и находилась в тюрьме вплоть до 1964 года). Попал в тюрьму главный редактор литературно-художественного журнала «Эпитеориси технис» Костас Кулуфакос, который в 1941 году был приговорен фашистским трибуналом к смертной казни и чудом спасся.

Арестован поэт Тасос Спиропулос, который провел десять лет в концлагерях, молодой писатель Талис Дизелос, историк и журналист Спирос Линардатос, историк и критик Тасос Вурнас, писатель Апостолос Спилиос, театральный критик Статис Дромозос, известный актер, исполнитель ролей в пьесах Шекспира Карусос.

Среди арестованных известная художница Васо Катраки и график Йоргос Фарсакидис, который был узником Макронисоса и издал альбом воспоминаний об этом острове смерти и ужасов.

«Этот список далеко не полный, — сказал Костас Котзиас.— Было арестовано множество людей — и аресты эти продолжаются,— потому нельзя ручаться, что у нас есть точное представление о действительном положении. Нет сомнения, что диктатура хотела нанести удар по боевой, борющейся культуре...»

Наступление на культуру ведется широким фронтом, рассказал Титос Патрикиос: «В школах, например, запрещено изучение античных трагедий, в которых воздается хвала демократии. Запрещено изучение некоторых текстов Эврипида и Эсхила».

«Греческая культура продолжает существовать,— заявил Костас Котзиас,— она оказывает сопротивление стремлениям военно-фашистской хунты обеднить духовную жизнь народных масс: культурный расцвет народа означает смерть фашизма».

«То, что произошло в Греции,— сказал Титос Патрикиос,— касается не только нас: это проблема фашизма, который поднимает голову и которому удалось в Греции добиться своего... Представители европейской культуры не должны забывать о своих греческих коллегах, которые брошены в тюрьмы и концлагеря...»

Я предлагаю, сказал в заключение Патрикиос, дополнить международное право законом, по которому унижение человеческого достоинства будет преследоваться как тягчайшее преступление.

ИТАЛИЯ

ВЫСТАВКА В РЕДЖО ЭМИЛИИ

В Реджо Эмилии третий год подряд проводится конкурсная выставка политической карикатуры и плаката, на которой присуждается премия «Скаларини», учрежденная местной федерацией Коммунистической партии Италии.

На выставке 1967 г. было представлено несколько десятков работ итальянских, а также зарубежных художников, участвовавших в этой выставке впервые. В частности, на ней экспонировались работы Гофмейстера из Чехословакии и советских художников Кукрыниксов.

Как отмечают обозреватели, главная тема выставки — проблемы войны и мира, призыв к прекращению войны во Вьетнаме. Этой

теме посвятили свои карикатуры и плакаты художники Колли, Марпикати, Бек, Бернарди, Мидоллини, Парини, Станьоли, Руспаджари, Скуарца, Прометти, Марастони, Джанничи и др.

По словам корреспондента газеты «Унита», для всех работ, представленных на выставке, характерно общее стремление бороться против любой формы угнетения — социального, расового, колониального. «Конкурсная выставка в Реджо Эмилии,— пишет корреспондент,— продемонстрировала возросшую роль карикатуры и политического плаката в нынешних условиях, когда с помощью современных средств печати они могут быть легко донесены до массового читателя. Можно с уверенностью сказать, что выставка с каждым годом завоевывает все большую популярность».

Даже буржуазные газеты признают, что выставка политической карикатуры и плаката — заметное явление в культурной жизни страны.

ПРЕМИИ «ВИАРЕДЖО» 1967 ГОДА

В центре внимания римской печати — результаты присуждения осиовной литературной премии (вериее, нескольких премий) «Виареджо». Прогрессивные газеты выражают удовлетворение по поводу того, что в этом году присуждаемая в 38-й раз премия «Виареджо» увенчала зиачительные произведения не только в чисто литературном, но и в общественном отношении.

В области художественной прозы «Виареджо» удостоен писатель Рафаэлло Бриньетти за книгу «Голубая чайка», изданиую Эйнауди. Это сборник рассказов о море: о борьбе со стихией, о кораблекрушениях, о дельфинах... Герой, главное действующее лицо всех семи рассказов — море. Писатель-маринист, как отмечает член жюри премии «Виареджо» литературовед Карло Салинари, изображает море не идиллически и не натуралистически; для него вечно пребывающая в движении, буриая морская стихия—своего рода символ человеческой истории и жизни с ее противоречиями и трудностями, которые должеи преодолеть человек. Рецеизенты отмечают высокие художественные достоинства рассказов Брииьетти, богатство языка, строгость несколько традиционного стиля.

В области поэзии премиа присуждена поэту Диэго Валери за книгу «Стихи» (издательство Мондадори).

Премии за дебюты присуждены: в области прозы — Аличе Черезе за ее роман «Блудная дочь», в области научно-популярной литературы — Лауре Сторонн за книгу «Идея города в древнем мире».

Специальная премия вручена писателю Альдо Капитини за его литературное творчество и деятельность в защиту мира.

Большим событием явилось присуждение международной премии «Виареджо-Версилия» чилийскому поэту Пабло Неруде, который удостоен ее не только за достижения в области поэтического творчества, но и за его борьбу против фашизма, в защиту угнетенных классов и народов. Церемония вручения премии Неруде вылилась в широкое чествование поэта представителямн итальянской культуры.

В интервью, которое передавалось по телевидению, Неруда на вопрос о призвании поэта сказал, что быть поэтом — скромное ремесло. «Я ие верю в миф о поэте. Быть поэтом — все равно что быть пекарем или же делать что-нибудь другое». На вопрос, что он думает о равнодушии и даже враждебности современного общества к поэтам, Неруда ответил; «Общество не отвергает поэзии. Поэтов любят. Сегодня во всем мире поэзия ищет не только читателей, но и слушателей. В моей стране, когда я впервые читал стихи перед публикой, меня слушало десять тысяч человек. В Советском Союзе, во Франции, в Англии стихи слушают тысячи.

В беседе с корреспондентом газеты «Уиита» Неруда выразил удовлетворение, что премия ему присуждена не только за деятельность как поэта, но также за его участие в общественной и политической жизни.

Члены жюри премии «Виареджо» сделали заявление о солидарности с греческим народом в его борьбе против диктаторов-генералов. «Перед лицом усиления фашистских преследований в Греции, которые направлены в первую очередь и особенно жестоко против представителей культуры,— говорится в заявлении,— члены жюри премии «Виареджо» считают необходимым выразить свой протест и возмущение... Мы призываем всех представителей демократической интеллигенции нашей страны

Лауреат премии «Виареджо — Версилия» Пабло Неруда читает свои стихи на Международном поэтическом фестивале в Лондоне.

(Еженедельник «Санди таймс»)

к более решительному участию в борьбе за свободу греческого народа. Мы используем любую возможность, чтобы выразить наше осуждение тирании, продемонстрировать нашу солидарность с греческим народом и его писателями, учеными и художниками!»

Одна из сцен уличного выступления «Ливинг тиэтр оф Монреаль» со спектаклем, в котором выражается протест против войны во Вьетнаме.
(Газета «Кенэдиен трибюн»)

КАНАДА

«НАША ЦЕЛЬ—СОЗИДАНИЕ»

На улицах и площадях Монреаля выступает недавно организовавшаяся любительская труппа «Ливинг тиэтр оф Монреаль». Она состоит из студентов, рабочих, домашних хозяек. Именно на улице, по убеждению руководителей труппы, режиссеров-профессионалов Дэна Дэниелса и Билла Тэмплмена, их видит и слушает самый отзывчивый зритель — народ.

Труппа дебютировала драматическим спектаклем в трех актах, в котором выражается протест против войны во Вьетнаме. В интервью газете «Кенэдиен трибюн» Дэн Дэниелс сказал о «Ливинг тиэтр»: «Наша главная тема — жизнь против смерти. Наш театр посвящен Миру Человека. Нас занимает все, что касается человека, начиная с войны во Вьетнаме и кончая копотью в больших городах. Война во Вьетнаме — это симптом опасного заболевания нашего общества. Мы живем в западном мире, наша страна — часть этого общества, общества, зараженного болезнью... Это общество, в котором день ото дня все труднее оставаться честным, откровенным, применять свои способности, поддерживать добрососедские отношения. В нашем обществе в человеке воспитываются стремление к насилию, дух уничтожения, ненависть. Мы хотим, чтобы «Ливинг тиэтр» пробудил в зрителе стремленне к действию и к творчеству».

«Наша главная цель — созидание, — заявил Билл Тэмплмен.— Мы против всякого разрушения».

Театр готовит большое представление «Мир Вьетнаму» и несколько антивоенных скетчей, которые он намерен показывать на улицах, в парках, перед заводами, производящими вооружение, во время антивоенных демонстраций.

ЛИВАН

ЗАКРЫТИЕ ЖУРНАЛА «АЛЬ-ХИВАР»

По сообщениям ливанской прессы, главный редактор бейрутского журнала «Аль-Хивар» («Диалог») Тауфик Саиг объявил о прекращении издания журнала. Как известно, «Аль-Хивар» издавался так называемым «Конгрессом свободы культуры», связанным с американской разведкой. Журнал закрыт по требованию прогрессивной арабской общественности.

МЕКСИКА

«ПОСЛЕ БОМБЫ»

Два года назад в Лондоне умер мексиканский писатель и журналист Эстебан Саласар Чапела, который занимал должность профессора испанского языка в Кэмбриджском университете. В его архиве обнаружен роман «После бомбы». Недавно он выпущен в издательствах Буэнос-Айреса и Барселоны. Ранее издательством «Лосада» были опубликованы два романа Чапелы — «Перико в Лондоне» (о судьбах испанских республиканских эмигрантов в Англии) и «Раздетый на Пикадилли».

Сюжет романа «После бомбы» вкратце таков: в результате взрыва атомной бомбы погибает трансатлантический лайнер. В живых остается несколько человек — мужчин и женщин, которые высаживаются на необитаемом островке. «С этого момента,— пишет рецензент литературного приложения «Эль насиональ»,— когда потерпевшие крушение начинают жить новой для них жизнью, романист то и дело преподносит нам сюрпризы, показывая психологическую реакцию каждого на то или иное событие, раскрывает характер с большим знанием природы современного человека и тончайшим юмором... В этом произведении Эстебан Саласар Чапела проявил себя как подлинный мастер прозы».

ОАР

ИНТЕРВЬЮ С МАХМУДОМ ТЕЙМУРОМ

Корреспондент журнала «Аль-Мусаввар» посетил недавно известного египетского писателя Махмуда

Теймурв и взял у него интервью.

Излюбленным жанром Махмуда Теймура по-прежнему остается короткий рассказ — всего им написано около 40 сборников рассказов,— но он пробует силы почти во всех жанрах литературы: повести и пьесе, литературоведческом исследовании и путевом очерке. Произведения Теймура переводятся на многие языки мира. Махмуд Теймур член Академии арабского языка в Каире, а также член-корреспондент нескольких зарубежных академий. По поручению Академии арабского языка Теймур составляет фундаментальный словарь новых арабских терминов в области культуры и техники.

Последняя книга Теймура — сборник рассказов «Баронесса Умм Ахмад». Сейчас печатаются две его другие книги — «Между молотом и наковальней» и «Литература и литераторы».

Теймур считает, что в последнее время в жанре романа и повести в ОАР наблюдаются определенные успехи. У нас есть писатели, сказал он, которыми мы можем гордиться: Нагиб Махфуз, Ихсан Абд аль-Каддус, Мухаммед Абд аль-Халим Абдаллах, Сарват Абаза, Амин Юсуф Гураб, Юсуф Идрис, Яхья Хаккн.

В то же время Махмуд Теймур выразил беспокойство по поводу состояния египетской новеллистики, которая, по его словам, ныне отстает от крупных прозаических жанров. Писатель предложил издавать специальный журнал, который объединил бы вокруг себя новеллистов. «Из авторов коротких рассказов,— сказал Теймур,— я больше всего люблю Юсуфа Гоухара и Махмуда аль-Бадави».

«ЛЮБОВЬ И МОЛЧАННЕ»

Недавно в ОАР вышла книга, привлекшая внимание читателей и критики,— роман «Любовь и молчание» — единственное произведение рано ушедшей из жизни писательницы Инаят аз-Зейят, которой так и не довелось увидеть его напечатанным.

Героиня романа Наджла, выросшая в аристократической семье, после долгих душевных мук пришла к выводу, что счастье — в братстве, в общении с простыми людьми. Она полюбила революционера — борца за независимость родины. Эта любовь раскрыла Наджле глаза на смысл жизни, и, хотя ее любимый погибает в борьбе, роман заканчивается оптимистически — победой революции 23 июля 1952 года, знаменующей в романе «торжество жизни и светлых идеалов».

Критик Махмуд Амин аль-Алим посвятил Инаят аз-Зейят и ее роману статью в журнале «Аль-Мусаввар». По его мнению, роман «Любовь и молчание» займет видное место в современной арабской литературе.

ПОЛЬША

«ПАМЯТНЫЕ ДНИ»

Такое название носит книга Здислава Куша, выпущенная Издательством министерства национальной обороны Польши. Автор книги был участником Октябрьской революции и гражданской войны в России. Он сражался за Советскую власть на разных фронтах: был летчиком и артиллеристом в легендарном Красном варшавском полку, начальником артиллерии бронепоезда.

«Полвека прошло с тех переломных дней Октябрьской революции,— сказано в редакционном предисловии.— Ныне не так часто издаются дневники и воспоминания о событиях тех лет. Они дополняют наши знания об Октябре, обогащая их свидетельствами очевидцев, как бы приближают к нам тех людей, рядовых солдат, боровшихся за власть Советов, воспроизводят обстановку и настроения того времени. Для польского читателя особый интерес представляют воспоминания поляков—участников Октябрьской революции».

Автор книги рассказывает о себе и о своих товарищах по совместной борьбе в дни Октября и в дни сражений за упрочение Советской власти. «У меня на глазах развертывались события большого исторического значения,— пишет он.— Многие поляки помогали закладывать фундамент Советской республики, на деле осуществляя лозунг «За вашу и нашу свободу». Это были скромные, рядовые герои революции...

В те памятные дни тысячи поляков включились в борьбу, их можно было встретить на необъятных просторах России всюду — на Украине, в Белоруссии, на Дону, в Крыму, Грузии, на Кубани и Урале, в Сибири и Манчжурии, в краю вечных снегов и в бескрайних степях. Это был наш скромный вклад в дело победоносной революции».

НА ЭКРАНЕ — КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

Семь лет назад в Кракове состоялся первый фестиваль польских короткометражных фильмов. Он имел большой успех, и в 1964 году было решено наряду с ним проводить в Кракове международный кинофестиваль. Теперь проводимый ежегодно Краковский фестиваль не уступает по своему значению подобным фестивалям в Оберхаузене, Лейпциге и Туре.

В нынешнем году Международный кинофестиваль в Кракове проходил под лозунгом «Наш XX век». На нем были показаны произведения кино на самые актуальные современные темы.

На Международном фестивале было показано 68 фильмов. Гран При — «Золотой дракон» — присужден ленте Дона Лернера (США) «Напалм», представляющей собой репортаж о митинге протеста в Калифорнии против производства напалма и применения его во Вьетнаме. Жюри высоко оценило независимую позицию автора фильма и то мужество, с которым он преподносит в форме ответов на анкету проблему индивидуальной ответственности за войну во Вьетнаме.

Один из сказочных персонажей мультфильма В. Герша «Конь».

(Еженедельник «Фильм»)

Спецнальиую премию (за оригинальность формы) и «Золотого дракона» получнл польский художник и кинематографнст Валернан Боровчнк, который вот уже несколько лет живет н работает во Франции,— за экраннзацию рассказа Ги де Мопассана «Розалн».

Четыре главные премии— «Серебряные драконы» — присуждены фильмам: «Зонтнк» Михаила Кобахидзе (СССР) — за изобретательность в поисках новых изобразительных средств; «Быть» Мариана Мажинского (Польша) — за остроумный н в то же время полный драматизма рассказ о работе артистов цирка; «Девушка» Вита Ольмера (Чехословакия) — «за атмосферу непосредственности н правды», а также совместно — «Ноеву ковчегу» Жана Франсуа Лагойоне (Франция) и «Радостям любвн» Иржи Брдечки (Чехословакия), которые признаны лучшими мультипликацнямн иа фестнвале.

Среди фильмов, награжденных дипломами,— «Физики» Ю. Коловского (СССР), который повествует о жизнн ученых нз разных стран, работающих в Объединенном институте ядерных нсследований СССР, н «Позорный парад» Христо Ковачева и Дончо Струмского (Болгария) — репортаж о «параде» американских военнопленных в Ханое.

Международная премня кинокритики ФИПРЕССИ присуждена советскому фильму «Зонтик» Михаила Кобахидзе.

Лауреаты польской части фестиваля, получнвшне главную премию «Золотой лайконик»,— Ирена Каменская, награжденная за фнльм «Здравствуйте, дети», и Витольд Герш — автор мультфнльма «Конь». Дипломом награжден фнльм «Внимание, внимание, воздушная тревога», снятый польскими кинематографистами в Северном Вьетнаме — Хелеиой Леманской, Владиславом Форбертом и Славомиром Славковскнм.

В ходе фестиваля состоялась международная встреча кинематографистов за круглым столом и традиционная «Свободная трибуна». Дискуссня, в которой приняли участие кинематографисты, критикн и журналисты, была посвящена нынешиему положенню в короткометражном кино.

О ПРОЗЕ И ПОЭЗИИ

Третий год выходит в Польше сборник рецензий и статей, отбираемых Зеноной Мацужанкой, о иовинках прозы и поэзнн. «Прекрасная это идея,— пишет рецензент еженедельнпка «Культура»,— собрать в одной книжке самые интересные рецензии на лучшие книги года — прозаические и поэтические. Рецензии эти разбросаны по журналам и имеино поэтому обречены на «смерть через забвение».

Во вступительном слове Мацужанка поясняет, кому адресована эта книга: популяризаторам и любителям современной литературы, переводчикам польской литературы, учителям, библнотекарям. Издательство «Ксенжка и ведза», где выходят эти сборнки, получает письма нз-за границы: специалисты, занимающнеся зарубежной литературой, благодарят за эти полезные и интересные сборники, помогающие в их работе.

Наряду с названным сборником в Польше выходят также ежегодные нздания «Художественная литература» и «Литературный ежегодник».

США

«ЗИМА ДЖОНА СТЕЙНБЕКА»

Американскнй журнал «Рэмпартс» поместнл в одном из последних номеров статью Питера Кольера «Знма Джона Стейнбека», в которой сделана попытка проанализировать перемены, пронзошедшие в мировоззрении и творчестве Джона Стейнбека. Ниже прнводятся выдержкн нз этой статьи.

«С каждой новой почтой писатель предстает перед нами все более ничтожным и состарившимся, совершенно не похожим на того художника, которым он был когда-то. Нынешняя его политическая позиция и тот факт, что в последние годы художественный уровень его произведений стремительно и неуклонно падал, заставляет усмотреть связь между этими явлениями...

В свое время Стейибеку совершенно справедливо была присуждена Нобелевская премия, которой он был достоин хотя бы потому, что ему удалось талантливо и убедительно изобразить жизнь простых людей, попавшнх в ловушку, но ие сломленных, не желающих сдаться... Удивительно, как же теперь писатель не замечает, что вьетнамскне крестьяие, которых он считает варварами, так похо-

жи на героев «Гроздьев гнева». Ведь они проявляют такую же стойкость и не теряют человеческого достоинства перед лицом превосходящего их по силе врага...

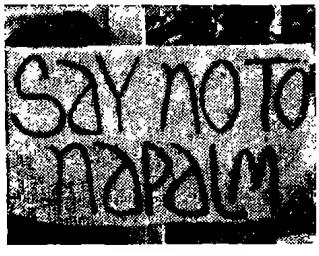
То ви́денне мира, которое было присуще ему как художнику, утрачено, обанкротившийся в своих убеждениях и одинокий, Стейнбек оказался сейчас активным орудием системы, глубоко враждебной всему самому ценному в его собственном творчестве... Тот факт, что современная американская действительность не вдохновляет его на какие-либо положительные акции, на создание значительных художественных произведений, наводит на мысль о том, что, возможно, более достойным для него было бы молчание, тем более что это было бы молчанием человека, уже сказавшего свое веское слово...

Стейнбек утратил связь с окружающей действительностью, и свойственное ему ранее острое проникновение в существо человеческих характеров, нынешние его высказывания характеризуют его как человека, внезапно почувствовавшего себя чужестранцем в собственной стране... После поездки по Советскому Союзу Стейнбек призывал Евтушенко «показать клыки», когда же ему самому представилась возможность выступить про́тив своего правительства, он не смог издать даже рычания. Прошлым летом Евтушенко обратился к нему с трогательным открытым письмом, призывая его вновь стать «старым волком», бороться против войны во Вьетнаме. Стейнбек ответил ему провокационным, недостойно двусмысленным письмом...

На месте Стейнбека было бы гораздо порядочнее открыто заявить о тех изменениях, которые произошли в его идейных убеждениях, а не высказывать наивные политические суждения и не делать дешевые заявления, вроде того, что «меня удостоили чести нажать на спуск ракеты, и я этим горжусь». Случается, что нынешние высказывания Стейнбека очень напоминают речи Голдуотера: «Я считаю, что топор—величайшее изобретение после колеса».

Плакат «Скажите нет напалму», который несли участники антивоенной демонстрации, использованный Д. Лернером при съемках фильма «Напалм», получившего премию «Золотой дракон» на Международном фестивале короткометражных фильмов в Кракове.

(Еженедельник «Фильм»)



ТУРЦИЯ

ТУРЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Гость Четвертого съезда советских писателей, председатель Союза турецких литераторов Халдун Танер выступил в стамбульской печати с рассказом о всем виденном в нашей стране. Когда газета «Миллиет», заказавшая писателю двенадцать репортажей, после третьего номера прекратила публикацию без объяснения причин, писатель продолжил печатание своих заметок в еженедельнике «Ант» под общим заголовком «Советская Россия на пятидесятом году».

Халдун Танер рассказывает о встречах с писателями Константином Симоновым, Расулом Гамзатовым, Мирзой Ибрагимовым, делится впечатлениями о съезде, а также о своих беседах с зарубежными гостями съезда — Фридрихом Дюрренматтом, Гансом Магнусом Энценсбергером, Катебом Ясином и другими.

«Четвертый съезд советских писателей, — пишет Халдун Танер,— стал трибуной для выражения разных эстетических взглядов, но был полностью единодушен в одном — литература должна служить народу».

Танер приводит выдержки из выступлений делегатов и гостей, говоривших о всемирном значении Октябрьской революции и влиянии советской литературы на литературный процесс в различных странах, а также высказывает мысль, что Октябрьская революция и революция Кемаля Ататюрка были направлены против общего врага — империализма.

Журнал «Ант», наряду с репортажем Халдуна Танера, поместил полный текст выступления Расула Гамзатова и Обращение к писателям мира, содержащее протест против преследования деятелей культуры в Греции, а также фотографии, дружеские шаржи Кукрыниксов и Игина на советских писателей.

ФРАНЦИЯ

НОВЫЙ РОМАН ЖОРЖА ПЕРЕКА

Новый роман Жоржа Перека «Человек, который спит» написан, по отзывам критики, на модную в современной литературе тему одиночества, полного отказа от активной деятельности и борьбы. Автор как бы ставит эксперимент, спокойно анализирует и доказывает всю абсурдность «отказа от жизни».

Герой романа—студент, у которого нет имени. Однажды, в день экзамена, он просыпается и решает не идти на экзамен и «быть свободным». Вот его идеал: «Ты остался в комнате, ты не ешь, не читаешь, почти не двигаешься. Это твоя жизнь. Только твое. Ты можешь подвести итог первой четверти своего века. Тебе 25 лет, у тебя 29 зубов, 3 рубашки, 8 пар носков, несколько книг, которые ты больше не читаешь. Нет у тебя желания думать о семье, занятиях, увлечениях. Для чего бороться? Мучительное желание — больше не видеть, не слы-

шать, стать молчаливым и неподвижным. Одиноким скитаться в стране слепых». Но все попытки жить «по-новому» ни к чему не привели. В конце герой чувствует себя таким же ничтожным, как и в начале...

В рецензии на книгу в газете «Юманите» Андре Стиль пишет: «Книга до предела исчерпывает тему бегства от жизни в свой внутренний мир. Это подлинное исследование. Творчество Перека — ясное, четкое, заостренное, ничто здесь не замалчивается и не обходится стороной».

Рецензент еженедельника «Леттр франсез» отмечает: «Новый роман Перека показывает живого мертвеца по собственному убеждению. С ним ничего не случается. Но именно это ничего и составляет сюжетную канву романа... Это существование без бытия, продолжительность без течения времени. Идеал — камни, подлинно живые мертвецы. Если в «Вещах» стремление к обладанию вещами обесценивает и обезличивает человека, то в «Человеке, который спит» опустошение человека является не следствием, но желанной целью, а отождествление человека с вещами — условием этого опустошения».

«Написанная безукоризненно, но сухо и холодно, книга Перека может служить обвинительным актом нашему обществу,— говорится в статье, опубликованной еженедельником «Нувель литерер».— Форма и изложение напоминают свидетельские показания. Текст прост и волнующ, читается запоем, как сокровенная исповедь».

ТАЙНЫ ТОРГОВЛИ ПОДДЕЛКАМИ

В среде торговцев произведениями искусства на Западе существует поговорка: «Коро создал три тысячи полотен, из которых десять тысяч находится в Америке». Страстному коллекционеру произведений искусства, нефтяному королю и миллиардеру из Техаса Артуру Мэдоузу довелось убедиться в справедливости этих слов на собственном опыте: когда он решил продать несколько картин, приобретенных в Европе, и обратился к экспертам для проверки «родословной» своих сокровищ, то выяснилось, что из 58 подлинными оказались лишь 14. Остальные 44 были талантливыми подделками!

Работа Пабло Пикассо «Портрет мадемуазель А», которая экспонировалась недавно в Турине на международной выставке западноевропейских художников.

(Газета «Паэзе сера»)

Это вызвало грандиозный скандал, на страницах французских газет появились намеки на «господина Н.», который, по слухам, поставляет эти «шедевры» за границу, сам в то же время являясь владельцем великолепного собрания подлинных картин.

Один из парижских журналов поместил карикатуру, на которой изображен художник, подписывающий портрет Монны Лизы. Стоящий рядом «меценат» поправляет его: «Я знаю, что портрет предназначен для американских коллекционеров, но все же да Винчи пишется через «ч», а не через «с».

Появление этой карикатуры не случайно: на Западе существует настоящая «индустрия» по производству фальсификатов полотен выдающихся мастеров прошлого. Она дает некоторый заработок многим талантливым художникам, которые не могут найти более достойное применение своим способностям, и колоссальные прибыли «покровителям искусства».

Существует также множество способов «доказать подлинность» подделок. Если они оказываются очень удачными, дельцы обращаются к родственникам покойных художников с просьбой засвидетельствовать подлинность картин. В случае, когда это не удается, картины экспонируются на провинциальных выставках, о чем выдаются соответствующие свидетельства. После этого их покупают сообщники и картины снова где-то выставляются. Эти операции повторяются по нескольку раз, и вскоре картины уже имеют внушительные «генеалогические древа»...

«МИЛЫЙ ДРУГ МОПАССАН»

В издательстве «Файар» вышло исследование Армана Лану «Милый друг Мопассан», получившее широкий отклик в печати. В интервью корреспонденту еженедельника «Нувель литерер» Лану рассказал, почему он взял на себя этот труд. «Мопассан, один из самых скрытных писателей, всю свою жизнь избегал гласности, не разрешал о себе писать. Он уничтожал свои письма, черновики, документы... Работы о нем были полуправдой, их авторы идеализировали писателя или клеветали на него. Теперь наступило время разобраться и в творчестве и в жизни этого знаменитого человека... Без проникновения в жизнь Мопассана — полную страстности, любви к природе, борьбы с болезнью, ненависти к войне и пруссакам,— не понять и его творчества».

В своей статье, напечатанной в еженедельнике «Леттр франсез», Лану пишет: «Существует мало писателей, которых бы так

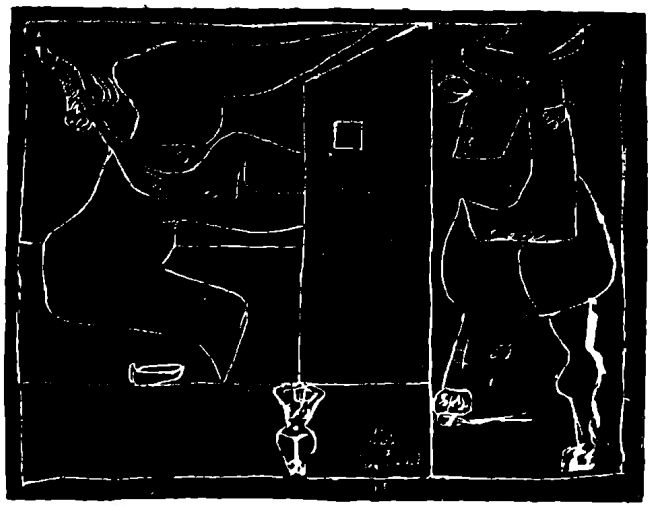


Рисунок Ле Корбюзье «Бегущий единорог»; из серии «Маленькие секреты».

(Газета «Нейе цюрихер цейтунг»)

много читали и так сильно критиковали в их родной стране. Бесконечные пересуды вокруг имени Мопассана исходят от тех, кто *делает* литературу. Те же, кто ее *читает*, иного мнения, и несколько поколений читателей проголосовало за Мопассана, считая его своим любимым писателем. Над этим стоит задуматься. Настало время, когда мы, пережив оккупацию, Сопротивление и войну в Алжире, можем в новом свете рассмотреть и оценить творчество Мопассана. Он с такой силой, как ни один писатель XIX века до него, заклеймил войну, колониализм, ложный героизм, политиканство, восславил простых людей и их патриотизм».

Французская пресса единодушна в высокой оценке книги Лану. В газете «Фигаро» академик Андре Бийи пишет: «Мопассан» Армана Лану — шедевр биографического искусства. И даже больше, так как кладет начало новому направлению в этом жанре. После его книги просто невозможно будет писать биографии так, как их писали до сих пор».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАСЛУГА СОВЕТСКОГО КИНО

Под таким заголовком газета «Руде право» поместила статью Любомира Линхарта, посвященную влиянию произведений советского кино после Октября на формирование общественного мнения о Стране Советов во многих странах мира.

После победы Октября, пишет автор, реакционная печать обрушила на молодое советское государство потоки лжи и клеветы. Был и другой метод — блокада молчанием.

Именно в этой сложной ситуации правду о первом в мире социалистическом государстве рабочих и крестьян донесли до киозрителей зарубежных стран произведения молодой советской кинематографии — фильмы Пудовкина, Эйзенштейна, Довженко.

Немалое значение имела и возникшая в те годы советская теория кино, которая излагалась в статьях и брошюрах Пудовкина, Эйзенштейна, Кулешова, Луначарского, Довженко, С. Васильева, Лео Мура, В. Шкловского и других. «Особенно много пользы принесли теоретические высказывания Пудовкина и две его небольшие книжки — «Киносценарий» и «Кинорежиссер и киноматериал», которые вышли в моем переводе в 1932 году под названием «От либретто к премьере» и имели большой резонанс и влияние»,— продолжает автор статьи.

Под воздействием советского кино, пишет далее Любомир Линхарт, сформировалась чешская школа документального кино 20—30-х годов, а также работали в кинематографе такие известные деятели культуры, как актер и режиссер Йозеф Ровенский, режиссер и писатель Владислав Ванчура.

«Октябрьская революция,— пишет в заключение автор статьи,— оказала плодотворное влияние на кинематографию всех стран мира...»

«СЛОВАРЬ СЛОВАЦКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»

Справочник под таким названием подготовлен издательством «Словенски списовател». В нем 364 статьи о выдающихся представителях словацкой литературы нынешнего столетия. Одновременно в Институте словацкой литературы Академии наук Словакии готовится полный словарь словацких писателей.

Авторы этого номера

ХОСЕ СОЛЕР ПУИГ — JOSÉ SOLER PUIG (род. в 1918 г.).

Кубинский писатель и драматург. Советским читателям творчество Х. Солера Пуига известно по его романам «Бертильон 166» и «В году января», переведенным на русский язык.

Перу Х. Солера Пуига принадлежат рассказы, комедия «Соль» («La Sal»), радиопьеса «Обретенные времена» («Tiempos encontrados»), киносценарий «Новый год» («Año Nuevo») и другие произведения.

Роман «Крушение» («El derrumbe»), публикуемый в этом номере, вышел в 1964 году. Он признан на Кубе одним из лучших произведений, в которых получили отражение события Кубинской революции.

■

КАРЛ СЭНДБЕРГ — CARL SANDBURG (1878—1967).

Циклом стихов разных лет в номере представлен этот выдающийся поэт и прозаик, собиратель и исполнитель народных песен, по праву признанный национальным поэтом Америки. Карл Сэндберг умер недавно на 89 году жизни.

Среди его наиболее значительных поэтических сборников «Стихи о Чикаго» («Chicago Poems», 1915), «Молотильщики» («Corn Huskers», 1918), «Дым и сталь» («Smoke and Steel», 1920), «Глыбы пустынного Запада» («Slabs of the Sunburnt West», 1922), «Доброе утро, Америка» («Good Morning America», 1928), «Народ, да» («The People, Yes», 1936), «Городской парень» («Prairie Town Boy», 1955). Всеобщее признание встретила его эпопея в прозе «Скала воспоминаний» («Remembrance Rock», 1948), книга «Всюду юная поросль» («Always the Young Strangers», 1953).

Советские читатели давно знакомы с Карлом Сэндбергом. Его стихотворения печатались в журналах и антологиях, вышли отдельным сборником. «Иностранная литература» неоднократно публиковала его стихи (см. № 6, 1963, № 5, 1965, № 5, 1966).

■

КРИСТИАН ГЕЙСЛЕР — CHRISTIAN GEISLER (род. в 1928 г.).

Немецкий писатель (ФРГ). Большую известность приобрел его роман «Запрос», в котором поставлены острые проблемы общественно-политической жизни Западной Германии, в частности, вопрос об ответственности за соучастие в чудовищных преступлениях немецкого фашизма. Книга была издана во многих странах и вызвала взволнованные отклики читателей и критики. В русском переводе «Запрос» вышел в 1966 году. Перу К. Гейслера принадлежит также телевизионная пьеса «Убойный скот» («Schlachtvieh», 1963), предостерегающая против опасности реваншизма в ФРГ, которая вызвала ожесточенные нападки на автора со стороны западногерманской реакционной прессы.

К. Гейслер — в числе деятелей культуры ФРГ, выступающих против введения так называемых «чрезвычайных законов».

В этом номере мы знакомим читателей с новой книгой писателя «Холодные времена» («Kalte Zeiten», 1965).

■

МИРА АЛЕЧКОВИЧ — MIRA ALEČKOVIĆ (род. в 1924 г.).

Эту югославскую, сербскую, поэтессу хорошо знают наши юные читатели. В 1963 году в русском переводе вышла ее книга стихов для детей «Серебряный поезд». Поэтесса получила премию журнала «Пионер». Участница народно-освободительной войны югославского народа против фашизма Мира Алечкович — автор 15 книг для детей и взрослых, это романы, повести, рассказы, путевые очерки.

Публикуемое стихотворение взято из еженедельника «Телеграм» (август 1967 г.).

ВЕСНА ПАРУН — VESNA PARUN (род. в 1922 г.).

Югославская, хорватская, поэтесса. Ее первый сборник стихов «Зори и вихри» («Zore i vihori») вышел в 1947 году. С тех пор ею написаны одиннадцать книг стихов, популярных среди югославских читателей. Ее стихотворения печатались в нашем журнале (см. № 10, 1962 г.). В последние годы вышли сборники «Я была мальчишкой» («Bila sam dječak», 1963), «Ой, утро» («Jao, jutro», 1963), «Ветер Фракии» («Vjetar Trakije», 1964) и др.

Публикуемое стихотворение было напечатано в газете «Борба».

■

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР — ERWIN STRITTMATTER (род. в 1912 г.).

«Шульценхофский календарь всякой всячины» («Schulzenhofer Kramkalender», 1966) — сборник поэтических миниатюр, драматических сцен, дневниковых записей, лирических отступлений — таков оригинальный жанр новой книги известного немецкого писателя Эрвина Штриттматтера (ГДР). Шульценхоф — небольшая деревушка к северу от Берлина, где писатель проводит большую часть года, здесь и рождались эти стихотворения в прозе вперемежку с дневниковыми записями. (Рецензию Л. Копелева на эту книгу см. в № 7 нашего журнала за 1967 г.) С отдельными миниатюрами этой книги под заголовком «Листки календаря» мы знакомим читателей в этом номере.

Имя Эрвина Штриттматтера хорошо знают советские читатели. В русском переводе вышли его книги «Тинко» и «Чудодей». «Иностранная литература» напечатала роман «Оле Винкоп» (№№ 7—10, 1965).

■

АЛАРИК ДЖЕЙКОБ — ALARIC JACOB (род. в 1909 г.).

Английский прозаик, публицист. В годы войны А. Джейкоб длительное время находился в СССР в качестве корреспондента английской газеты «Дейли экспресс».

ПОЛЬ ХОГАРТ—PAUL HOGARTH (род. в 1917 г.).

Видный английский художник-график, автор портретов, жанровых рисунков, литографий, репортажей-зарисовок, посвященных жизни народов Англии, Греции, Польши, Китая и других стран. Работы П. Хогарта получили признание далеко за пределами Англии. Советские читатели знают П. Хогарта по неоднократно публиковавшимся в нашей печати репродукциям его работ. В нашем журнале см. № 4 за 1963 г. и № 4 за 1967 г.

Публикуемый в этом номере очерк «Снова в России. От Суздаля до Самарканда» прислан авторами в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая, 41. Телефон В 3-51-47.

А 14011. Сдано в производство 20/VII-67 г. Подписано к печати 1/XI-67 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. Зак. 2557.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К сведению читателей

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПУБЛИКУЕТ РОМАНЫ И ПОВЕСТИ, СТИХИ И РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ И СЦЕНАРИИ — ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ВСЕХ СТРАН МИРА.

Журнал будет помещать статьи, посвященные важным вопросам развития зарубежных литератур и творчеству известных зврубежных писателей. Мы систематически знакомим читателей с новинками иностранной литературы, печатая рецензии на новые кнчги, вышедшие за рубежом и переведенные у нас в стране. Журнал предоставляет свои страницы видным писателям, деятелям культуры, ученым для выступления по важнейшим проблемам современности. Как и в прошлые годы, [redacted] ли найдут в журнале материалы дискуссий, обзоры, полемические заметки, дневники, лисьма, воспоминания. Читатели ознакомятся с интересными работами зарубежных художников, графиков, скульпторов, узнают о новостях зарубежного театра и кино.

В каждом номере журнала — обширная хроника литературной и культурной жизни за рубежом.

Подписная цена

На 12 мес.— 9 р. 60 н.
на 6 мес.— 4 р. 80 н.
на 3 мес.— 2 р. 40 и.

Цена одного номера — 80 к.

В 1968 г. редакция журнала предполагает напечатать следующие произведения:

Питер Абрвхамс (ЮАР)
Их собственная ночь (Роман)
Мигель Анхель Астуривс (Гватемала)
Незаконнорожденный (Роман)
Марио Бенедетти (Уругвай)
Спасибо за огонек (Роман)
Богуслав Бржезовский (Чехословакия)
Вечно влюбленные (Ромвн)
Мишель Бютор (Фрвнция)
Изменение (Ромвн)
Уильям Голдинг (Англия)
Шпиль (Роман)
Алфредо Дивс Гомес (Бразилия)
Колыбель героя (Пьеса)
Гюнтер Грасс (ФРГ)
Кот и мышь (Повесть)
Алекс Ла Гума (ЮАР)
Каменная страна (Роман)
Юлиан Кавалец (Польша)
Танцующий ястреб (Роман)
Р. К. Нарвйан (Индия)
Продавец сладостей (Ромвн)
Пвбло Нерудв (Чили)
Хоакин Муриэта (Пьеса)
Джеймс Олдридж (Англия)
Дилогия
Джованни Пирелли (Италия)
По поводу одной машины (Роман)
Нгуен Динь Тхи (Вьетнам)
Линия фронта прочерчивает небо (Повесть)
Сембен Усман (Сенегал)
Соратницы (Роман)
Карлос Фуэнтес (Мексика)
Новый роман
Тамара Хови (США)
Стремление маленькой мошки (Роман)
Кришан Чандар (Индия)
Чинары моей юности (Повесть)
Эрвин Штриттматтер (ГДР)
Листки из календаря

Редакция рассматривает также новые произведения ХОСЕ МАРИА АРГЕДАСА, ЖОАНА ГИМАРАЭНСА РОЗЫ, ПАМЕЛЫ ХЭНСФОРД ДЖОНСОН, АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРА, ДЖОНА ОЛИВЕРА КИЛЛЕНЗА, ФРАНСИСКО КОЛОАНЕ, ХУЛИО КОРТАСАРА, ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА, ЛАЙОША МЕШТЕРХАЗИ, УИЛЬЯМА СТАЙРОНА, АНРИ ТРУАЙЯ, ЛАДИСЛАВА ТЯЖКОГО, НИКОЛАЯ ХАЙТОВА, ЛОРЕЙН ХЭНСБЕРИ и др.

Мы предполагаем опубликовать стихи МИХАЯ ВАЦИ, РЕНЕ ДЕПЕСТРА, НЕЛЛИ ЗАКС, ЭНРИКЕ ЛИНА, ПАБЛО НЕРУДЫ, МИГЕЛЯ ОТЕРО СИЛЬВЫ, СЕНДЖОН ПЕРСА, ИВАНА СКАЛЫ, РОБЕРТО ФЕРНАНДЕСА РЕТАМАРА, ФЕЛИКСА ПИТЫ РОДРИГЕСА, ХОРХЕ САЛАМЕА, ТО ХЫУ, ХЮИ КАНА, ИШТВАНА ШИМОНА, МИГЕЛЯ ЭРНАНДЕСА.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛАМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.